ДЖЕК ЛОНДОН

Собрание сочинений

JACK LONDON

MARTIN EDEN

*

Selected
Works

ДЖЕК ЛОНДОН

МАРТИН ИДЕН

*

Собрание
сочинений

ИЗДАТЕЛЬСТВО
КЛУБ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА
Харьков
2011

ББК 84.7США
Л76

Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства

Научное редактирование и комментарии
кандидата филологических наук доцента *А. М. Гуторова*

Печатается по изданию:

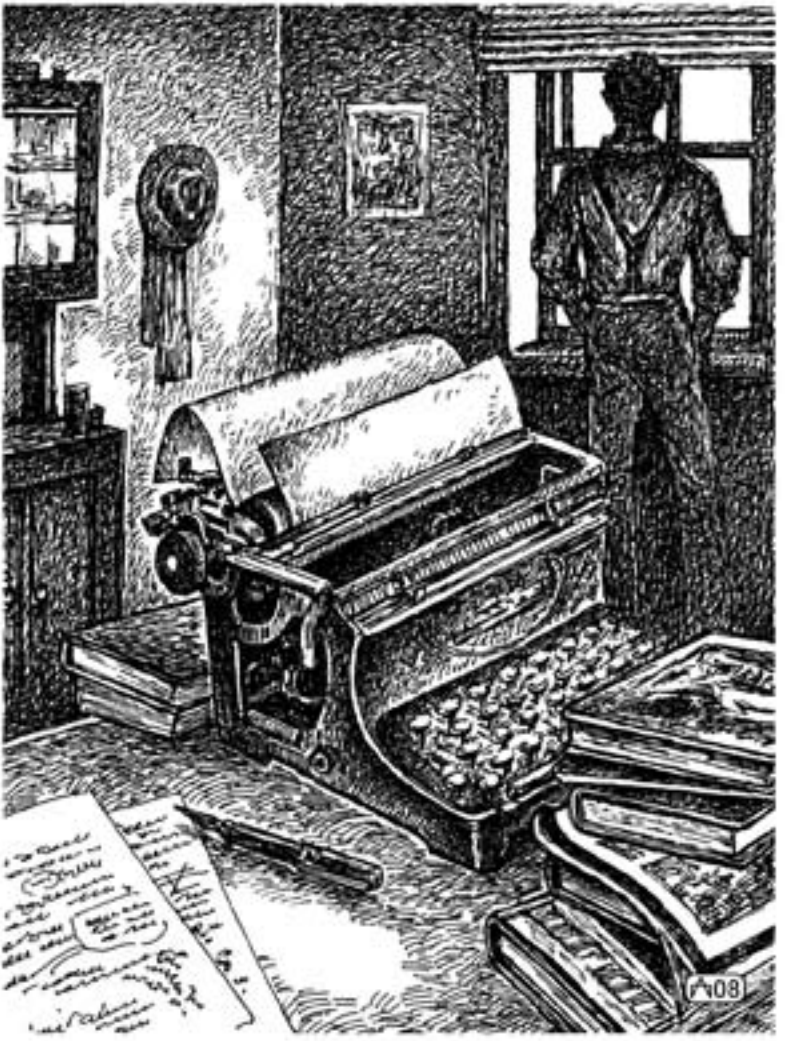
Лондон Дж. Полное собр. соч. — Т. 13. Мартин Иден. —
М., Л.: Земля и фабрика, 1929.

Дизайнер обложки *Наталья Переверзева*
Художник *Андрей Печенежский*

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2008, 2011

ISBN 978-966-14-2540-7 (PDF)

МАРТИН ИДЕН



ГЛАВА I

Первый из них открыл дверь своим ключом и вошел; за ним последовал и молодой парень, который тотчас же неловко снял кепку. Грубая одежда, в которой был парень, выдавала в нем моряка. Очутившись в просторном холле, он почувствовал себя явно не в своей тарелке: не знал, куда ему деть кепку, и собирался уже засунуть ее в карман, но тут его спутник взял ее у него из рук. Это вышло у него так естественно и просто, что неуклюжий парень сразу это оценил. «Он понимает, — промелькнуло у него в голове, — он выручает меня».

Юноша шел за своим спутником по пятам, раскачиваясь и инстинктивно расставляя ноги, словно ровный пол под ним то поднимался, то опускался от морской качки. Просторные комнаты, казалось, были слишком тесны для его раскачивающейся походки — он со страхом ожидал, что его богатырские плечи заденут косяк двери или смахнут какие-нибудь безделушки с низкого камина. Он лавировал между различными предметами, увеличивая опасность столкновения, которая на самом деле существовала только в его воображении. Между роялем и столом, стоявшим посреди комнаты и заваленным кипами книг, свободно могли бы пройти шесть человек, но он сделал это с опаской. Его большие руки висели, как плети, и он не знал, куда их деть, не знал, что делать с ногами. От волнения ему показалось, что он сейчас смахнет со стола книги, и шарахнулся в сторону, точно испуганная лошадь, чуть-чуть не наткнувшись на табурет перед роялем. Он начал присматриваться к свободным движениям своего спутника и впервые в жизни сообразил, что его неуклюжая походка не похожа на походку других людей. Его терзало острое чувство стыда от этой мысли. Мелкие капли пота выступили у него на лбу, он остановился и вытер платком свое загорелое лицо.

— Постойте-ка, Артур, дружище, — сказал он, стараясь шуткой скрыть свое смущение, — это уже чересчур для вашего покорного слуги. Дайте мне прийти в себя. Вы ведь знаете, что мне не очень-то хотелось идти, да и ваши родные, я думаю, не так уж хотят со мной познакомиться!

— Ладно, ладно, — последовал успокоительный ответ, — нас бояться нечего. Мы — люди простые. Ага! Вот мне письмо!

Он подошел к столу, разорвал конверт и стал читать, что дало гостю возможность собраться с духом. И гость это понял и оценил. Он обладал чуткостью и отзывчивостью; несмотря на ощутимое волнение, он начал понемногу успокаиваться. Еще раз обтерев досуха лоб, он посмотрел вокруг, но все-таки во взгляде его было что-то, напоминающее дикого зверя, опасающегося ловушки. Его окружала неизвестность, он боялся какой-то случайности, совершенно не знал, что ему следует делать. Вместе с тем, сознавая свою неуклюжесть и неловкость, он боялся, что это проявляется и при его общении. Он отличался болезненным самолюбием, и лукавый взгляд, который украдкой бросил на него Артур поверх письма, пронзил его, точно удар кинжала. Хотя он и заметил этот взгляд, вида не подал: он давно уже научился сдерживать себя. Но гордость его была сильно задета. Он отругал себя за то, что пришел, но решил, что коль он уж здесь, то должен выдержать все до конца. Черты его лица обострились, в глазах сверкнул сердитый огонек; он стал двигаться непринужденнее, внимательно рассматривая и запоминая все детали окружающей красивой обстановки. Ничто не ускользало от его широко раскрытых глаз. По мере того как он разглядывал эти изящные вещи, из глаз его постепенно исчезал сердитый огонек, сменяясь теплотой и мягкостью. Красота всегда находила отзвук в его душе, а здесь он нашел красоту.

Его внимание привлекла картина, написанная маслом. Могучие волны с грохотом ударялись, рассыпаясь в стороны, о выступающую в море скалу; низко нависшие тучи, предвестницы бури, скрывали небо; вдали, за линией прибоя, виднелась лоцманская шхуна; она шла с зарифленными парусами, сильно накренившись так, что вся ее палуба была видна, как на ладони. Шхуна четко вырисовывалась на фоне зловещего за-

ката. В картине чувствовалась красота, и его неудержимо потянуло к ней. Забыв о своей неуклюжей походке, он подошел к картине как можно ближе. Красота исчезла. На его лице отразилось недоумение. Он удивленно посматривал на бессмысленные мазки, затем отступил на несколько шагов. Красота вернулась. «Здесь какой-то фокус!» — подумал он и решил больше не обращать внимания на картину. Тем не менее, среди разнообразных впечатлений, переполнявших его, в нем время от времени вспыхивало чувство негодования оттого, что столько красоты принесено в жертву фокусу. Он был совершенно незнаком со способом писания маслом. Он воспитывался на хромолитографиях, на которых рисунок одинаково отчетлив и ясен как издали, так и вблизи. Картины, написанные красками, правда, случалось видеть, но только в витринах, а там стекло мешало удовлетворить его любопытство.

Он оглянулся на приятеля, все еще читавшего письмо, и взгляд его упал на книги, загромождавшие стол. В глазах его появилась жадность, как у голодного при виде пищи. Он невольно сделал шаг к столу и начал с нежностью перебирать книги. Он смотрел на их заглавия, на фамилии авторов, прочитывал отдельные отрывки, лаская тома и взглядом и руками. Раз ему попалась книга, которую он уже читал, но в основном это были не знакомые ему произведения неизвестных авторов. Случайно ему попался томик Суинберна, и он начал жадно читать его, забыв о том, где находится. Лицо у него пылало. Дважды он закрывал книжку, заложив пальцем страницу, чтобы посмотреть, кто автор. Суинберн! Он не забудет этого имени. Вот человек, который умел видеть, который понимал, что такое яркие краски, ослепительный свет. Но кто же он такой, этот Суинберн? Умер ли он, как большинство поэтов, лет сто тому назад? А может быть, еще жив и продолжает писать? Он взглянул на первую страницу. Да, он, оказывается, написал еще несколько книг. Надо будет завтра же утром сходить в публичную библиотеку и попытаться раздобыть там еще что-нибудь из его произведений. Он опять с головой погрузился в стихи и не заметил, как в комнату вошла молодая девушка. Неожиданно он услышал голос Артура:

— Рут, это мистер Иден.

Он тотчас же закрыл книгу и повернулся, сгорая от нового ощущения. Но это ощущение было вызвано не появлением девушки, а фразой ее брата. В мускулистом теле молодого парня жила чуткая душа. Он мгновенно реагировал на малейшие воздействия внешнего мира, и под их влиянием мысли, ощущения и чувства каждый раз вспыхивали и загорались в нем, как пламя. Он был необычайно восприимчив, и его пылкое воображение ни минуты не знало покоя, жадно отыскивая разницу и сходство между вещами. Слова «мистер Иден» заставили его вздрогнуть от волнения — его, которого всю жизнь звали или просто Иденом, или же Мартином Иденом, или, наконец, еще проще — Мартином. А здесь он оказался «мистером»! «Это ведь не шутка», — подумал он. На одно мгновение его сознание точно превратилось в огромную камеру-обскуру, и перед ним замелькало бесчисленное множество картин из его жизни: машинная топка, трюм, ночи на берегу моря, тюрьма, кабак, больница, городские трущобы; с каждым из этих мест у него ассоциировалось воспоминание об определенной форме обращения к нему.

Повернувшись, он увидел девушку. При виде ее исчезла вся фантасмагория, возникшая в его памяти. Это было бледное, воздушное существо, с одухотворенными большими голубыми глазами и пышными золотистыми волосами. Во что она была одета, он не понял; он сознавал только, что платье ее так же необыкновенно, как она сама. Он мысленно сравнил ее с бледно-золотистым цветком на хрупком стебле. Впрочем, нет: скорее это дух, божество, богиня — в ее возвышенной красоте было что-то неземное. Или, может быть, правду пишут в книгах, авторы которых утверждают, что в высших слоях общества много женщин, подобных ей? Она достойна того, чтобы ее воспевал этот... как его?.. Суинберн. Быть может, он и думал о ком-нибудь похожем на нее, когда описывал свою Изольду, как там, в той книжке, которая лежит на столе. Все эти мысли и ощущения в одно мгновение пронеслись у него в голове, между тем как внешние события шли своим чередом. Он увидел, как, крепко пожав ему руку, она прямо, как мужчина, посмотрела ему в гла-

за. Женщины, которых он знал раньше, так не здоровались; собственно говоря, большинство из них и руку-то не подавали. Целый вихрь картин, воспоминаний о знакомствах и встречах с женщинами, начинавшихся всегда по-разному, все это мгновенно пронеслось у него в голове, грозя захлестнуть все остальное. Но он отогнал эти мысли и устремил взгляд на нее. Никогда еще он не видел подобной женщины. А те, которых он знал раньше?.. В одно мгновение он в своем воображении увидел ее, а рядом с ней — тех женщин, которых знал раньше. В течение одной секунды, длившейся целую вечность, он стоял в центре портретной галереи, где центральное место занимала она, а вокруг расположилось множество других женщин; всех их можно было оценить тут же, сравнив с ней. Он увидел безжизненные, болезненные лица фабричных работниц, лица жеманничающих, наглых обитательниц южного района. Промелькнули перед ним и женщины из лагерей ковбоев, и смуглые, с сигаретами в зубах жительницы Старой Мексики. Затем их сменили другие образы: похожие на куклы японки, выступающие мелкими шажками на высоких деревянных сандалиях; евразийки[1], с нежными чертами лица, на которых лежит печать вырождения; полногрудые смуглые женщины с тихоокеанских островов с венками из цветов. И всех их вытеснила уродливая, ужасная, кошмарная толпа растрепанных, жалких созданий с улиц Уайтчепела, пропитанных джином мегер из публичных домов, и вереницы гарпий, грязных, ругающихся подобий женщин, которые присасываются, как пиявки, к матросам, — этих отбросов населения портов, этой тины и накипи, всплывающей со дна человеческой жизни.

— Присядьте, мистер Иден, — обратилась к нему девушка. — Мне так хотелось познакомиться с вами после того, как Артур рассказал нам обо всем. Вы проявили такую храбрость...

Он сделал отрицательный жест рукой и пробормотал, что это ерунда и что любой на его месте поступил бы точно так же. Она заметила, что его рука покрыта свежими, только начинающими заживать ссадинами; тогда она мельком взглянула на

---

[1] Потомки белого и индуски.

другую, опущенную вниз руку, и увидела, что и она пострадала. Окинув его быстрым критическим взглядом, она подметила шрам на щеке, второй — на лбу под волосами, и третий на шее, отчасти скрытый крахмальным воротничком. При виде красной полоски, натертой воротничком на бронзовой коже, она с трудом удержалась от улыбки: ясно, что он не привык носить крахмальный воротничок. Как настоящая женщина, она сразу обратила внимание на дешевый, немодный покрой его костюма, на поперечные складки на спине и заметила, что рукава морщат, выдавая солидные бицепсы.

А он, между тем, решил послушаться ее и сесть. При этом он еще успел полюбоваться изяществом, с которым опустилась в кресло она; сам он неуклюже уселся против нее, смущаясь из-за своей неловкости. Для него это было совершенно новое ощущение. До сих пор он никогда не задумывался над тем, изящны или неуклюжи его движения; ему и в голову не приходили подобные мысли. Он осторожно опустился на край кресла, но не знал, куда деть руки; как бы он ни усаживался, они все, казалось, мешали ему. Артур вышел из комнаты, и Мартин Иден с завистью посмотрел ему вслед. Он почувствовал, что пропадет, оставшись наедине с этим бледным духом. Около него не было хозяина кабака, которому можно было бы крикнуть: «Эй, стаканчик!», не было мальчишки, которого можно было бы послать на угол за пивом, чтобы при помощи этого напитка — основы всякого общения — вступить в приятельскую беседу.

— У вас шрам на шее, мистер Иден, — сказала девушка. — Как это случилось? Я уверена, что с ним связано какое-то приключение.

— Мексиканец ножом, мисс, — ответил он, слегка откашливаясь и проводя языком по запекшимся губам. — Во время драки. А когда я отнял у него нож, он хотел откусить мне нос.

Хотя он дал лишь короткий ответ, перед его мысленным взором в это время пронеслась яркая картина: жаркая, звездная ночь в Салина-Круц, белая прибрежная полоса, огни нагруженных сахаром пароходов в порту, доносящиеся издали голоса пьяных матросов, толкотня грузчиков; горящее злобой

лицо мексиканца, звериный блеск его глаз, боль в шее, когда в нее вонзилась сталь, поток крови, орущая толпа, а затем два тела, его и мексиканца, которые, сцепившись, покатились по земле, взрывая песок; а в это время где-то вдали раздавалось нежное треньканье гитары. Да, вот что это была за картина, и при этом воспоминании его охватила внутренняя дрожь. «Интересно знать, мог бы нарисовать ее тот человек, который изобразил лоцманскую шхуну там, на стене?» — подумал он. Белый пляж, звезды и огни грузовых пароходов — все это, казалось ему, должно бы хорошо получиться на полотне, а в центре картины, на фоне песка, можно было бы изобразить группу пьяных фигур, окружающих борцов. «И нож здесь будет к месту, — решил он, — когда на нем блеснет свет звезд». Но из всего этого он сказал лишь:

— Он хотел откусить мне нос.

— О! — воскликнула девушка каким-то слабым, словно детским голосом, и он заметил по ее выразительному лицу, что она глубоко поражена.

Он и сам почувствовал смущение, и сквозь загар на его смуглых щеках выступил едва заметный румянец; ему, впрочем, казалось, что лицо у него горит так, точно он долго стоял у открытой машинной топки. Очевидно, такие низменные вещи, как поножовщина, драка, не могут быть подходящей темой для разговора с дамой. В книгах, например, люди из ее общества никогда не разговаривают о подобных вещах. Впрочем, они, быть может, вовсе не знают, что такие вещи существуют.

Только что начавшийся разговор оборвался. Она сделала новую попытку — спросила его о шраме на щеке. Он тотчас же почувствовал, что она подстраивается к нему, и решил, что попытается разговаривать с ней на ее языке.

— Это просто несчастный случай, — сказал он, дотрагиваясь рукой до щеки. — Как-то раз ночью при мертвом штиле, но при сильной зыби снесло главную рею со всеми снастями. Проволочный трос извивался во все стороны, как змея, а вся команда ловила его. Я тоже сунулся, да и зачалил его...

— О! — воскликнула она таким тоном, словно отлично все поняла. На самом же деле его слова казались ей непонятной

тарабарщиной; ее очень интересовало, что такое «рея» и как можно «зачалить» трос.

— Этот вот... Суайнберн, — продолжал он, желая осуществить свое намерение, но неправильно произнес первый слог в фамилии поэта.

— Кто?

— Суайнберн, — повторил он, делая ту же ошибку. — Поэт.

— Суинберн, — поправила она.

— Ну да, он самый, — пробормотал он и опять почувствовал, что у него горят щеки. — Давно ли он умер?

— А я и не знала, что он умер! — она с любопытством посмотрела на него. — Где вы с ним познакомились?

— И в глаза его не видел, — последовал ответ. — Но перед вашим приходом я прочел несколько его стихотворений в той книжке, вон там, на столе. Вам нравятся его стихи?

Она тотчас же легко и свободно подхватила эту тему — тему, подсказанную им. Он тоже почувствовал облегчение и уселся глубже в кресло, крепко ухватившись за его ручки, точно боялся, что оно ускользнет из-под него и сбросит его на пол. Наконец-то ему удалось направить ее на привычную ей тему; она заговорила быстро и просто, а он старался понять ее, изумленный тем объемом знаний, которые вмещала ее хорошенькая головка, упиваясь прелестью ее бледного личика. Мысли ее он схватывал, хотя порой его сбивали с толку незнакомые слова, легко слетающие с ее уст, а также ее критические суждения; ее мысли были чужды ему, но все же ее слова давали толчок его уму и заставляли его работать.

Вот она, умственная жизнь, подумал он, вот она красота, яркая, чудесная красота, о которой он никогда и не мечтал. Он забыл все окружающее и жадными глазами впился в нее. Да, вот нечто, ради чего стоит жить, чего стоит добиваться, за что есть смысл бороться, — и даже умереть. Книги говорили правду. В мире действительно существовали подобные женщины. Перед ним была одна из них. Она окрыляла его воображение: перед его глазами проносились огромные светлые картины, на которых смутно вырисовывался гигантский образ романической любви, героические подвиги ради жен-

щины, — ради бледной, похожей на золотистый цветок, женщины. Но сквозь это колеблющееся, туманное видение, как сквозь волшебное стекло, он видел живую женщину, которая сидела перед ним и разговаривала о литературе и искусстве. Он прислушивался к ее словам и пристально глядел на нее, сам не сознавая, что не отрывает от нее глаз и что в его взгляде ярко отражается вся мужская сущность. И она, так мало знавшая мужчин, мучительно ощущала на себе его горящий взгляд. Никогда еще ни один мужчина не смотрел на нее так, и это ее смущало. Она запнулась и потеряла нить разговора. Он пугал ее, но вместе с тем ей было как-то удивительно приятно, что он так смотрит на нее. Ее воспитание подсказывало, что здесь кроется какая-то опасность, какое-то коварное, неуловимое, таинственное обаяние, но инстинкт бурно восстал против этого, побуждая ее сбросить с себя все условности; ее влекло к этому страннику из чуждого ей мира, к этому неуклюжему парню с израненными руками и красной полоской на шее, натертой непривычным воротничком, к этому человеку, несомненно развращенному грязью грубой жизни. Сама она была чиста; и эта ее чистота бунтовала против него, но она была женщиной и впервые начинала познавать всю парадоксальность своей женской природы.

— Как я сказала... да, о чем это я говорила? — Она резко оборвала фразу и сама засмеялась из-за своей забывчивости.

— Вы говорили, что этому Суинберну не удалось стать великим поэтом потому, что... на этом вы и остановились, мисс, — подсказал он. Ему казалось, что он словно испытывает какую-то жажду, а при звуке ее смеха у него по спине пробежала приятная дрожь. «Точно серебро, — подумал он, — совсем как серебряный колокольчик», — и тотчас же на мгновение перенесся в далекую страну; ему почудилось, что он сидит под вишней, покрытой розовыми цветами, и курит, прислушиваясь к колокольчикам, призывающим в остроконечную пагоду обутых в соломенные сандалии паломников...

— Да, да, благодарю вас, — ответила она. — Суинберну это, в сущности говоря, не удалось, потому что он... потому что он груб. Многие из его стихов вовсе не стоило бы читать.

У настоящих великих поэтов каждая строчка — прекрасная истина, взывающая ко всему, что есть благородного и возвышенного в человеческой душе. Ни одной строчки нельзя выкинуть из произведений великих поэтов — от этого мир стал бы беднее.

— А мне это показалось великим... то немногое, что я читал, — неуверенно проговорил он, — я и не подозревал, что он такой... так плох. Наверное, это видно по другим его сочинениям?

— И из той книжки, которую вы сейчас читали, можно было бы выкинуть многое, — безапелляционно заявила она авторитетным тоном.

— Должно быть, я их как-то пропустил, — отозвался он. — То, что я прочел, было действительно хорошо. Эти стихи словно пронизаны светом, который проник мне прямо в душу и всю ее осветил, точно солнце или прожектор какой. Вот как он на меня подействовал, но я, видно, плохой судья, что касается стихов, мисс.

Он как-то неловко умолк, смущенный и огорченный своим неумением изъясняться. В отрывке, только что им прочитанном, он почувствовал величие и трепет настоящей жизни, но не мог этого высказать. Он не умел выразить то, что чувствовал. Он сравнивал себя с матросом, который очутился бы в темную ночь на чужом корабле и ощупью разбирался бы в незнакомых ему снастях. Ну, что же, решил он, ведь от него самого зависит, как войти в этот новый для него мир. Еще не было той вещи, которой он при желании не научился бы. Теперь, видно, пришла пора учиться высказывать все то, что у него в душе, высказывать так, чтобы она понимала его. Она уже закрывала собой весь его горизонт.

— Вот Лонгфелло... — начала она.

— Да, я читал, — с живостью перебил он, желая показать ей, что и он как-то знаком с книгами, что и он не круглый невежда. — «Псалом жизни», «Эксцельсиор» и еще... да, кажется, вот и все.

Она кивнула головой и улыбнулась; почему-то он почувствовал в этой улыбке снисхождение — снисхождение и жалость.

Как глупо было с его стороны хвастаться своей начитанностью. Верно, этот Лонгфелло написал еще кучу всяких стихов.

— Простите меня, мисс, что я вас так перебил. Я, видно, попросту ничего в этих вещах не смыслю. У нас, в простонародье, про них не знают. Но я добьюсь того, что хоть один простой человек научится этому.

В его словах звучало нечто вроде угрозы. В голосе слышалась решительность, в чертах лица появилась какая-то резкость. Ей показалось, что даже подбородок у него как-то изменился: в нем чувствовалось что-то неприятно угрожающее. Но вместе с тем от него повеяло на нее чисто мужской силой.

— Я думаю... что вы добьетесь этого, — закончила она и рассмеялась. — Вы сильный человек.

Взгляд ее на мгновение остановился на его мускулистой шее, с выступающими жилами, — на этой, почти бычьей шее, потемневшей от солнца, свидетельствовавшей о здоровье и силе. И хотя он сидел в эту минуту смущенный, с покрасневшим лицом, она вновь почувствовала, что ее тянет к нему. В голове у нее мелькнула мысль, которой она сама изумилась. Ей вдруг показалось, что если она обнимет эту шею, вся его сила и мощь передадутся ей. Она сама ужаснулась этому своему желанию. Оно словно доказывало ее бессознательную, скрытую порочность. К тому же физическая сила всегда казалась ей чем-то грубым, животным. Ее идеалом мужской красоты было утонченное изящество. И в то же время она никак не могла отделаться от этой мысли. Она сама не понимала, как у нее могло появиться желание обнять эту загорелую шею. В сущности, она была слаба и ей недоставало силы. Впрочем, она этого не сознавала. Она знала только одно: еще никто никогда так на нее не действовал, как этот человек, ежеминутно шокировавший ее своей неправильной речью.

— Да, хилым меня никто не назовет. Если понадобится, я могу и железо переварить. Но сейчас у меня что-то вроде несварения. Многое из того, что вы говорили, я никак переварить не могу. Ведь меня, понимаете, этому не учили. Я люблю читать, люблю стихи, и когда у меня бывало свободное время, я читал, но никогда не задумывался над прочитанным,

вот как вы. Поэтому я и разговаривать о книгах не умею. Я словно человек, пустившийся в плавание по незнакомому морю без компаса и карты. А теперь мне захотелось узнать, где я нахожусь. Может быть, вы поможете мне? Скажите мне, откуда вы-то сами узнали все, про что сейчас говорили?

— Я ходила в школу, разумеется, и сама училась, — ответила она.

— Да и я маленьким в школу ходил, — возразил он.

— Да, но я имею в виду высшую школу, лекции, университет.

— Вы учились в университете? — спросил он с нескрываемым удивлением, почувствовав, что она отдалилась от него еще на целые миллионы миль.

— Я еще и не окончила его. Слушаю специальный курс филологии.

Он не знал, что такое «филология», но, мысленно отметив свое невежество, продолжал:

— А сколько времени мне пришлось бы учиться для того, чтобы поступить в университет?

Она ободряюще улыбнулась.

— Это зависит от того, много ли вы уже знаете. Вы в средней школе не были? Ну, конечно, нет. А окончили ли вы начальную?

— Мне еще два года оставалось, когда я ушел, — ответил он. — Но учился я всегда хорошо.

И тотчас же он сам на себя рассердился за хвастовство и так впился в ручки кресла, что у него даже заныли пальцы. В тот же миг он увидел, что в комнату вошла женщина. Молодая девушка тотчас же встала и быстро направилась ей навстречу. Они поцеловались и, обнявшись, подошли к нему. «Наверное, ее мать», — подумал он. Это была высокая блондинка, стройная, величественная, красивая. Ее платье, как и следовало ожидать, соответствовало обстановке. Изящные его складки радовали взоры Мартина. И женщина эта, и одежда ее напоминали ему актрис, которых он видел на сцене. Затем он вспомнил, что видел еще таких же важных дам, в таких же платьях, у подъездов лондонских театров; сам он в это время стоял на

панели и глазел на них, пока полицейский не выгонял его из-под навеса на мостовую, под дождь. Затем в его воображении пронеслась другая картина: «Гранд-отель» в Йокохаме, где он тоже издали наблюдал важных дам. И тут же перед ним целой вереницей замелькали виды Йокохамы — города и порта. Но он тотчас прогнал от себя этот калейдоскоп картин: ему нужно было подумать о настоящем. Он знал, что должен встать, чтобы быть представленным хозяйке дома, смущенно поднялся с места; брюки его оттопыривались на коленях, руки беспомощно висели, придавая ему комичный вид, но на лице его появилось выражение твердой решимости как-нибудь перенести предстоящую ему пытку.

ГЛАВА II

Процедура перехода в столовую стала для него настоящим кошмаром. Он столько раз останавливался и спотыкался, словно его дергало или бросало из стороны в сторону, что чуть было совсем не потерял надежды благополучно дойти. Но пытка все-таки окончилась, и он оказался за столом рядом с ней. Его испугало количество разложенных ножей и вилок. В них таилась какая-то неведомая опасность; он смотрел на них, словно зачарованный, пока их блестящая поверхность не превратилась, наконец, в фон, по которому целой вереницей потянулись картины из его жизни на судах. Он видел себя и своих товарищей за едой: они резали солонину карманными ножами и пальцами отправляли ее в рот или же хлебали гнутыми жестяными ложками густой гороховый суп из котелков. Он словно чуял вонь тухлой говядины и слышал громкое чавканье соседей, раздававшееся под аккомпанемент скрипа мачт и переборок. Он мысленно смотрел на товарищей и решил, что они едят, как свиньи. Но здесь он последит за собой. Чавкать не будет. Только бы не забываться.

Он окинул взглядом стол. Против него сидели Артур и второй брат, Норман. «Ее братья!» — подумал он и у него возник-

ло к ним теплое чувство. Как они любят друг друга, члены этой семьи! Он вспомнил, как вошла в комнату ее мать и как они обе шли, обнявшись. В том мире, где он жил, ему не приходилось видеть таких проявлений любви между родителями и детьми. Это было для него откровением, показывавшим, какой высоты достигла жизнь высших слоев общества. Это было самое прекрасное из всего, что он видел в этом мире, куда ему только что удалось заглянуть. Его растрогала эта нежность, душа его была преисполнена симпатии и тепла. Всю жизнь он жаждал любви. Его натура требовала этого. Он органически в ней нуждался. А между тем ему пришлось обходиться без нее — и это его ожесточало. Он до сих пор сам не сознавал, что любовь ему необходима, да и сейчас еще не понял этого. Он только видел проявление любви и почувствовал трепет в душе — так это было прекрасно, возвышенно, чудесно.

Он был рад, что мистер Морз отсутствует. И без того он испытывал страх, когда пришлось знакомиться с ней, ее матерью и с ее братом Норманом (Артура он уже немного знал). Он чувствовал, что будь тут еще отец, он не выдержал бы. Ему казалось, что еще никогда в жизни он не выполнял такой тяжелой работы. Самый каторжный труд — и тот был бы детской игрой в сравнении с этим. На лбу у него выступили капельки пота, а рубашка его от напряжения и усилия делать одновременно множество непривычных ему вещей была мокрой, хоть выжимай. Ведь ему нужно было есть так, как он никогда в жизни не ел, пользоваться незнакомыми приборами, украдкой поглядывать на соседей и учиться у них, как поступать; вместе с тем на него обрушился целый поток новых впечатлений, которые нужно было отмечать и классифицировать, а в душе у него росло влечение к ней, выражавшееся каким-то ноющим беспокойством, и при этом он чувствовал острое желание стать похожим на людей ее класса. Мысли его все время отвлекались и возвращались к вопросу, каким путем добиться ее. Кроме того, когда взгляд его падал на Нормана или на кого-нибудь другого из присутствующих (он все время посматривал на них, чтобы знать, за какую вилку или за какой нож взяться), черты лица этого человека запечатлевались у него в мозгу, и он невольно

стремился дать ему оценку и угадать, каковы их отношения. К тому же ему нужно было разговаривать, слушать то, что ему говорят, и те замечания, которыми обмениваются остальные, да еще отвечать, когда это требовалось, при этом все время внимательно следить за собой, чтобы не ввернуть какое-нибудь неподходящее словцо. Вдобавок его бесконечно смущал слуга — беспрестанная угроза, вдруг бесшумно выраставшая рядом с ним, истый сфинкс, задававший загадки, которые нужно было разгадывать немедленно. В течение всего обеда его угнетала мысль о предстоящем появлении полоскательниц для рук. Эта мысль упорно и некстати возвращалась к нему множество раз. «Когда же их принесут и на что они похожи?» — думал он. Он слыхал, что существуют подобные штуки, и ждал, что он вот-вот увидит их; ведь он сидит за столом с возвышенными существами, употребляющими также необыкновенные вещи, больше того, он сам сейчас должен будет обмакнуть пальцы в такие сосуды. А где-то глубоко в душе таился еще, постоянно всплывая на поверхность, важнейший из всех вопросов: как ему держаться с этими людьми? Как себя вести? Этот вопрос неотступно мучил его. То у него появлялось малодушное желание притвориться, сыграть какую-то роль; то затем, на смену этому желанию, приходила еще более беспомощная мысль, что он не сумеет выдержать этой роли, это совершенно не свойственно его природе и что он только окажется в дураках.

В начале обеда он сидел очень тихо: он еще не решил, как держать себя. Он не подозревал, что его спокойствие опровергает слова Артура, сказавшего накануне родным, что на следующий день приведет к обеду дикаря, но чтобы это их не шокировало, так как дикарь этот очень интересен. Мартин Иден в эту минуту ни за что бы не поверил, что ее брат способен на подобное вероломство, особенно после того, как он, Мартин, выручил его из такой опасной драки.

Он сидел за столом, смущаясь своей неловкостью, и в то же время восхищенный всем окружающим. Впервые в жизни он понимал, что еда может быть не только простым актом утоления голода. Раньше он никогда не замечал, что ест. Для него это была просто пища. Но здесь, за этим столом, где еда явля-

лась эстетическим процессом, он мог удовлетворить свое чувство прекрасного. Мозг его горел. Он слышал непонятные слова и такие, которые встречал только в книгах и которые никто из знакомых ему мужчин или женщин не произносил вследствие недостатка воспитания. Когда он слышал, как все члены этого удивительного семейства — ее семейства — небрежно произносят такие слова, он чувствовал, что весь дрожит от восторга. Значит, книги, где говорилось, что существует на свете красота, романтика, увлекательная жизнь, писали правду. Он находился в блаженном состоянии человека, который видит, как осуществляются его самые фантастические мечты.

Никогда еще он не возносился на такие высоты. Он старался стушеваться, слушал, наблюдал и наслаждался, давая лишь односложные ответы: «да, мисс», «нет, мисс», когда говорил с ней, и «да, мэм» или «нет, мэм», когда говорил с ее матерью. По привычке к морской дисциплине ему все время хотелось ответить и ее брату: «да, сэр» или «нет, сэр», но он удерживался, чувствуя, что этого не следует делать, ибо он сам признался бы, что стоит ниже его. И это только помешает ему впоследствии добиваться ее. К тому же в нем заговорила гордость. «Черт возьми! — мысленно восклицал он. — Я ничуть не хуже их. Если они и знают кучу вещей, которых не знаю я, то ведь и я могу научиться!» Но стоило ей или ее матери обратиться к нему, называя его «мистер Иден», как тотчас же исчезала вся его гордость и строптивость и он весь трепетал от восторга. Ведь он культурный человек и сидит за одним столом с теми людьми, о которых до сих пор только читал в книгах! Он сам в собственных глазах превратился в персонажа из романа, и порой ему казалось, что он странствует по печатным страницам переплетенных томов.

Но, опровергая своим поведением характеристику Артура и проявляя себя скорее кротким ягненком, чем диким львом, Мартин мучительно ломал себе голову над тем, как ему дальше держать себя. Ведь на самом деле он далеко не кроткий ягненок, и играть вторую скрипку вовсе не было свойственно его живой натуре. Он открывал рот лишь тогда, когда это было необходимо, и речь его звучала так же неуверенно, как неуверенна была

его походка в этих комнатах: он останавливался, запинался, искал слова в своем лексиконе, представлявшем собой смесь разных жаргонов, боялся, что не сумеет произнести то или иное подходящее выражение, или не решался выговорить другое, чувствуя, что его не поймут, или что оно покажется слишком резким и грубым. При этом он все время сознавал, что это тщательное подбирание слов делает его смешным, мешает ему выразить все то, что у него на душе. Его любовь к свободе протестовала против этих ограничений так же, как протестовала его шея против надетой на нее колоды в виде крахмального воротничка. Он был уверен, что не сумеет долго так выдержать. От природы в нем были заложены здравый смысл и сильные чувства, и творческий дух беспокойно и настойчиво искал себе выхода. Когда какое-нибудь представление или ощущение овладевало им, он мучительно старался воплотить его в слова, выразить его — и тогда он забывал, где находится, и у него вырывались привычные восклицания и выражения.

Как-то раз, когда ему надоел что-то предлагавший ему лакей, он громко и резко сказал ему:

— Пфа!

Все присутствующие тотчас же насторожились; лакей нахально ухмыльнулся, а Мартин готов был провалиться сквозь землю. Впрочем, он быстро сориентировался.

— Это гавайское слово, оно значит: «хватит», — объяснил он. — Оно как-то невольно вырвалось у меня.

В это мгновение он заметил, что она с любопытством разглядывает его руки. По инерции он продолжал:

— Я только что приехал на одном из тихоокеанских пароходов. Он пришел сюда с опозданием, и потому нам пришлось во всех портах работать, как неграм, чтобы скорее нагрузиться. А груз-то у нас был смешанный — если вы только понимаете, что это значит. Вот и руки у меня все в ссадинах.

— Да я вовсе не об этом думала, — в свою очередь поспешно оправдывалась она. — Мне кажется, что для такого крупного мужчины руки у вас маловаты.

Он вспыхнул, приняв это как замечание о физическом недостатке.

— Да, — огорченно сказал он. — Они не всегда выдерживают напряжение. Зато в плечах я силен, как мул, слишком даже силен: как хвачу кого-нибудь по зубам, так и руки у меня обязательно пострадают.

Но он тотчас же пожалел о сказанном и почувствовал отвращение к самому себе. «Распустил язык и начал болтать всякую чушь!»

— Какой вы храбрый: пришли на помощь Артуру, совсем незнакомому человеку! — тактично проговорила она, чувствуя его смущение, но не догадываясь о его причине.

Он тотчас же понял, что она старается его выручить, и горячее чувство благодарности охватило его. Под влиянием этого чувства он опять потерял контроль над собой.

— Ерунда, — сказал он. — Как было не помочь парню? Эти хулиганы так и выискивали, к чему бы придраться, а Артур вовсе их не трогал. Они ни с того ни с сего накинулись на него, а тут уж и я на них налетел да и проучил их. От этого у меня руки тоже немножко пострадали — зато я не один зуб им вышиб. Я ужасно рад этому. Когда я вижу...

Он так и застыл с открытым ртом, сознавая всю свою ничтожность и чувствуя себя недостойным дышать одним воздухом с ней. Артур, между тем, в двадцатый раз рассказывал о своем столкновении с пьяными хулиганами на пароме и о том, как Мартин Иден бросился к нему на помощь и спас его. Сам же Мартин в это время сидел, насупив брови, думая о том, что он опять сделался общим посмешищем, и вновь пытаясь разрешить вопрос, как же ему вести себя с этими людьми. Ясно, что он не сумел поставить себя как следует. Сразу чувствовалось, что он слеплен из другого теста и не может говорить их языком. Так он мысленно рассуждал. Не умеет он под них подделаться, притворяться не к чему, да к тому же притворяться и не в его характере. Обман, лицемерие — все это не для него. Будь что будет, но он должен оставаться самим собой. Правда, он теперь еще не умеет правильно разговаривать, но он научится — только дайте срок. Это он твердо решил. А пока он не станет молчать, но будет говорить по-своему, разумеется, выбирая слова, чтобы они понимали его и чтобы не слиш-

ком уже шокировать их. А кроме того, он не будет делать вид, что знает то, что ему на самом деле неизвестно, и даже не станет молчанием вводить их в заблуждение. Поэтому, когда братья, разговаривая об университетских делах, несколько раз произнесли слово «триг», Мартин Иден спросил:

— А что такое «триг»?

— Тригонометрия, — ответил Норман. — Одна из отраслей «мат».

— А что такое «мат»? — последовал вопрос, вызвавший у Нормана легкую усмешку.

— Математика — арифметика, — был ответ.

Мартин Иден кивнул головой. Он заглянул в беспредельную область знания. Виденное им начинало теперь принимать определенную форму и превращаться силой яркого воображения из отвлеченного представления в нечто конкретное. Тригонометрия, математика и вся та отрасль знания, к которой они относились, превратилась в лаборатории его мозга в какой-то особый пейзаж. Он видел уходящие в бесконечность зеленеющие просеки, лесную чащу, озаренную мягким светом или же прорезанную яркими лучами. Смутно вырисовывалась даль, окутанная пурпурной дымкой; но за этой дымкой скрывалось, он знал, таинственное, неведомое, прекрасно романтическое. Это видение опьяняло его, как вино. Перед ним расстилался мир, полный приключений, где найдется работа и для мозга, и для рук, — мир, который нужно было завоевать. И тотчас же в глубине подсознания у него шевельнулась мысль: «Завоевать его, чтобы завоевать ее, бледную, как лилия, девушку, сидевшую рядом с ним».

Однако Артур, все время мечтавший продемонстрировать родным дикаря, рассеял своими расспросами лучезарное видение. Мартин Иден вспомнил о своем решении. Впервые за весь вечер он стал самим собой; сначала он это делал сознательно и преднамеренно, но вскоре радость творчества заставила его забыть все окружающее: он с восторгом описывал ту жизнь, которую знал, воплощая ее в живые образы перед своими слушателями. Он был матросом на контрабандистской шхуне «Алкион», когда ее захватил таможенный

катер. Он умел видеть и умел передать виденное. Перед его слушателями развернулись картины бурлящего моря, судов, плавающих по нему, и людей, находящихся на этих судах. Он сумел заразить слушателей своей способностью видеть, так что и им все эти картины представлялись воочию. Как настоящий художник, он выбирал из массы подробностей только нужные, рисовал картины из жизни яркие и красочные, полные движения, и увлекал за собой слушателей своим грубоватым красноречием, силой слова и энтузиазмом. Порой он шокировал их откровенной реальностью описаний или резкими выражениями, но в речи его была не только грубость, но и красота, трагизм смягчался юмором и анекдотами, иллюстрировавшими оригинальное мировоззрение матросов.

Пока он говорил, молодая девушка не отрывала от него удивленного взгляда. Огонь, которым он горел, передался и ей. Ей показалось, что она до сих пор жила в каком-то холодном, обледенелом царстве. Ей хотелось прильнуть к этому полному внутреннего пламени человеку, от которого веяло мощью, как от вулкана, извергающего потоки лавы, — веяло силой и здоровьем. Она испытывала желание опереться на него и сдерживалась лишь усилием воли. Но вместе с тем что-то отталкивало ее от него: его израненные руки, огрубевшие от тяжелой работы так, что в них, казалось, въелась вся житейская грязь; красная полоска, натертая воротничком, выпуклые мускулы. Его грубость внушала ей страх. Каждое грубое слово оскорбляло ее слух, каждая грубая подробность в его рассказах оскорбляла ее чувства. Но минутами ее так безумно тянула к нему, ей казалось, какая-то дьявольская сила. Все устои жизни, в которые она привыкла верить, заколебались. Дух приключений, который наполнял его, начинал подрывать привычные ей условности. Под влиянием его пренебрежения к опасности, его юмора менялся ее взгляд на жизнь: она уже казалась ей не серьезным и трудным делом, а игрой, мячиком, которым можно было небрежно швыряться ради развлечения, чтобы в конце концов так же небрежно отбросить его прочь. «И потому играй, пока можешь! — звучало у нее в душе. — Прижмись к нему, если тебе этого хочется, и обними его за шею!» Смелость

этой мысли так ужаснула ее, что она чуть не закричала; тщетно цеплялась она за собственную чистоту и культуру, за все то, чем обладала она и что отсутствовало у него. Она оглянулась вокруг и увидела, что все присутствующие слушают его с вниманием, всецело поглощенные его словами; она готова была прийти в отчаяние, если бы не увидела в глазах матери выражения ужаса, смешанного с очарованием, но все-таки ужаса. Значит, правда, что в этом человеке, вынырнувшем из тьмы, есть злое начало. Это чувствовала ее мать, а она ошибаться не могла. Она и на этот раз должна была поверить матери, как всегда верила ей во всем. Его внутренний огонь уже перестал воспламенять ее, и страх перед ним уже не сжимал ей сердца.

А потом она села за рояль и играла ему, демонстративно играла для него, в смутной надежде подчеркнуть, как непроходима пропасть между ними. Игра ее была оружием — тяжелой палицей, которой она грубо наносила ему удары; но эти удары, хотя они и ошеломляли, и подавляли его, вызывали в нем вместе с тем жажду борьбы. С благоговением он смотрел на нее. И в его представлении пропасть между ними теперь казалась шире; но чем больше она росла, тем сильнее ему хотелось перекинуть через нее мост. Однако его отличала слишком живая реакция и сильная впечатлительность, чтобы сидеть весь вечер и мысленно созерцать пропасть, особенно слушая музыку. Музыка необычайно сильно действовала на него. Она опьяняла его, точно крепкий напиток, под ее влиянием обострялись чувства; музыка, как наркотик, всецело овладевала его воображением и уносила его куда-то ввысь, в небеса. Под ее звуки он забывал всю серость жизни; душа его наполнялась красотой, стремлением ко всему романтическому, словно окрылялась. Ту музыку, которую он теперь слышал, он не понимал — так не похожа она была на пиликанье рояля на танцульках и на рев привычных для него оркестров. Но в книгах он читал о подобной музыке и теперь принимал на веру искусство Рут. Сначала он все ждал, что услышит наивную мелодию с резко определенным ритмом, но мелодия эта длилась лишь на протяжении нескольких тактов, и это приводило его в недоумение. Не успевал он схватить ее и унестись на крыльях воображения,

как она пропадала, утонув в каком-то хаосе звуков, казавшемся ему бессмысленным; воображение его тотчас же прекращало свой полет, и он опять возвращался на землю.

На миг ему даже пришло в голову, что молодая девушка насмехается над ним. Он почувствовал в ней какую-то враждебность и старался угадать, что хотят сказать ее руки, бегающие по клавишам. Но он тотчас же отбросил это предположение как нечто невозможное, недостойное ее, и вновь весь отдался музыке. Опять вернулось прежнее блаженное состояние. Ноги его словно отделились от земли, он не чувствовал своего тела, казалось, он стал духом; в глазах у него стояло какое-то лучезарное сияние; все окружающее исчезло, и он унесся куда-то далеко, на край земли — родной, дорогой его сердцу земли. И знакомое, и неведомое сплелись вместе в дивные мечты, выстраивающиеся перед его мысленным взором. Он переносился в незнакомые порты каких-то солнечных стран, блуждал по рынкам, окруженный толпой невиданных дикарей. До него доносился запах пряностей, который он ощущал, подплывая к южным островам в теплые безветренные ночи; в течение долгих, бесконечных дней под лучами тропического солнца он боролся с юго-восточным пассатом, плыл мимо увенчанных пальмовыми рощами коралловых островов, погружавшихся позади судна в бирюзовые волны моря, между тем, как впереди из той же бирюзовой глади вырастали новые коралловые островки, также увенчанные пальмами. Быстрее мысли мелькали картины, одна за другой. То он мчался верхом на техасской лошадке по волшебной, залитой яркими красками пустыне; то он глядел, задыхаясь от жара, вниз, в белеющую гробницу Долины Смерти; то он работал веслами среди полузамерзшего моря, и кругом него высились сверкавшие на солнце огромные плавучие ледяные горы. То он вдруг лежал на берегу моря, на коралловом песке, под тенью кокосовых пальм, и прислушивался к легкому плеску прибоя. Корпус давно потерпевшего крушение судна горел синеватым пламенем, и при свете его он видел пляшущих людей. Они плясали хулу, а вокруг них певцы напевали под треньканье укулейлей и грохот тамтамов полную любовного призыва песнь. Тропическая ночь дышала

негой. На заднем плане на фоне звездного неба вырисовывался кратер вулкана. По небу плыл бледный двурогий месяц, а над горизонтом горел Южный Крест...

Мартин Иден словно стал эоловой арфой. Сознание его, пережитые им в течение жизни впечатления были струнами, и музыка, словно ветер, ударяла по ним и заставляла их колебаться, навевая ему воспоминания и мечты. Но он не только предавался ощущениям — он придавал им окраску, форму и сияние и силой своего смелого воображения конкретизировал их в возвышенные, волшебные образы. Прошлое, настоящее и будущее сливались в нечто единое; а он все странствовал по безграничному, ласкающему его миру, переживая необычайные приключения, совершая благородные подвиги, и направлялся к ней, — нет, он шел бок о бок с ней, побеждал ее сердце, обнимал ее и уносил с собой в волшебном полете, на крыльях своей фантазии.

А она, оглянувшись на него, прочла на его лице все эти чувства. Он весь преобразился: его широко открытые, блестящие глаза глядели куда-то вдаль, за завесу звуков, и видели позади нее биение сердца жизни, гигантские призраки фантазии. Она была поражена. Куда исчез грубый, неотесанный парень?! Правда, оставались все тот же дешевый, плохо скроенный костюм, те же огрубелые руки, то же обветренное лицо; но сквозь них, как сквозь решетки темницы, виднелась душа, великая душа, молчавшая лишь потому, что слабые уста не умели повиноваться ей. Только на одно краткое мгновение она увидела это; миг — и перед ней опять был неотесанный парень и она рассмеялась своей фантазии. Однако впечатление от этого краткого мига исчезло не сразу; и потому, когда он неуклюже встал, намереваясь уйти, она на прощание дала ему два томика — Суинберна и Броунинга; она как раз изучала Броунинга в университете. Мартин показался ей совсем еще мальчиком, когда, краснея и сконфуженно запинаясь, благодарил ее, и ее охватило чувство чисто материнской нежности и жалости к нему. Она уже не видела в нем ни грубого парня, ни духа, заключенного в темницу, ни мужчину, очаровавшего и испугавшего ее тем, что он по-мужски посмотрел на нее; она

видела теперь в нем только мальчика, державшего ее руку в своей огрубевшей руке, напоминавшей терку и царапавшей ей нежную кожу, который, запинаясь, говорил:

— Это самый светлый день моей жизни. Видите ли, я не привык.. — он беспомощно оглянулся — ... к такой обстановке и к таким людям. Для меня все это ново и очень нравится мне.

— Надеюсь, вы будете заходить к нам, — сказала она, когда он прощался с ее братьями. Он натянул кепку, неловкой походкой устремился к двери и исчез.

— Ну, как ты нашла его? — спросил Артур.

— Он очень интересен, освежает, точно озон, — ответила она. — А сколько ему лет?

— Двадцать. Почти двадцать один. Я сегодня как раз спросил его, не думал, что он так молод.

«Значит, я на три года старше его», — промелькнуло у нее в голове, когда она целовала на прощание своих братьев.

ГЛАВА III

Спускаясь с лестницы, Мартин Иден быстро опустил руку в карман и вытащил оттуда коричневую рисовую бумажку и щепотку мексиканского табаку. Ловким движением он скрутил папиросу, глубоко затянулся и не сразу выдохнул дым, а медленно, как бы с сожалением выпуская его.

— Боже мой! — произнес он с каким-то благоговейным изумлением. — Боже мой! — повторил он и еще в третий раз пробормотал: — Боже мой!

Затем он поднял руку, сорвал с шеи воротничок и сунул его в карман. Моросил холодный дождик, но Мартин, не обращая на него внимания, обнажил голову, расстегнул куртку и быстро зашагал. Что идет дождь — это он сознавал лишь смутно. Он был в экстазе: перед ним мелькали мечты и видения только что пережитого им.

Наконец-то он встретился с ней — той женщиной, о которой до сих пор почти и не думал, — ведь он вообще редко думал о женщинах, — но которую всегда ждал, в смутной надежде, что, наконец, встретит ее. Он сидел рядом с ней за столом. Он ощутил пожатие ее руки, смотрел ей в глаза и видел в них отражение прекрасной души. Но не менее прекрасны были и глаза, в которых светилась эта душа, и тело, в которое она была заключена. Впрочем, он не думал о теле Рут, как о чем-то физическом, и это было ново для него, ибо до сих пор женщины интересовали его лишь с этой точки зрения. Однако на этот раз его охватило иное чувство. Он не мог поверить, что тело ее — из плоти и крови и что оно подвержено болезням и разрушению, как всякое живое тело. Для него это было нечто большее, чем оболочка ее души. Оно казалось ему эманацией ее духа, чистейшей и прелестнейшей кристаллизацией ее сущности. Сознание, что в ней есть нечто божественное, поразило его. Оно заставило его очнуться от мечтаний и вернуться к более трезвым мыслям. До этого мига его душу еще никогда не затрагивало религиозное чувство. Он не верил ни во что сверхъестественное. Он всегда был неверующим и добродушно посмеивался над священниками с их верой в бессмертие души. Он был убежден, что загробной жизни нет; человек живет лишь на земле, а затем погружается в вечный мрак. Но теперь он увидел в ее очах душу — бессмертную душу, которая не могла погибнуть. До этих пор никто — ни мужчина, ни женщина — не сумел внушить ему представления о бессмертии. Впервые это сделала она. Она будто шепнула ему об этом в первый же миг, когда он увидел ее. Он шел по улице и видел перед собой ее лицо, бледное, серьезное, ласковое и впечатлительное; оно улыбалось ему с нежностью и жалостью, улыбалось так, как может улыбаться только ангел; от него веяло непорочностью — такой непорочностью, о которой он и мечтать не смел. Эта ее чистота поражала его, он был буквально ошеломлен ею. До этих пор он знавал людей хороших и дурных, но о том, что могут быть на земле совершенно чистые существа, — об этом он и не задумывался. И теперь, при виде ее, у него появилось ощуще-

ние, что душевная чистота является высшей формой нравственного совершенства, ведущей к вечной жизни.

Тотчас же у него родилось тщеславное желание приобщиться к этой вечной жизни. Что он не достоин развязать шнурок на ее обуви — это он отлично сознавал; ведь лишь благодаря какой-то роковой фантазии, чудесному стечению обстоятельств ему удалось увидеть ее, говорить с ней, провести с ней целый вечер. Это была чистая случайность. В этом не было никакой заслуги с его стороны. За что ему подобное счастье? Его охватило чисто религиозное настроение — сознание собственного ничтожества, ощущение душевной кротости, самоунижения и приниженности. Это было именно то настроение, в котором к грешникам приходит раскаяние. Что он грешник — он сознавал ясно. Но так же, как преисполненный кротости раскаявшийся грешник, стоящий у исповедальни, мысленно заглядывает в будущую, полную гордого блаженства жизнь, так и перед Мартином мелькали видения того блаженства, которое станет его уделом, когда он будет обладать ею. Однако это будущее обладание представлялось ему в какой-то смутной, неясной форме и совершенно не похожим на обладание другими женщинами, которых он знал. Он уносился ввысь на крыльях своих честолюбивых мечтаний, поднимался вместе с ней на головокружительные высоты, делился с ней своими мыслями, вместе с ней наслаждался всем, что есть в жизни прекрасного и благородного. Ему хотелось обладать ее душой; он мечтал о чистом, чуждом всякой физиологии обладании ею, о свободном духовном союзе, которому не мог подыскать точного определения. Но он об этом и не думал. Вообще он ни о чем не думал. Мысль уступила место эмоциям: он весь трепетал от никогда еще не испытанных чувств и с наслаждением погружался в эту волну ощущений, возвышенных и одухотворенных, которая уносила его на самые высокие вершины жизни.

Он шел, пошатываясь, точно пьяный, и благоговейно шептал вслух: — Боже мой! Боже мой!

Стоявший на углу полицейский подозрительно оглядел его; вдруг он заметил его характерную для матроса походку:

— Где насвистался? — спросил полицейский.

Мартин Иден вернулся на землю. Мозг его отличался необычайной подвижностью, он быстро приспосабливался к любой ситуации и мгновенно реагировал на самые различные обстоятельства. Услыхав окрик полицейского, он вмиг опомнился и тотчас же сообразил, где находится.

— Здорово! — рассмеялся он в ответ. — Я и не заметил, что разговаривал вслух.

— Скоро запоешь, — авторитетно заявил полицейский.

— Нет, не запою. Нельзя ли спичечку? Я закурю, сяду в первый же трамвай и поеду домой.

Он закурил папиросу, пожелал полицейскому спокойной ночи и продолжал свой путь. «Ну и штука! — прошептал он про себя. — Фараон-то вообразил, будто я пьян. — Он улыбнулся и погрузился в размышления. — Да, он, пожалуй, прав, вот уж я не думал, что опьянею от женского лица!»

На Телеграф-авеню он сел в трамвай, шедший в Беркли. Трамвай был полон учащейся молодежи; молодые люди пели песни и время от времени издавали призывный клич своих колледжей. Он начал с любопытством разглядывать их. Ведь это были студенты университета. Они посещали тот же университет, что и она, принадлежали к одному с ней обществу, быть может, были знакомы с ней, могли видеться с ней каждый день, если хотели. Он удивлялся, что им этого не хочется, что они куда-то ездили веселиться вместо того, чтобы провести вечер с нею, усевшись вокруг нее и почтительно преклонившись перед ней. Мысли его унеслись вдаль. Среди студентов он заметил одного с узенькими, как щель, глазами и чувственными губами. Он решил, что этот человек порочен. Будь он в команде на судне, он наверное оказался бы подлецом и доносчиком. Он, Мартин Иден, несомненно превосходит в нравственном отношении этого субъекта. Эта мысль придала ему бодрости, словно он таким образом приблизился к ней. Он начал сравнивать себя с этими студентами. Он вдруг ощутил всю крепкую мускулатуру своего тела и понял, что в физическом отношении все эти студенты уступают ему. Но они обладали запасом знаний, благодаря которому могли разговаривать

на ее языке. Это сознание угнетало его. Впрочем, а ему-то на что дан мозг, страстно спрашивал он себя. Того, чего добились они, мог добиться и он. Ведь они изучали жизнь по книгам, между тем как он переживал ее. Ведь и у него знаний не меньше, чем у них, но только знания эти другого рода. Кто из них, например, сумел бы связать тали, стоять на руле или на вахте? Перед ним начали разворачиваться один за другим эпизоды из его жизни, полной опасностей, подвигов, лишений и труда. Он вспомнил, сколько неудач постигло его, сколько раз ему случалось преодолевать трудности, пока он еще изучал жизнь. Ну, теперь-то он ее знает основательно — и в этом его преимущество перед этими людьми. Ведь им еще предстоит начать самостоятельную жизнь и пройти через то горнило, через которое уже прошел он. Ладно, пока они будут заняты этим, он может изучать по книгам другую сторону жизни.

Трамвай, между тем, уже достиг сравнительно пустынной полосы, с разбросанными там и сям домами, которая разделяет предместья Окленд и Беркли. Мартин ждал, когда покажется знакомый двухэтажный дом, на фасаде которого горделиво красовалась вывеска «Бакалейная торговля Хиггинботама». На углу он вышел и посмотрел на вывеску. Она являлась для него известным символом — символом мещанского эгоизма и мелкого жульничества, которым, казалось, так и веяло от каждой ее буквы. Бернард Хиггинботам был мужем его сестры, и он хорошо знал его! Мартин открыл дверь своим ключом, вошел и поднялся по лестнице на второй этаж. Там жил его зять. Лавка же находилась внизу. В воздухе носился запах гнилых овощей. В темной прихожей, где Мартину пришлось брести ощупью, он натолкнулся на игрушечную тележку, брошенную кем-то из его многочисленных племянников или племянниц, и с грохотом ударился о дверь. «Мелочная экономия, — подумал он. — Так скуп, что боится сжечь газу на два лишних цента; ему нипочем, если его жильцы сломают себе шею».

Мартин нащупал ручку двери и вошел в освещенную комнату, в которой сидели его сестра и Бернард Хиггинботам. Она чинила его брюки, а он растянулся своим тощим телом на двух стульях; ноги его, обутые в поношенные мягкие туф-

ли, свешивались через край второго. Хиггинботам взглянул на Мартина поверх газеты, которую читал, своими темными, проницательными, лживыми глазами. Мартин не мог без отвращения смотреть на него. Что нашла его сестра в этом человеке, он не мог понять. Хиггинботам всегда представлялся Мартину каким-то гадом, которого ему хотелось раздавить ногой. «Вот возьму как-нибудь и расквашу ему морду», — иногда утешал он себя за то, что до сих пор терпел близость этого человека. Теперь эти острые и злые, как у хорька, глаза укоризненно смотрели на вошедшего.

— Ну, в чем еще дело? — спросил Мартин. — Выкладывай.

— Недели нет, как я эту дверь выкрасил, — не то хныча, не то угрожающим голосом произнес мистер Хиггинботам, — а ведь ты сам знаешь, что платить за работу приходится теперь по ставкам союзов. Надо быть осторожнее.

Мартин собрался было ему ответить, но понял, что это безнадежно. Он отвел взгляд от этого человека, готового удавиться за грош, и устремил его на литографию, висевшую на стене. Что-то в ней поразило его. Раньше она нравилась ему, но сейчас ему показалось, будто он впервые ее видит. Он вдруг понял, в чем дело: это была дешевая вещь, как и все в этом доме. Мысли его перенеслись в квартиру, которую он только что покинул. Он увидел сначала картины в комнатах, а потом ее и вспомнил нежный взгляд, которым она окинула его, когда на прощание подала ему руку. Он забыл все окружающее, забыл даже о существовании Бернарда Хиггинботама, как вдруг почтенный торговец спросил:

— Ты что это — привидение увидел, что ли?

Мартин подошел к нему и посмотрел ему в глаза — в эти маленькие, точно бусинки, глаза, насмешливые, хвастливые и трусливые, — и в этот миг ему, точно на экране, представились те же самые глаза и их выражение в тот момент, когда Хиггинботам лебезил перед покупателем в лавке: тогда они становились масляными и выражали угодливость, лесть, низкопоклонство.

— Да, — ответил он. — Я увидел привидение. Покойной ночи. Покойной ночи, Гертруда.

Он вышел из комнаты, но по дороге чуть не упал, зацепившись ногой за край поношенного ковра.

— Смотри, не хлопни дверью, — предупредил его мистер Хиггинботам.

Мартин почувствовал, что в нем закипает кровь, но сдержался и тихо закрыл за собой дверь.

Мистер Хиггинботам с торжествующим видом посмотрел на жену.

— Он пьян, — хриплым шепотом заявил он. — Я говорил тебе, что он напьется.

Она покорно кивнула головой.

— Глаза у него здорово блестели, — согласилась она, — да и воротничка на нем уже не оказалось, хотя ушел-то он в воротничке... Но, может быть, он выпил всего стаканчик-другой?

— Он на ногах не стоит, — упорствовал ее муж, — я следил за ним. Он даже не мог по комнате пройти, не споткнувшись. Сама, надеюсь, слышала, что он чуть не свалился в прихожей.

— Да это он, кажется, о тележку Алисы споткнулся, — сказала она, — не увидел ее в темноте.

Мистер Хиггинботам начал злиться и постепенно повышать голос. В лавке ему приходилось целый день сдерживать себя, и только вечером, в кругу семьи, он мог позволить себе удовольствие становиться самим собой.

— Говорю тебе, что твой ненаглядный братец пьян.

Голос его звучал резко, холодно, безапелляционно; слова слетали у него с языка, точно их чеканила и выбрасывала какая-то машина. Жена его вздохнула и промолчала. Это была высокая, полная женщина, всегда небрежно одетая, вечно склонявшаяся под тройным бременем тучности, домашней работы и деспотизма мужа.

— Я тебе говорю, он в отца пошел, — продолжал мистер Хиггинботам тоном обвинителя. — И он точно так же окочурится, как и старик, вот помяни мое слово. Сама, небось, видишь!

Она кивнула головой, вздохнула и продолжала шить. Супруги оба пришли к согласию, что Мартин вернулся пьяным.

Души их были лишены способности понимать красоту, иначе они поняли бы, что блестящие глаза и пылающее лицо свидетельствовали о первой юношеской любви.

— Нечего сказать, хороший пример детям, — фыркнул вдруг мистер Хиггинботам, нарушая молчание, наступившее по вине его жены, которым он тяготился. Порой он готов был сожалеть, что она так мало возражает ему.

— Если он еще раз явится в таком виде, то пусть лучше убирается от нас. Поняла? Не потерплю я такого безобразия, чтобы он в пьяном виде дебоширил при невинных детях!

Мистеру Хиггинботаму нравилось новое словечко: он недавно вычитал его в газете и заучил.

— Да, это чистый дебош — вот что это такое!

Жена опять вздохнула, огорченно покачала головой и продолжала работать. Мистер Хиггинботам снова взялся за газету.

— Он уплатил за стол и комнату за прошлую неделю? — спросил он, выглядывая из-за газеты.

Она утвердительно кивнула и затем добавила:

— У него еще есть деньги.

— Когда он опять отправляется в плавание?

— Наверное, когда истратит все, что заработал за прошлый рейс, — ответила она. — Вчера он ездил в Сан-Франциско, искал судно, куда бы поступить на службу. Но у него еще водятся деньги и потому он очень разборчив.

— Скажите, пожалуйста! Всякий матросишка еще важничать будет! — опять фыркнул мистер Хиггинботам. — Разборчив, тоже! Он-то!

— Он что-то говорил про шхуну, которая готовится к отплытию в какие-то чужие страны — искать зарытый клад; сказал, что поедет на ней, если у него хватит денег дотянуть до дня ее выхода в море.

— Если бы он решил остепениться, я дал бы ему работу — разъезжать с фургоном, — сказал ее муж далеко не доброжелательным тоном. — Том ушел от меня.

Жена поглядела на него с тревожно-вопросительным выражением в глазах.

— Сегодня ушел. Поступает к Коррузерсам. Они обещают ему жалованье, которое я не в состоянии платить.

— Я тебя предупреждала, что придется с ним расстаться, — воскликнула она. — Ты слишком мало платил за его работу.

— Слушай, старуха, — с угрозой в голосе проговорил мистер Хиггинботам, — в тысячный раз говорю тебе, чтобы ты не совала нос не в свое дело. В последний раз повторяю.

— Мне все равно, — захныкала она. — Том был хороший мальчик.

Муж со злостью взглянул на нее, это была неслыханная с ее стороны дерзость.

— Если бы этот твой брат хоть грош стоил, он сам взялся бы ездить с фургоном, — буркнул он.

— Да ведь он же платит за стол и комнату, — последовал ответ. — И он мне брат, а раз он тебе ничего не должен, нечего и приставать к нему. Да и я могу, наконец, возмутиться, хотя и живу с тобой целых семь лет.

— Ты ему сказала, что он должен платить за лишний газ, если будет читать по ночам? — спросил он.

Миссис Хиггинботам не ответила. Ее возмущение угасло, уступив место усталости. Муж торжествовал. Он уничтожил ее. Глаза его горели злобным огнем, а слух наслаждался тихими всхлипываниями, которые порой вырывались у нее. Ему доставляло огромное удовольствие смирять ее; в последнее время это удавалось ему все легче, не то что в первые годы их совместной жизни, когда многочисленные дети и его постоянные придирки еще не успели надломить ее сил.

— Ну, так завтра же скажешь ему, — заявил он, — и вот что я еще хотел сказать тебе, чтобы не забыть: пошли завтра за Мэриен, чтобы она присмотрела за детьми. Раз Тома нет, то ездить с фургоном придется мне, а ты приготовься сидеть за прилавком.

— Да ведь завтра стирка, — слабо попыталась она возразить.

— Ну, тогда встань пораньше да и выстирай все. Я выеду около десяти.

Сердито зашуршав газетой, он вновь принялся за чтение.

ГЛАВА IV

Мартина все еще душила злость после встречи с зятем; он дрожал, когда, направляясь к себе, пробирался ощупью по темному коридору. Комната его представляла собой тесную каморку: в ней помещались только кровать, умывальник и стул. Мистер Хиггинботам был слишком скуп, чтобы нанимать прислугу — ведь работу прислуги могла выполнять его жена. К тому же он мог сдавать внаем комнату, предназначенную для прислуги, и держать, таким образом, двух жильцов вместо одного.

Мартин положил Суинберна и Броунинга на стул, снял куртку и уселся на кровать. От тяжести его тела пружины издали хриплый звук, словно одержимые астмой, но он ни на что не обращал внимания. Он начал было снимать башмаки, но вдруг загляделся на выбеленную стену, измазанную в тех местах, где протекала крыша, грязно-коричневыми полосами от дождя. По этому, далеко не прекрасному, фону замелькали перед ним лучезарные видения. Он совсем забыл про башмаки и долго-долго смотрел перед собой; наконец, губы его зашевелились и прошептали: — Рут!

— Рут! — Он не представлял, чтобы в простом сочетании звуков могло бы заключаться столько красоты. Это слово ласкало его слух; он повторял его и упивался им: «Рут!» Это был талисман, магическая формула, способная совершать чудеса. Всякий раз, как он произносил это слово, перед ним вставал ее образ, озаряя золотым сиянием грязную стену. И не только стена была озарена им: лучи от него проникали в бесконечность, и душа Мартина устремлялась сквозь этот блеск к ее душе. Все лучшее, что было в нем, волшебным потоком изливалось наружу. Самая мысль о ней уже возвышала и очищала его, приближала его к совершенству и возбуждала в нем стремление к добру. Это было ново для него. Никогда еще он не встречал женщины, под влиянием которой становился бы лучше. Наоборот, женщины обычно превращали его в животное. Он не знал, что многие отдавали ему свое самое лучшее, что в них было,

как ни убого было это лучшее. Он никогда не отличался самомнением, а потому не знал, что, несмотря на свою молодость, обладает даром привлекать женщин. Он никогда не страдал из-за женщин, хотя не одна страдала из-за него; ему и во сне не снилось, что под его влиянием некоторые из них становились лучше. Он всегда относился к ним с пренебрежением, и ему казалось, что они всегда оскверняли его первыми, приставая к нему и стараясь удержать нечистыми цепкими руками. Он не был прав ни по отношению к ним, ни по отношению к себе. Но в тот момент, когда он впервые начинал познавать себя, он не мог еще правильно обо всем судить и потому весь вспыхивал от стыда, вспоминая о своей порочности.

Вдруг он вскочил и начал разглядывать в запыленном зеркале над умывальником свое лицо. Протерев его несколько раз полотенцем, он долго и внимательно смотрел на свое изображение. Впервые он как следует увидел самого себя. Хотя он был зорким и наблюдательным, он до сих пор слишком много внимания уделял вечно меняющейся панораме внешнего мира. В зеркале он увидел лицо двадцатилетнего юноши; но так как он вообще не привык обращать внимания на внешность, он и теперь не мог решить, красив он или нет? Он увидел выпуклый лоб, над ним шапку слегка волнистых темно-каштановых волос: эти кудри восхищали не одну женщину, всегда вызывая желание погладить их, провести по ним пальцами. Но он решил, что на нее его волосы не могут произвести никакого впечатления; зато он долго и внимательно рассматривал свой высокий, выпуклый лоб, стараясь угадать, насколько ценно то, что за ним скрывается. Стоил ли чего-нибудь его мозг, упорно спрашивал он себя. Что он может дать? Чего он может добиться и поможет ли он ему добиться ее?

«Видна ли душа в этих серо-стальных глазах?» — задавал он себе вопрос. Порой они становились совершенно голубыми, отражая синеву морской глади. Его интересовало, какими его глаза казались ей. Он старался поставить себя на ее место и вообразить, что она заглядывает ему в глаза, но это ему не удавалось. Он очень хорошо понимал психологию людей, но только тех, чей образ жизни был ему знаком. А как жила она —

этого он не знал. Для него она была чудом и тайной, и он совершенно не мог угадать ее мыслей. Ну, во всяком случае, у него честные глаза, решил он; в их взгляде не чувствуется ни мелочности, ни низости. Его поразил темный загар собственного лица. Он никогда не думал, что так смугл. Засучив рукав рубашки, он сравнил цвет кожи на нижней поверхности руки с цветом лица. Нет, все-таки он принадлежит к белой расе. Но и руки у него загорелые. Он повернул руку и нажал на мускулы другой рукой так, чтобы разглядеть место под мышкой, которое меньше всего было затронуто загаром. Кожа здесь была совсем белая. Он засмеялся при мысли о том, что когда-то и лицо у него было такое же белое; и ему не пришло в голову, что не многие женщины — или даже бледные духи — могут похвастаться такой чистой и гладкой кожей там, где она не подвергалась губительному действию солнца.

Рот его можно было бы назвать женственным, если бы полные, чувственные губы крепко не сжимались бы так часто. В такие минуты лицо его принимало какое-то суровое, даже аскетическое выражение. Это были губы борца или любовника. По ним было видно, что он умеет наслаждаться жизнью, но при случае сумеет отказаться от всякого удовольствия и подчинить себе обстоятельства. Об этом же свидетельствовала и нижняя часть лица, отражавшая твердость характера. Чувственность уравновешивалась силой и как бы облагораживалась под ее влиянием; Мартин любил здоровую красоту и откликался лишь на здоровые чувства. А между губами виднелись зубы, совершенно не нуждавшиеся в услугах дантиста. Осмотрев их, он убедился в том, что они белые, крепкие и ровные. Внезапно он вспомнил кое-что, сильно его обеспокоившее. Где-то глубоко в памяти у него сохранилось смутное представление о том, что есть люди, которые каждый день чистят зубы. Это люди из высшего общества — люди, принадлежавшие к ее классу. Наверное, и она каждый день это делает. Что она о нем подумает, если узнает, что он никогда в жизни не чистил зубов? Он решил приобрести зубную щетку и приучить себя пользоваться ею. Начать надо завтра же. Он добьется ее не только своими подвигами. Необходимо изменить и все свои привычки, вплоть

до употребления зубной щетки и воротничка, хотя этот воротничок и тяготил его, как колода — раба.

Он поднял руку и потер пальцем свою мозолистую ладонь. В нее въелась грязь, которую нельзя было отмыть никакой щеткой. Разве можно сравнить с ее ладонью! Он вспомнил, как прикоснулся к ней, и весь затрепетал от восторга. Настоящий лепесток розы, решил он: прохладная и мягкая, как снежинка. Он не подозревал, что женская рука могла быть такой мягкой и нежной. Вдруг он поймал себя на мысли о том, как приятна должна быть ласка такой ручки, и покраснел, точно совершил преступление. С ней нельзя было связывать таких реальных представлений — этим как бы оскорблялась ее духовная чистота. Ведь она была лишь бледным, бесплотным духом и возвышалась над всем земным, и все же он не мог отделаться от воспоминания о прикосновении к ее руке. Ведь до сих пор ему приходилось иметь дело лишь с грубыми, мозолистыми руками фабричных работниц и погрязших в домашней работе женщин. Он знал, почему у них так огрубели ладони, ну, а ее рука... Она так нежна потому, что не знакома с физическим трудом. Пропасть между ними словно расширилась — так поразило его сознание, что существуют люди, которым не приходится трудиться ради пропитания. Он мысленно представил себе всю эту аристократию, тех, кто не знаком с трудом. Она воплотилась для него в гигантскую, словно отлитую из меди фигуру, полную высокомерия и мощи, которая внезапно вырисовывалась перед ним на стене. Сам он работал всю жизнь: первые его воспоминания были связаны с работой, трудились и все его родные. Взять, например, Гертруду. Руки у нее или были жесткие от беспрестанной работы по хозяйству или же распухали и становились красными, как говядина, от стирки. А Мэриен? Прошлым летом она работала на консервной фабрике, и ее маленькие, хорошенькие ручки были все в порезах от ножа для томатов. Да еще зимой, когда она служила на картонажной фабрике, машина отхватила ей кончики двух пальцев. Он вспомнил, какие жесткие ладони были у его матери, сложенные вместе, когда она лежала в гробу. И его отец работал до последней минуты своей

жизни; его мозоли были, наверное, толщиной в полдюйма. А у нее, и у ее матери, и у братьев руки были совершенно мягкие. Это поражало Мартина, заставляя задуматься над тем, как высоко их положение и как огромно расстояние между ними.

Горько усмехнувшись, он вновь присел на кровать и стал опять стягивать башмаки. Какой он дурак! Потерял голову из-за женского личика и белых женских ручек! Вдруг на грязной стене перед ним появилось новое видение. Он стоит перед мрачным домом дешевых квартир в Лондоне, в Истэнде [1]. Уже ночь. Рядом с ним — Марджи, пятнадцатилетняя работница. Он проводил ее домой после вечеринки. Она жила в этом доме, который был хуже свиного хлева. На прощание он хотел пожать ей руку. Она подставила ему губы, ожидая поцелуя, но он вовсе не собирался ее целовать. Он почему-то боялся ее. Вдруг она схватила его за руку и лихорадочно пожала ее. Он почувствовал, как ее жесткая ладонь царапнула по его мозолям, и его охватила огромная жалость к ней. В глазах у нее он прочел жажду ласки; несмотря на худенькую детскую фигурку, она мгновенно превратилась в настоящую женщину. Тогда он наклонился, снисходительно обнял ее и поцеловал в губы. Она издала легкий крик радости и прижалась к нему, как котенок. Бедный изголодавшийся ребенок! Мартин долго оставался в таком состоянии, погруженный в созерцание прошлого, и переживал те же ощущения, что и тогда, когда она прижималась к нему. Как и в тот вечер, его охватила жалость к ней. Вся эта картина из прошлого казалась ему такой серой, грязно-серой; даже моросивший дождь, покрывавший лужами тротуар, казался ему сереньким. Но тут перед ним мелькнуло другое, лучезарное видение: уже не было серой улицы, он видел только ее бледное лицо в ореоле золотистых кудрей, далекое и недоступное, как звезда.

Он взял ее книжки и поцеловал их. «Ведь она все-таки пригласила меня заходить», — подумал он. Он еще раз взглянул на свое изображение в зеркале и проговорил вслух, торжественным тоном:

---

[1] Район, где проживает беднейшая часть населения.

— Мартин Иден, завтра ты, как встанешь, отправишься в бесплатную библиотеку и почитаешь, как нужно держать себя в обществе. Понял?

Он погасил газ, и вскоре пружины кровати заскрипели под тяжестью его тела.

— Но только надо бросить ругаться, брат Мартин, надо бросить ругаться, — вслух сказал он.

С этим он уснул, и его сны по смелому полету фантазии не уступали грезам курильщиков опиума.

ГЛАВА V

Когда он проснулся утром, ему пришлось расстаться со своими розовыми сновидениями и сразу погрузиться в иную атмосферу — атмосферу трудовой жизни измученных людей. Воздух квартиры был весь пропитан запахом мыла и грязного белья, слышалась суета и брань. Не успел он выйти из комнаты, как услыхал плеск пролитой воды, вслед за которым раздался громкий возглас и резкий шлепок, которым его сестра вымещала свое раздражение на одном из своих многочисленных отпрысков. Визг ребенка точно резанул его по сердцу; он остро почувствовал всю низменность обстановки, в которой жил; самый воздух, которым он дышал, казался ему отвратительным. «Какое различие, — подумал он, — с домом Рут, где все дышит красотой и спокойствием!» Там чувствовалась жизнь духовная; здесь же господствовали лишь грубые материальные заботы.

— Поди-ка сюда, Альфред, — позвал он плачущего мальчугана и опустил руку в карман брюк: у него всегда имелся запас мелочи, который он даже не клал в кошелек, — одно из проявлений его широкой натуры. Он положил монету мальчишке на ладонь и подержал его на руках, чтобы утешить.

— Ну, а теперь беги, купи леденцов да не забудь угостить братьев и сестер. Смотри, купи таких, которые подольше не тают!

Гертруда подняла на брата наклоненное над корытом раскрасневшееся лицо.

— Довольно было бы и пяти центов, — сказала она. — Это так похоже на тебя! Ты ведь понятия не имеешь о цене денег! Ребенок объестся.

— Ладно, ладно, сестричка! — добродушно ответил он. — Не пропадут мои денежки! Жаль, что ты так занята, а то я бы тебя поцеловал.

Ему хотелось приласкать сестру, добрую женщину, которая, он знал, по-своему любила его. Но с годами она изменилась, стала как-то не похожа на себя, очевидно, думал он, из-за тяжелой работы, кучи детей и постоянных придирок мужа. У него вдруг, по какой-то странной ассоциации, мелькнула мысль, что с годами Гертруда пропиталась запахом всего, что ее окружает: гнилых овощей, соды для стирки и грязных денег, которые она считает за прилавком.

— Иди-ка лучше завтракать, — грубовато сказала она, хотя ее обрадовали слова брата. Из всех ее многочисленных, рассеянных по белу свету братьев Мартин всегда был самым любимым. — А знаешь, я, пожалуй, поцелую тебя! — неожиданно добавила она, почувствовав, что у нее как-то дрогнуло сердце. Она начала стирать пальцами мыльную пену, сначала с одной руки, а потом с другой.

Мартин обнял ее за массивную талию и поцеловал в мокрые, пахнувшие паром губы. Глаза ее наполнились слезами, не столько от обуревавших ее чувств, сколько от слабости из-за постоянной непосильной работы. Она тотчас же оттолкнула его от себя, но он успел заметить ее влажные глаза.

— Завтрак в духовке, — поспешно сказала она. — Джим тоже, наверное, встал. Мне пришлось подняться пораньше, чтобы выстирать белье. Ну, а теперь проваливай, да смотри, уходи поскорее из дому. Сегодня будет нелегко: ведь Том-то ушел, и некому, кроме Бернарда, разъезжать с фургоном.

Мартин отправился на кухню. У него было тяжело на душе. Он не мог забыть красное лицо сестры и весь ее неряшливый вид. Да, она любила бы его, если бы у нее нашлось на это время, решил он. Но она работала до полного изнеможения. Какая

скотина этот Бернард Хиггинботам, что так загоняет ее! Впрочем, Мартин невольно признался себе, что в поцелуе сестры не было ничего прекрасного. Правда, это был не обычный поцелуй. Уже много лет, как она целовала его лишь тогда, когда он отправлялся в плавание или возвращался домой. Сегодняшний ее поцелуй отдавал мылом, а губы у нее были уже дряблые, она и дотронулась лишь до него губами, не так, как обычно при поцелуе. Это был поцелуй усталой женщины, успевшей от утомления забыть, как целуются. Он вспомнил ее девушкой, до свадьбы: тогда она, проработав целый день в прачечной, готова была танцевать всю ночь напролет и прямо с вечеринки опять отправляться на работу. Потом он вспомнил Рут и подумал, что и губы у нее должны быть такими же свежими и нежными, как она сама. Поцелуй ее, наверное, похож на ее рукопожатие или на ее взгляд — такой же искренний и решительный. Мысленно он даже осмеливался представить себе прикосновение ее губ — и так ярко было это представление, что у него закружилась голова. Ему показалось, что он куда-то несется в облаке благоухающих розовых лепестков.

В кухне он нашел Джима, второго жильца. Тот сидел и меланхолично ел овсянку, взгляд его был какой-то отсутствующий, полный тоски. Джим служил подмастерьем у водопроводчика. Слабохарактерный, он был склонен к порочности. Вдобавок он еще отличался умственной отсталостью. Все эти свойства отнюдь не способствовали его успеху в борьбе за существование.

— Отчего вы не едите? — спросил он, увидев, что Мартин уныло ковыряет ложкой остывшую, плохо проваренную кашу. — Напились вчера, что ли?

Мартин отрицательно покачал головой. Его угнетала полнейшая убогость окружающей обстановки. Рут Морз казалась еще дальше от него, чем раньше.

— А я напился, — продолжал Джим, горделиво ухмыляясь. — Так назюзюкался, что больше некуда. А она — просто прелесть была... Билли привел меня домой.

Мартин кивнул головой, показывая, что слушает его. У него от природы была привычка всегда внимательно при-

слушиваться к собеседнику. Затем он налил себе чашку тепловатого кофе.

— Пойдем сегодня поплясать в клуб «Лотоса»? — спросил Джим. — Там пиво будет, а если придет эта компания из Темескаля, то уж без драки не обойдется. Мне-то наплевать! Я все равно поведу туда свою девчонку. Черт, ну и вкус у меня во рту!

Он скорчил гримасу и попробовал запить скверный вкус глотком кофе.

— Джулию знаете?

Мартин покачал головой.

— Она-то и есть моя девчонка, — объяснил Джим. — Персик налитой — вот она что. Я бы познакомил вас с ней, да ведь вы, небось, отобьете. Не понимаю, что это девчонки находят в вас — честное слово, не знаю, — но прямо тошно глядеть, как из-за вас они все бросают своих кавалеров.

— Ну, уж у вас-то я никого не отбивал, — ответил Мартин.

Из его ответа видно было, что разговор этот ничуть его не интересует. Просто надо было о чем-то говорить за завтраком.

— Нет, отбили, — с горячностью возразил тот. — А Мэгги забыли?

— Да ведь между нами ничего не было. Я и танцевал-то с ней только на одном вечере.

— Ну да, этим-то вы и завоевали ее, — воскликнул Джим. — Вы просто потанцевали с ней да поглядели на нее — и готово дело. Понятно, вы-то это сделали не намеренно, но моя песенка после этого уже была спета. И смотреть на меня больше не стала. Все про вас расспрашивала. Она бы сразу назначила вам свидание, если бы вы только захотели.

— Да я вовсе и не хотел этого.

— Все равно. Я так и остался ни при чем. — Джим почтительно поглядел на Мартина. — Как вы этого добиваетесь, Март?

— Да тем, что остаюсь равнодушным к ним, — последовал ответ.

— То есть притворяетесь, будто они вас вовсе не интересуют? — с любопытством спросил Джим.

Мартин задумался на секунду:

— Да, пожалуй, можно и так сказать, но у меня другое: мне они и вправду безразличны... или почти. Ну, а если вы сумеете притвориться, это, я думаю, подействует.

— Жаль, что вы вчера не были у Райли, — вдруг, без всякой связи с предыдущим разговором произнес Джим. — Многие там даже в перчатках для бокса были. Был один тип из Западного Окленда. Его Крысой зовут — скользкий, как угорь. Никто не мог победить его. Мы все жалели, что вас нет. Где вы пропадали?

— В Окленд ездил, — ответил Мартин.

— В театр?

Мартин отставил тарелку и встал.

— Придете сегодня на вечеринку? — крикнул ему Джим вслед.

— Не думаю, — отозвался он.

Он спустился и вышел на улицу, глубоко вдыхая воздух. В атмосфере сестриной квартиры он буквально задыхался, а болтовня подмастерья чуть не свела его с ума. Минутами он с трудом удерживался, чтобы не схватить Джима за голову и окунуть ее в миску с кашей. Чем больше болтал Джим, тем больше отдалялась от него Рут. Как ему надеяться подняться до нее, когда ему приходится жить с такими скотами? Его ужаснула трудность предстоящей ему задачи: он чувствовал, как его подавляет вся обстановка жизни — жизни рабочего класса, когда все и вся тянет его вниз, — и сестра, и ее семья, и дом, и подмастерье Джим, — все люди, которые его окружают. Все его существование вдруг показалось ему противным. До этого времени он принимал жизнь как она есть и считал, что она в общем недурна. Он задумывался над ней лишь под влиянием прочитанных книг, но ведь то были волшебные сказки, в которых описывался лучший, но не реальный мир. Теперь же он воочию увидел этот мир, узнал, что он существует, и центром его была женщина-цветок, по имени Рут. И потому ему отныне придется узнать горечь неудовлетворенного желания, томительную жажду, острую, как боль, и безнадежное отчаяние, еще более мучительное оттого, что оно порой сменялось надеждой.

Сначала он колебался, в какую библиотеку ему пойти — в Берклейскую или в Оклендскую; наконец остановился на второй — ведь Рут жила в Окленде. Кто знает, возможно, она зайдет в библиотеку, и он встретит ее там. Он не был знаком с устройством библиотек и долго блуждал между полками беллетристики; наконец, хорошенькая, похожая на француженку девушка, по-видимому, заведовавшая этим отделом, объяснила ему, что справочный отдел находится наверху. Но он не знал, что нужную справку можно получить у сидевшего за конторкой служащего, и пошел странствовать по отделу философии. Он слыхал, что существуют философские сочинения, но никогда не думал, что их такое множество. Высокие полки, нагруженные тяжелыми томами, внушали ему сознание собственного ничтожества, но вместе с тем и подстегивали его: сколько здесь работы для его мозга! В отделе математики он нашел книги по тригонометрии и начал их перелистывать, с удивлением глядя на непонятные формулы и цифры. Ведь он, казалось, умеет читать по-английски, но здесь какой-то совершенно незнакомый ему язык. А Норман с Артуром знали этот язык. Он слышал, как они говорили на нем. А они — ее братья. В отчаянии он покинул отдел математики. Книги будто теснили его со всех сторон, точно хотели раздавить. Ему и не снилось, что человеческие знания так огромны. Это пугало его. Сумеет ли его мозг одолеть все это? Но вскоре он вспомнил, что ведь есть же люди, и немало таких, которые одолели всю науку, и губы его зашевелились, произнося торжественную клятву: он достигнет того, чего достигли они.

Так он блуждал по библиотеке, глядя на уставленные премудростью полки, переходя от уныния к уверенности в своих силах. В отделе «разных сочинений» он напал на «Конспективный курс» Норри и с благоговением перелистал его. Этот язык отчасти был ему родной. Затем он нашел Боудича, сочинения Лекки и Маршалла. Вот что он сделает — он изучит навигацию. Бросит пить, серьезно будет учиться и станет капитаном. В это мгновение Рут казалась ему близкой. Когда он будет капитаном, он сможет жениться на ней (если она

этого захочет). Ну, а если она не захочет, тогда он все-таки бросит пить, будет жить ради нее как порядочный человек. Но вдруг он вспомнил о страховых обществах и о судовладельцах, которым приходится служить капитану и чьи интересы всегда диаметрально противоположны. Нет, морская карьера не для него. Он оглянулся вокруг, увидел десятки тысяч томов и закрыл на миг глаза. Ведь в этом множестве книг заключается огромная сила. Если он хочет совершить что-нибудь великое, он должен сделать это на суше. Да и к тому же капитанам не разрешается брать с собой в плавание жен.

Настал полдень, затем день начал клониться к вечеру. Мартин забыл о том, что с утра не ел, и продолжал искать книги о правилах хорошего тона. Кроме мысли о карьере, его мучил еще один, весьма простой, конкретный вопрос. «Если вы познакомились с молодой леди и она приглашает вас зайти, то через сколько времени вы можете отправиться к ней?» — так он мысленно формулировал его. Но, когда он наконец отыскал искомую полку, он не нашел там ответа. Он почувствовал себя буквально подавленным огромным количеством условностей и запутался в лабиринте правил относительно обмена визитными карточками в светском обществе. В конце концов он прекратил поиски. Он не нашел того, что искал, зато открыл новую для него истину, что для овладения наукой о хорошем тоне нужна целая жизнь и что ему понадобятся две земных жизни, чтобы изучить его.

— Вы нашли, что хотели? — спросил его сидевший за конторкой человек, когда он уходил.

— Да, — ответил он. — Хорошая у вас библиотека.

Библиотекарь кивнул головой.

— Заходите почаще. Вы кто — моряк?

— Да, — ответил он. — Я непременно зайду еще.

«Ну как это он мог угадать, что я моряк?» — спрашивал себя Мартин, спускаясь по лестнице.

Выйдя на улицу, он сначала шел ровным, но довольно неловким шагом, выпрямив стан; вскоре он весь погрузился в свои мысли и к нему опять вернулась его прежняя, естественная раскачивающаяся походка.

ГЛАВА VI

Мучительное беспокойство, острое, как голод, томило Мартина. Он жаждал хотя бы взглянуть на эту девушку, с исполинской силой захватившую его в свои крохотные ручки на всю жизнь. Но он никак не мог решиться пойти к ней. Он боялся, что еще рано, боялся оказаться виновным в нарушении ужасных правил этой ужасной установки — хорошего тона. Он целыми часами просиживал в двух библиотеках — Оклендской и Берклейской; он записался в них и записал даже обеих своих сестер, Гертруду и Мэриен, а также и Джима, купив у него согласие на это за несколько стаканов пива. Таким образом, он мог брать книги по четырем карточкам. Теперь газ горел в каморке для прислуги до рассвета, и мистер Хиггинботам брал с Мартина пятьдесят лишних центов в неделю.

Однако чем больше он читал, тем сильнее росла в нем жажда знания. Каждая прочитываемая страница являлась как бы крохотным окошечком, через которое он заглядывал в бесконечную область науки. Жажда знания не утолялась, а все росла. К тому же он не знал, с чего ему начать, и постоянно страдал от недостатка подготовки. Намеки на самые обыкновенные, известные каждому вещи он не понимал. Много неясного было и в стихах, приводивших его, однако, в безумный восторг. Он прочел еще многое из Суинберна, кроме тома, данного ему Рут; «Долорес» он понял отлично. «Но Рут, — подумал он, — не может понять этой поэмы: она всегда жила слишком утонченной жизнью». Потом ему случайно попались стихотворения Киплинга; этот поэт окончательно покорил его звучностью, жаром и блеском, которые он умел придать всему тому, что было так знакомо Мартину. Его поражала любовь поэта к жизни и его тонкое знание психологии. Это слово — «психология» — было ново для Мартина. Он купил словарь, отчего значительно оскудел его денежный запас и приблизился день, когда ему придется опять отправиться в плавание, чтобы заработать еще. А мистер Хиггинботам, узнав о покупке словаря,

пришел в ярость; он предпочел бы, чтобы эти деньги попали к нему в карман в виде платы за пансион.

Днем Мартин не решался приблизиться к жилищу Рут; зато по ночам он, точно хорек, бродил вокруг дома Морзов и глядел на окна, преисполненный любовью даже к стенам, за которыми она жила. Несколько раз его чуть не захватили на месте преступления ее братья, а однажды он последовал за мистером Морзом, когда тот отправился в город, и внимательно изучал его лицо при свете уличных фонарей. Он все время мечтал, чтобы Морз внезапно подвергся какой-нибудь смертельной опасности — тогда он вовремя кинется к нему и спасет его. В другой раз Мартин был вознагражден за свое ожидание: в одном из окон второго этажа промелькнул силуэт Рут. Он видел только ее голову и плечи: она стояла перед зеркалом и поправляла прическу, подняв руки. Это длилось лишь мгновение, но оно показалось ему бесконечностью: самая кровь его, казалось, превратилась в вино и бурно закипела в нем. Затем она опустила штору. Он теперь знал, где ее комната, и после этого постоянно приходил к дому. Спрятавшись за большое дерево на другой стороне улицы, он курил одну папиросу за другой. Как-то раз днем он увидел на улице ее мать: она выходила из банка. Это было новым доказательством того огромного расстояния, которое отделяло Рут от него. Она принадлежала к тем, кто имеет дело с банками. Сам он ни разу не был внутри банка, и ему казалось, что в эти учреждения заходят только очень богатые, слишком влиятельные люди.

В нем все же совершился нравственный переворот. Ее непорочность и духовная чистота одержали верх, и он сам почувствовал постоянную потребность быть в чистоте. Иначе он навсегда окажется недостойным дышать с ней одним воздухом. Он начал чистить зубы, руки скреб кухонной щеткой, пока, наконец, не увидел в окне аптекарского магазина щетку для ногтей и не угадал ее назначения. Когда он покупал ее, приказчик, взглянув на его ногти, посоветовал ему приобрести пилочку; таким образом у него появилась еще одна принадлежность туалета. В библиотеке он нашел книги об уходе за телом. Тотчас же у него появилось желание принимать по утрам холодные

ванны, к великому удивлению Джима и полному недоумению мистера Хиггинботама, не сочувствовавшего подобным утонченным замашкам и серьезно подумывавшего о том, не брать ли с Мартина лишнюю плату за воду. Кроме того, Мартин сделал еще шаг по пути к прогрессу — это касалось брюк. Теперь, когда он начал интересоваться всеми этими вещами, он вскоре заметил разницу между брюками простолюдинов, всегда отвисающими на коленях, и брюками состоятельных людей, с прямой складкой сверху донизу. Узнав, каким образом это достигается, он немедленно отправился к сестре в кухню за утюгом и гладильной доской. Сначала его постигла неудача: он прожег себе брюки, пришлось купить новые, и этот неожиданный расход еще больше приблизил день его отъезда.

Перемена в нем не ограничилась только внешностью. Правда, он все еще курил, но бросил пить. До этого времени он считал, что пьянство — признак мужественности, и гордился своей крепкой головой, благодаря которой он мог перепить и свалить под стол любого. Раньше бывало, как только он встретится с кем-нибудь из своих прежних товарищей, — а их в Сан-Франциско было немало, — он угощал их и в свою очередь принимал угощение от них. Теперь он поступал так же, но только себе он приказывал подавать имбирный эль или безалкогольное пиво и добродушно выносил насмешки приятелей. Когда они начинали пьянеть, он внимательно изучал их состояние, наблюдая за тем, как они доходят до скотского состояния; глядя на них, он благодарил Бога, что больше не похож на них. Они в пьянстве искали забвения; только напившись, они могли забыться и наслаждаться своими фантазиями. Мартин же больше не нуждался в возбуждающем действии крепких напитков. Он был опьянен глубоким, новым для него чувством к Рут — к Рут, зажегшей в нем любовь и открывшей ему существование возвышенной и вечной жизни; он был опьянен чтением, под влиянием которого его охватывала острая жажда знания; опьянен сознанием своей чистоплотности, благодаря которой улучшалось его и без того завидное здоровье и во всем теле появилось ощущение физической радости бытия.

Как-то раз он отправился в театр в слабой надежде, что случайно увидит ее там. И действительно, он увидел ее со своего места на балконе второго ряда. Она шла по боковому проходу, с ней были Артур и незнакомый ему молодой человек в пенсне, с густой шапкой волос; при виде его Мартин мгновенно почувствовал укол ревности, затем увидел, что она заняла место в партере, — и больше в этот вечер почти не видел ее: только издали белели ее стройные плечи и сияли бледно-золотистые волосы. Но не он один оглядывал все вокруг: впереди него, немного в стороне, сидели две молодые девушки, посматривавшие на него с улыбкой. Мартин всегда отличался общительностью. Он никогда не любил осаживать людей. В прежние времена он улыбнулся бы девушкам в ответ, а затем пошел бы и дальше, чтобы вызвать у них улыбку. Но теперь было иначе. Правда, он раз улыбнулся девушкам, но затем отвернулся и нарочно прекратил глядеть в ту сторону. Потом он как-то забыл о них и, случайно взглянув, заметил, что они продолжают ему улыбаться. Разумеется, он не мог полностью переродиться в один день и избавиться от своей природной приветливости: он дружелюбно, тепло улыбнулся девушкам. Вся эта история была для него не нова. Он видел, что по-прежнему к нему тянутся женщины. Но теперь все изменилось. Там, внизу, в партере, сидела единственная женщина, которая для него существовала в мире, совершенно не похожая — до ужаса не похожая — на этих двух девушек его класса, к которым теперь он мог почувствовать лишь жалость. Он от души желал, чтобы они обладали хоть малой долей ее нравственных качеств и красоты, и ни за что в мире не позволил бы себе их оскорбить. Наоборот, он был польщен их заигрыванием и даже испытывал угрызения совести за то, что допустил его. Он сознавал, что, принадлежи он к тому же обществу, что и Рут, эти девушки не старались бы завязать с ним знакомства, и с каждым взглядом, брошенным ими в его сторону, он все сильнее и сильнее чувствовал, как его тянет вниз, как его опять старается засосать прежняя жизнь.

Еще раньше чем опустился занавес, он покинул свое место, надеясь увидеть ее у выхода. На тротуаре у театра всегда собиралась группа мужчин; он может пониже надвинуть кепку

и спрятаться за чьей-нибудь спиной, чтобы она его не узнала. Одним из первых он вышел из театра, но не успел занять удобное место на тротуаре, как из дверей вышли девушки. Он понял, что они ищут его, и в это мгновение готов был проклясть свою привлекательность. Девушки как бы случайно пересекли тротуар, приближаясь к нему, и он понял, что они заметили его. Они замедлили шаг и вместе с толпой прошли мимо. Одна из них слегка толкнула его и сделала вид, что тут только заметила его. Это была стройная брюнетка с черными вызывающими глазами. В них искрился смех, и он улыбнулся в ответ.

— Наше вам! — сказал он.

Это восклицание машинально вырвалось у него: ему так часто приходилось его произносить при подобных встречах. Он не мог промолчать — его широкая натура и доброта не позволяли ему этого. Черноглазая девушка приветствовала его улыбкой, в которой выражалось удовольствие; по-видимому, она собиралась остановиться. Подруга ее, шедшая с ней под руку, захихикала и тоже замедлила шаг. Мартин начал быстро соображать. Нельзя допустить, чтобы Рут, выходя, увидела его в этой компании. Он спокойно повернулся и пошел рядом с черноглазой. Он не испытывал ни малейшей неловкости и сразу нашел, о чем заговорить. Тут он чувствовал себя как дома: он всегда был мастером вести пересыпанный остротами и жаргонными словечками разговор, обычно служащий предисловием к быстро завязываемому знакомству. На углу, когда большая часть толпы направилась на главную улицу, он хотел свернуть в сторону. Но черноглазая уцепилась за его руку и пошла за ним, увлекая за собой подругу.

— Стойте-ка, Билл! Куда это вас понесло? Вы что же это — так сразу хотите бросить нас?

Он остановился и, засмеявшись, обернулся к ним. Позади них, при свете фонарей, двигалась толпа. Там же, где стоял он, было не так светло: он, быть может, увидит ее, когда она будет идти мимо. Она непременно пройдет здесь — эта улица ведет к ее дому.

— Как ее зовут? — спросил он у хихикающей девушки, кивнув на черноглазую.

— Спросите сами, — засмеялась та в ответ.

— Ну, так как же? — спросил он, оборачиваясь к первой.

— Вы мне еще своего имени не назвали, — ответила та.

— Да ведь вы и не спрашивали, — отозвался он, улыбаясь. — Кроме того, вы с первого маху угадали: меня и вправду зовут Билл.

— Да ну вас! — Она взглянула ему в глаза со страстным, вызывающим выражением. — Скажите как? Только правду!

Она опять посмотрела на него. В этом взгляде отразилось все красноречие бесчисленных поколений женщин, существовавших с незапамятных времен. Он как бы случайно смерил ее взглядом и понял, что, сделав первый шаг, она начнет отступать, притворяясь скромной и стыдливой по мере того как будет расти его смелость; но стоит ему оробеть, как она тотчас же переменит тактику. А ведь он был мужчиной: его тянуло к ней, и он чувствовал себя польщенным ее вниманием. Ах, как хорошо он знал женщин — знал их всех насквозь! Они за скудное жалованье гнут спину на тяжелой работе и гнушаются продавать себя ради более легкой жизни, но при этом в них живет страстная жажда урвать хотя бы крупицу счастья, которое украсило бы их однообразную, как пустыня, жизнь. Впереди у них или унылое существование, полное бесконечного труда, или же мрачная, еще худшая бездна, к которой ведет более короткий, но зато лучше оплачиваемый путь.

— Билл, — ответил он, кивая головой. — Право же, Билл.

— Кроме шуток? — спросила она.

— Вовсе он не Билл! — вмешалась в разговор вторая.

— А вы почем знаете? — спросил он. — Ведь вы меня никогда раньше и в глаза не видали.

— Да я и без того знаю, что вы врете, — был ответ.

— Нет, правда, Билл, как вас зовут? — спросила первая.

— Пусть уж будет Билл, — признался он в обмане.

Она схватила его за локоть и игриво потрясла его.

— А ведь я так и знала, что вы врете, но вы мне все равно нравитесь.

Он взял ее ищущую руку и нащупал на ладони такие знакомые шрамы и порезы.

— Давно ушли с консервной фабрики? — спросил он.

— Откуда вы знаете?

— Батюшки, да он хиромант! — хором воскликнули девушки.

Но пока он болтал с ними о разных глупостях, которыми только и могут обмениваться примитивные люди, перед его мысленным взором вставали полки в библиотеке, заполненные мудростью веков. Он горько усмехнулся несоответствию между видением и действительностью, и его охватило сомнение. Но ни эти мысли, ни болтовня не мешали ему следить за толпой, расходившейся из театра: вдруг при свете фонаря он увидел ее! Она шла между братом и незнакомым молодым человеком в пенсне. Сердце Мартина перестало биться. Как долго он ждал этой минуты! Он успел заметить, что ее царственная головка была покрыта чем-то легким и пушистым, он уловил изящные очертания ее закутанной фигурки, грациозность ее походки, прелесть ручки, подбиравшей платье. А затем она исчезла, и он остался один с фабричными работницами и смотрел на их дешевые претенциозные платья, свидетельствовавшие о жалких усилиях соблюдать чистоту и аккуратность, на безвкусные ленты и дешевые колечки на пальцах. Он почувствовал, что его дергают за руку, и услыхал чей-то голос:

— Проснитесь, Билл! Что с вами?

— Что вы сказали? — спросил он.

— Ах, ничего, — ответила брюнетка, тряхнув головой, — я только подумала...

— Ну?

— Ну, я говорила, что недурно было бы найти еще одного из ваших знакомых... для нее, — она указала на подругу, — и пойти куда-нибудь поесть мороженого или выпить кофе или еще чего-нибудь.

Ему стало противно. Слишком уж резок был переход от Рут к ним. Рядом с вызывающим, смелым взглядом темных глаз брюнетки ему почудились ясные, лучезарные глаза Рут, глаза святой, сиявшие чистотой. К нему пришло сознание собственной силы. Ведь он был выше всего этого. Жизнь для него имела более глубокий смысл, чем для этих девушек,

мечты которых не шли дальше мороженого и кавалеров. Он вспомнил, что у него всю жизнь были тайные желания. Он пробовал делиться ими с другими, но ни разу он еще не встретил ни женщины, ни мужчины, которые смогли бы его понять. Сколько ни старался, он только приводил собеседников в недоумение. А если его мысли были недоступны для них, значит, он духовно перерос их. Он чувствовал в себе силу и сжал кулаки. Раз ему было дано видеть в жизни более глубокий смысл, он должен сделать усилие, чтобы добиться от нее большего; но женщина, стоявшая перед ним, ничего не могла дать ему. Ее вызывающие черные глаза не могли ему ничего дать. Он знал, что скрывается за ними, — мечты о мороженом и еще о чем-то. Зато те — глаза святой — сулили ему все, что он хотел, и еще многое, неведомое ему. Они говорили ему о книгах и картинах, о красоте мира, обо всех тонкостях культурной жизни. Он хорошо видел все, что происходило в головке брюнетки. Ее мысли и желания были ему понятны, как часовой механизм, в котором просматривалась работа всех колесиков. В глазах этой женщины светилась жажда низменных наслаждений, мысль о которых давила его и пределом которых была могила. А те глаза святой были полны тайны, невообразимо чудесной, и говорили о вечной жизни. В них он видел отражение ее души, благодаря им он познал и собственную душу.

— Все бы хорошо, да одно мешает, — произнес он. — У меня уже назначено свидание.

Брюнетка не скрыла досады.

— К больному приятелю спешите? — усмехнулась она.

— Нет, честное слово, у меня и вправду назначено свидание... — запинаясь проговорил он, — с... с одной девушкой.

— Надуваете небось? — серьезно спросила она.

Он посмотрел ей прямо в глаза и ответил:

— Нет, я не вру. Но отчего бы нам не встретиться в другой раз? Вы мне еще не сказали, как вас зовут. И где вы живете?

— Лиззи, — ответила она, смягчившись; рука ее сжимала его локоть, и она слегка прижалась к нему всем телом. — Лиззи Конолли, а живу я на углу Пятой и Маркет-стрит.

Поговорив с ними еще несколько минут, он простился. Но домой пошел не сразу. Сначала он направился к своему обычному наблюдательному пункту. Стоя там, он взглянул на окно второго этажа и прошептал:

— Это было свидание с тобой, Рут, я сохранил этот час для тебя!

ГЛАВА VII

Со дня первой встречи Мартина с Рут Морз прошла целая неделя, во время которой он запоем читал. Пойти к ней он все еще не решался. Несколько раз собирался с духом, но затем его охватывали сомнения, и вся решимость исчезала. Он не знал, когда ему лучше всего явиться к ней, посоветоваться было не с кем, а он боялся совершить непоправимую ошибку. Теперь, когда он разошелся со своими старыми товарищами и отказался от прежнего образа жизни, ему не оставалось другого занятия, кроме чтения: новых знакомств он не завел. Он читал целыми днями и вконец испортил бы себе зрение, не будь у него таких хороших глаз и такого здорового организма, а ум его представлял собой девственную, не истощенную отвлеченным мышлением и книжной премудростью почву, благодатную для посева. Свежий мозг с жадностью впитывал из книг знания и уже не выпускал их.

К концу недели Мартину показалось, что он прожил за это время несколько веков — так далеко он ушел от прежней жизни, от прежнего мировоззрения. Но ему существенно мешал недостаток элементарных знаний. Подчас он брался за книги, требовавшие продолжительной специальной подготовки. Иногда он начинал читать какое-нибудь устаревшее философское сочинение, а через день хватался за ультрасовременные философские системы. В результате у него в голове был сплошной сумбур и хаос. То же вышло и с политической экономией. На одной и той же полке в библиотеке он нашел Карла Маркса, Рикардо, Адама Смита и Милля. Отвлеченные формулы

одного противоречили взглядам другого. Мартин был сбит с толку, но все же хотел во что бы то ни стало узнать истину. Он сразу заинтересовался и политической экономией, и вопросами промышленности, и политикой. Как-то раз, проходя через парк городской ратуши, он заметил группу людей, среди них стояло человек шесть. Лица у них раскраснелись и они, сильно повышая голос, о чем-то переговаривались. Он присоединился к слушателям и услыхал из уст этих народных философов новый, чуждый ему язык. Из них один был бродяга, второй — рабочий-агитатор, третий — студент-юрист, а трое остальных были ораторы из рабочих. Здесь впервые Мартин услыхал о социализме, об анархизме, о едином народе и узнал, что существуют враждующие между собой социальные теории. Он услышал кучу новых для него социальных терминов из области, которой не касались немногие прочитанные им книги. Он не мог полностью следить за спором, а только строил предположения, догадывался об идеях, облеченных в столь странные выражения. Выступил черноглазый лакей из ресторана — теософ, затем пекарь, член профсоюза, агностик, какой-то старик, озадачивший всех собеседников проповедью странной философии, гласившей, что «все существующее — справедливо», и второй старик, произнесший длинную речь о космосе, об атоме-отце и об атоме-матери.

Простояв там несколько часов, Мартин Иден с полным сумбуром в голове отправился в библиотеку. Там он отыскал значения дюжины непонятных ему слов. Уходя, он унес под мышкой четыре книги: «Тайная доктрина Блаватской», «Прогресс и нищета», «Квинтэссенция социализма» и «Война религии и науки». К несчастью, он начал с «Тайной доктрины». На каждой строчке встречались многосложные, непонятные слова. Он читал, сидя на кровати, и заглядывал в словарь чаще, чем в книгу. Новых слов было такое множество, что он постоянно забывал их значение, и вынужден был по нескольку раз прибегать к словарю, когда одно и то же слово встречалось еще и еще. Он решил записывать слова в записную книжку и исписывал страницу за страницей. И все-таки ничего не понимал. Он читал до трех часов ночи, в голове

у него все перемешалось, но он так и не уловил ни одной существенной мысли. Он поднял глаза; ему показалось, что комната шатается, качается и ныряет, точно корабль в море. Тогда он швырнул «Тайную доктрину» через всю комнату, крепко выругался, потушил газ и улегся спать. Не повезло ему и с остальными тремя сочинениями. Происходило это вовсе не потому, что мозг его был чересчур слабым или неспособным к отвлеченному мышлению; будь у Мартина соответствующая подготовка и побогаче словарный запас, он бы свободно усвоил все мысли автора. Он сам об этом догадывался и даже решил было некоторое время ничего, кроме словаря, не читать, пока не выучит его наизусть.

Утешением ему служила поэзия; он прочел за это время множество стихов. Больше других ему нравились поэты простые, которых он легче понимал. Он любил красоту — и здесь он находил ее. Поэзия, как и музыка, сильно действовала на него; хотя он сам этого не сознавал, но он подготавливал свой мозг для будущей, более сложной работы. Ум его был подобен белому листу бумаги, и потому многие стихи из понравившихся ему поэтов запечатлевались, строка за строкой, в его мозгу. Вскоре он с наслаждением начал декламировать вслух или вполголоса прекрасные, музыкальные стихотворения, которые он заучил. Как-то раз он случайно наткнулся на «Классические мифы» Гэйли и «Мифический век» Булфинча, стоявшие рядом на полке. Книги эти пролили яркий свет на темноту его невежества, и он продолжал с еще большей жадностью поглощать стихи.

Мартин так часто приходил в библиотеку, что сидевший за конторкой человек стал очень приветлив с ним и всегда кивал ему, улыбаясь, когда он уходил. Это придало Мартину духу решиться на смелый шаг. Однажды, взяв несколько книг на дом, когда библиотекарь ставил штемпель на его карточки, он пробормотал:

— Мне очень хотелось бы спросить у вас одну вещь.

Библиотекарь улыбнулся и приготовился слушать.

— Если вы познакомились с молодой леди и она пригласила вас зайти, то через сколько времени вы можете это сделать?

Мартин почувствовал, что его прошиб пот от напряжения: рубашка прилипла к телу.

— Я думаю, в любое время, — ответил тот.

— Да тут, видите, другое дело, — возразил Мартин. — Она... Я... понимаете, я могу не застать ее. Она учится в университете.

— Тогда зайдите в другой раз.

— Да я не то хотел сказать, — запинаясь, произнес Мартин и решил объясниться начистую. — Я человек простой и в обществе бывать не привычный. А эта девушка совсем не то, что я... Вы меня, наверное, большим дураком считаете, — вдруг добавил он.

— Да нет, уверяю вас, нисколько, — запротестовал тот. — Правда, ваш вопрос несколько вне сферы компетенции справочного отдела, но я очень рад быть вам полезным.

Мартин с восхищением взглянул на него.

— Эх, кабы я умел так шпарить — вот было бы здорово!

— Виноват?..

— Я хочу сказать, что если бы я мог говорить, как вы — так свободно и вежливо и все такое...

— А! — воскликнул библиотекарь, наконец поняв.

— В какое время лучше всего прийти? Днем — пораньше, до обеда? Или вечером? Или в воскресенье?

— Вот что, — сказал с улыбкой библиотекарь, — позвоните ей по телефону и спросите ее.

— Я так и сделаю, — сказал Мартин, собирая книги и поворачиваясь, чтобы уходить. Вдруг он остановился и спросил: — Когда вы разговариваете с леди, ну, положим, с какой-нибудь мисс Лиззи Смит, как следует ее называть — мисс Лиззи или мисс Смит?

— Называйте ее «мисс Смит», — авторитетно заявил библиотекарь, — всегда говорите «мисс Смит», пока не познакомитесь с ней ближе.

Так Мартин решил свой сложный вопрос.

— Приходите, когда хотите, я весь день буду дома, — ответила Рут по телефону, когда Мартин, запинаясь, спросил ее, когда он может принести ей взятые у нее книги.

Она сама встретила его у входа. Ее женский взгляд сразу подметил выутюженные брюки и общую, правда, незначительную, но все же заметную, перемену к лучшему в его внешности. Ее поразило его лицо, — пышащее здоровьем лицо, от которого веяло силой и мощью. Она вновь почувствовала желание прижаться к нему, чтобы почувствовать теплоту, и вновь удивилась тому, что его присутствие так действовало на нее. И он в свою очередь вновь испытал прежнее ощущение блаженства от прикосновения к ее руке. Но между ними была разница: она внешне оставалась холодной и вполне владела собой, он же покраснел до корней волос. Он вошел вслед за ней, спотыкаясь, с прежней неловкостью, опять раскачиваясь из стороны в сторону.

Однако, когда они уселись в гостиной, дело пошло лучше — куда лучше, чем он вообще надеялся. Она старалась облегчить их беседу и делала это так деликатно, что он почувствовал еще более безумный прилив любви к ней. Сначала они поговорили о взятых им книгах, о Суинберне, полностью захватившем его, и о Броунинге, которого он не понимал; она переходила от одной темы к другой, а сама, между тем, думала, как бы помочь ему. Эта мысль уже несколько раз приходила ей в голову со времени их первой встречи. Ей хотелось помочь ему. Ни один человек еще не вызывал в ней подобной нежности и жалости, но жалости не обидной, а смешанной с каким-то материнским чувством. Жалость, которую он ей внушал, была не обычной: для этого в нем было слишком много чисто мужского, и оно так резко в нем проявлялось, что ее подчас охватывал страх и сердце от странных мыслей и чувств начинало биться сильнее. Ее не покидало давнишнее желание обнять его за шею, и эта мысль доставляла ей какое-то странное удовольствие. Она все еще сознавала неприличие такого желания, но теперь уже как-то привыкала к нему. Ей в голову не приходило, что зарождающаяся любовь проявляется подобным образом; ей не снилось, что чувство, которое ей внушает этот человек, — не что иное, как любовь. Ей казалось, что он интересует ее только как необычный человек, обладающий многими скрытыми способностями, что все это просто ее филантропство.

Она не понимала, что физически желает его; он же, напротив, знал, что любит ее и что никогда в жизни ничего не желал так, как ее. Раньше он любил поэзию как проявление красоты; но с тех пор, как он встретился с ней, перед ним широко раскрылась другая область — область поэтической любви. Эта любовь открыла ему глаза еще больше, чем Булфинч или Гэйли. Он помнил одну строфу из стихотворения:

И, объятый страстью божественной,
В поцелуе любовник безумный
Отдал жизнь — и с ней душу свою...

строфу, на которую он раньше не обратил бы ни малейшего внимания; теперь же эти слова не выходили у него из головы. Его поражала необычайная точность этой мысли: он глядел на Рут и думал, что с радостью умер бы за ее поцелуй. Он чувствовал, что сам принадлежит к породе «любовников безумных», готовых с радостью отдать жизнь за поцелуй, и гордился этим, как древний рыцарь — принадлежностью к своему ордену. Наконец-то он узнал смысл жизни, узнал, ради чего он появился на свет.

Он смотрел на нее, слушал ее слова, и понемногу его начали охватывать все более и более смелые мысли. Он вспоминал безумный восторг, который испытал от прикосновения ее руки там, у двери, и жаждал вновь ощутить его. Порой его взгляд останавливается на ее губах, и у него появлялось страстное желание коснуться их; но в этом желании не было ничего грубого, земного. Ему доставляло наслаждение наблюдать за движением этих губ, когда они произносили какие-нибудь слова; вместе с тем ему казалось, что они не такие, как у прочих мужчин и женщин. Эти губы не могли быть созданы из обыкновенной человеческой плоти, это были губы бесплотного духа; он жаждал их совершенно не так, как жаждал когда-то губ других женщин. Если бы он поцеловал их, коснулся их своими губами, то лишь с тем чувством благоговения, с которым припал бы к краю одежды Господа. Он сам не сознавал, какая в нем произошла переоценка ценностей, не чувствовал, что в глазах его, когда он смотрит на нее, светится тот же огонь, что у каждого

охваченного страстью мужчины. Он и не подозревал, как пылко и страстно он глядит на нее, не подозревал, что зажег и ее своим огнем. Под влиянием ее девственной чистоты его чувство смягчалось, становилось возвышеннее, а мысли уносились в звездные, непорочно-бесстрастные выси. Он удивился бы, если бы ему сказали, что взгляд его горит огнем, от которого ее словно окатывает горячая волна, воспламеняющая ее. Рут ощущала какую-то неуловимую, сладкую тревогу, нарушавшую подчас ход ее мыслей, и тогда она мучительно искала, что бы еще сказать. Она вообще прекрасно умела вести разговор, и ее не могла не удивить ее собственная рассеянность; но она решила, что он — редкий тип и лишь потому его присутствие так на нее действует. Она всегда чутко реагировала на новые впечатления, и потому не было ничего удивительного в том, что появление этого жителя из другого мира так повлияло на нее.

Во время разговора ее не покидала мысль о том, как бы помочь ему, и она старалась направить беседу в нужное русло, но Мартин первый прямо коснулся этого вопроса.

— Не дадите ли вы мне совет? — начал он. Она охотно согласилась, и сердце его сильнее забилось от восторга. — Помните ли, в прошлый раз я сказал вам, что не умею говорить о книгах и тому подобное? Ну, так вот, с тех пор я много размышлял. Я исправно хожу в библиотеку, но почти все книги, за которые я брался, оказались мне не под силу. Может быть, мне надо начать сначала. Ведь у меня не было возможности учиться. С детства мне приходилось много работать. А с тех пор, как я стал ходить в библиотеку и увидел там кучу новых книг, я стал смотреть на них другими глазами. Я решил, что до сих пор читал не то, что следует. Знаете сами, какие книжки попадают к ковбоям в лагерь или к матросам на бак, — это совсем не то, что у вас, например. Ну, так я только такие книжки и читал. А все-таки — я вовсе не хочу хвастаться — я не такой, как другие, с кем мне приходилось иметь дело. Не то, чтобы я был лучше своих товарищей, матросов или ковбоев. Я и ковбоем был, хотя недолго, но всегда любил книги; я читал все, что мне попадалось... одним словом, я думаю совсем не так, как большинство из них. Так вот в чем дело. Я никогда раньше не бывал в таком доме,

как ваш. Когда я пришел к вам неделю тому назад и увидел все это, и вас, и вашу матушку, и ваших братьев, и все — мне это... ну, понравилось. Я слыхал, что бывают такие дома и читал про это в книгах, а когда познакомился с вами, то понял, что в книгах все написано правильно. Но главное то, что это мне нравится. Я сам хочу этого. Хочу теперь же, сейчас. Я хочу дышать таким воздухом, как здесь, чтобы меня окружали книги, картины, красивые вещи, чтобы люди не кричали, были сами чистые и мысли чтоб у них были чистые. До сих пор я только и слышал что разговоры о еде, да как бы за квартиру заплатить, или денег накопить, или напиться. Когда вы пошли навстречу вашей матери и поцеловали ее, то мне показалось, что я никогда не видал ничего прекраснее. Я хорошо знаю жизнь, я как-то лучше ее знаю, чем люди, которые меня окружают. Я люблю смотреть вокруг; мне хочется все видеть и вижу я по-своему.

Но я все-таки еще не сказал вам главного. Вот в чем дело: я хочу подняться до той жизни, которой живете вы все здесь. Ведь в жизни есть еще нечто, кроме пьянства, тяжелой работы и шатания по свету. Но как мне этого достигнуть? С чего начать? Я знаю, что это даром не дается, а там, где дело касается работы, я любому дам сто очков вперед. Если уж я возьмусь за что-нибудь, то буду работать день и ночь. Может быть, вы будете смеяться надо мной за то, что я к вам обратился. Я сам знаю, что не следовало бы вас об этом спрашивать, но мне не к кому больше пойти, кроме разве Артура. Может быть, и надо было к нему обратиться. Будь я...

Голос его оборвался. Твердое решение спросить у нее совета вдруг пропало от внезапной мысли, что он напрасно не пошел к Артуру, а вместо этого опять оказался в дураках. Рут заговорила не сразу. Она слишком была поглощена вопросом, как примирить его нескладную, запинающуюся речь и простые мысли с тем, что она прочла у него на лице. Никогда еще она не видела глаз, в которых светилась бы такая сила. Они убеждали ее, что этот человек может совершить все, что угодно, но это чувство как-то плохо вязалось с беспомощностью выраженного. Ее собственный ум отличался такой сложностью и сообразительностью, что она не сумела

понять и оценить эту беспомощную простоту и непосредственность. И все же в самой его неуверенности заключалась сила. Он казался ей великаном, старающимся разорвать связывающие его путы. Наконец она заговорила. Лицо ее выражало глубокое сочувствие к нему.

— Вы сами отлично сознаете, чего вам не хватает, — образования. Вам нужно начать сначала: окончить школу, а затем — поступить в университет.

— Но ведь на это нужны деньги, — перебил он ее.

— Ах! — воскликнула она. — А я об этом и не подумала. Но у вас, наверное, есть кто-то из родных, кто мог бы помочь вам?

Он отрицательно покачал головой.

— Отец и мать мои умерли. У меня две сестры, — одна замужем, а другая, наверное, скоро выйдет, у меня целая куча братьев — я самый младший, но они никогда никому не помогали. Они разбрелись по миру в поисках счастья. Старший умер в Индии. Двое сейчас в Южной Африке, четвертый — матрос на китобойном судне, он теперь в плавании, а пятый — акробат в странствующем цирке. И я — такой же, как они. Я сам зарабатываю себе на хлеб с одиннадцати лет, с тех пор как умерла моя мать. Учиться мне придется самому, и мне хочется знать, с чего начать.

— Первое, что вам, по-моему, следует сделать, это приняться за язык. Вы говорите... — она чуть было не сказала «ужасно», но остановилась и добавила: — не вполне правильно.

Он вспыхнул и почувствовал, как на лбу у него выступил пот.

— Да, я часто говорю на жаргоне и употребляю непонятные вам слова. Но ведь... я только эти слова и знаю. В голове у меня есть и другие слова, которые я вычитал из книжек, но я не знаю, как нужно их произносить, и потому я их не употребляю.

— Дело не столько в словах, сколько в неумении выражаться. Вы не сердитесь, что я говорю так откровенно? Мне не хотелось бы обидеть вас.

— Нет-нет! — воскликнул он, почувствовав к ней признательность за ее доброту. — Выкладывайте все. Знать мне нужно — так уж лучше узнать от вас, чем от кого-нибудь другого.

— В таком случае начнем.

И Рут указала ему на целый ряд ошибок, которые он постоянно допускал в произношении слов и построении фраз, и была поражена, как быстро и хорошо он усваивал ее замечания.

— Вам необходимо изучить грамматику, — сказала она. — Я сейчас схожу за книжкой и покажу, с чего начать.

Вернувшись с учебником грамматики, она придвинула свой стул поближе — он подумал, что ему, наверное, следовало бы помочь ей, — и села рядом с ним. Она стала перелистывать страницы; наклоненные головы их почти касались друг друга. Эта близость так волновала его, что он с трудом следил за ее словами. Но когда она начала объяснять ему правила спряжения глаголов, он даже забыл о ней. Он раньше и понятия не имел о спряжениях, и его поразило это раскрытие законов речи. Он наклонился над страницей, и волосы ее коснулись его щеки. Ему только раз в жизни случилось потерять сознание, но он почувствовал, что на этот раз близок к обмороку. Он не дышал, и сердце у него билось так сильно, что вся кровь, казалось, подступила к горлу и едва не задушила его. Никогда еще она не казалась ему столь достижимой. На один миг исчезла пропасть, разделявшая их. Но его чувство к ней оставалось таким же возвышенным. Не она опустилась до него, а он вознесся ввысь к ней. В это мгновение он испытывал к ней лишь благоговение, как к чему-то священному. Ему казалось, что он проник в святая святых, — медленно, осторожно он отвел голову в сторону, избегая прикосновения ее волос, от которого по всему телу его словно пробегал электрический ток. Но она ничего не заметила.

ГЛАВА VIII

Прошло несколько недель, в течение которых Мартин изучал грамматику, правила хорошего тона и жадно прочитывал все попадающиеся ему книги. Он совершенно не встречался с людьми своего класса. В клубе «Лотоса» девушки не могли понять, что с ним случилось, приставали

с расспросами к Джиму. У Райли боксеры радовались, что Мартин больше не появляется. Между тем, во время одного из посещений библиотеки ему попалось еще одно сокровище. Эта книга раскрыла перед ним законы стихосложения, так же, как грамматика — законы речи; из нее он узнал о размере, форме и слоге и понял, каким образом создается красота стиха, так пленившая его. В другом современном сочинении поэзия рассматривалась как искусство изобразительное; теория эта развивалась очень подробно, причем приводилось множество примеров из произведений лучших поэтов. Никогда еще Мартин не читал ничего, даже романов, с таким увлечением и интересом, как эти две книги. Его свежий ум, двадцать лет находившийся в покое, теперь, под влиянием его твердого решения, схватывал все, что он читал, с быстротой, незнакомой даже людям, привыкшим к отвлеченному мышлению.

Теперь, когда он оглядывался назад на пройденный путь, прежний мир, в котором он когда-то вращался, мир суши, моря и кораблей, мир матросов и женщин-гарпий, этот мир казался ему узеньким, тесным; но при этом он как-то сливался с теперешним новым его миром и словно расширялся в его глазах. Ум его склонен был искать во всем единство, и он был удивлен, впервые найдя точки соприкосновения между обоими мирами. Сам он, под влиянием возвышенных мыслей и красоты, которые почерпнул из книг, сумел подняться выше своей среды; благодаря этому в нем стало крепнуть убеждение, что люди из высших слоев общества, как, например, Рут и ее родные, так же возвышенно мыслят и живут. На низах, там, где был он, существовала лишь мерзость; ему хотелось очиститься от этой мерзости, всю жизнь осквернявшей его, и подняться до высот, на которых пребывали лица из обеспеченного класса. Весь период своего детства и отрочества его постоянно томило какое-то беспокойство, ему чего-то нехватало, чего — он сам не знал до той минуты, пока не встретился с Рут. С тех пор томление его усилилось и обострилось; он понял, наконец, понял ясно и определенно, что всегда жаждал любви, красоты, интеллекта.

В течение этих нескольких недель он виделся с Рут раз шесть, и каждое свидание вдохновляло его снова и снова. Она учила

его правильно изъясняться, поправляла ошибки в произношении и начала заниматься с ним арифметикой. Но беседы их не ограничивались только этим. Слишком хорошо он знал жизнь, слишком зрелый был у него ум, чтобы он мог удовольствоваться изучением дробей, кубических корней, арифметическими и синтаксическими работами. Беседа часто переходила на другие темы — о недавно прочитанном им стихотворении, о поэте, которого она изучала. Иногда она читала ему вслух свои любимые отрывки — и он от восторга возносился на седьмое небо. Ни у одной из знакомых ему женщин не было такого голоса. При первых его звуках, при малейшем произнесенном ею слове Мартин весь трепетал, чувствуя, что начинает любить ее еще больше. Самый тембр этого голоса был успокоительный, а все модуляции — мелодичны; в нем слышались нежность, богатство тона и еще что-то неуловимое — продукт культуры и прекрасной души. Слушая ее, он вспоминал резкие выкрики грубых женщин и завсегдатаев портовых кварталов, менее визгливые, пронзительные голоса фабричных работниц. Затем включалось его воображение — и все эти женщины проносились у него перед глазами; благодаря контрасту с ними очарование Рут проявлялось еще ярче. Наслаждение его усиливалось от сознания, что ум его вполне понимает то, что она читает, что она вся трепещет от красоты произведения. Она часто прочитывала ему отрывки из «Принцессы», при этом глаза ее порой наполнялись слезами, так сильно было в ней эстетическое чувство. В такие минуты его собственные эмоции увлекали его ввысь, и он казался себе богом: когда он смотрел на нее и слушал ее, он понимал, что проникает в самые глубокие ее тайны. И тогда, сознавая высоту, которой достигало его чувство, он признавался себе, что это и есть любовь и что нет в мире ничего выше любви. В его памяти всплывали все случаи, когда он раньше терял голову — либо под влиянием винных паров, либо от женских ласк, либо во время грубой, полной риска, борьбы; каким жалким и низменным в сравнении с тем, что он испытывал теперь, казался ему вызываемый всем этим трепет.

Рут же лишь неясно представляла себе, что происходит на самом деле. Она не испытывала еще сердечных увлечений. Все

свои познания она черпала из книг, где обычные события игрой воображения превращались в волшебный, не похожий на реальность мир. Ей и не снилось, что этот грубый матрос постепенно овладевает ее сердцем, зажигая огонь, который когда-нибудь прорвется наружу и охватит всю ее бурным пламенем. Ей был неведом огонь страсти. Любовь представлялась ей в виде мерцающего света, чего-то нежного, как роса, или всплеска мирно текущей речки, чего-то свежего, как прохлада темной, бархатной летней ночи. Для нее любовь была скорее спокойной привязанностью, служением любимому существу в сумеречной, спокойной атмосфере, наполненной благоуханием цветов. Она не представляла себе, что любовь может быть подобна вулкану, всепожирающий огонь которого превращает сердце в усеянную пеплом пустыню. Она не подозревала о таинственных силах, как скрывающихся в ее собственной душе, так и существующих порой в жизни; бездны жизни были скрыты от нее морем иллюзий. Супружеское счастье ее родителей представлялось ей идеалом любви на почве сродства душ; она надеялась, что когда-нибудь и она вступит — без потрясений и мук — в это спокойное, приятное существование вдвоем с любимым человеком.

Поэтому она смотрела на Мартина Идена как на нечто новое, как на странную личность; впечатление, производимое им, она приписывала именно этой новизне и странности, и это казалось ей вполне естественным. С таким же странным чувством она, бывало, смотрела на диких зверей в клетках или на ураган и вздрагивала при виде яркого зигзага молнии. Во всем этом чувствовалось что-то космическое; так же и в Мартине таилась космическая сила. От него веяло свежим воздухом и необъятным простором. Его лицо носило на себе следы тропического солнца, а его упругие мускулы говорили о первобытной жизненной силе. Он носил на себе печать таинственного мира грубых людей и грубых деяний, который начинался там, за чертой, замыкавшей ее горизонт. Это был дикий, еще не укрощенный зверь, и она испытывала тщеславие, польщенная тем, что он кротко подходил к ее руке. У нее появилось весьма естественное побуждение — укротить это дикое суще-

ство. Это было побуждение бессознательное; ей и в голову не приходило, что она стремится вылепить из него, словно из мягкой глины, нечто вроде образа и подобия своего отца, которого считала идеалом. Из-за неопытности она не сознавала, что то космическое начало, которое она чувствовала в Мартине, не что иное, как любовь, эта основная космическая сила, которая заставляет мужчин и женщин стремиться друг к другу, побуждает оленей сражаться в период спаривания и даже вызывает тяготение атомов друг к другу.

Быстрое развитие Мартина заинтересовало и поразило Рут. Она с каждым разом открывала в нем такие способности, о которых и не подозревала; она видела, что семена учения падают на благодатную почву и дают пышные ростки. Она читала ему вслух Броунинга и подчас удивлялась его оригинальному толкованию спорных мест. Она не могла понять, что он благодаря своему опыту в общении с людьми и знанию жизни мог правильнее схватить мысль поэта, чем даже она. Некоторые его концепции казались ей наивными, но ее часто увлекали смелость его толкований и полет мысли, уносившейся в надзвездные пространства так высоко, что она порой не могла угнаться за ней и только ощущала трепет от присутствия какой-то неведомой ей мощи. Тогда она играла ему на рояле — но уже не назло ему; и музыка открывала ей неизведанные глубины в его душе, которая под влиянием звуков раскрывалась, как цветок под лучами солнца. Он быстро сумел перейти от обычного репертуара, популярного среди представителей его класса, к классической музыке, которую она почти всю знала наизусть. Однако он все еще отдавал предпочтение Вагнеру; больше всего его увлекала увертюра к «Тангейзеру», смысл которой она разъяснила ему. Мотив «Грота Венеры» был для него символическим изображением его прошлого; а мотив «Хора пилигримов» ассоциировался у него почему-то с ней самой. Эта музыка приводила его в восторженное возбуждение, и он возносился ввысь, в те призрачные области духа, где происходит вечная борьба добра и зла.

Иногда он не соглашался с ней, и тогда, под влиянием его мнения, у нее возникало сомнение в правильности ее собс-

твенного определения и понимания музыки. Зато относительно ее пения он ничего не говорил. Слишком уж отражалась в нем она сама; он мог только дивиться божественной мелодичности ее чистого сопрано и невольно сравнивал его со слабыми, дрожащими, визгливыми выкриками работниц, худосочных, с непоставленными голосами, или с хриплым от джина хором женщин в портовых городах. Она любила играть и петь для него. Впервые она властвовала над человеческой душой и наслаждалась тем, что мягкая глина так легко поддается лепке; она воображала, что по-своему лепит его, и намерения были у нее самые благие. К тому же ей было приятно с ним. Она больше не боялась его. Страх, который она испытала вначале, был в сущности лишь страхом перед собой, но теперь он исчез. Сама того не сознавая, она считала, что он принадлежит ей; вместе с тем его присутствие как-то подбодряло ее. Все это время она усиленно занималась в университете, а этот человек, от которого точно веяло свежим морским ветром, словно придавал ей силы и освежал ее после книжной пыли. Сила — вот в чем она нуждалась, и он умел вдохнуть в нее часть своей. Когда она входила в комнату, где он находился, или встречала его у дверей, ей казалось, что в нее вливается струя жизненной энергии. И после его ухода она возвращалась к своим книгам с новым удовольствием и свежим запасом сил.

Она хорошо знала Броунинга, но ей никогда не приходило в голову, что играть с чужой душой так же опасно, как с огнем. Интерес ее к Мартину все возрастал, а желание переделать его жизнь на новый лад начало превращаться в настоящую страсть.

— Вот, посмотрите, например, на мистера Бэтлера, — сказала Рут как-то раз, когда разговор о грамматике, арифметике и поэзии был окончен. — Вначале ему приходилось очень туго. Отец его служил кассиром в банке, но под конец жизни он не мог работать: он медленно угасал от чахотки в Аризоне. А когда он умер, мистер Бэтлер — Чарльз Бэтлер — остался совсем одинок. Отец его был уроженцем Австралии, и в Калифорнии у него не оказалось никаких родных. Он поступил в типографию — я сама много раз слышала от него этот рассказ, — где ему сна-

чала платили по три доллара в неделю. А сейчас он зарабатывает по меньшей мере тридцать тысяч долларов в год. А как он этого добился? Он всегда отличался честностью, преданностью, трудолюбием и бережливостью. Он отказывал себе во всех удовольствиях, без которых не хотят обходиться молодые люди. Он взял себе за правило во что бы то ни стало откладывать каждую неделю определенную сумму. Разумеется, вскоре он стал получать больше трех долларов; а чем больше ему платили, тем больше он откладывал. Днем он ходил на службу, а по вечерам посещал вечернюю школу. Он постоянно думал о будущем. Затем он окончил вечерние курсы. Уже в семнадцать лет он стал наборщиком и получал отличное жалованье. Но он был честолюбив и мечтал сделать карьеру, а не только зарабатывать на хлеб. В конце концов он остановился на юриспруденции и поступил рассыльным в контору к моему отцу — рассыльным, подумайте только! Там ему платили четыре доллара в неделю. Но он уже научился делать сбережения и даже из этой суммы продолжал откладывать.

Рут умолкла, чтобы передохнуть. Ей хотелось посмотреть, какое впечатление произвел на Мартина ее рассказ. По лицу его было заметно, что он заинтересовался борьбой, некогда выдержанной юным мистером Бэтлером, но тем не менее слегка хмурился.

— По-моему, трудновато пришлось бедняге, — заметил Мартин. — Четыре доллара в неделю. Как он мог жить на это? Да, на это не раскрутишься! Вот я, например, плачу сейчас пять долларов за стол и комнату далеко не первого сорта, смею вас уверить. Собачью он вел жизнь, наверно. Пища, которую он ел...

— Он сам себе готовил, — перебила она, — на керосинке.

— Пища его наверняка была хуже той, которую дают матросам на самых скверных судах дальнего плавания, а там кормят так, что хуже нельзя.

— Но зато вспомните, кем он стал! — воскликнула она с энтузиазмом. — Подумайте только, сколько он получает в год! Все лишения, которые он перенес, теперь окупились в тысячу раз!

Мартин кинул на нее строгий взгляд.

— Готов держать пари, — сказал он, — что сейчас, когда мистер Бэтлер достиг богатства, он уже забыл о том, что значит радость в жизни. Если он так питался в течение многих лет, то, вероятно, совершенно расстроил себе пищеварение.

Рут опустила глаза под его строгим взглядом.

— Держу пари, что у него катар! — вызывающе заявил Мартин.

— Да, — согласилась она, — но...

— И еще готов биться об заклад, — не слушая ее, продолжал Мартин, — что он важен и скучен, как старый филин, и ничто его не радует, несмотря на все его тридцать тысяч в год. И ему даже не доставляет удовольствия видеть радость других. Разве я не прав?

Она кивнула головой в знак согласия и поспешно стала объяснять:

— Но он вовсе не из того типа людей. Он по характеру человек умеренный и серьезный. Он всегда был таким.

— Еще бы ему не быть таким, — произнес Мартин. — Каково молодому парню жить на три или на четыре доллара в неделю да самому готовить на керосинке, да еще деньги копить, да притом весь день работать, а по ночам учиться, — круглые сутки заниматься делом, без малейшего развлечения, и даже не знать, что значит повеселиться... Понятно, что его тридцать тысяч пришли слишком поздно!

Под влиянием жалости к Бэтлеру его воображение рисовало ему тысячи подробностей из жизни несчастного мальчика, его духовную ограниченность, превратившую его наконец лишь в «человека с тридцатью тысячами в год». С быстротой молнии перед ним пронеслась вся жизнь Чарльза Бэтлера.

— А знаете, — добавил он, — мне жаль мистера Бэтлера. Он был молод и потому не знал, что делает, но он лишил себя радости жизни ради каких-то тридцати тысяч в год, которые теперь пропадают у него зря. Ведь сейчас все равно на эти тридцать тысяч, выложи он даже их все сразу, он не может купить того удовольствия, которое дали бы ему, когда он был молод, какие-нибудь десять центов, догадайся он тогда не от-

ложить их, а истратить на леденцы, или на орехи, или пойти в театр на галерку!

Эта оригинальность взглядов Мартина больше всего поражала Рут. Они не только отличались новизной и противоречили всем ее собственным воззрениям, она еще чувствовала в них долю истины, грозившую уничтожить или изменить ее убеждения. Будь ей четырнадцать лет вместо двадцати четырех, она несомненно изменилась бы; но она уже была не девочка; по характеру и воспитанию она отличалась консервативностью; мировоззрение ее успело выкристаллизоваться в ту форму, которая соответствовала ее положению в жизни. Правда, его оригинальные суждения иногда внушали ей какую-то тревогу, но она объясняла это тем, что все это ново для нее, что жизнь его была необычной, и скоро забывала об этом. Однако, хотя она и не соглашалась с этими взглядами Мартина, все же ее охватывал какой-то трепет, когда она видела, как убежденно он их высказывает, как ярко горят у него при этом глаза и каким серьезным становится лицо, в эти минуты ее еще больше тянуло к нему. Ей и в голову не приходило, что этот человек, пришедший откуда-то издалека, из-за черты, замыкавшей ее горизонт, явился затем, чтобы раскрыть перед ней новые, более широкие горизонты. Ее кругозор был ограничен и определялся кругозором окружающей ее среды, но ограниченный ум может подмечать ограниченность только у других. Поэтому она считала, что ее мировоззрение отличается необычайной широтой и что если они с Мартином не сходятся во взглядах, то лишь вследствие его ограниченности; она мечтала научить его видеть ее глазами и расширить его кругозор так, чтобы он слился с ее кругозором.

— Но я так и не окончила рассказывать, — продолжала она. — Бэтлер, по словам моего отца, работал так, как ни один рассыльный. Он всегда готов был работать. Он никогда не опаздывал, наоборот, приходил в контору за несколько минут до назначенного часа. А между тем, он и время умел беречь. Каждую свободную минуту он использовал для учебы. Так он изучил бухгалтерию и научился писать на машинке, брал уроки стенографии у репортера, писавшего судебную хронику; а так

как репортер этот нуждался в практике, то Бэтлер, в виде платы за уроки, диктовал ему по ночам. Вскоре Бэтлер стал клерком, и клерком незаменимым. Отец очень ценил его; он видел, что Бэтлер пойдет далеко. По настоянию отца он и поступил в школу юриспруденции, сделался адвокатом и не успел он вернуться в контору, как отец взял его к себе младшим компаньоном. Это крупная личность. Он несколько раз отказывался от должности сенатора; по словам отца, его могут выбрать и в Верховный Суд, когда откроется вакансия, если только он согласится. Его жизнь должна служить всем нам вдохновляющим примером. Она доказывает, что человек сильной воли может подняться над окружающей его средой.

— Да, это выдающаяся личность, — искренне согласился Мартин.

Но все же он чувствовал в этом рассказе нечто противоречащее его чувству красоты и пониманию жизни. Он не мог себе представить, ради какой цели мистер Бэтлер всю жизнь ограничивал себя и отказывал себе во всем. Делай он это из любви к женщине или ради красоты, Мартин понял бы его. «Объятый страстью божественной, любовник безумный» мог отдать жизнь за поцелуй, но не за тридцать тысяч в год. Его не удовлетворила бы карьера мистера Бэтлера. И в ней чувствовалось что-то мелкое. Тридцать тысяч в год — штука недурная, но катар и невозможность испытать счастье, доступное всем людям, — все это лишало этот воистину княжеский доход всякой прелести.

Мартин пытался поделиться этими мыслями с Рут; но в результате только шокировал ее, вселив в нее убеждение, что ей необходимо еще поработать над его умственным развитием. Она отличалась известной узостью взглядов, когда человек считает, что его раса, его вера, его политические убеждения лучше и правильнее других и что все остальные рассеянные по миру люди гораздо ниже их. Это то же самодовольство, которое заставляло древнего еврея благодарить Бога за то, что он не родился женщиной, и которое в наше время гонит миссионеров на край земли, чтобы заменять чужих богов своими. Это самодовольство и толкало Рут к тому,

чтобы переделать человека из другого мира на свой лад и превратить его в подобие людей ее круга.

ГЛАВА IX

Мартин Иден возвращался из плавания и спешил домой, в Калифорнию, горя желанием поскорее увидеть предмет своей любви. Когда деньги у него кончились, он поступил матросом на шхуну, отправлявшуюся в Океанию на поиски клада. Однако после восьми месяцев бесплодных усилий экспедиция распалась на Соломоновых островах. Жалованье было выдано матросам еще в Австралии, и потому Мартин, не теряя времени, тотчас же нанялся на судно, шедшее в Сан-Франциско. За восемь месяцев плавания он не только заработал достаточно денег, чтобы несколько месяцев прожить на суше, но успел много прочесть и многое изучить.

Он вообще обладал способностью к учению; кроме того, его подгоняла непреклонная воля и любовь к Рут. Отправляясь в плавание, он захватил с собой учебник грамматики и принялся тщательно его изучать, пока его свежий ум полностью не усвоил всех правил. Он начал замечать ошибки в речи матросов и выработал в себе привычку мысленно поправлять их неправильные обороты. К великой своей радости, он заметил, что грамматические ошибки уже режут ему слух и действуют на нервы. Он вздрагивал от них, как от фальшивой ноты. Увы, случалось порой, что такая фальшивая нота срывалась и с его языка, еще не научившегося за этот короткий срок повиноваться ему.

Основательно пройдя несколько раз грамматику, Мартин принялся за словарь, каждый день прибавляя к своему лексикону два десятка новых слов. Это оказалось делом нелегким. Стоя на вахте или у штурвала, он повторял весь свой постепенно удлинявшийся список выученных слов и выражений, хотя порой засыпал во время этого упражнения. Он постоян-

но повторял про себя выражения, в которых раньше делал ошибки, стараясь таким образом приучить себя говорить языком Рут. К своему удивлению, он вскоре заметил, что начал говорить по-английски правильнее и чище, чем даже офицеры судна или богатые авантюристы, на чьи средства была организована экспедиция. Капитан, норвежец с рыбьими глазами, где-то добыл себе полное собрание сочинений Шекспира, которого никогда не читал. Мартин стирал ему белье и в благодарность за это получил разрешение пользоваться драгоценными книгами. Юноша с головой ушел в чтение произведений великого писателя, и многие, особенно понравившиеся ему отрывки из них легко запоминал наизусть. Впечатление было так сильно, что в течение некоторого времени весь мир представлялся ему в виде комедий или драм времен королевы Елизаветы; он даже думал белыми стихами. Он научился ценить красоту английского языка, хотя вместе с тем усвоил много вышедших из употребления, устаревших оборотов.

Восемь месяцев плавания не прошли для него даром: он не только приучился правильно мыслить и правильно выражаться — он познал самого себя. Вместе со смирением, выработавшимся в нем от сознания своего невежества, в нем начала расти уверенность в собственных силах. Он теперь видел огромную разницу между собой и своими товарищами, но разница эта заключалась не в достигнутом, а в возможном достижении. Мартин был достаточно умен, чтобы понимать это. То, что делали они, умел и он; но внутреннее чувство подсказывало ему, что он способен на нечто большее. Он мучительно остро ощущал всю прелесть мира и жалел, что Рут не с ним и не может разделить его восторга. Он решил по возвращении подробно описать ей всю красоту южных морей. Эта мысль дала ему толчок к творческому началу, он решил воспроизвести эту красоту перед более обширной аудиторией. И тут-то его осенила ослепительная идея: он должен писать! Он будет тем, чьими глазами будет смотреть мир, чьими ушами мир будет слушать, чьим сердцем — чувствовать. Он будет писать — писать все — и стихи, и прозу, и беллетристику, и очерки, и драмы, и комедии, как Шекспир. Вот карьера для

него — вот путь, который приведет его к Рут. Литераторы — исполины в мире; он считал, что они стоят куда выше всяких мистеров бэтлеров с их тридцатью тысячами в год, которые, если бы пожелали, могли бы стать членами Верховного Суда!

Зародившись однажды в голове у Мартина, эта мысль полностью захватила его. Обратный путь в Сан-Франциско прошел как сон. Мартин был опьянен неожиданным сознанием своей мощи; ему казалось, что он способен совершить все, что угодно. Среди великого уединения океана он научился видеть жизнь в перспективе и впервые ясно разглядел Рут и ее мирок. Этот мирок представился ему отчетливо, в виде конкретного предмета, который он мог бы взять в руки, повернуть во все стороны и близко рассмотреть. Многое было для него неясного и туманного в этом мире, но он рассматривал его в целом, не обращая внимания на детали, и видел при этом, каким способом он может его победить. Писать! Эта мысль точно огнем жгла его. Он примется за дело, как только вернется. Прежде всего он опишет путешествие с искателями клада. Эту вещь он продаст какой-нибудь газете в Сан-Франциско. Рут он об этом ничего не скажет: как она будет обрадована и удивлена, когда увидит его имя в печати! А между тем можно будет продолжать и занятия. Ведь в сутках двадцать четыре часа. Он чувствовал в себе неисчерпаемую силу, чувствовал, что перед ним должны пасть самые неприступные крепости.., а работы он не боялся. Теперь ему уже не придется больше отправляться в плавание... наниматься матросом на суда: на миг он представил себе паровую яхту. Он сдерживал себя, повторяя, что все это не так скоро делается, что вначале хорошо будет, если он заработает достаточно денег, чтобы заниматься дальше. А затем, через некоторое, весьма неопределенное время, когда он подучится и подготовится, он создаст великие произведения, и его имя будет у всех на устах. Но важнее, бесконечно важнее, — он докажет, что достоин Рут. Слава тоже вещь хорошая, но все его великолепные мечты были лишь мечтой о Рут. Не славы он жаждал — он лишь был безумно влюблен!..

Вернувшись в Окленд с кругленькой суммой в кармане, он занял свою прежнюю комнату у Бернарда Хиггинботама и при-

нялся за работу. Даже Рут он не сообщил о своем возвращении. Он решил, что пойдет к ней, только окончив очерк об искателях клада. Удержаться от желания видеть ее ему удавалось благодаря сжигающей его творческой лихорадке. К тому же этот очерк, который он писал, должен был приблизить его к ней. Он не знал еще, какого объема он должен быть, поэтому для собственной ориентировки сосчитал количество слов в одном из очерков воскресного приложения к «Обозревателю Сан-Франциско». Три дня он писал без передышки и закончил очерк, однако, переписав его нетвердым, но крупным и достаточно четким почерком, из найденного им в библиотеке учебника словесности он узнал, что существуют еще кавычки и абзацы, о которых он и не подумал! Он тотчас же стал переписывать очерк, постоянно справляясь с учебником; благодаря этому он в один день узнал больше о том, как следует писать сочинения, чем школьники узнают за целый год. Переписав вторично свой очерк и свернув его в трубочку, он неожиданно прочел в газете в заметке «Советы начинающим писателям» о железном законе, гласившем, что рукописи ни в коем случае нельзя свертывать и что писать надо лишь на одной стороне листа. Оказалось, что он дважды нарушил закон. Из той же заметки он узнал, что лучшие газеты платят по десять долларов за столбец, и потому, засев в третий раз за переписку, стал для самоутешения умножать десять долларов на десять столбцов. Произведение всегда получалось одно — сто долларов, — и Мартин решил, что быть писателем выгоднее, чем матросом. Если бы не эти его промахи, он закончил бы очерк за три дня. Сто долларов в три дня! Чтобы столько заработать, ему пришлось бы проплавать, по меньшей мере, три месяца! Глупо наниматься на судно, если можешь писать, решил он. Впрочем, для него не деньги сами по себе были важны. Они представляли ценность лишь постольку, поскольку давали ему свободу и возможность купить себе приличный костюм — и, таким образом, приближали его к стройной бледной девушке, перевернувшей всю его жизнь и подарившей ему вдохновение.

Мартин положил рукопись в большой конверт и послал его редактору газеты «Обозреватель Сан-Франциско». Он наивно

предполагал, что материал, поступивший в редакцию, печатается тотчас же; а так как он отправил рукопись в пятницу, то ждал появления очерка в воскресенье. Ему казалось, что это будет оригинальным способом известить Рут о своем возвращении. В воскресенье днем можно будет и зайти к ней. А между тем ему пришла в голову другая идея, которой он гордился, считая ее необыкновенно здравой, правильной и скромной: он напишет приключенческую повесть для юношества и продаст ее журналу «Товарищ». Отправившись в бесплатную читальню, он просмотрел множество номеров этого журнала. Оказалось, что длинные повести обычно печатаются там частями, тысячи по три слов каждая. В большинстве случаев они делились на пять частей, но в некоторых оказалось и по семи. Мартин тотчас же решил написать повесть в семи частях.

Ему случилось однажды совершить путешествие в Северный Ледовитый океан на китобойном судне. Путешествие это должно было продолжаться три года, но закончилось через шесть месяцев из-за крушения. Хотя Мартин обладал богатым, склонным к фантазиям воображением, у него было также врожденное стремление и к правде, заставлявшее его писать лишь то, что ему хорошо известно. Он знал, как ловят китов, и, основываясь на известном ему материале, сочинил повесть о приключениях двух мальчиков. Он принялся за дело и в субботу вечером, решив, что работа эта нетрудная. В этот же день он закончил первую часть повести — к великому удовольствию Джима и к нескрываемому презрению мистера Хиггинботама, который в течение всего обеда осыпал насмешками появившегося в семье «литератора».

Мартин молчал и довольствовался тем, что представлял себе изумление зятя, когда тот в воскресенье утром откроет газету и увидит в ней статью об искателях клада.

В этот день Мартин рано утром побежал ко входной двери и схватил газету. Он нервно пробежал взглядом все ее страницы, затем во второй раз внимательно просмотрел ее и наконец отложил в сторону. Он был рад, что никому не проболтался о своей работе. Поразмыслив, он решил, что ошибся относительно срока выхода посылаемых в редакцию произведений.

Да и в его рассказе не было никаких «последних новостей». Очевидно, редактор сначала сообщит ему свое мнение.

Позавтракав, он опять принялся за свою повесть. Слова сами точно слетали у него с пера, хотя ему все-таки часто приходилось прерывать работу, чтобы заглянуть в словарь или в учебник словесности. Во время этих пауз он иногда читал или перечитывал какую-нибудь главу и утешал себя тем, что хотя он и не творит еще тех великих произведений, которые — он чувствовал — вынашивает в своей голове, зато учится технике писания и привыкает правильно излагать свои мысли. Он проработал до вечера, затем отправился в читальню и просматривал там журналы до самого закрытия ее в десять часов. Такова была программа каждого дня, которую он наметил себе на целую неделю. Ежедневно он писал по три тысячи слов, а по вечерам сидел в читальне и, листая журналы, старался понять, почему печатают ту или иную повесть, статью или стихотворение. Несомненно было одно: то, что сумели сделать все эти многочисленные авторы, сумеет сделать и он; дайте ему только срок, — и он сделает гораздо больше. Мартин с удовольствием прочел статью о гонорарах писателей; больше всего обрадовало его не то, что Киплинг получает по доллару за слово, а то, что минимальный гонорар, который платят лучшие журналы начинающим авторам, — два цента за слово. Несомненно, «Товарищ» принадлежал к числу перворазрядных журналов: в таком случае те три тысячи слов, которые Мартин написал в течение дня, должны были дать ему шестьдесят долларов — двухмесячное жалованье матроса.

В пятницу Мартин закончил свою повесть в двадцать одну тысячу слов. Он высчитал, что если заплатят по два цента за слово, она должна принести ему четыреста двадцать долларов, а это для недельного заработка было вовсе недурно. Такой суммы у него никогда не было. Он даже не представлял себе, на что истратит ее. Ему казалось, что он напал на золотую жилу. Ведь затем он получит еще много денег из того же источника. Он решил, что купит себе костюм, подпишется на несколько журналов и приобретет с дюжину разных справочников, чтобы не бегать в библиотеку каждый раз, когда они ему необхо-

димы. И все-таки у него оставалось еще больше половины от четырехсот двадцати долларов. Это его озаботило, и он успокоился только тогда, когда решил нанять прислугу для Гертруды и купить Мэриен велосипед.

Наконец он опустил в ящик увесистый конверт, адресованный в редакцию журнала «Товарищ». Затем он набросал план следующего очерка — о ловле жемчуга. Наконец, в субботу днем он отправился к Рут. Предварительно он позвонил ей по телефону, и она встретила его у дверей. Знакомое ощущение силы и здоровья, всегда исходившее от него, сразу же передалось ей. Точно живительная струя влилась в нее и жаркой волной пробежала по ее жилам, наполняя ее трепетом. Взяв ее за руку и взглянув в ее голубые глаза, Мартин вспыхнул, но свежий загар от восьмимесячного плавания скрыл румянец. Однако этот загар не помешал Рут заметить красную полоску, натертую на шее воротничком, и про себя улыбнуться. Правда, увидев его костюм, она перестала улыбаться. Он отлично сидел на Мартине — это был первый костюм, который он сшил себе на заказ; он в нем казался стройнее и изящнее. Вдобавок и фуражка его сменилась мягкой шляпой. Рут велела ему надеть ее, оглядела его и сделала комплимент его внешности. Давно уже она не была так счастлива. Ведь эта перемена в нем — дело ее рук; она гордилась этим и мечтала и дальше помогать ему.

Особенно же поразительная перемена произошла в его речи: эта перемена доставила Рут наибольшее удовольствие. Он говорил не только правильнее, но и свободнее, употребляя много новых слов и выражений. Впрочем, когда он увлекался, то опять неправильно произносил слова, немного запинался. С другой стороны, с умением выражаться у него появилось остроумие и насмешливость, приводившие Рут в восторг. Это был природный юмор, которым восхищались его товарищи; однако раньше Мартин не мог проявлять его в присутствии Рут из-за недостатка слов и отсутствия легкости речи. Теперь он уже начал немного ориентироваться и не чувствовал себя больше таким чужим в ее обществе. Тем не менее он соблюдал крайнюю осторожность: при легком, шутливом разговоре он ждал, чтобы тон задала она, а сам лишь поддерживал ее, не осмеливаясь на большее.

Он рассказал ей о работе и поделился своим решением зарабатывать себе на жизнь литературным трудом, не бросая учебы. Однако его ждало разочарование: девушка не одобрила его планов.

— Видите ли, — откровенно сказала она, — писательство — это такое же ремесло, как и все прочие. Разумеется, я в этом не много смыслю, а только повторяю распространенное мнение. Ведь не можете же вы стать кузнецом, не поучившись, по крайней мере, года три этому делу, а может быть, и все пять. Писателям же платят куда больше, чем кузнецам, и поэтому множество людей, вероятно, хотели бы заняться литературным трудом, пробуют писать.

— Но почему вы не хотите допустить, что у меня есть литературные способности? — спросил Мартин, радуясь в душе тому, что научился так хорошо говорить. Воображение его быстро представило ему картину этого разговора на фоне целого ряда других картин из его прежней жизни — эпизодов, в которых проявлялось только отвратительное и грубое.

Это видение длилось всего миг, не прервав ни их разговора, ни спокойного течения мыслей Мартина. В его воображении, точно на экране, предстала картина: он сидит против этой милой, прекрасной девушки и разговаривает с ней на хорошем литературном языке в комнате, полной книг и картин, где все говорит о культуре и утонченности. Эта картина словно была освещена ярким светом, а вокруг нее, до самых краев экрана, возникали другие картины, резко контрастирующие с первой. Они изображали сцены из его жизни, а он смотрел, словно зритель, ту, которую хотел. Все эти сцены были точно во мгле или в клубах мрачного тумана, который понемногу рассеивался под лучами яркого, красного света. Он видел ковбоев у стойки кабака, пивших крепкий виски, всюду раздавались ругательства и непристойности, а сам он сидел там же с этими людьми, пил и ругался вместе с ними, или же играл в карты за столом, при свете коптящей керосиновой лампы. Один из игроков сдавал карты, и фишки со стуком падали на стол. Вдруг картина изменилась. Он увидел себя обнаженным до пояса, со сжатыми кулаками, стоящим против «рыжего ливерпульца»

на баке судна «Сасквеганны»: это был день их знаменитого боя. Затем новая сцена. Мартин видит залитую кровью палубу корабля «Джон Роджерс» в то серое утро, когда экипаж поднял бунт: штурман в предсмертной агонии лежит близ люка, капитан стоит с изрыгающим дым и пламя револьвером в руке, а матросы, с перекошенными от злобы озверевшими лицами, падают вокруг, выкрикивая проклятия. И вдруг Мартин опять возвращается к первой картине — к спокойной, чистой комнате, освещенной мягким светом, где он сидит, беседуя с Рут, окруженный книгами и произведениями искусства; вот и рояль, на котором она сейчас будет играть ему. А в его ушах отзывается его собственная, вполне правильная литературная фраза:

— Почему вы не хотите допустить, что у меня есть литературные способности?

— Но какими бы способностями к кузнечному ремеслу ни обладал человек, — смеясь, ответила Рут, — я не слыхала, чтобы он сразу стал кузнецом, сначала не поучившись.

— Что же вы мне посоветуете? — спросил он. — Не забудьте, что я чувствую в себе эту способность; почему — я объяснить не могу; я только знаю, что она у меня есть.

— Вам сначала необходимо получить образование, независимо от того, станете ли вы писателем или нет. Какую бы карьеру вы ни избрали, без образования не обойтись; и оно не должно быть поверхностным — мало нахвататься верхушек. Вам нужно среднее образование.

— Да... — начал он, но она прервала его и добавила, точно эта мысль пришла ей в голову только что:

— Разумеется, вы могли бы и продолжать писать.

— Поневоле так и сделаю, — угрюмо проговорил он.

— Почему?

Она посмотрела на него с недоумением. Ей не особенно нравилась настойчивость, с которой он отстаивал свою идею.

— Да без этого и школы никакой не будет. Ведь я должен жить, покупать себе книги и одежду, не забудьте!

— А я как раз и забыла! — сказала она смеясь. — Отчего вы не родились уже обеспеченным?

— Предпочитаю иметь здоровье и воображение, — ответил он. — Средства — дело наживное, а вот что касается всего прочего, тому подобного, то это мне нужно ради... — он чуть было не сказал «ради вас», но вовремя остановился.

— Не говорите «прочего, тому подобного»! — воскликнула она с милым негодованием. — Это жаргон и звучит ужасно!

Он вспыхнул и пробормотал:

— Верно, я виноват. Пожалуйста, поправляйте меня всегда.

— Я... я готова, — неуверенно произнесла она. — У вас так много замечательных способностей, мне хотелось бы, чтобы вы достигли совершенства.

Он сразу превратился в мягкий воск в ее руках. Он не менее страстно желал, чтобы она вылепила из него то, что считала своим идеалом, чем она — превратить его в этот идеал. Поэтому, когда она сказала ему, что он как раз может выполнить свое намерение в следующий понедельник, когда начинаются экзамены в среднюю школу, он сразу согласился пойти на экзамен.

Затем она играла и пела ему, а он восторгался ею, удивляясь тому, что ее не окружает толпа поклонников, которые слушали бы ее и томились бы по ней так же, как слушает и томится он.

ГЛАВА X

В этот день Мартин остался обедать у Морзов. К большому удовольствию Рут, он произвел на ее отца весьма благоприятное впечатление. Они завели разговор о морской службе как о карьере — тема, хорошо знакомая Мартину. После его ухода мистер Морз заметил, что молодой человек показался ему очень толковым. Во время разговора Мартин тщательно старался избегать жаргонных слов, подбирал правильные выражения, удачно формулировал мысли. Он теперь чувствовал себя за этим столом свободнее, чем при первом своем посещении, со времени которого прошел уже почти год. Его застенчи-

вость и скромность понравились даже миссис Морз, которая одобрила происшедшую в нем заметную перемену к лучшему.

— Это первый молодой человек, на которого Рут обращает хотя бы какое-то внимание, — сказала миссис Морз мужу, — она всегда проявляла такое равнодушие к обществу мужчин, что меня это даже начало беспокоить.

Мистер Морз с любопытством взглянул на жену.

— Ты хочешь с помощью этого матроса пробудить в ней интерес к молодым людям? — спросил он.

— Я хочу сделать все возможное, чтобы она не осталась старой девой. Если этот молодой Иден сумеет пробудить в ней интерес к мужчинам, будет очень хорошо.

— Прекрасно. Но предположим, — ведь предполагать можно все, что угодно, дорогая моя, — предположим, что он пробудит в ней слишком сильный интерес к себе?

— Это невозможно! — миссис Морз рассмеялась. — Она на три года старше его; кроме того, это вообще невозможно. Ничего серьезного из этого не выйдет. Поверь мне!

Так ими была определена роль Мартина. Между тем он, под влиянием Артура и Нормана, собирался сделать нечто совсем необыкновенное. Оказалось, что братья собираются в воскресенье утром отправиться на велосипедах в горы. Сначала Мартина этот план нисколько не заинтересовал, но он узнал, что и у Рут есть велосипед и она тоже собирается участвовать в прогулке. У Мартина велосипеда не было, он совсем не умел на нем ездить; но ради того, чтобы быть с Рут, он тотчас же решил научиться. Возвращаясь от Морзов, по дороге домой он зашел в магазин и купил себе велосипед за сорок долларов. Сумма эта превосходила его месячное жалованье, заработанное тяжелым трудом. Эта покупка значительно уменьшила его денежный запас; впрочем, когда он прибавил сотню долларов, которую должен был получить от газеты «Обозреватель», к четыремстам двадцати долларам — минимальной сумме, которую мог заплатить ему «Спутник юношества», — его беспокойство, вызванное такой огромной тратой денег, несколько улеглось.

Его также не особенно встревожило то обстоятельство, что он испортил свой новый костюм, вздумав по дороге домой

поучиться ездить на велосипеде. Он тотчас же позвонил из лавки мистера Хиггинботама портному и заказал новый костюм. Затем он бережно втащил велосипед наверх по узкой и неудобной, как пожарная, задней лестнице. Войдя к себе, он увидел, что ему нужно отодвинуть кровать от стены, и тогда в маленькой комнатке как раз хватит места для него самого и для велосипеда.

Воскресенье он собирался посвятить подготовке к экзаменам, но вместо этого увлекся рассказом о ловле жемчуга и целый день просидел, весь охваченный творческим пылом, изливая на бумаге всю красоту сказочного мира приключений, которая жгла его душу. То, что и на этот раз его рассказ не появился в «Обозревателе», ничуть не повлияло на его настроение. Он был слишком увлечен, чтобы обращать внимание на такие вещи. Его два раза звали к столу, но он ничего не слышал; кончилось тем, что он так и не попробовал изысканных блюд, которыми мистер Хиггинботам неизменно ознаменовывал воскресный день. Для мистера Хиггинботама эти воскресные обеды служили доказательством материального благополучия; он любил во время них изрекать банальные истины о совершенстве американского образа жизни, который дает возможность каждому трудолюбивому человеку возвыситься; при этом он неизменно ставил в пример себя, подчеркивая то, как возвысился он — от приказчика в мелочной лавке до хозяина «Бакалейной торговли Хиггинботама».

В понедельник утром Мартин Иден, грустно вздохнув, посмотрел на неоконченный рассказ «О ловле жемчуга» и отправился на трамвае в Окленд сдавать экзамены в школу. Когда он затем пошел справиться о результате, то оказалось, что он провалился почти по всем предметам, за исключением грамматики.

— Грамматику вы знаете отлично, — сказал ему профессор Хилтон, глядя на него сквозь огромные очки, — но вы ничего не знаете, абсолютно ничего, по остальным предметам, ваши ответы по истории Соединенных Штатов ужасны — другого слова не подберешь, прямо ужасны! Я посоветовал бы вам...

Профессор Хилтон умолк и уставился на Мартина. Этот человек был так же лишен воображения и способности сочув-

ствовать, как его собственные пробирки. Он был преподавателем физики, он получал нищенское жалованье, обладал многочисленным семейством и обширным запасом вызубренных знаний.

— Да, сэр, — коротко ответил Мартин, почему-то желая, чтобы на месте Хилтона вдруг очутился библиотекарь.

— Я посоветовал бы вам посидеть, по меньшей мере, еще годика два в начальной школе. До свидания.

Мартин не особенно огорчился из-за этой неудачи. Его лишь удивило, как близко к сердцу приняла это Рут. Разочарование ее было так очевидно, что он даже пожалел о своем провале, но, главным образом, из-за нее.

— Вот видите, я была права, — сказала она. — Вы знаете гораздо больше, чем требуется для поступления в среднюю школу, а между тем не можете сдать экзамен. А все из-за того, что ваше образование носит отрывочный, несистематический характер. Вам необходимо основательно пройти все предметы, а для этого нужны опытные преподаватели. Вам нужно иметь хорошую подготовку. Профессор Хилтон прав. На вашем месте я бы пошла в вечернюю школу. Если бы вы походили туда года полтора вместо двух, этого было бы достаточно. При этом у вас был бы свободный день и вы могли бы писать; или же, если бы вам не удалось зарабатывать литературным трудом, вы могли бы поступить куда-нибудь на службу.

«Но если я днем буду работать, а по вечерам ходить в школу, то когда же я буду видеться с вами?» — чуть было не сказал Мартин, однако удержался и сказал:

— Мне как-то не нравится, что я, точно ребенок, буду ходить в вечернюю школу! Впрочем, я и на это согласился бы, если бы не сомневался, что это скорее приведет меня к цели. Но именно в этом я и сомневаюсь. Я могу быстрее работать самостоятельно. Это была бы потеря времени... — он вспомнил о ней и о своем желании добиться ее, — а я времени терять не могу. Слишком дорого это мне обойдется.

— Но ведь вам нужно так много! — она кротко взглянула на него, и он мысленно обругал себя скотиной за то, что не уступил ей. — Физика, химия, — для этого непременно нужны лабора-

тории, а алгебру и геометрию почти невозможно изучить самостоятельно. Вам нужны опытные преподаватели, специалисты.

Мартин молчал. Он обдумывал, как бы ему выразить свои мысли так, чтобы не показаться чересчур самонадеянным.

— Прошу вас, не думайте, что я хвастаюсь, — начал он. — Я далек от этого, но чувствую, что я смогу научиться сам. Когда я сижу за книгой, то чувствую себя, как рыба в воде. Вы сами видели, как легко я справился с грамматикой. Я научился еще многому, вы и представить себе не можете, как много я изучил. А ведь я только начал учиться. Подождите, и вы увидите, что будет потом, когда я буду, так сказать, уже двигаться по... — он запнулся и подумал, чтобы не ошибиться в выражении, — по инерции. Я только-только немного очухался...

— Не говорите «очухался»! — перебила она.

— Ну, начал соображать, за что ухватиться...

Она пожалела его и не остановила на этот раз. Он продолжал:

— Наука — это, по-моему, нечто вроде рубки на судне, где хранятся морские карты. То же ощущение возникает у меня, когда я вхожу в библиотеку. На учителях лежит обязанность познакомить учащихся с содержимым рубки по известной системе. Учителя — это только проводники. Они ничего сами не придумали. Они не создали того, о чем говорят ученикам. Все, что они сообщают, уже находится в рубке; их дело — помочь разобраться новичку, который сам заблудился бы там. Ну, а я не боюсь заблудиться. Я умею хорошо ориентироваться. Я всегда знаю, куда меня занесло... В чем дело?

— Не надо говорить «меня занесло».

— Вы правы, — признательным тоном сказал он, — где я оказался. Да, но где же я нахожусь? Ах да, в рубке! Ну, так вот, иному парню...

— Человеку... — поправила она его.

— Иному человеку нужен проводник, но я-то наверняка сумею без него обойтись. Я уже провел много времени в рубке и уже почти научился разбираться в том, что мне нужно, в какие карты мне нужно заглядывать, какие страны я хочу исследовать. И если я буду действовать самостоятельно, то сумею исследовать

гораздо больше стран, чем с помощью руководителя. Ведь скорость флота, как вы знаете, определяется скоростью самого тихоходного судна; точно так же и учитель должен ориентироваться на отстающих учеников. Он не может двигаться вперед, если часть их при этом отстает; а я двигаюсь вперед с такой скоростью, которой преподаватель не может требовать от целого класса.

— «Кто путешествует один, всегда дойдет скорее», — процитировала она.

«Но с вами я все-таки скорее дошел бы до цели», — чуть было не выпалил он. Перед ним опять предстала картина беспредельного мира, состоящего из залитой солнцем шири небесной, из усыпанных звездами пространств, по которым он носился с ней, крепко прижимая ее к себе, ощущая на лице прикосновение ее развевающихся светло-золотистых волос. И тотчас же он почувствовал жалкое бессилие своих слов. Боже! Если бы он только сумел найти такие слова, чтобы выразить все, что он в этот миг увидел! В нем зашевелилось мучительное, как боль, желание нарисовать ей эти видения, которые вдруг, без малейшего усилия с его стороны, появились, словно на гладком зеркале, перед его взором. Ах, так вот в чем дело! Он узнал великую тайну! Ведь это именно то, что умеют делать великие писатели и великие поэты. Оттого-то они и являются исполинами. Они умеют выражать словами то, что думают, что чувствуют, что видят. Ведь и собака, засыпая на солнышке, часто визжит и лает, но она не умеет передать свой сон, не может рассказать, что заставило ее лаять и визжать. Как часто Мартину хотелось знать, что видят собаки во сне. А теперь он понял, что сам он не более чем песик, дремлющий на солнце. У него бывали прекрасные, возвышенные видения, но он не мог передать их. Но теперь он больше не будет дремать на солнышке. Он встанет, широко раскроет глаза, начнет бороться, работать, учиться; и тогда наконец у него спадет с глаз пелена и развяжется язык, и он будет делиться с Рут всеми богатствами своих видений. Ведь овладели же другие люди искусством выражать свои мысли, превращать слова в послушные орудия и так комбинировать их, что фраза приобретала более глубокий смысл, чем отдельные ее значения. Его потрясло открытие этой тайны.

Опять промелькнули перед ним залитая солнцем небесная ширь и усеянные звездами пространства... Внезапно его поразило воцарившееся молчание; он взглянул на Рут и увидел, что она смотрит на него с улыбкой.

— Я немного забылся, будто увидел сон наяву, — сказал он, и сердце его при этих словах сильно забилось.

Откуда у него взялись эти слова? Как хорошо они объяснили, почему он умолк и разговор прервался. Произошло чудо. Никогда еще он не выражал возвышенной мысли такими возвышенными словами. Но ведь он раньше и не пробовал этого. Так вот в чем дело! Этим и объяснялось все. Он никогда не пытался это сделать. А Суинберн, и Теннисон, и Киплинг, и все остальные поэты — те пробовали. Он вспомнил свой очерк «О ловле жемчуга». До сих пор он не осмеливался браться за крупные вещи, выразить то чувство красоты, которое горело в нем. Но в этом очерке будет иначе. Его буквально ошеломляла мысль о той бесконечной красоте, которую можно в него вложить; его воображение опять охватил необыкновенный порыв, и он стал спрашивать себя, почему бы ему не воспеть эту благородную красоту в стихах, как другие поэты? А вот еще тема — таинственный восторг, высокая духовность его любви к Рут. Почему бы ему не воспеть свою любовь, как это делают другие поэты? Если они воспевали любовь, то и он сумеет! Черт возьми!

Вдруг он с ужасом заметил, что, увлекшись, произнес последние слова вслух. Кровь бросилась ему в лицо, так что даже бронзовый загар исчез под румянцем стыда. Он весь вспыхнул, от корней волос до красной черты на шее.

— Простите... Извините, я... я задумался, — пробормотал он.

— А вышло, точно вы произнесли заклинание, — мужественно проговорила она, почувствовав, однако, что внутри ее что-то словно съежилось и спряталось далеко-далеко. До сих пор мужчины никогда не произносили таких слов в ее присутствии. Она была глубоко шокирована, и шокирована не только из-за своих принципов и воспитания. Словно в душу ее, до сих пор жившую как бы в тихом саду, защищенном и укрытом, ворвался резкий ветер.

И все же она простила его, сама удивляясь, как легко ей это сделать. Почему-то она чувствовала, что его простить нетрудно. Ведь он не получил такого воспитания, как остальные ее знакомые молодые люди, и притом так старался исправиться, и далеко не безуспешно. Ей и в голову не приходило, что ее расположение к нему может быть вызвано какой-нибудь другой причиной. Она уже испытывала к нему нежность, сама того не зная. Да и откуда ей было знать! Она дожила до двадцати четырех лет спокойно, не ведая, что такое любовь, и не умела сама разобраться в своих чувствах; не испытав еще любви, она не могла понять, что это любовь, наконец, загорелась в ней.

ГЛАВА XI

Мартин опять принялся за свой очерк о ловле жемчуга. Он давно уже окончил бы его, если бы так часто не отрывался, чтобы писать стихи. Это были все любовные стихотворения, на которые его вдохновила Рут. Но ни одного он так и не окончил. Трудно было ожидать, чтобы он в один день научился воспевать любовь в красивых стихах. Рифма, размер, стихосложение — все это само по себе уже представляло серьезные затруднения; но, кроме всего этого, в поэзии было еще нечто неуловимое, ускользающее от него, что он чувствовал в произведениях великих поэтов, но сам никак не мог уловить его и вложить в свои стихи. То, что он ощущал и тщетно искал, было духом поэзии. Дух этот представлялся ему в виде рассеянного света, огненной мглы, всегда недостижимой; впрочем, ему иногда удавалось уловить кое-какие ее обрывки, и тогда он из этих обрывков сплетал фразы, которые неотвязно звучали у него в ушах, или же, воплотившись в видения неслыханной красоты, проносились перед его глазами. Это буквально сводило его с ума. Он мучительно жаждал выразить свои мысли, но у него получался лишь прозаический лепет. Он пробовал читать свои стихи вслух. Размер их был безукоризнен, рифмы отчеканивали безупречно построенные строфы, но стихам недоставало огня,

подъема, настоящего вдохновения. Он не мог понять, в чем дело: в такие минуты он в отчаянии, чувствуя себя побежденным, подавленным, возвращался к своему очерку. Проза безусловно давалась ему легче.

Вслед за первым он написал второй очерк — о морской службе, а затем еще два: об охоте на черепах и о северо-восточном пассате. После этого он принялся, в виде опыта, за коротенький рассказ, но в порыве вдохновения написал целых шесть и тотчас же отправил их в различные журналы. Он писал много, не отрываясь, писал с утра до ночи, и даже поздней ночью и бросал работу только, когда ходил в библиотеку или к Рут. Он был бесконечно счастлив. Жизнь его была полна. Он весь горел, точно в лихорадке, которая ни на минуту не покидала его. Он познал радость творчества, которую, он думал, знают только боги. Все окружавшее его — запах лежалых овощей и мыла, неряшливость сестры, насмешливая физиономия мистера Хиггинботама — казалось ему сном. Действительность для него заключалась лишь в том, что заполняло его душу, и рассказы его были частью этой действительности.

Дни казались ему слишком короткими. Ведь ему так много надо изучить! Он сократил время сна до пяти часов и нашел, что может довольствоваться этим. Затем он попробовал спать по четыре с половиной часа, но, досадуя, опять вернулся к пятичасовой норме. Он готов был с наслаждением посвятить все свое время одному из своих многочисленных занятий. Он всегда с сожалением бросал писание для учения, учение — для посещения библиотеки, неохотно уходил из этой обители знания и с грустью отрывался от чтения журналов в читальне, где он старался разгадать секрет писателей, удачно продававших свой товар. Когда он сидел у Рут, у него всякий раз разрывалось сердце, как только наступало время встать с места и проститься. Возвращаясь же от нее, он буквально мчался по темным улицам, чтобы как можно скорее вернуться домой и засесть за книгу. Но труднее всего было закрывать алгебру или физику, откладывать записную книжку и карандаш и закрывать усталые глаза, чтобы лечь спать. Ему было неприятно осознавать, что он перестает жить даже такое короткое время,

и утешался только тем, что будильник разбудит его через какие-нибудь пять часов. Всего пять часов придется потерять — а затем резкий звон вырвет его из бессознательного состояния, и перед ним опять будет девятнадцать часов наслаждения.

Между тем время шло, деньги у него были на исходе, а никаких поступлений не было. Спустя месяц после отправки была возвращена редакцией «Спутник юношества» его рукопись. Отказ был написан в такой тактичной форме, что Мартин почувствовал даже расположение к редактору. Зато к редактору газеты «Обозреватель Сан-Франциско» он вовсе не испытывал ничего подобного. Прождав ответа недели две, Мартин сам написал ему. Спустя неделю он отправил второе письмо. Через месяц он поехал в Сан-Франциско и зашел в редакцию. Однако увидеть это важное лицо ему так и не удалось: этому воспрепятствовал исполнявший должность цербера юноша с рыжей шевелюрой, уж очень строго он охранял вход. Недель через пять его рукопись была возвращена ему по почте без всяких комментариев. При ней не было ни малейших объяснений. Точно так же ему вернули его рукописи и другие известные газеты Сан-Франциско. Получив их обратно, Мартин отправил их в журналы восточных штатов; оттуда они стали возвращаться еще скорее и всегда в сопровождении печатного бланка с отказом.

Таким же образом вернулись к нему и его маленькие рассказы.

Мартин несколько раз перечитал их: они ему так нравились, что он никак не мог понять, почему же их не приняли. Но как-то раз он прочел в газете, что все посылаемые в редакцию рукописи должны быть напечатаны на машинке. Так вот в чем дело! Понятно — ведь редакторы так заняты, что им некогда тратить время и силы на то, чтобы разбирать почерки. Мартин взял напрокат пишущую машинку и потратил целый день на то, чтобы познакомиться с ее устройством. По вечерам он переписывал на ней то, что писал за день; кроме того, он перепечатывал и свои первые творения по мере того, как они возвращались к нему. К его удивлению, и перепечатанные рукописи были присланы обратно. Но Мартин не терял на-

дежду. Лицо его стало более решительным, и он продолжал отправлять свои рукописи все в новые и новые журналы.

Однажды ему пришло в голову, что он сам не может быть судьей своих произведений. Тогда он прочел несколько рассказов Гертруде. У нее при этом заблестели глаза, и она, с гордостью посмотрев на него, сказала:

— Ну, разве не поразительно, что ты можешь писать такие вещи?

— Да, да, — с нетерпением ответил он. — Но сам рассказ, как он тебе понравился?

— Замечательный он у тебя, — последовал ответ. — Прямо замечательно — так всю тебя и захватывает. Я прямо-таки волновалась, когда слушала его.

Мартин видел, что сестра не все поняла в рассказе. На ее добродушном лице отражалось недоумение. Он решил подождать.

— А скажи-ка, Март, — обратилась к нему Гертруда после долгой паузы, — чем же все кончилось? Что же, этот молодой человек, который так красиво говорит, он женился на ней?

Мартин объяснил ей конец, который казался ему вполне понятным.

— Вот я это-то и хотела знать, — сказала Гертруда. — Почему же ты этого не написал в рассказе?

Прочитав сестре множество рассказов, он сделал одно заключение: ей нравится, когда все счастливо кончается.

— Этот рассказ очень хорош, — объявила она однажды, выпрямляясь над лоханкой и со вздохом вытирая с лица пот мокрой, покрасневшей рукой, — но мне от него грустно стало. Даже плакать захотелось. Очень уж много на свете грустных вещей. Мне легче, когда я думаю о чем-нибудь веселом. Вот если бы он на ней женился и... Ты не обижаешься, Март? — нерешительно спросила она. — Я, наверное, потому так чувствую, что очень уж устаю. А рассказ твой все-таки хорош, очень хорош. Куда ты хочешь его послать?

— Ну, это уж вопрос другой, — рассмеялся он.

— А если бы ты его определил, сколько, ты думаешь, тебе бы за него заплатили?

— Да долларов сто по меньшей мере. Такова цена.

— Ого! Надеюсь, что тебе это удастся!

— Хорошие денежки, не правда ли? — И он с гордостью добавил: — За два дня написал. По пятьдесят долларов в день!

Мартину очень хотелось прочесть свои произведения Рут, но он не осмеливался. Он решил подождать, пока что-нибудь будет напечатано — тогда она увидит, ради чего он так трудился. Пока же он продолжал работать по-прежнему. Никогда еще он так не увлекался и не испытывал таких сильных ощущений, как теперь, когда пустился в исследование неведомой ему, полной чудес, области. Он приобрел учебники физики и химии, одновременно изучал алгебру и научился решать задачи и доказывать теоремы. Опыты, которые проделываются в лабораториях, он принимал на веру; необычайная сила его воображения позволяла ему как бы воочию видеть ход химической реакции, причем он лучше понимал ее, чем большинство студентов, присутствующих на опытах в лаборатории. Мартин продолжал изучать страницу за страницей свои учебники, всякий раз поражаясь новому в природе вещей. До сих пор он принимал мир таким, каким он ему казался, а теперь начал вникать в его устройство, во взаимодействие материи и энергии. В уме у него постоянно возникали объяснения давно знакомым явлениям. Особенно его заинтересовала теория рычага и преобразования силы, и он постоянно припоминал свою службу на судах, устройство шпилей, блоков и снастей. Он постиг сущность навигации, позволяющей судам не сбиваться со своего курса среди океана. Перед ним раскрывались тайны бурь, дождей и приливов. Он узнал причину, по которой возникают пассаты, и испугался, не поторопился ли со своей статьей о северо-восточном пассате. Во всяком случае он знал, что теперь написал бы ее гораздо лучше. Как-то раз он отправился с Артуром в университет. Затаив дыхание, с благоговением прошел он по лабораториям, присутствовал при опытах и прослушал лекцию по физике.

Тем не менее он не забросил своего писания. С пера его так и слетали небольшие рассказы; кроме того, он занялся более простыми стихами — вроде тех, которые он встречал в журналах. Правда, он как-то раз увлекся и потратил целых две недели на

трагедию, написанную белыми стихами. Он был буквально ошеломлен тем, что ее отвергли один за другим целых шесть журналов. Затем он открыл Хенли и написал серию стихотворений о море. Стихи эти отличались простотой, все они были пронизаны светом, сверкали красками и дышали романтикой. Мартин озаглавил эту серию «Песни моря». По его мнению, это было лучшее из всего написанного им. Всех стихотворений было тридцать, он написал их в течение месяца, по одному в день. При этом писал он их по вечерам, после того как заканчивал ежедневную порцию прозы — работы, которой хватило бы большинству писателей на неделю. Но Мартин не жалел труда. Да он и не считал это трудом. Он научился справляться с формой, и вся полная чудес красота, много лет таившаяся в нем, теперь стала изливаться наружу диким, могучим потоком.

Однако Мартин никому не показывал «Песен моря» и даже не отправил их в журнал. Он как-то перестал доверять редакторам. Впрочем, не недоверие помешало ему отдать свои стихи на суд. Дело было в другом. Эти стихотворения показались ему такими красивыми, что ему захотелось спрятать их до того блаженного, далекого времени, когда он, наконец, осмелится поделиться с Рут; он мечтал, как прочтет ей «Песни моря». В ожидании этого времени он оставил их у себя и перечитывал вслух, пока не выучил наизусть.

Когда он не спал, он ни на минуту не переставал жить самой интенсивной жизнью; даже во время сна его сознание, возмущаясь против пяти часов бездействия, сплетало все события пережитого дня, создавая из них причудливые, невозможные комбинации. В сущности Мартин совсем не отдыхал. Будь у него менее здоровый организм или менее выносливый мозг, он не выдержал бы и свалился с ног. Теперь он реже бывал у Рут: приближался июнь, когда она должна была окончить университет и сдать экзамен на бакалавра искусств. Когда он думал, что у нее будет такое звание, ему казалось, что она ускользает от него все дальше и дальше и ему никогда уже не догнать ее.

Она принимала его обычно днем, раз в неделю. Он приходил поздно, оставался обедать и затем слушал музыку. Эти дни были для него праздником. Атмосфера в ее доме, столь не по-

хожая на ту, в которой жил он, и сама ее близость заставляли его каждый раз уходить с еще более твердым намерением подняться на должную высоту. Хотя у него и было стремление выразить ту красоту, которую он ощущал, хотя он мучительно жаждал творить — все же он боролся главным образом ради нее. На первом месте у него была любовь. Она подчиняла себе все. Как ни чудесны были его мысленные приключения, однако то, что называлось любовью, было еще более прекрасным. Мир был удивительным не потому, что состоял из атомов и молекул, соединенных великой силой сцепления; нет, он был удивителен лишь потому, что в нем жила Рут. Она — Рут — была самым чудесным из всего, о чем он когда-либо слыхал — в мечтах или наяву.

Сознание, что она так далека от него, постоянно мучило его, и он не знал, как приблизиться к ней. Он всегда пользовался успехом у женщин своего класса, но не любил никого, а ее полюбил. Она не только принадлежала к другому классу — его любовь к ней вообще поставила ее выше всяких классов. Она была для него существом необыкновенным — настолько исключительным, что он не представлял, как можно приблизиться к ней, выразить свои чувства как женщине. Правда, он сознавал, что несколько уменьшил расстояние между ними, научившись говорить на ее языке, обнаружив, что у них общие взгляды и вкусы, но не такой близости жаждала его любовь. Его влюбленная фантазия превратила ее в нечто священное — слишком священное, слишком одухотворенное, и потому он не мог даже представить себе близость с ней. В сущности, ее отделяло от него не что иное, как его же любовь к ней — эта любовь и делала ее недоступной.

И вот однажды, совершенно неожиданно, пропасть, разделявшая их, вдруг на мгновение исчезла. Правда, она потом вновь появилась, но казалась уже значительно меньше. Они ели вишни, крупные, сладкие вишни, с соком цвета темного вина. Когда после этого она начала читать ему «Принцессу», он заметил пятно на ее губах. На мгновение ему показалось, что его божество свержено с пьедестала. Оно оказалось существом из плоти и крови, подверженным всем законам, которым

подчинялось и его тело, и тело любого смертного. У богини были такие же губы, как у него, — и вишневый сок точно так же мог окрасить их. Но если так, то и все ее существо такое же, как его. Значит, она была женщиной — такой же женщиной, как всякая другая. Эта мысль, словно откровение, внезапно блеснула и ошеломила его. Точно солнце вдруг свалилось с неба или осквернилась божественная непорочность.

Внезапно он понял все значение своего открытия. Сердце его бешено застучало, призывая добиваться любви, ухаживать, как ухаживают все влюбленные, за этой женщиной, которая вовсе не была неземным духом, а лишь женщиной, с губами, окрашенными вишневым соком: он весь затрепетал от безумно смелой мысли, но в душе его все ликовало, и даже разум торжествующим гимном подтверждал ему, что он прав. Не было сомнения, что и она заметила какую-то происшедшую в нем перемену: она вдруг прервала чтение, взглянула на него и улыбнулась. Он отвел свой взгляд от ее голубых глаз и остановил его на ее губах: вид пятнышка от сока чуть не свел его с ума. Он чуть было не протянул руку, чтобы обнять ее так, как он обычно обнимал женщин. Ему показалось, что она наклоняется к нему, что она ждет от него какого-то шага; ему пришлось призвать на помощь всю силу воли, чтобы сдержаться.

— Вы совершенно не слушаете, что я читаю, — с милой гримаской сказала она.

И засмеялась, наслаждаясь его смущением. Он заглянул в ее невинные глаза и увидел, что она не догадывалась о том, что он чувствует. Ему стало стыдно. Да, он зашел слишком далеко в своих мыслях. Из всех женщин, которых он знал, не было ни одной, которая не догадалась бы, в чем дело, — только она не могла этого понять. И она ничего не поняла. В этом и состояла разница между ней и другими. Она, действительно, была не похожа на них. Его самого смущала грубость своих чувств, ее чистота и невинность внушали ему благоговение; он взглянул на нее и опять увидел пропасть между ними.

Между тем этот случай как бы сблизил их. Воспоминание о нем не выходило у него из головы; в грустные минуты он с удовольствием его вспоминал: пропасть стала значительно

меньше. Мартин в этот миг больше приблизился к цели, чем если бы завоевал дюжину научных степеней. Она была чиста и непорочна по-прежнему — он никогда и в мечтах себе не представлял подобного чувства, но все же вишни могли запачкать ее губы. Она, как и он, должна была подчиняться физическим законам. Должна была есть, чтобы не умереть; заболевала, если промачивала ноги. Впрочем, не в этом было дело. Если она могла страдать от голода и жажды, от жары и холода, то это означало, что она может испытывать и чувство любви — любви к мужчине. Так в чем дело? Ведь Мартин Иден был мужчиной. Так отчего ему не стать со временем ее избранником? «Мое дело этого добиться, — с жаром шептал он. — Да, я добьюсь ее: я выполню все, чтобы стать ее избранником. Я этого добьюсь!»

ГЛАВА XII

Как-то раз вечером, когда Мартин был поглощен борьбой с сонетом, в который никак не хотела укладываться красота, лучезарной мглой наполнявшая его душу, его вдруг позвал к телефону мистер Хиггинботам.

— Голос женский, — верно, какой-нибудь важной дамы, — насмешливо объяснил он.

Мартин отправился в угол, где висел телефон. Он услышал в трубке голос Рут и почувствовал, что его охватила горячая волна счастья. Борьба с сонетом так захватила его, что он даже забыл на время о ее существовании, но при звуках ее голоса его любовь вновь вспыхнула и всколыхнула, точно внезапный удар. Что это был за голос! Нежный, мягкий, словно далекая музыка, словно серебряный колокольчик безукоризненного тона, чистого, как кристалл. Обыкновенная женщина не могла бы обладать таким голосом. В нем было что-то небесное, точно из иного мира. Мартин пришел в такой восторг, что едва разбирал ее слова; к счастью, он вовремя вспомнил, что хорьковые глазки мистера Хиггинботама наблюдают за ним, и потому старался выглядеть спокойным.

Рут говорила недолго: она лишь сообщила ему, что Норман обещал сопровождать ее вечером на лекцию, но что у него заболела голова; ей очень досадно, так как у нее уже есть билеты, и если он не занят, то не согласится ли пойти с ней?

Не согласится ли он?.. Мартин с трудом сдерживал ликование, невольно прорывавшееся в его голосе. Ведь это было так удивительно! До сих пор он видел ее только дома. Никогда еще он не осмеливался предложить ей пойти с ним куда-нибудь. Он стоял у телефона с трубкой в руках, говорил с ней и вдруг неожиданно почувствовал желание умереть за нее: в его пылающем воображении возникли примеры героических подвигов ради любви, сцены самопожертвования. Ведь он так сильно, так страстно, так безнадежно любил ее! В этот миг, когда его охватило безумное счастье от мысли, что она пойдет на лекцию с ним, — с ним, Мартином Иденом, — она вознеслась так высоко, что ему, казалось, оставалось только умереть за нее. Это был единственный способ выразить то огромное, безграничное чувство, которое она ему внушала. Это было высочайшее забвение себя, проистекающее от истинной любви; его знает тот, кто любит искренне, и Мартин знал его в этот миг, у телефона, когда оно огнем полыхало в его душе. Умереть за нее, почувствовал он, — это и есть настоящая жизнь и настоящая любовь! Ведь ему был всего двадцать один год, и он любил в первый раз.

Его рука дрожала, когда он вешал трубку, и он чувствовал слабость после такого сильного возбуждения. Глаза у него сияли каким-то неземным блеском, и лицо словно преобразилось, очистившись от всего низменного, и стало святым и чистым.

— Свидание где-то назначил? — насмешливо спросил его зять. — А ты знаешь, чем это пахнет? В полицию попадешь!

Но Мартин парил где-то высоко-высоко, и даже этот грубый намек не мог вернуть его на землю. Обида, гнев — он был выше этого. Он пережил прекрасное видение и, как бог, чувствовал лишь глубочайшую, беспредельную жалость к этому ничтожеству: он даже не посмотрел на зятя, а случайно взглянул на него, даже не заметив его; точно во сне он вышел из комнаты и отправился к себе переодеться. Только завязав уже галстук в своей каморке, услышал какой-то неприятный звук. Он сообразил,

что этот звук — не что иное, как дурацкое фырканье Бернарда Хиггинботама, лишь теперь дошедшее до его сознания.

Когда дверь дома Морзов закрылась за ним и Рут и они спустились с крыльца, его охватило сильное недоумение. Идти с ней на лекцию — да, это наслаждение, но не без примеси муки. Он не знал, что ему полагается делать. Ему случалось видеть, что женщины ее круга иногда ходят под руку с мужчинами, но опять-таки не всегда. Он не знал, когда же это они ходят под руку — по вечерам ли или же это принято только между мужем и женой и родственниками?

Еще спускаясь с крыльца, он вспомнил Минни. Минни всегда отлично разбиралась в правилах хорошего тона. Уже во время их второй прогулки вдвоем она сделала ему замечание за то, что он шел не с краю тротуара. Она объяснила ему, что существует правило: мужчина всегда должен идти с краю, когда идет с дамой. А когда он после перехода через улицу оказывался не на той стороне, она наступала ему на ноги, чтобы он не забывал, где идти. Его интересовало, откуда она взяла это правило — из своей интуиции или оно существует на самом деле?

«Во всяком случае можно попробовать — вреда от этого не будет», — подумал он, когда они дошли до тротуара. Он тотчас же пропустил Рут вперед и пошел по другую руку ее. Но тут у него возник другой вопрос. Не следует ли предложить ей руку? Он никогда еще ни с кем не ходил под руку. Те девушки, которых он знал, никогда этого не делали. Во время первых прогулок они ходили рядом с парнями, а затем те брали их за талию, а девушки клали им голову на плечо, — особенно, если улица была не освещена. Но тут — иное дело. Рут не такая девушка. Ему необходимо что-нибудь предпринять.

Он слегка согнул свою руку с ее стороны — еле заметно, чтобы нащупать почву; казалось, он не предложил руку, а случайно согнул ее, как будто всегда привык так ходить. И вдруг случилось чудо. Он почувствовал ее руку на своей. От этого соприкосновения по его телу пробежал сладкий трепет; в течение нескольких секунд ему казалось, что он покинул землю и несется с нею по воздуху. Но ему тотчас же пришлось вернуться на землю: возникло новое затруднение. Они пере-

ходили улицу. Таким образом, с краю тротуара должна была оказаться она. А ведь это было его место. Не следует ли ему оставить ее руку и перейти на другую сторону? А если он это сделает, то придется ли это повторять каждый раз? Ему показалось, что тут что-то не так, и он решил не валять дурака и не перескакивать с места на место. Но все же он не был вполне доволен своим решением; поэтому, очутившись на другой стороне улицы, он начал быстро и серьезно о чем-то говорить, надеясь, что она припишет его промах увлечению разговором.

Когда они переходили через Бродвей, перед ним встал новый вопрос. При ярком свете электрического фонаря он вдруг увидел Лиззи Конолли и ее хихикающую подругу. Только секунду он колебался — затем снял шляпу и поклонился. Он не мог изменить своим принципам: поклон его предназначался не одной Лиззи Конолли — он снял шляпу перед чем-то большим. Она кивнула ему и кинула на него смелый взгляд, не мягкий и нежный, как взгляд Рут; ее красивые жесткие глаза скользнули по нему и остановились на Рут, внимательно рассматривая все детали ее лица, ее костюм, определяя ее общественное положение. Он заметил, что и Рут тоже оглядела Лиззи быстрым взглядом своих застенчивых и кротких, как у голубки, глаз, и в этот миг успела заметить все — и шляпу странного фасона, и дешевый наряд, свидетельствовавший о принадлежности девушки к рабочему классу.

— Какая хорошенькая девушка! — произнесла Рут несколько секунд спустя.

Мартин мысленно поблагодарил ее, а вслух ответил:

— Не сказал бы. Конечно, как на чей вкус, но, по-моему, она вовсе уж не такая хорошенькая.

— Да что вы! Такие правильные черты можно встретить у одной женщины из тысячи. Она прелестна. Лицо у нее точеное, словно камея. И глаза необычайно красивы.

— Разве? — рассеянно спросил Мартин. По его мнению, во всем мире была только одна красивая женщина, и она шла в этот момент с ним под руку.

— Разве? Да если бы эту девушку одеть как следует и научить держаться, вы были бы от нее без ума, мистер Иден, как и все мужчины.

— Ее пришлось бы научить говорить, — сказал он, — иначе большинство мужчин не поняли бы ее. Я уверен, что вы и четверти не разобрали бы, если бы она заговорила с вами так, как привыкла.

— Пустяки. Вы, как и Артур, всегда отстаиваете свое мнение.

— А вы забыли, как я говорил, когда мы с вами увиделись в первый раз? С тех пор я выучился новому языку. До сих пор я говорил так, как эта девушка. Теперь я уже настолько усвоил ваш язык, что могу сказать на нем: язык, на котором говорит эта девушка, совершенно непонятен для вас. А знаете, почему она так держится? Я теперь начал задумываться над подобными вещами, хотя раньше никогда не обращал на них внимания, и я теперь стал понимать... многое.

— Ну, почему же она так держится?

— Она несколько лет работала, стоя долгие часы за машиной. В молодости тело гибкое; оно, точно мягкая глина, поддается лепке и принимает ту или другую форму, в зависимости от характера работы. Я с первого взгляда могу определить профессию рабочего, которого вижу на улице. Возьмите меня, например. Почему у меня такая раскачивающаяся походка? Потому, что я столько лет плавал на судах. Если бы я в те же годы, когда тело мое было еще молодо и гибко, не служил бы матросом, а был бы ковбоем, то не ходил бы так и были бы у меня кривые ноги. Так же и эта девушка. Вы заметили в ее взгляде какую-то жесткость, если можно так сказать? Это потому, что никто никогда о ней не заботился. Ей всегда приходилось полагаться только на себя, а при таких обстоятельствах не может сохраниться мягкое, нежное выражение, как... как у вас, например.

— Да, вы правы, — тихо произнесла Рут. — И все это очень грустно. Она такая хорошенькая!

Взглянув на нее, он прочитал в ее глазах жалость. И подумал, как он любит ее и какое же ему выпало счастье любить ее и даже идти с ней вместе на лекцию.

«Кто ты такой, Мартин Иден? — спросил он сам у себя вечером, глядя на себя в зеркало. Вернувшись домой, он долго, с любопытством разглядывал себя. — Кто ты? Что ты? К какой среде ты принадлежишь? В сущности, — к той, к которой принадлежат девушки вроде Лиззи Конолли. Ты — один из миллиона рабов труда, ты рожден для низкой, вульгарной, уродливой жизни. Твое место среди рабочего скота, механического, тяжелого труда, среди грязи и вони. Среди вот этих прелых овощей, этой вот гнилой картошки! Ну и нюхай ее, черт тебя побери, — нюхай! А ты нахально раскрываешь книги, слушаешь прекрасную музыку, учишься любить красивые картины, говорить на правильном английском языке, мыслить так, как не мыслит никто из твоего окружения, стараешься вырваться из рабочей среды, забыть разных Лиззи Конолли, осмеливаешься любить неземную женщину, обитающую среди звезд, на расстоянии многих тысяч миль от тебя... Да кто же ты и что же ты такое? Черт бы тебя побрал, неужели ты добьешься своего?»

Он погрозил кулаком своему изображению и присел на край постели, чтобы немного помечтать с открытыми глазами. Затем вытащил записную книжку и учебник алгебры и погрузился в квадратные уравнения. А часы мелькали один за другим, звезды побледнели, и наконец серый рассвет заглянул к нему в окно.

ГЛАВА XIII

Благодаря многоречивым социалистам и философам — рабочим, собиравшимся в теплые дни в парке при Ратуше, Мартин сделал великое открытие. Раз или два в месяц, проезжая через парк по дороге в библиотеку, он сходил с велосипеда и слушал их споры, каждый раз с сожалением отрываясь от них. Тон этих споров был, правда, гораздо грубее, чем за столом у мистера Морза. Спорящие не умели соблюдать торжественность и важность. Они легко раздражались, ругали друг друга и так и сыпали проклятиями и неприличными словами. Раз или два он даже видел, как дело у них

доходило до драки. А между тем, он чувствовал, сам не зная почему, какую-то живую струю в том, о чем говорили эти люди. Их доводы гораздо сильнее возбуждали его ум, чем спокойный, сдержанный догматизм мистера Морза. Эти люди, говорившие на убийственном английском языке, жестикулировавшие, точно сумасшедшие, и оспаривавшие взгляды своих противников со злобой первобытных людей, почему-то казались ему более живыми, чем мистер Морз и его любимый собеседник мистер Бэтлер.

На этих собраниях в парке Мартин несколько раз слыхал, что упоминалось имя Герберта Спенсера; однажды там появился и последователь Спенсера — жалкого вида бродяга, одетый в грязный сюртук, с застегнутым воротником, скрывавшим отсутствие белья. Начался генеральный бой, сопровождаемый курением многочисленных папирос и выплевыванием табачного сока. Бродяга успешно отстаивал свои взгляды, и его успех не поколебался, даже когда какой-то рабочий-социалист с насмешкой объявил: «Нет бога, кроме Непознаваемого, и Герберт Спенсер — пророк его». Мартин не мог понять, о чем идет речь, но по дороге в библиотеку он почувствовал, что этот Спенсер заинтересовал его. А так как бродяга упомянул об «Основных началах», то Мартин и взял это сочинение.

С этого и началось великое открытие. Мартин уже пробовал однажды читать Спенсера, но взялся он тогда за «Основы психологии» и потерпел такую же неудачу, как и с сочинениями Блаватской. Понять эту книгу он не мог да так и вернул ее непрочитанной. Но в эту ночь, позанимавшись алгеброй и физикой, потрудившись над сонетом, он лег в постель и открыл «Основные начала». Настало утро, а он все еще читал. Спать он не мог. И даже писать не стал в этот день. Он лежал в кровати, пока у него не заныло все тело; тогда он попробовал лечь на твердый пол и держать книгу над собой или сбоку, время от времени поворачиваясь на другую сторону. Ночь он проспал, утром принялся за писание, затем книга вновь соблазнила его, и он весь день провел за ней, забыв обо всем на свете, забыв даже, что в этот день Рут обычно ждала его. Он вернулся к действительности только тогда, когда мистер Хиг-

гинботам, с силой толкнув дверь, спросил его, не воображает ли он, что у них ресторан?

Любознательность всегда была главной чертой характера Мартина Идена. Он хотел знать, и именно жажда все постигнуть заставила его столько странствовать по миру. Но теперь у Спенсера он обнаружил, что никогда ничего не знал и никогда ничего не узнал бы, продолжай всю жизнь служить матросом и скитаться по миру. Ведь он до сих пор лишь поверхностно наблюдал, видел лишь отдельные явления, накоплял отрывочные сведения, делал незначительные, мелкие обобщения и не видел никакой связи явлений в мире хаоса и беспорядка, по-видимому, подчинявшемся лишь капризу и случайности. Правда, он наблюдал за полетом птиц и понял устройство их летательного аппарата, но ему никогда не приходило в голову пытаться объяснить себе, откуда вообще произошли птицы как живые, летающие существа. Ему даже не снилось, что это могло случиться в результате какого-то процесса. Что птицы появились каким-то образом — об этом он раньше и не догадывался. Они существовали всегда. Просто существовали.

Так же раньше относился он и к другим вопросам. Из-за общей неподготовленности все его попытки познакомиться с философией ничего ему не дали. Средневековая философская система Канта не дала ему ключа к пониманию сущности вещей, а лишь заставила усомниться в силе собственного ума. Точно так же у него ничего не получилось с изучением теории эволюции: ограничившись чтением какого-то бесконечно сухого сочинения Роменса, он ничего из него не понял и пришел к выводу, что теория эволюции — сухая, формальная система, построенная самыми заурядными, маленькими людьми, обладавшими огромным запасом непонятных слов. Но теперь он узнал, что теория эволюции является не отвлеченной гипотезой, а всеми признанным законом развития; что ни один ученый уже не отвергал ее и что разногласия среди людей науки происходили только относительно форм эволюции.

А тут Спенсер давал ему стройную систему наук, сводил все воедино, делал реальные выводы и представлял перед его изумленным взором конкретную картину вселенной, столь

же законченную, как модели судна, которые любят строить матросы, чтобы затем держать их под стеклом. Ни каприза, ни случайности здесь не было. Все подчинялось законам. Когда птица летала, она подчинялась закону; тот же закон заставил когда-то извиваться комочек протоплазмы, который со временем, также согласно закону, выпустил из себя отростки в виде лапок и крыльев и стал птицей.

За это время Мартин поднимался все выше и выше с одной ступени интеллектуальной жизни на другую, но теперь он достиг самой высокой. Все тайны раскрывались перед ним. По ночам он в своих снах жил с богами, погруженный в какой-то гигантский кошмар; днем он ходил, точно лунатик, со взглядом, устремленным во вновь открытый им мир. За обедом он не слышал разговоров на мелкие, будничные темы; его жадный ум искал во всем окружающем связь между причиной и следствием. Глядя на мясо, лежавшее перед ним на блюде, он видел яркое солнце и старался проследить происхождение солнечной энергии через все ее превращения вплоть до ее первоисточника, отстоящего на сотни миллионов миль от земли; или же он мысленно представлял себе путь, который прошла эта энергия раньше, чем превратиться в мускулы его рук, резавших мясо, или в его мозг, повелевавший этими мускулами. Он мысленно вглядывался в себя, и ему начинало казаться, что это солнце горит у него в мозгу. Поглощенный своими видениями, он не слышал, как Джим шепнул что-то про сумасшедший дом, не заметил тревоги на лице у сестры и не видел, как мистер Хиггинботам вертел пальцами вокруг головы, намекая, что у Мартина снесло чердак и у него не все дома.

Больше всего поражала Мартина связь между всеми областями знания. Приобретенные им знания были запрятаны в разные ящички его памяти. Так, например, у него была целая куча сведений о морском деле. Относительно женщин у него тоже имелось довольно много наблюдений. Но между этими двумя предметами для него не было никакой связи. Он держал их в разных ящичках памяти. Раньше он посчитал бы нелепым отыскивать связь между женщиной в истерике или шхуной, бьющейся в объятиях урагана. А между тем Спенсер доказал

ему, что в этом нет ничего нелепого, и даже больше: что этой связи не может не быть. Всякий предмет связан с остальными предметами, от самой отдаленной звезды в безграничном пространстве до любой песчинки под ногами.

Это новое представление стало для Мартина постоянным источником изумления. Он все время отыскивал связь между различными предметами на земле и во вселенной. Он составлял списки самых разнообразных вещей и не мог успокоиться, пока ему не удавалось установить связь между ними: так он установил связь между любовью, поэзией, землетрясением, огнем, гремучей змеей, радугой, драгоценными камнями, уродами, солнечным закатом, рычанием льва, светильным газом, людоедством, красотой, убийством, рычагом, точкой опоры и табаком. Он увидел вселенную как единое целое и в таком виде рассматривал ее или же странствовал по всем ее дорогам и тропинкам, забираясь в самую густую чащу; но он не блуждал, как затерявшийся и испуганный путник, стремящийся к неведомой цели; он наблюдал, заносил все на карту и не упускал ничего из того, что ему хотелось узнать. И чем больше он узнавал мир, тем больше восхищался и им, и всей его жизнью, и собственной своей жизнью.

— Эх ты, дурак! — восклицал он, глядя на свое изображение в зеркале. — Ведь тебе хотелось писать и ты пробовал писать, а писать-то тебе было не о чем. Что было у тебя за душой? Какие-то дикие понятия, расплывчатые чувства, плохо усвоенная красота, сплошной мрак невежества, сердце, готовое разорваться от любви, и честолюбие, огромное, как твоя любовь, и детски наивное, как твое невежество. А ты еще хотел писать! Да ведь ты только начинаешь смекать, о чем следует писать! Ты хотел воспроизводить красоту, но разве ты сумел бы, если тебе ничего не было известно о ее природе? Ты хотел описывать жизнь, а между тем ты ничего не знаешь о сущности жизни! Ты хотел говорить о вселенной и о схеме бытия, в то время как вселенная была для тебя китайской грамотой и ты мог писать лишь о том, чего ты сам не знал. Но не падай духом, Мартин, дружище! Ты все-таки будешь писателем! Ты уже знаешь кое-что, очень-очень мало, правда, но ты на верном

пути. Как-нибудь, если посчастливится, ты, может быть, и узнаешь все, что можно узнать. Тогда ты и станешь писателем.

Мартин поделился с Рут своей радостью и изумлением по поводу великого открытия. Но она почему-то отнеслась к этому далеко не так восторженно. Она как бы молча соглашалась со всем, по-видимому, она уже немало знала из лекций. Ее не волновало это открытие так глубоко, как его; Мартин не сообразил, что для нее это уже не было новостью, иначе он так не удивился бы ее равнодушию. Что касается Артура и Нормана, то оказалось, что они верят в эволюцию всего существующего, они даже читали Спенсера, но он, похоже, не произвел на них глубокого впечатления, а молодой человек в пенсне, с густой шевелюрой, Вилл Олни, насмешливо фыркал при имени Спенсера и повторил:

«Нет бога, кроме Непознаваемого, и Герберт Спенсер — пророк его».

Однако Мартин прощал ему эти насмешки: он выяснил, что Олни не был влюблен в Рут. Впоследствии он с изумлением убедился из целого ряда мелких фактов, что Олни не только не любил ее, но даже чувствовал к ней определенную антипатию. Этого Мартин и вовсе не мог понять. Это было явление непостижимое, стоявшее вне всякой связи с прочими явлениями в мире. Но все же он жалел беднягу за отсутствие чуткости, из-за которого тот не мог оценить как следует прелесть Рут и ее красоту. Молодежь несколько раз по воскресеньям устраивала поездки в горы на велосипедах, и Мартин имел возможность убедиться, что между Рут и Олни существовало нечто вроде вооруженного мира. Вилл был дружен с Норманом, и, таким образом, Рут, Артур и Мартин оказывались всегда вместе — за что Мартин постоянно благодарил судьбу.

Эти воскресенья были для Мартина настоящими праздниками — главным образом, конечно, потому, что он был рядом с Рут, и еще потому, что они сближали его с молодыми людьми ее общества и он как бы становился на одну доску с ними; он чувствовал, что сравнялся с ними в умственном развитии, хотя те прошли через долгие годы систематических занятий. Разговоры с ними служили ему хорошим упражнением, во

время которого он учился правильно изъясняться. Теперь он забросил все книги о правилах хорошего тона, решил больше полагаться на свою наблюдательность и в результате научился вести себя. Он всегда был настороже, за исключением разве что тех минут, когда он чем-нибудь увлекался, и с каждым днем узнавал какое-нибудь новое правило.

То обстоятельство, что Спенсера мало читают, вначале сильно удивляло Мартина. «Герберт Спенсер? — повторил библиотекарь. — О да, это великий ум». Тем не менее он, по-видимому, неясно представлял себе, о чем писал этот великий ум. Однажды за столом, когда обедал и мистер Бэтлер, Мартин завел разговор о Спенсере. Мистер Морз стал ожесточенно нападать на английского философа за его агностицизм, но, впрочем, признался, что не читал «Основных начал», а мистер Бэтлер заявил, что у него не хватает терпения читать Спенсера и что он отлично обходится и без него. В душу Мартина начало закрадываться сомнение; обладай он менее сильной индивидуальностью, он, наверное, подчинился бы общему мнению и отказался бы от Спенсера, но он считал все построения Спенсера вполне убедительными; по его выражению, отказавшись от Спенсера, он уподобился бы мореплавателю, который выкинул бы за борт свой компас и хронометр. Поэтому Мартин решил, наоборот, основательно изучить теорию эволюции и постепенно полностью усвоил ее; подтверждение правильности взглядов Спенсера он находил у множества других ученых. Чем более он погружался в науку, тем больше открывалось перед ним новых областей знания, тем больше он сожалел, что в сутках всего двадцать четыре часа.

Как-то раз он решил из-за недостатка времени бросить алгебру и геометрию. За тригонометрию он и не брался. Затем вычеркнул и химию, оставив только физику.

— Я не специалист, — оправдывался он перед Рут. — Я и не хочу быть специалистом. Наука имеет столько специальных отраслей, что на изучение даже их десятой доли не хватит человеческой жизни. Мне нужно общее развитие. Когда мне понадобятся специальные знания, я обращусь к специальным трудам.

— Но это совсем не то, что самому обладать этими знаниями, — возражала она.

— Да это лишнее. Ведь мы можем пользоваться трудами специалистов. Для того они и существуют. Когда я входил, то заметил, что у вас работают трубочисты. Вот они, например, специалисты. Когда они окончат работу, ваши трубы будут очищены и вам не нужно будет изучать устройство труб.

— Это сравнение, по-моему, не совсем удачное.

Она с любопытством посмотрела на него. Он почувствовал упрек во взгляде и в ее тоне, но оставался при своем мнении.

— Все занимавшиеся общими вопросами, все величайшие мыслители основываются на трудах специалистов. Это делал и Спенсер. Он обобщал выводы, к которым приходили тысячи других исследователей. Если бы он захотел сам проделать их работу, ему не хватило бы и тысячи жизней. Так и Дарвин — он воспользовался выводами, к которым пришли садоводы и скотоводы.

— Вы правы, Мартин, — сказал Олни. — Вы знаете, что вам нужно, а Рут не знает. Она даже не знает, к чему стремится сама... Да, да, знаю, — продолжал он, не давая ей возразить ему, — вы это называете общим развитием. Но если вы стремитесь получить общее развитие, то можете изучать что угодно: французский или немецкий языки, или же бросить их и заняться эсперанто. И то и другое будет способствовать общему развитию. Можете для этой же цели изучать латинский или греческий язык, хотя они вам никогда не понадобятся. Все равно — развитие. Да вот, Рут два года назад изучала англосаксонский язык и даже добилась в нем больших успехов, а теперь она помнит всего одну строчку из древнего англосаксонского стихотворения: «когда апрель душистый свои дожди прольет». Не так ли? Да, да, это повлияло на ваше общее развитие, — засмеялся он, опять предупреждая ее. — Знаю. Ведь и я прослушал этот курс.

— Но вы говорите об образовании, точно оно является только средством! — воскликнула Рут. Глаза ее блестели, на щеках горели два красных пятна. — Образование само по себе является целью.

— Но Мартин вовсе не к этому стремится!

— Откуда вы знаете?

— К чему вы стремитесь, Мартин? — спросил Олни, поворачиваясь к нему.

Мартин смутился и кинул на Рут умоляющий взгляд.

— Да, скажите, к чему вы собственно стремитесь? — повторила Рут. — Это решит вопрос.

— Разумеется, я хочу получить образование, — неуверенно проговорил Мартин. — Я люблю все прекрасное, а образование даст мне более тонкое и точное понимание прекрасного.

Рут с торжествующим видом кивнула головой.

— Это ерунда, и вы сами это знаете, — ответил Олни. — Мартину хочется добиться успеха в жизни, а вовсе не гоняться за общим образованием. Случайно оказалось, что в данном случае образование необходимо для его карьеры. Если бы он захотел быть аптекарем, общее развитие не понадобилось бы. Мартин хочет стать писателем, но боится это сказать, чтобы не оставить вас побежденной в этом споре. А почему он хочет стать писателем? — продолжал он. — Да потому, что у него нет средств. Почему вы забиваете себе голову англосаксонским языком и разными общеобразовательными предметами? Да потому, что вам не приходится самой пробивать себе дорогу. Это дело вашего отца. Он одевает вас и все делает для вас. А на что оно, это ваше образование — ваше, мое, Артура, Нормана? Мы все насквозь пропитаны им, но если бы завтра наши папеньки разорились, мы бы даже не сумели сдать экзамен на учителя. Вы, Рут, могли бы в лучшем случае стать сельской учительницей или преподавать музыку в частном пансионе.

— А что бы могли делать вы, скажите пожалуйста? — спросила она.

— Да ничего. Мог бы зарабатывать доллара полтора в день физическим трудом или, может быть, — заметьте, не наверняка — получить место преподавателя на подготовительных курсах у Хэнли; да и то меня, вероятно, вышибли бы через неделю за непригодность.

Мартин внимательно следил за разговором. Он сознавал, что Олни прав, но его возмущало недостаточно почтительное обращение с Рут. Слушая ее, он убедился еще в одном: рассу-

док и любовь — две разные вещи. Ему было все равно, правильно или неправильно рассуждает любимая женщина. Любовь была выше доводов рассудка. Он не мог любить ее меньше за то, что она не вполне ясно сознавала, насколько необходимо ему пробить себе путь в жизни. Как бы она ни рассуждала, она была ему одинаково дорога.

— Что вы сказали? — спросил он, услыхав, что Олни обратился к нему с каким-то замечанием, прервав течение его мыслей.

— Я надеюсь, говорю я, что вы не сделаете большой глупости и не начнете изучать латынь.

— Но латынь не только способствует общему развитию, — перебила Рут. — Это дисциплина для ума.

— Ну, что же, вы думаете приняться за латынь? — повторил свой вопрос Олни.

Мартин совсем растерялся. Он видел, что Рут с нетерпением ждет его ответа.

— Боюсь, что у меня не хватит времени, — сказал он наконец. — Мне хотелось бы, да некогда.

— Видите, Мартин стремится вовсе не к общему образованию, — торжествовал Олни, — ему нужно чего-то добиться, что-то совершить.

— Но латынь воспитывает ум. Она дисциплинирует его. Она приучает мыслить в определенном направлении. — Рут вопросительно взглянула на Мартина, словно ожидая, что он переменит решение. — Вы знаете, что футболисты всегда тренируются перед решительной партией? Так и латынь тренирует ум.

— Ерунда. Это то, что нам говорили в детстве. Одного только нам тогда не сказали, предоставив самим открыть эту истину, — Олни для эффекта выждал немного и добавил: — Нам не говорили, что человек из общества должен обучаться латыни, но знать ее не должен.

— Ну, это уж чересчур! — воскликнула Рут. — Я так и знала, что вы нарочно так повернули разговор, чтобы ввернуть парадокс!

— Да, это парадокс, — ответил Олни, — но вместе с тем это правда. Латынь знают одни аптекари и юристы, да еще препо-

даватели латинского языка. Вот если Мартин хочет избрать одну из этих трех карьер, то я складываю оружие. Но во всяком случае, какое все это имеет отношение к Спенсеру? Мартин только что открыл Спенсера и совсем потерял голову. Почему? Да потому, что Спенсер его к чему-то приведет. Вот нас с вами изучение Спенсера никуда привести не может. Вам некуда идти. Вы со временем выйдете замуж, а мне придется только следить за поверенными да агентами, которые будут вести мои денежные дела, когда мне достанется наследство от отца.

Олни собрался уходить, но остановился у дверей и выпустил на прощание еще одну стрелу:

— Оставьте-ка Мартина в покое, Рут; он сам знает, что ему нужно. Посмотрите, как много он уже сделал. Мне иногда даже противно становится — противно и стыдно за себя. Ведь он теперь куда больше знает о мире, о жизни, о людях и обо всем, чем Артур, или Норман, или я, или вы, несмотря на всю нашу латынь, да французский, да англосаксонский, да всю нашу образованность.

— Но Рут — моя учительница, — Мартин рыцарски бросился ее защищать. — То немногое, что я знаю, я знаю благодаря ей.

— Вздор! — Олни кинул на Рут хитро-насмешливый взгляд. — Пожалуй, вы еще начнете меня уверять, что прочитали Спенсера по ее совету, да только я этому не поверю. А о Дарвине и теории эволюции она знает столько же, сколько я — о рудниках царя Соломона. Какой это цитатой из Спенсера вы нас прошлый раз ошеломили? Что-то насчет неопределенного, непостижимого, однородного? Попробуйте-ка преподнести ей эту штуку: посмотрим, поймет ли она хоть одно слово? Ведь это не относится к общему образованию, видите ли! Ну, будьте здоровы! Но помните, Мартин: если вы начнете зубрить латынь, то я потеряю к вам всякое уважение.

Пока длился этот спор, Мартин, несмотря на интерес, с которым он его слушал, испытывал некоторое смущение. Речь шла об учении, об уроках, говорили о каких-то элементарных знаниях, и весь школярский тон как-то не соответствовал важным вопросам, волновавшим его, — той решающей борьбе,

которую он, стиснув кулаки, вел с жизнью, — тому трепету, который он так мучительно ощущал, и тому неясному сознанию, что он близок к победе, которое охватило его. Он уподоблял себя поэту, потерпевшему крушение в чужой стране. Преисполненный мыслью о прекрасном, он тщетно пытается передать свои чувства на варварском наречии своих новых собратьев, но песни его — лишь жалкий лепет. То же самое ощущал и Мартин. Он чутко воспринимал величие жизни, а между тем должен был окунуться в какие-то школьные разговоры и рассуждать о том, следует ли ему изучать латынь.

— На кой черт эта латынь? Какое она имеет ко всему этому отношение? — спрашивал он себя вечером, стоя перед зеркалом. — Мертвецы пусть остаются мертвецами. Зачем я должен подчиняться мертвым, подчинять им красоту, которая горит во мне? Красота живет — она вечна. А языки возникают и исчезают. Они — прах мертвых.

И вдруг ему пришло в голову, что он очень хорошо выразил свои мысли. Ложась в постель, он задал себе вопрос, почему он не мог так говорить в присутствии Рут. При ней он становился школьником и говорил, как школьник.

— Дайте мне время, — произнес он. — Только дайте мне время! Время! Время! — вот о чем он беспрестанно молил.

ГЛАВА XIV

В конце концов он не стал браться за латынь, но не из-за лени; он так решил вопреки взглядам Рут, несмотря на свою любовь к ней, лишь потому, что его время — это деньги. Существовало столько куда более важных предметов, чем латынь, которые неудержимо притягивали его интерес. И кроме того, надо было писать. Необходимо было зарабатывать. До сих пор ни одну из его вещей не приняли, а около сорока рукописей совершали бесконечные путешествия из одной редакции в другую. Как же добивались успеха другие? Он проводил целые часы в бесплатных читальнях,

перечитывал то, что было написано другими, жадно изучал и критиковал их произведения, сравнивал их со своими и не мог понять, в чем же заключался секрет, благодаря которому им удавалось получать за написанное деньги.

Его удивляло, как много печаталось мертворожденных произведений, в которых не чувствовалось ни света, ни жизни, ни красоты. Какая-то мертвечина, а между тем за нее платили по два цента за слово, по двадцати долларов за тысячу — так уверяла, по крайней мере, заметка в газете. Его удивляло бесчисленное количество мелких рассказов, написанных — он это признавал — легко и остроумно, но оторванных от жизни. Ведь жизнь так удивительна, так интересна, в ней столько важного, чудесного, героического, а в этих рассказах — одна лишь обыденщина. Он ощущал всю напряженность, всю полноту жизни, ее лихорадочность, ее мятежный дух. Вот о чем следовало писать! Ему хотелось воспеть погибающих за безнадежное дело, безумных любовников, титанов, боровшихся против неравных сил среди ужасов и трагедий, боровшихся так, что сама жизнь словно трещала по швам от их могучих ударов. Но небольшие рассказы, которые печатались в журналах, ставили, по-видимому, своей целью прославление великих мистеров Бэтлеров, гоняющихся за долларами, и жиденькую любовь мелких людишек. Не оттого ли это происходит, спрашивал он себя, что сами редакторы такие же мелкие людишки? Или же они, быть может, боялись жизни — все эти редакторы, писатели да читатели?

Главная его беда, однако, заключалась в том, что он не был знаком ни с одним редактором или писателем. Больше того — он даже не знал никого, кто хоть пробовал бы писать. Ему не с кем было посоветоваться, не от кого было получить поддержку. Мартин начал сомневаться в том, что редакторы — настоящие, живые люди. Они представлялись ему колесами какого-то механизма. Да, он имел дело с машиной. Он вкладывал всю душу в повести, в статьи, в стихотворения, а затем бросал все это в машину. Он складывал рукописи определенным образом, вместе с рукописями вкладывал в продолговатый конверт марки на ответ, запечатывал конверт, наклеивал на

него еще марки и бросал в ящик. Конверт совершал путешествие через всю страну, а через некоторое время почтальон приносил ему обратно рукопись в другом продолговатом конверте, на котором были наклеены приложенные им марки. Очевидно, на другом конце машины был не редактор, не живое существо, а просто какое-то хитроумное приспособление из колесиков, благодаря которому рукопись перекладывалась из одного конверта в другой и на него наклеивались марки. Это был автомат вроде тех, куда опускаешь монету и откуда, с резким металлическим звуком, выскакивает жевательная мастика или плитка шоколада, в зависимости от того, в какое из отверстий бросаешь монету. То же делала и машина — редактор. Опустишь рукопись в одно отверстие — получишь чек, опустишь в другое — получишь бланк с отказом. Мартин нашел пока только второе отверстие.

Именно эти бланки с отказом и довершали ужасное сходство всей процедуры с работой машины. На них был напечатан отказ по стереотипу; бланков он уже получил больше сотни — по дюжине на каждую из первых рукописей. Будь при этом хоть одна строчка, написанная лично ему, ему было бы легче, но ни разу он еще не получил этого доказательства реального существования редактора. Было отчего прийти к выводу, что на другом конце машины — не люди, а колесики, тщательно смазанные, с безукоризненным ходом.

Мартин умел мужественно бороться. Он отличался настойчивостью и упорством. Он готов был сыпать материал в эту машину в течение нескольких лет, но он уже истекал кровью, и конец борьбы был вопросом не лет, а недель. Уплата по еженедельному счету за стол и комнату с каждым разом приближала его к краху, а почтовые расходы на пересылку сорока рукописей высасывали у него не меньше. Он перестал покупать книги, наводил экономию в мелочах и пытался таким путем задержать наступление неизбежного конца. Однако кончилось тем, что он сам ускорил катастрофу, подарив сестре Мэриен пять долларов на платье.

Он брел ощупью, во тьме, не получая ни от кого ни совета, ни поддержки, преодолевая всеобщее неодобрение. Даже

Гертруда стала косо поглядывать на него. Сначала она как сестра снисходительно терпела то, что считала глупостью брата; теперь то же чувство любви заставило ее встревожиться. Она решила, что глупость Мартина переходит уже в безумие. Мартин это знал и больше страдал от этого, чем от откровенных насмешек и презрения Хиггинботама. Сам-то он не терял веры в себя, но никто из окружающих не разделял его веры. Даже Рут не верила в него. Она хотела, чтобы он всецело посвятил себя учебе, и, хотя никогда открыто не высказывала своего неодобрения по поводу его писательства, однако и одобрения он от нее не слыхал.

Он ни разу не предложил ей прочесть какое-нибудь свое произведение. Его удерживала какая-то особая щепетильность. Да и у нее было много работы в университете, и ему не хотелось отнимать у нее время. Сдав экзамены, она сама попросила его показать ей написанное. Он очень обрадовался, но вместе с тем почувствовал робость. Она вполне могла быть судьей, ведь у нее была степень бакалавра. Она изучала литературу у лучших профессоров. Редакторы, разумеется, также компетентные судьи, но она будет судить иначе, чем они. Она не подаст ему стереотипный бланк с отказом и не скажет ему, что его «жанр не нравится читающей публике, но что работа его отнюдь не лишена достоинств». Она выскажется как живой человек с теплой душой, умно, понятно и при этом — что важнее всего — она немного узнает настоящего Мартина Идена. Из его произведений она увидит, какое у него сердце, какая душа, и, быть может, поймет кое-что — хоть немного, — о чем он мечтает, на что способен.

Мартин собрал несколько своих небольших рассказов и затем, подумав немного, прибавил к ним и «Песни моря». В один из вечеров, в конце июня, они отправились на велосипедах в горы. Это было всего второй раз, когда он ехал с ней вдвоем. В теплом, благоухающем воздухе чувствовалась еле заметная свежесть от морского ветерка. Мчась рядом с Рут, Мартин решил, что мир прекрасен и отлично устроен, что хорошо жить на свете и любить. Молодые люди оставили велосипеды на краю дороги и взобрались на побуревший,

обнаженный пригорок, где сожженная солнцем трава издавала сладкий запах, полный неги и успокоения.

Он вдыхал сладкий запах бурой травы, и мозг его начал работать быстрее, обобщая все получаемые им впечатления. Ее дело уже сделано, она выполнила свое предназначение, сказал он, с нежностью поглаживая засохшую траву. Прошлой зимой сильные ливни освежили ее; она воспрянула духом, боролась с холодами ранней весной, потом зацвела, привлекая к себе пчел и различных насекомых, затем рассеяла свои семена и, наконец, исполнив свой долг по отношению к миру, она...

— Почему вы всегда смотрите на все с такой ужасной практической точки зрения? — отвлекла его Рут.

— Вероятно, потому, что я только что изучал теорию эволюции. По правде сказать, эта точка зрения для меня еще очень нова.

— Но мне кажется, что подобный практический взгляд на все разрушает ощущение красоты; вы, как ребенок, который ловит бабочек и стирает пыльцу с их прелестных крылышек.

Он покачал головой.

— Красота полна значения, но я до сих пор не знал его. Я просто принимал красоту как нечто прекрасное, но лишенное смысла. Я понятия не имел о красоте. Но теперь я понимаю ее или, вернее, начинаю понимать. Эта трава кажется мне прекраснее с тех пор, как я понял, почему она стала травой, с тех пор, как я узнал все скрытые химические воздействия солнца, дождя и земли, которые создавали ее. Ведь и в жизни травы есть своя романтика! Меня глубоко волнует эта мысль. Когда я думаю о взаимодействии материи и энергии, об этой исполинской борьбе, я чувствую, что мог бы написать целый эпос о траве!

— Как хорошо вы умеете говорить, — рассеянно сказала она; он заметил, что она как-то вопросительно смотрит на него.

Он тотчас же пришел в замешательство, и кровь мгновенно прилила к его лицу и шее.

— Да, мне кажется, что я немного подучился, — пробормотал он. — У меня столько мыслей, которые мне хочется высказать. Но все это так огромно. Я никак не могу всего выразить. Иногда мне кажется, словно в душе у меня поместился весь мир, вся

жизнь, все существующее, — и все громко требует, чтобы я выразил его словами. Я чувствую, но рассказать не могу, чувствую, как огромно все это, но когда пытаюсь говорить, то дело не идет дальше детского лепета. Передавать чувства и ощущения словами, и устно, и письменно, бесконечно трудно; надо вызвать у читателя или слушателя обратный процесс — то есть внушить ему те же самые мысли и ощущения. Это великая задача. Посмотрите, я зарываю лицо в траву, я вдыхаю ее аромат, и ко мне приходят тысячи мыслей и фантазий. Ведь я вдохнул в себя запах вселенной; я слышу и песни, и смех, и успех, вижу страдания, и борьбу, и смерть. От аромата травы у меня в голове возникают разные видения, и мне хотелось бы поведать о них вам, всему миру. Но как я могу? Язык у меня связан. Я сейчас пытался словами передать вам ощущения, которые вызывает во мне запах травы. Но это мне не удалось. У меня получились лишь неуклюжие, грубые наметки. Мои слова мне самому кажутся невнятным лепетом. А между тем, меня распирает желание высказаться. О! — воскликнул он, в отчаянии всплеснув руками. — Это невозможно! Это непонятно! Это непередаваемо!

— Но вы на самом деле хорошо говорите, — повторила она. — Вспомните, каких успехов вы достигли за короткое время нашего знакомства. Вот мистер Бэтлер считался очень хорошим оратором. Комитет всегда приглашает его во время избирательной кампании. А между тем вы прошлый раз за обедом говорили ничуть не хуже его. Только он более сдержан, чем вы. Вы легко возбуждаетесь. Но со временем вы сумеете одолеть этот недостаток. Из вас вышел бы хороший оратор. Вы можете далеко пойти... если захотите. В вас есть умение подчинять себе людей. Я уверена, что вы могли бы стать политическим вождем. Не вижу, почему бы вам не добиться и в других вещах такого же успеха, как в грамматике. Из вас вышел бы хороший адвокат. И в политической жизни вы могли бы сыграть существенную роль. Ничто не мешает вам добиться такого же положения, как у мистера Бэтлера. И притом без катара, — добавила она с улыбкой.

Разговор продолжался. Она кротко настаивала на том, что ему следует получить систематическое образование, и доказы-

вала, что знание латинского языка необходимо для любой карьеры. Она обрисовала ему свой идеал преуспевающего в жизни человека: это был почти целиком портрет ее отца, с некоторыми чертами, несомненно заимствованными у мистера Бэтлера. Мартин, лежа на спине, внимательно слушал ее, иногда он поднимал глаза и наслаждался движением ее губ. Но мозг его не так жадно воспринимал ее слова. В картине, которую она ему рисовала, для него не было ничего привлекательного; слушая ее, он ощущал какое-то смутное разочарование и острую, мучительную любовь к ней. За все время она ни разу не упомянула о его рукописях, которые так и лежали, забытые, на траве.

Наконец во время паузы в разговоре он бросил взгляд на солнце, посмотрел, как высоко оно стоит над горизонтом, и начал собирать листки. Это был намек.

— Ах! Я совсем забыла! — быстро проговорила она. — А мне так хочется послушать!

Он прочел ей рассказ, который считал одной из лучших своих вещей. Рассказ этот назывался «Вино жизни». Он писал его, опьяненный жизнью, и теперь, при чтении, это опьянение вновь охватило его. В своеобразном замысле чувствовалось особое очарование, и Мартин сумел сохранить это очарование в слоге и стиле. В нем вновь вспыхнули весь огонь и страсть, которыми он горел, когда писал рассказ: он так увлекся, что был глух и нем к его недостаткам. Но Рут их сразу уловила. Ее опытный слух подметил слабые места, преувеличения, некоторую высокопарность, свойственную новичку; она находила малейшие ошибки и недочеты в ритме фраз. В общем же она не обращала внимания на слог, за исключением тех мест, где его излишняя напыщенность неприятно поражала ее какой-то дилетантской неловкостью. И от рассказа у нее осталось впечатление некоего дилетантства. Мартину она, впрочем, этого не высказала. По окончании чтения она указала ему на ряд мелких погрешностей, отметив, что рассказ ей понравился.

Однако он все же почувствовал ее разочарование. Критика ее была справедлива — он это признавал; но вместе с тем он осознавал, что не для того поделился с ней своей работой,

чтобы выслушивать какие-то школьные замечания. Погрешности — это неважно. О них беспокоиться нечего. Он всегда мог их исправить, научиться их избегать. В этом рассказе он попытался воплотить что-то значительное, что он вынес из жизни. То, что он прочел ей, было страничкой жизни, а не рядом предложений, разделенных знаками препинания. Ему хотелось, чтобы она почувствовала то значительное, что он нашел в жизни, что видел своими глазами, переработал в собственном мозгу и собственной рукой написал на белом листе. «Ну, что же, — решил он в душе. — Это не удалось. Быть может, правы редакторы». Он сумел ощутить великое, но не сумел его передать. Однако он скрыл свое разочарование и так охотно согласился с ее критикой, что она даже не почувствовала, насколько в душе он был далек от ее мнения.

— А вот эту вещь я назвал «Котел», — сказал он, открывая рукопись. — Мне вернули ее уже из четырех-пяти мест, но, по-моему, рассказ все-таки хорош. Не знаю, как бы это сказать, но я нахожу, что мне удалось тут уловить нечто... но, может быть, на вас это не произведет такого впечатления. Это коротенькая вещь — всего в две тысячи слов.

— Какой ужас! — воскликнула она, когда он окончил. — Это ужасно! Невыразимо ужасно!

С тайной радостью он заметил, что лицо ее побледнело, руки сжимались, а широко раскрытые глаза глядели с напряженным выражением. Это был успех. Он сумел заразить ее своими ощущениями и вымыслами своего воображения. Цель была достигнута. Неважно, понравился ей рассказ или нет, он овладел ею и увлек ее — она сидела и слушала, не обращая внимания на подробности.

— Это жизнь, — сказал он, — а жизнь не всегда бывает прекрасна, и все же я чувствую и в этом своего рода красоту. Но я, может быть, не такой, как все. Мне, наоборот, кажется во сто крат прекраснее то, что тут...

— Но почему же эта несчастная женщина не могла... — неожиданно перебила она его. Но она так и не закончила возмущенного вопроса и воскликнула: — Это отвратительно! Это гадко! Это гнусно!

На миг ему показалось, будто сердце его перестало биться. «Гадко!» Ему это и не снилось! У него вовсе не было подобного намерения. Весь рассказ мгновенно встал перед ним, словно написанный огненными буквами, и при этом ярком свете он тщетно пытался найти в нем «гадость». И вдруг сердце его вновь забилось. Он не сознавал за собой вины.

— Почему вы не выбрали более возвышенного сюжета? — спросила она. — Мы все знаем, что на свете существует много гадкого, но не знаем того...

Она продолжала что-то возмущенно объяснять, но он уже не слушал ее. Он про себя улыбался, глядя на ее девственно-чистые глаза, на невинное выражение ее лица, которое и ему всегда словно сообщало свою невинность, очищая его от всякой грязи и обдавая волной свежего, нежного, словно бархат, света, похожего на сияние звезд. «Мы все знаем, что на свете существует много гадкого». «Что могла знать она?» Эта мысль смешила его, словно шутка. И вслед за этим перед ним во всех подробностях промелькнуло целое море жизненной грязи, в которое он столько раз окунался; и он простил ее за то, что она не поняла его рассказа. В этом не было его вины. Он возблагодарил небо за то, что она родилась и выросла вдали от грязи жизни. Но ему-то эта жизнь была хорошо известна, он знал как ее светлые, так и темные стороны, ее величие, несмотря на всю грязь, которая порой оскверняла его; и он мысленно дал клятву, что раскроет перед миром то, что знает. Святые там, на небесах, — разве они могли не быть светлыми и непорочными? В этом не было даже их заслуги. Однако пребывать в грязи и все-таки остаться чистым — вот в чем заключалось чудо! Ради одного этого чуда стоило жить. Видеть, как из помойной ямы греха поднимается нравственное величие; самому вырваться из этой ямы, сквозь грязь, залеплявшую глаза, увидеть первый, далекий, неясный призрак красоты; видеть, как из слабости, порочности и скотской грубости вырастет сила, правда и высшая духовная красота!..

В ушах его вдруг прозвучала фраза, которую она произносила:

— Весь тон рассказа недостаточно возвышен. А ведь возвышенных сюжетов такое множество!

Им снова овладели видения. Он поглядел на нее, эту самку из одной с ним породы, продукт первобытной протоплазмы, которая в течение многих тысяч веков вползала по лестнице жизни, все более и более совершенствуясь и наконец, очутившись на верхней ступени, превратилась в Рут, чистое, светлое, божественное существо, обладавшее даром внушать любовь, стремление к непорочности и жажду приобщиться к божественной сущности, — обладавшее даром внушать все это ему, Мартину Идену, также каким-то чудесным образом образовавшемуся из слизи и мрака, несмотря на бесчисленные ошибки и уклонения, сопровождавшие еще незаконченное мироздание. Разве в этом не было чуда, изумительного, полного красоты чуда? Вот о чем следовало бы ему писать, умей он владеть речью! Святые на небесах! Да ведь они были святые, а он лишь человек!

— В вас чувствуется сила, — говорила она, — но она не организованна.

— Нечто вроде слона, ворвавшегося в посудную лавку, — подсказал он и удостоился улыбки.

— Кроме того, вам необходимо развить в себе разборчивость, выработать вкус, изящество, стиль.

— Я слишком дерзок, — пробормотал он.

Она улыбнулась в знак согласия и приготовилась слушать следующий рассказ.

— Не знаю, как вам понравится эта вещь, — как бы извиняясь, сказал он. — Это юмористический рассказ. Боюсь, что он немного не в моем стиле, но замысел у меня был хороший. Не обращайте внимания на мелочи. Постарайтесь уловить главное. В нем есть нечто значительное, есть правда, но очень может быть, что я не сумел передать ее.

Он начал читать и в то же время наблюдал за ней. Наконец-то ему удалось тронуть ее, подумал он. Она сидела без движения, устремив на него взгляд, затаив дыхание, забыв себя, увлеченная, ему казалось, очарованием рассказа. Он назвал его «Приключение». Это был апофеоз приключений, но не книжных, а настоящих, рассказ о грубой действительности — этом суровом повелителе, расточающем ужасные нака-

зания и необычайные награды, вероломном и взбалмошном, требующем бесконечного терпения, тяжелых дней и ночей, одинаково наполненных трудом, сулящим либо яркую славу, либо же темный мрак могилы тем, кто переносил мучения от голода и жажды, страдания от страшной, смертельной лихорадки или укуса насекомых, тем, кто истекал кровью и потом; однако порой все эти униженные и мелочные заботы приводили к небывалому счастью и воистину царской роскоши.

Все это и еще многое другое изобразил Мартин в своей повести и надеялся, что наконец-то вывел Рут из равнодушия. Она сидела, широко раскрыв глаза; на ее бледных щеках играл румянц, и ему казалось, что к концу чтения у нее даже захватило дыхание. На самом же деле она была увлечена, но не его рассказом, а им самим. Произведение Мартина ей не особенно понравилось; зато знакомое ощущение силы, великой мощи, исходящей от него, охватило ее всю. Парадоксальность всего этого заключалась в том, что рассказ дышал той же самой мощью; именно через него Мартин изливал на нее свою силу. Но, охваченная ею, Рут не обращала внимания на способ ее проявления. Она казалась увлеченной произведением Мартина, но увлекало ее нечто иное — мысль страшная и опасная, мысль, внезапно возникшая у нее в голове. Она поймала себя на том, что задумалась о браке, — о том, чем он может быть. Это казалось ей так неожиданно, так неприлично. Барышни о таких вещах не думают. Это было не похоже на нее. Ее темперамент никогда еще не проявлялся. До сих пор она жила в волшебной стране поэзии Теннисона, не понимая даже тонких намеков этого тонкого поэта там, где он касался более низменных проявлений любви между рыцарями и королевами. Она дремала и вдруг проснулась от того, что жизнь громко постучалась к ней. Испуганный разум подсказывал ей, что нужно скорее запереть все двери и задвинуть завесы, а инстинкт убеждал ее широко раскрыть ворота и пригласить неожиданную гостью, сулившую ей счастье.

Мартин, удовлетворенный, ждал ее приговора. Он хорошо знал, что она скажет. Вдруг, к его удивлению, она проговорила:

— Как это прекрасно! Да, это прекрасно, — проговорила она с ударением после паузы. Она была права. В рассказе была красота, но в нем было еще нечто другое, высшее, благодаря чему красота являлась уже чем-то второстепенным: Мартин безмолвно лежал на сухой траве и чувствовал, что в душу к нему закрадывается великое сомнение. Итак, он потерпел полный крах. Он даже не мог говорить. Ему удалось увидеть величайшую в мире вещь, но выразить ее он не сумел.

— А что вы скажете о... — он запнулся, испугавшись иностранного слова, — об идее? — добавил он наконец.

— Она неясно выражена, — ответила она. — Это единственная моя критика общего характера. Я следила за действием, но тут еще много другого. Рассказ слишком многословен. Вы вводите много лишнего и тем затемняете ход действия.

— Да ведь это главная идея, — поспешил он объяснить. — Комический, общечеловеческий элемент. Я старался слить его с рассказом, который являлся его внешней формой. Мысль у меня была верная, но я, очевидно, не сумел ее выполнить. Я не выразил того, что хотел. Но я со временем научусь.

Она не могла уловить его мысли; хотя она и была бакалавром искусств, однако он перешел границы ее понимания. Впрочем, она этого не сознавала, считая, что виноват он, не умевший ясно выражаться.

— Вы грешите многословием, — повторила она. — Но в рассказе есть прекрасные места.

Ему показалось, что голос ее звучит где-то далеко-далеко. Он задумался, стоит ли прочесть ей «Песни моря». Он по-прежнему лежал на земле, не двигаясь, предаваясь мрачному отчаянию. Она смотрела на него, и опять у ней возникла навязчивая мысль о браке.

— Вы хотели бы стать известным? — вдруг спросила она.

— Да... пожалуй, да, — признался он. — Это тоже входит в мое романтическое приключение. Но меня интересует не известность сама по себе, а процесс ее завоевания. В конце концов, слава для меня — лишь средство достижения цели. Ради этой цели я хотел бы великой славы.

«Ради вас», — хотелось ему добавить. Он, может быть, и признался бы ей в этом, прояви она восторг по поводу того, что он ей прочел. Но она была слишком занята мыслями о подходящей для него карьере, чтобы спросить, в чем же состоит его цель. Что его литературные занятия ни к чему не приведут, в этом она была уверена. Он это доказал ей сейчас своими дилетантскими, ученическими творениями. Говорить он умел, но писать не мог. Она мысленно сравнивала его с Теннисоном, Броунингом и своими любимыми прозаиками и решила, что он безнадежен. Но она промолчала. Странный интерес, который она питала к нему, побуждал ее щадить его. Эта страсть писать — лишь маленькая слабость, которая в конце концов у него пройдет. Тогда он примется за серьезное дело и добьется в нем успеха — она не сомневалась в этом. Ведь в нем было столько силы!.. Если бы он только бросил писать!

— Я бы хотела, чтобы вы мне показали все, что написали, мистер Иден, — попросила она.

Он вспыхнул от удовольствия. Во всяком случае, она заинтересовалась. И, по крайней мере, она не дала ему бланка с отказом. Она сказала, что у него есть красивые места, а ведь это была первая когда-либо им услышанная похвала.

— Конечно, — страстно проговорил он. — И я обещаю вам, мисс Морз, что добьюсь успеха. Я прошел длинный путь, я это знаю и знаю также, что мне придется еще много пройти, но я дойду до цели, хотя бы мне пришлось всю дорогу ползти на четвереньках.

Он протянул ей пачку рукописей.

— Вот мои «Песни моря». Когда мы возвратимся, я вам передам эту вещь, чтобы вы могли на свободе прочесть ее. Скажете мне откровенно ваше мнение. Ведь вы сами знаете, что я больше всего нуждаюсь в критике. Прошу вас, будьте искренни со мной!

— Хорошо, я буду вполне искренна, — пообещала она, чувствуя в то же время, что в этот день она не была откровенна с ним, и сомневаясь в том, сумеет ли она быть откровенной при следующем свидании.

ГЛАВА XV

— Дана и окончена первая битва, — говорил дней десять спустя Мартин своему зеркалу. — Но предстоит еще вторая, а затем и третья — и так до конца жизни...

Он не окончил своей фразы и оглянулся вокруг, на жалкую каморку. Взгляд его упал на кипу возвращенных рукописей, все еще не вынутых из продолговатых конвертов и валявшихся в одном из углов на полу. У него не хватало уже денег на марки, чтобы отправить их в дальнейшее странствие, и потому за неделю их накопилось порядочно. А завтра придет еще несколько, а через день еще — и так далее, пока не вернутся все. А отправить их он уже не сможет. Он задолжал за месяц за пишущую машинку и не мог за нее уплатить; у него не хватало, чтобы заплатить за стол и комнату и в контору, занимающуюся трудоустройством.

Он уселся за стол и задумчиво посмотрел на него. На нем было множество чернильных пятен. Мартин вдруг почувствовал к нему нежность.

— Эх ты, милый старый стол! — сказал он. — Сколько дорогих часов провел я, сидя за тобой. В общем, ты был мне верным другом. Ты никогда не отрекался от меня и не давал мне бланка с отказом — этого ордена за отсутствие заслуг; ты даже никогда не жаловался на то, что тебе приходилось работать сверхурочно.

Он уронил руки на стол и положил на них голову. В горле у него стоял ком, и ему хотелось плакать. Он вдруг вспомнил свою первую драку, когда ему было шесть лет; у него слезы текли по щекам, но он все-таки продолжал колотить кулачками своего противника, пока тот, бывший на два года старше, не избил его и не довел до полного изнеможения. Мартин мысленно увидал мальчиков, стоявших вокруг них и завывавших, словно дикари, когда он свалился на землю, весь избитый; его тошнило, кровь ручьем струилась у него из носу, а из подбитых глаз текли слезы.

— Эх ты, бедняжка, — прошептал он. — Вот и теперь тебя избили. Отколотили до полусмерти, положили на обе лопатки...

Но картина этой первой драки все еще стояла перед ним; затем она исчезла и сменилась картинами других драк.

Шесть месяцев спустя Масляная Рожа (прозвище его противника) опять отколотил его. Зато Мартин посадил ему здоровый фонарь. Это уже было лучше. Перед ним пронеслись одна за другой все их драки; он всегда падал, побежденный, а Масляная Рожа стоял над ним, торжествуя. Но все-таки Мартин ни разу не убежал. Эта мысль его подбодряла и теперь. Он всегда храбро выдерживал до конца, а Масляная Рожа дрался, как настоящий черт, и пощады не давал. И все же Мартин держался стойко, до конца.

Затем он увидел узкий проход между ветхими деревянными хижинами, который заканчивался одноэтажным кирпичным зданием; оттуда раздавался ритмический шум печатных машин, печатавших дневной выпуск газеты «Вестник». Ему было одиннадцать лет, а Масляной Роже тринадцать, и оба они разносили газеты. Потому-то они и стояли здесь в ожидании ее выхода. Конечно, Масляная Рожа и тут не преминул напасть на него: опять произошла битва, окончившаяся вничью, из-за того что в четыре часа открылась типография и вся толпа маленьких газетчиков вошла туда и начала складывать газеты.

— Завтра отдую тебя, — послышалось обещание Масляной Рожи; и ему почудился его собственный ответ, данный дрожащим от слез голосом; он тоже обещал быть на месте в назначенное время.

И он на самом деле пришел, даже пораньше убежал из школы, чтобы быть первым. Масляная Рожа опоздал на две минуты. Остальные мальчишки подбодряли Мартина, давали ему советы, указывали ему на его неверные приемы и предсказывали победу, если он будет придерживаться их указаний. Правда, и Масляной Роже они тоже давали советы. С каким удовольствием они следили за поединком! И вот началась эта борьба, продолжавшаяся целых тридцать минут без единой передышки и закончившаяся лишь тогда, когда открылась типография.

Мартин мысленно видел себя мальчиком, когда он день за днем спешил из школы в тупик, где помещалась типография. Ходить очень быстро он не мог; он хромал и все тело его ныло

от постоянных драк. Его руки от кисти до локтя были сплошь покрыты синяками от бесчисленных ударов, которые ему приходилось парировать; кое-где на месте ушибов образовались ссадины. Все у него болело: и руки, и плечи, и поясница, а в голове чувствовалась тяжесть. В школе он не принимал участия в играх и совсем не учился. Просидеть целый день за партой — и то было мучением. Ему казалось, что прошли уже целые века с тех пор, как начались эти ежедневные драки, а впереди предстоял тот же кошмар. Почему ему не удается победить Масляную Рожу, часто думал Мартин. Ведь тогда прекратились бы все эти мучения. Но ему и в голову не приходило признать себя побежденным.

Так он брел каждый день в типографию, страдая телом и душой, но вместе с тем учась терпению. Он являлся туда, чтобы помериться силами со своим неизменным противником, Масляной Рожей, которому эти битвы надоели не меньше, чем Мартину, и который с удовольствием бы прекратил борьбу, если бы не окружающая толпа маленьких газетчиков: гордость не позволяла ему спасовать перед ними. Как-то раз, после двадцати минут отчаянных усилий со стороны противников уложить друг друга, но при строгом соблюдении известных правил (запрещения ударять в живот и бить упавшего), Масляная Рожа, задыхаясь и едва держась на ногах, предложил Мартину считать, что они квиты. Мартин даже теперь, сидя за столом, вздрогнул при воспоминании о том, как он, задыхаясь от крови, струившейся из рассеченных губ и наполнявшей ему рот и горло, подошел к Масляной Роже и, выплюнув мешавшую ему говорить кровь, крикнул, что он не согласен, но что Масляная Рожа может, если хочет, признать себя побежденным. Масляная Рожа не согласился, и поединок продолжался.

На следующий день и еще много дней подряд происходила обычная драка. Когда Мартин вначале выпрямлял руки, он каждый раз ощущал острую боль; первые удары тоже были прямо невыносимы. Но затем у него все тело точно немело, и он продолжал слепо отбиваться и нападать, а перед ним мелькала, точно во сне, широкая улица и горящие звериные

глаза Масляной Рожи. Все для него сосредоточивалось в этом лице; остальное было пустотой. Во всем мире не было ничего, кроме этого лица, и Мартину казалось, что он никогда не узнает блаженства покоя, пока его окровавленные кулаки не превратят это лицо в бесформенную массу или же пока другая пара окровавленных кулаков, каким-то неведомым образом связанных с этим лицом, не расквасит ему, Мартину, физиономию. Тогда он успокоится, но прекратить поединок — этого Мартин сделать не мог!

И наконец настал день, когда Мартин, с трудом притащившись к дверям типографии, увидел, что Масляной Рожи там нет. Так он и не явился. Мальчишки начали его поздравлять и объявили ему, что он победил Масляную Рожу. Но Мартин не был удовлетворен. Он чувствовал, что ни он, ни Масляная Рожа не победили. Спор остался неразрешенным. Лишь впоследствии мальчики узнали, что в этот день у Масляной Рожи скоропостижно умер отец.

Мысли Мартина пропустили целый ряд лет и остановились на вечере, когда он сидел на галерке в театре. Ему было семнадцать лет, и он только что вернулся из плавания.

Вблизи него началась драка. Кто-то кого-то обижал. Мартин вмешался и вдруг очутился лицом к лицу с Масляной Рожей, глаза которого сверкали от злобы.

— Я с тобой расправлюсь после представления, — прошипел ему давнишний враг.

Мартин кивнул головой. Наблюдавший за порядком капельдинер подошел к ним.

— Я встречусь с тобой на улице, после окончания, — шепотом проговорил Мартин, устремив взгляд на сцену, повидимому, весь погруженный в созерцание танца.

Блюститель порядка строго глянул на них и ушел.

— Компания у тебя есть? — спросил Мартин у Масляной Рожи во время антракта.

— Разумеется.

— Ну, так и мне надо кое-кого позвать.

Во время антракта он собрал трех человек, которых он знал еще раньше в гвоздильной мастерской, машиниста с железной

дороги, затем с полдюжины членов шайки Буу и столько же из другой — страшной шайки с Маркет-стрит.

Когда окончилось представление в театре, обе компании двинулись по разным тротуарам, стараясь не обращать на себя внимания. Дойдя до пустынного перекрестка, они сошлись вместе и держали военный совет.

— Мост на Восьмой — самое подходящее место, — сказал рыжеволосый парень из компании Масляной Рожи. — Драться можете посередине, у электрического фонаря, а если полицейские подойдут с одной стороны, нам будет легко удрать в другую.

Мост на Восьмой улице, пересекающий один из рукавов дельты Сан-Антонио, по длине равнялся трем кварталам. На самой середине моста и на обоих его концах горели электрические фонари, мимо которых полицейский не мог бы пройти незамеченным. Перед мысленным взором Мартина встала картина этого безопасного места. Он увидел обе компании, стоявшие с агрессивным, угрюмым выражением, отдельно друг от друга, каждая около своего чемпиона; а он сам и Масляная Рожа уже скидывали куртки. Невдалеке были поставлены часовые, на обязанности которых лежало наблюдение за входами на мост. Парень из шайки Буу держал в руках куртку, рубашку и фуражку Мартина, чтобы, в случае тревоги, сразу убежать с ними в безопасное место; затем Мартину представилось, что он входит в середину круга и громко объявляет противнику:

— Этот бой — не на шутку! Понял? Драться будем как следует! До самого конца! Надо разрешить старый спор. Понял? Один из нас должен быть побежден окончательно.

Мартин видел, что Масляная Рожа был готов идти на попятный, но самолюбие не позволяло ему это сделать в присутствии зрителей.

— Ну, ну, подходи! — ответил он. — Нечего языком болтать! До конца, так до конца!

И оба парня бросились друг на друга, точно молодые бычки, со всем пылом юности, горя ненавистью и желанием причинить друг другу боль, изувечить и уничтожить противника. Все то, что в течение тысячелетий было путем тяжелых усилий достигнуто людьми в их пути к прогрессу, словно

исчезло в один миг. Только электричество сияло, как бы напоминая о великих достижениях человечества. Мартин и Масляная Рожа превратились в первобытных дикарей каменного века, века пещер и жилищ на деревьях. Все ниже и ниже опускались они в бездонную пропасть, в слизь и мрак первобытной жизни; они сцеплялись и отталкивались, точно атомы во время химического процесса, бессознательно соединяющиеся и вновь разъединяющиеся на протяжении бесконечного ряда веков.

— Боже! Да ведь мы были скотами... хуже, зверями, — проговорил Мартин вслух, припоминая все подробности боя. Сила его воображения позволяла ему ясно видеть всю картину битвы, точно в кинематографе. Он был одновременно и зрителем, и участником ее. Приобретенная им за последние месяцы культура и утонченность заставляли его содрогаться, но затем настоящее словно изгладилось у него из памяти: призрак минувшего овладел им, и он вновь был тем Мартином Иденом, который, только что вернувшись из плавания, дрался с Масляной Рожей на мосту Восьмой улицы. Он ощущал боль, он силился наносить удары, обливался потом, истекал кровью и торжествовал, когда его кулаки попадали в цель.

Противники, горя ненавистью, налетали друг на друга, точно ураган, и дико кружились, стараясь обойти один другого. Минуты летели, а в обоих враждебных станах царило молчание. Никогда еще присутствующие не видели такого свирепого боя — им стало страшно. Боровшиеся выказывали себя еще худшими зверями, чем они сами. Когда несколько утих первый пыл, свойственный молодым, здоровым борцам, никто еще не одержал верха. Мартин даже услыхал чье-то замечание: это бой вничью.

Затем, после нескольких ловких приемов противника, он почувствовал, что тот хватил его по щеке и глубоко рассек ее; такая рана не могла быть нанесена голым кулаком. Послышался удивленный ропот. Лицо Мартина было залито кровью, но он не подал виду, только стал действовать крайне осторожно: ему хорошо были известны низость и вероломство тех людей, среди которых он жил. Он ждал и наблюдал: на-

конец, он сделал вид, что хочет броситься на противника, но сразу же остановился, увидев, как в руке у того сверкнуло что-то металлическое.

— Руки вверх! — закричал он. — У тебя кастет, ты меня ударил им.

Товарищи бойцов подошли к месту боя, ропотом выражая свое возмущение. Еще секунда, и началась бы общая свалка, и Мартину не удалось самому отомстить врагу. Он был вне себя.

— Эй, вы, там, подальше отсюда! — хриплым голосом закричал он. — Поняли? Поняли, скажите мне?

Они отошли от него. Они сами были зверьми, но он превзошел всех; он внушал им ужас и подчинял их своей воле.

— Сейчас дерусь я! — объявил Мартин. — Никто не смеет вмешиваться. Подай сюда кастет!

Масляная Рожа, отрезвленный и немного испуганный, отдал коварное оружие.

— Это ты ему передал, Рыжий! — сказал Мартин, швырнув кастет в реку. — Я видел, как ты к нему подбирался, и удивлялся, что ты такое надумал. Посмей только еще раз выкинуть такую штуку — и я тебя изобью до смерти. Понял?

Битва продолжалась. Борцы изнемогали, но, даже изнемогая от неимоверных, нечеловеческих усилий, наносили друг другу удары, пока их кровожадные товарищи, успевшие насытиться зрелищем, не стали умолять их перестать. Масляная Рожа, полумертвый, еле стоявший на ногах, потерявший человеческий облик, остановился в нерешительности, но Мартин накинулся на него и вновь принялся колотить.

Прошел, казалось, целый век. Масляная Рожа заметно ослабевал. Вдруг сквозь звук наносимых ударов послышался резкий хруст: правая рука у Мартина сломалась и повисла, как плеть. Все присутствующие услыхали этот звук и поняли, что произошло; понял и Масляная Рожа; он, как тигр, набросился на противника и стал наносить ему удар за ударом. Товарищи Мартина подбежали, чтобы вмешаться в дело. Но Мартин, ошеломленный этим градом ударов, остановил их бешеными проклятиями и ругательствами. Из груди его от отчаяния вырывались рыдания и стоны.

Он продолжал колотить противника одной левой рукой, продолжал упрямо, бессознательно и слышал, словно сквозь сон, как среди присутствовавших пробежал ропот испуга и кто-то дрожащим голосом заметил:

— Слушайте, ребята, да это уж не драка — это убийство. Надо разнять их.

Однако никто не стал их разнимать. Мартин был рад этому. Он продолжал устало, без конца, бить одной рукой; кулак его попадал в какую-то окровавленную массу, потерявшую всякое сходство с человеческим лицом, в нечто ужасное, в какую-то раскачивавшуюся, отвратительную вещь без имени, не желавшую исчезнуть перед его помутневшим взором. Жизнь, казалось, понемногу покидала его тело, и он стал бить все медленнее и медленнее; но прошли еще целые века, миллионы лет, и ему, словно сквозь туман, почудилось, что этот безымянный ужас начал опускаться все ниже и ниже на доски моста. Еще секунда — и Мартин стоит над ним, шатаясь на дрожащих ногах, хватаясь руками за воздух, и говорит голосом, который ему самому кажется чужим:

— Еще хочешь? Скажи же — хочешь еще получить?

Он повторял эти слова, не переставая, — спрашивал, вопрошал то с мольбой, то с угрозой, дать ли еще? Тут он почувствовал, что кто-то из его товарищей обнял его, стараясь надеть на него куртку, и гладит его по спине, а затем Мартин погрузился во мрак, потеряв сознание.

Будильник на столе зазвонил, но Мартин, закрыв лицо руками, не слышал его. Он ничего не слышал. Он даже думать перестал. Так ярко ему вспомнилось прошлое, что он потерял сознание так же, как тогда на мосту. С минуту он сидел погруженный во мрак и пустоту, но затем вскочил на ноги, точно воскресший из мертвых. Со лба у него струился пот, глаза сверкали.

— А ведь я таки победил тебя, Масляная Рожа! — крикнул он. — На это понадобилось целых одиннадцать лет, но в конце концов верх одержал я.

Колени у него дрожали; он почувствовал слабость, с трудом добрел, шатаясь, до кровати и уселся на ее край. Он все еще

был во власти прошлого. Он тревожно и испуганно огляделся вокруг себя, не понимая, где находится. Но тут взгляд его упал на кипу рукописей в углу комнаты. Механизм памяти сразу завертелся и перескочил через четыре года. Мартин вновь жил в настоящем: он вспомнил прочитанные им книги и мир, который они открыли перед ним, вспомнил свои честолюбивые мечты, свою любовь к бледной девушке, эфирному существу, нежному, далекому от житейской грязи. Она, наверное, умерла бы от ужаса, эта девушка, если бы увидела хотя бы сотую долю того, что он только что пережил, — сотую долю той грязи жизни, в которую он окунулся. Он встал и посмотрел на себя в зеркало.

— Итак, Мартин Иден, ты поднялся со дна, — торжественным голосом произнес он. — Ты протер глаза, ослепленные ярким светом; ты дерзаешь возноситься к звездам. Ты живешь настоящей жизнью; ты дал умереть в себе тигру и обезьяне и вырвал у высшей силы ее лучшие дары.

Он пристальнее пригляделся к своему изображению и рассмеялся.

— Кажется, я разыграл истерику и мелодраму. Ну да все равно. Ты победил Масляную Рожу, победишь и редакторов, хотя бы на это пришлось потратить дважды по одиннадцать лет. Все равно на полдороге ты не можешь остановиться. Ты должен идти дальше. Ты ведешь борьбу до конца, не забудь!

ГЛАВА XVI

Будильник, затрещав, разбудил Мартина так внезапно, что у него несомненно разболелась бы голова, не обладай он таким здоровым организмом. Хотя он спал очень крепко, однако просыпался моментально, как кошка, всегда в хорошем настроении, довольный тем, что миновали пять часов забытья. Он ненавидел это временное забытье. Ему нужно было столько сделать и столько пережить! Он жалел о каждой минуте, отнятой у него сном. Не успел умолкнуть звон

будильника, как он уже окунул голову в таз с холодной водой, от которой по его телу пробежала приятная дрожь.

Но на этот раз он не последовал своей ежедневной программе. Его не ждал неоконченный рассказ, в голове не было новой темы, которая просилась бы наружу. Накануне он поздно засиделся за занятиями и потому встал перед самым завтраком. Он попробовал прочесть главу из книги, но голова не работала, и он закрыл книгу. В этот день начиналась новая фаза борьбы — период, когда ему придется бросить литературу. От этой мысли ему становилось грустно, точно он собирался покинуть дом и семью. Он взглянул на груду рукописей в углу комнаты. Да! Сравнение верно. Он собирался их покинуть, этих жалких, обесславленных детей, никогда нигде не принятых. Он начал перелистывать их, останавливаясь на своих любимых местах. «Котел» и «Приключение» он удостоил прочтения вслух. Его последнее произведение «Радость», законченное лишь накануне и брошенное в угол из-за неимения денег на марки, также заслужило его похвалу.

— Никак в толк не возьму, — пробормотал он, — может быть, редакторы ничего не понимают. В этой вещи все хорошо, а какую дрянь они печатают у себя. Все, что печатается, куда хуже этого... по крайней мере, почти все.

После завтрака он уложил пишущую машинку в футляр и понес ее в Окленд.

— Я еще за месяц остался должен, — сказал он приказчику в магазине. — Но передайте, пожалуйста, хозяину, что на днях я найду работу и через месяц все уплачу.

Затем он переправился на пароме в Сан-Франциско и пошел в контору по трудоустройству.

— Какую угодно работу, специальности не имею, — начал было он, как его прервало появление нового лица. Этот человек был одет щеголевато, как рабочий с претензией на хороший вкус. При виде его агент безнадежно покачал головой.

— Все еще никого нет? — спросил тот. — Ну, как бы там ни было, а мне необходим человек сегодня же.

Он повернулся и уставился на Мартина. Мартин также начал разглядывать его и увидел одутловатое, бледное, но все

же красивое лицо, явно выражавшее слабохарактерность; по многим признакам он понял, что тот всю ночь прокутил.

— Вы что, работу ищете? — спросил он Мартина. — А что вы умеете делать?

— Всякую тяжелую работу; могу быть матросом; пишу на машинке, но стенографии не знаю, умею ездить верхом, готов на все и согласен взяться за что угодно.

Тот кивнул головой.

— Это мне нравится. Меня зовут Доусон, Джо Доусон, и я ищу рабочего в прачечную.

— Вот это не по моей части! — Мартину вмиг представилась забавная картина, как он стоит и гладит тонкое дамское белье. Но Джо ему понравился и он добавил: — Я мог бы взяться за простую стирку. Я этому научился, когда был матросом.

Джо Доусон на минуту задумался.

— Вот что, давайте-ка переговорим. Согласны выслушать?

Мартин утвердительно кивнул головой.

— Прачечная маленькая, находится за городом, при отеле «Горячие Ключи». Обслуживают ее двое — старший и подручный. Я и есть старший. Работать вы будете не для меня, но под моим началом. Ну как? Согласны?

Мартин задумался. Перспектива была заманчива. Несколько месяцев труда — и у него будет свободное время для занятий. Он будет старательно работать и усиленно заниматься.

— Харчи хорошие и комната отдельная, — сказал Джо.

Это решило дело; отдельная комната, где можно будет без помехи заниматься по ночам!

— Но труд адский, — добавил Джо.

Мартин многозначительно провел рукой по своим могучим мускулам.

— Это от физической работы, — сказал он.

— Ну, так ударим по рукам. — Джо дотронулся до своей головы. — Эх ты, как кружится! Еле глаза открываю! Здорово кутнул вчера, так завертелся, что ужас... Вот условия: жалованья дают на двоих сто в месяц да харчи. Мне полагается шестьдесят, а подручному сорок. Но прежний рабочий знал дело. Вы же новичок. Вначале мне придется за вас работать,

пока я вас не научу. Давайте решим так: вы начнете с тридцати, а затем постепенно дойдете до сорока. Я буду справедлив. Как только научитесь делу, будете получать сорок.

— Идет! — объявил Мартин и протянул руку. Джо пожал ее. — Дадите что-нибудь вперед — на билет и всякие расходы?

— Все пропил, — с грустью проговорил Джо, схватившись за голову, которая у него трещала. — Остался один обратный билет.

— А я тоже без гроша останусь, когда уплачу за пансион.

— Плюньте на пансион, — посоветовал Джо.

— Не могу — я сестре должен.

Джо присвистнул и начал ломать себе голову, но тщетно.

— У меня еще осталось на выпивку, — в отчаянии сказал он. — Пойдем со мной, авось что-нибудь и придумаем.

Мартин отказался.

— Не пьете?

Мартин кивнул.

— Хотел бы подражать вам, да никак вот не могу! — жалобно сказал Джо. — Когда проработаешь в этом аду всю неделю, то никак уж без выпивки не обойтись. А не то еще горло себе перережешь или дом подожжешь. Но я рад, что вы не пьете. Продолжайте в том же духе.

Мартин ясно сознавал пропасть между ним и этим человеком, пропасть, вырытую книгами, но он без труда сумел перешагнуть через нее. Ведь он всю свою жизнь провел в мире рабочих, и чувство товарищества стало для него второй натурой. Он сам решил вопрос о проезде, перед которым больная голова Джо стала в тупик. Свой сундук он пошлет в Шелли по билету Джо, а сам отправится на велосипеде. До Шелли насчитывалось всего семьдесят миль: он проедет их за воскресенье и в понедельник утром примется за работу. А пока он пойдет домой укладываться. Прощаться было не с кем: Рут и ее семья проводили лето на озере Тэхо.

Мартин прибыл в Шелли в воскресенье вечером, усталый, весь в пыли. Джо восторженно приветствовал его появление. Оказалось, что он проработал весь день, повязав больную голову мокрым полотенцем.

— Часть стирки осталась еще с прошлой недели, — пояснил он, — из-за того, что мне пришлось поехать в город искать работника. Сундук ваш доехал благополучно. Он стоит у вас в комнате. Он адски тяжел. Что у вас там такое? Слитки золота, что ли?

Джо уселся на кровать и смотрел, как Мартин раскладывает свои вещи. Сундук его был, собственно говоря, попросту ящиком из-под съестных припасов, и мистер Хиггинботам взял с него за этот ящик полдоллара. С помощью двух веревочных ручек Мартин превратил его в сундук, который можно было сдать в багаж. Широко раскрытыми глазами Джо наблюдал, как из этого сундука появилось несколько рубашек, несколько смен белья, а затем книги и книги.

— Там до самого дна только книги? — спросил он.

Мартин утвердительно кивнул и продолжал выставлять том за томом на кухонном столе, играющем роль умывальника.

— Здорово! — вырвалось у Джо. Он умолк, переваривая услышанное и, по-видимому, задумавшись о чем-то. Наконец он что-то надумал:

— Послушайте, вы, верно за девушками не очень... того, увиваетесь?

— Нет, — ответил Мартин. — Раньше, пока я еще за книги не принялся, это было. А потом некогда стало.

— Да и здесь некогда будет. Здесь времени хватает только на то, чтобы работать да спать.

Мартин вспомнил о том, что приучил себя спать всего по пяти часов в сутки, и улыбнулся. Его комната помещалась над прачечной в том же здании, где находился мотор, качавший воду, дававший электрическую энергию и двигавший машины в прачечной. Механик, живший в соседней комнате, зашел познакомиться с новым товарищем и помог Мартину приспособить у себя электрическую лампочку, которую можно было по желанию передвигать по проводу так, чтобы она висела над кроватью или над столом.

На следующее утро Мартина разбудили в четверть седьмого. До завтрака оставалось полчаса. Узнав, что в здании пра-

чечной имеется ванна для служащих, Мартин, к великому изумлению Джо, отправился туда и принял холодную ванну.

— Ишь он какой! — объявил Джо, усаживаясь за стол в углу кухни отеля.

Вместе с ними завтракали механик, садовник с помощником и два или три конюха. Они поели торопливо, в угрюмом молчании, изредка перебрасываясь несколькими словами. Слушая их, Мартин понял, как далеко он от них ушел. Их умственная отсталость удручающе действовала на него, ему хотелось поскорее избавиться от них. Поэтому он так же быстро проглотил завтрак, невкусный, неаккуратно приготовленный и со вздохом облегчения вышел из кухни.

Паровая прачечная была мала, но отлично оборудована. Все, что было возможно, делали в ней машины новейшей конструкции. Мартин, согласно инструкциям Джо, начал сортировать на большие кучи грязное белье, между тем как Джо запускал машину для стирки и приготовлял жидкое мыло. Оно делалось из разных едких щелочей, и Джо приходилось закутывать голову полотенцем, чтобы защитить рот, ноздри и глаза; в таком виде он походил на мумию. Окончив сортировку белья, Мартин помог Джо выжать выстиранное белье. Для этого белье закладывалось во вращающийся приемник, делавший несколько тысяч оборотов в минуту, в котором вода извлекалась из белья посредством центробежной силы. Затем Мартин попеременно следил за сушильным и за выжимальным аппаратами, а в промежутках «разворачивал» чулки и носки. К обеду все чулки и носки были уже выстираны, и Джо с Мартином стали пропускать их через каток; в это время уже грелись утюги. Затем они гладили до шести часов, но тут Джо с сомнением покачал головой:

— Что-то затянули работу! Придется заканчивать после ужина!

После ужина они проработали до десяти при ярком электрическом свете. Наконец последняя пара белья была выглажена, сложена и убрана в сортировочную комнату. Была жаркая калифорнийская ночь, и прачечная, несмотря на раскрытые настежь окна, напоминала раскаленную печь.

Мартин и Джо скинули с себя почти всю одежду, но все равно обливались потом и задыхались.

— Точно в тропиках, когда судно грузишь, — сказал Мартин, поднимаясь наверх.

— А вы ничего, справляетесь, — сказал Джо. — Вы молодцом за дело взялись. Если вы будете всегда так работать, то вы не больше месяца останетесь на тридцати долларах. Во второй уже все сорок получите. Но не уверяйте, что вы раньше никогда не гладили. Меня не проведете.

— Честное слово, я никогда в жизни не выгладил ни одной тряпки, — стал заверять Мартин.

Вернувшись к себе, он сам удивился своей усталости, забыв, что целый день был на ногах и проработал четырнадцать часов подряд. Он поставил будильник на шесть часов и затем отсчитал назад пять. Значит, можно почитать до часу ночи. Сняв башмаки, чтобы дать отдых распухшим ногам, он сел за стол, заваленный книгами. Открыв Фиска на том месте, где он остановился два дня назад, он принялся за чтение. Но первый же абзац показался ему настолько непонятным, что он еще раз перечитал его. И вдруг почувствовал, что просыпается и что все тело его онемело и застыло от холодного ветра с гор, врывавшегося в окно. Он взглянул на часы. Было уже два. Значит, он проспал за столом четыре часа. Кое-как раздевшись, он лег в постель и уснул, не успев положить голову на подушку.

Во вторник работа продолжалась точно так же с утра до вечера без передышки. Быстрота, с которой работал Джо, приводила Мартина в восторг. Джо в работе был настоящим дьяволом. Он целый день был внимателен и напряжен и не терял буквально ни минуты. Он сосредоточивал все свое внимание на работе, чтобы выгадать секунду, и указывал Мартину, как можно двумя-тремя движениями сделать то, на что Мартину требовалось четыре или пять. «Закон наименьшего усилия», — определил Мартин, стараясь во всем подражать Джо. Сам он тоже был хорошим работником, быстрым и ловким, и всегда гордился тем, что мало кто может превзойти его. Он весь отдавался делу, стараясь учесть все указания Джо. Он так быстро и хорошо растирал крахмальные воротнички

и манжеты, чтобы на них под утюгом не образовались пузыри, что даже заслужил похвалу Джо.

Свободного времени в прачечной не было вовсе. Джо никогда не давал передышки и сразу переходил от одной работы к другой. Однажды они накрахмалили двести мужских рубашек подряд. Нужно было быстро схватить правой рукой манишку, воротничок и манжеты и опускать их в горячий крахмал, а левой придерживать остальную часть рубашки, чтобы она не попала в таз; при этом крахмал был такой горячий, что им приходилось опускать руки в холодную воду, прежде чем отжать его. В этот день они проработали до половины одиннадцатого над тонким бельем, прозрачным, украшенным кружевами и складками — рубашками модных дам.

— Я за тропики; там хоть можно голым ходить, — смеясь, сказал Мартин.

— А что же я стал бы тогда делать? — серьезно засомневался Джо. — Я только и умею, что стирать.

— Зато здорово умеете.

— Еще бы! Ведь я с одиннадцати лет начал в Окленде в прачечной Контра-Коста — подкладывал белье в каток. С тех пор уже восемнадцать лет как я ничем другим не занимаюсь. Но такой работы, как здесь, я еще не видел. Сюда нужен еще, по крайней мере, один работник. Завтра опять весь вечер проработаем — по средам у нас полагается белье катать — воротнички и манжеты.

Мартин завел будильник, сел за стол и открыл Фиска; но он так и не окончил первого абзаца. Строчки сливались у него перед глазами, и он клевал носом. Он попробовал ходить по комнате, колотил себя по лбу кулаком, но никак не мог преодолеть сна. Он поставил книгу перед собой и пальцами придерживал веки, чтобы глаза не закрывались сами, но все-таки уснул с открытыми глазами. Наконец он покорился и, едва понимая, что делает, разделся и лег. Проспав семь часов тяжелым животным сном, он проснулся от звона будильника, чувствуя, что еще не выспался.

— Много прочитал? — спросил его Джо.

Мартин отрицательно покачал головой.

— Ну, не горюйте! Сегодня будем работать на катке в ночь, зато в четверг закончим работу в шесть. Тогда успеете почитать.

В этот день Мартин стирал ручным способом шерстяные вещи. Их клали в большую бочку, наполненную мыльным раствором, в середине которой находилась ступица от колеса, надетая на стержень, прикрепленный к другому посредством пружины.

— Моя выдумка, — с гордостью сказал Джо. — Куда лучше, чем стиральная доска; кроме того, это приспособление сберегает минут пятнадцать в неделю, а в этом аду поневоле дорожишь и пятнадцатью минутами.

Мысль пропускать воротнички и манжеты через каток также принадлежала Джо. В этот вечер, когда они работали при электричестве, он объяснил ее Мартину:

— Этого нигде не делают в других прачечных. А мне поневоле приходится — иначе никак не кончить работу в субботу к трем часам. Но я до тонкостей знаю, как это делается. Все дело в том, чтобы была надлежащая температура и нужное давление; всякая вещь пропускается по три раза. Вот полюбуйтесь! — Он поднял руку, в которой держал манжету. — Лучше не сделаете ни руками, ни на доске.

В четверг Джо пришел в бешенство. Ему прислали целый лишний тюк тонкого дамского белья.

— Я брошу это место, — объявил он. — Я больше не могу выносить! Возьму да и уйду! На кой же черт трудиться всю неделю, как вол, стараясь выгадать несколько минут? Для того, чтобы потом мне послали лишнюю партию белья! Нет, мы живем в свободной стране! Я вот сейчас пойду к этому толстому немцу да и выскажу ему откровенно свое мнение! Да не по-французски с ним беседу поведу, а на чистейшем американском языке. Скажите, пожалуйста, вздумал еще лишнюю работу задавать!

Но через минуту он уже покорился судьбе и говорил обратное:

— Придется и сегодня в ночь поработать.

Так Мартину не удалось почитать и в этот день. За всю неделю он даже газет не видел и, к своему удивлению, чувствовал,

что ничуть не интересуется новостями. Вообще он был так утомлен и изможден, что его ничто не интересовало. Однако он все-таки решил в субботу съездить на велосипеде в Окленд, если работа кончится в три часа. До Окленда было семьдесят миль; значит, ему придется возвращаться обратно в воскресенье и, таким образом, ему совсем не удастся отдохнуть перед новыми шестью днями труда. Разумеется, было бы удобнее поехать по железной дороге, но билет туда и обратно стоил два с половиной доллара, а ему нужно было беречь деньги.

ГЛАВА XVII

Мартин научился многому. В течение первой недели он и Джо однажды справились с двумястами белыми сорочками. Джо управлял машиной, в которой был подвешен горячий утюг на стальной пружине, регулировавшей давление. Таким способом он разглаживал манишку, манжеты, воротничок и наводил последний глянец на грудь. Покончив с рубахой, он тотчас бросал ее на доску, лежавшую между ним и Мартином, а тот подхватывал сорочку и доканчивал ее, разглаживая все ненакрахмаленные части.

Работа была изнурительная; они трудились час за часом, ни на минуту не останавливаясь. На просторных верандах отеля мужчины и женщины, в прохладных белых костюмах, пили замороженные напитки и старались как можно меньше двигаться. Но в прачечной стояла удушливая жара. Огромная гудящая печь накалялась докрасна, а утюги, двигаясь по влажному белью, выпускали целые облака пара. Эти утюги нагревались куда сильнее тех, которыми работают обычно хозяйки, пробующие их смоченным пальцем. Такой утюг показался бы слишком холодным для Джо и Мартина. Они попросту подносили утюг к щеке, измеряя его жар каким-то чутьем, что вызывало у Мартина восторженное удивление. Если снятые утюги оказывались слишком горячими, то их подвешивали на железные крюки и опускали в холодную воду. Это опять-таки

требовало большой точности и сноровки. Какая-нибудь лишняя доля секунды — и неуловимая степень нужного жара была утрачена. А Мартин находил еще время, чтобы удивляться точности, с которой он проделывал все это, — точности механической, основанной на автоматическом и безошибочном учете каждого движения.

Впрочем, изумляться было некогда. Все внимание Мартина было поглощено работой. Он трудился без устали. Голова и руки его были всецело заняты работой и сам он как бы превращался в машину, а все, что было в нем человеческого, поглощалось этой машиной. В его мозгу больше не осталось места для вселенной и ее великих загадок. Все широкие, просторные коридоры его мозга были герметически закрыты и запечатаны. Просторная палата его души обратилась в тесную каморку, в башенку, и обитательнице ее оставалось только регулировать деятельность его рук, плеч и десяти проворных пальцев, быстро, широкими скользящими взмахами передвигавших утюг по его дымящемуся пути. Движение совершалось всегда в одном направлении, не уклоняясь ни на одну долю дюйма, всегда с нужной силой, и Мартин стремительно проносился по бесконечным рукавам, бокам и спинкам, ловко сбрасывая законченное белье, не измяв его. И в ту минуту, как он торопливо перебрасывал рубаху, рука его уже бралась за другую. Так продолжалось час за часом, в то время как снаружи мир замирал под полуденным солнцем Калифорнии. Но в этой накаленной комнате замирать не полагалось: ведь гостям, прохлаждавшимся па верандах, нужно было чистое белье.

Пот ручьями катился с Мартина. Он выпивал огромное количество воды, но от напряжения и зноя вода тотчас же снова выливалась через все поры его тела. В море, на корабле, он почти всегда имел возможность углубиться в себя. Хозяин судна располагал лишь временем Мартина, но содержатель гостиницы владел, кроме того, и его мыслями. Теперь он не мог уже думать ни о чем, кроме терзающего нервы, разрушающего тело труда. У него не хватало сил сосредоточиваться на чем-нибудь другом. Он забыл даже о своей любви к Рут. Она попросту перестала существовать, ибо его загнанная душа

не имела времени вспомнить о ней. Только по ночам, когда он с трудом добирался до постели, или утром, за завтраком, она являлась ему в мимолетном воспоминании.

— Ведь это сущее пекло, не правда ли? — заметил однажды Джо.

Мартин кивнул, почувствовав вдруг приступ раздражения. И так ясно — не стоит говорить. Они не разговаривали во время работы. Болтовня только отвлекала от дела. Вот и в этот раз обращение Джо заставило Мартина пропустить взмах утюга и сделать лишнее движение, прежде чем он снова вошел в колею.

В пятницу утром запустили стиральную машину. Два раза в неделю они должны были стирать отельное белье — простыни, наволочки, покрывала, скатерти и салфетки. Покончив с этим, они приступали к глажению тонкого крахмального белья. Это была кропотливая работа, требовавшая большого внимания и ловкости, и Мартин не так-то скоро приноровился к ней. Он даже не решался сначала браться за тонкое белье, потому что ошибка могла повлечь за собой настоящее бедствие.

— Посмотри на эту штучку, — говорил Джо, поднимая прозрачный лифчик, который он мог бы легко спрятать в одном кулаке. — Попробуй-ка спалить! Двадцати долларов из жалованья как не бывало.

Поэтому Мартин старался не спалить «штучку» и ослаблял насколько возможно напряжение мускулов. Однако нервы его при этом напрягались сильнее, чем когда-либо, и он сочувственно прислушивался к проклятиям товарища, который потел и мучился над прелестными дамскими вещицами. Хорошо женщинам носить их, когда не приходится самим стирать. Тонкое крахмальное белье было настоящим кошмаром для Мартина, да и для Джо также. Оно отнимало у них заработанные тяжелым трудом минуты отдыха. Они пыхтели над ним весь день. В семь часов вечера они начали пропускать отельное белье через каток, а в десять, когда в отеле все спали, оба прачечника потели над тонким бельем до полуночи, до часа, до двух! В половине третьего они закончили работу.

В субботу утром они снова взялись за тонкое белье, и в три часа дня недельная работа была закончена.

— Не собираешься ли ты отмахать после этого семьдесят миль на велосипеде? — спросил Джо, когда они уселись на ступеньках и закурили с видом победителей.

— Придется, — был ответ.

— И чего тебя носит? Девица какая-то, а?

— Нет, просто хочу сэкономить два с половиной доллара на билете. Мне нужно обменять в библиотеке несколько книг.

— А отчего бы тебе не переслать их по почте? Туда и обратно полдоллара.

Мартин решил принять это к сведению.

— А завтра лучше отдохни, — настаивал товарищ. — Право, это тебе необходимо. Насчет меня уж будь покоен — пальцем не двину. Совсем разбит.

Его вид полностью подтверждал это. Неутомимый работник, никогда не отдыхающий, дрожащий над каждой минутой и каждой секундой, преодолевающий все препятствия, этот источник неистощимой энергии, человеческий мотор высокого напряжения, теперь, по окончании недельного труда, находился в состоянии полного изнеможения. Он был измучен, угрюм, и его красивое лицо осунулось от усталости. Он вяло курил свою папиросу, и голос его звучал как-то безжизненно и монотонно. Весь его пыл испарился, и отдых, как видно, не очень-то его радовал.

— А на будущей неделе опять начинай сначала, — сказал он мрачно. — И что толку во всем этом, а? Подчас я начинаю жалеть, что не сделался бродягой. Ни черта не делают, а вот живут же! Эх, выпить бы сейчас стаканчик пива. Да только раскачаться никак не могу, чтобы спуститься за ним в деревню. А ты оставайся и пошли свои книги по почте, иначе будешь просто круглым идиотом.

— Что же я стану здесь делать целое воскресенье?

— Отдыхать. Ты сам не сознаешь сейчас, до чего ты устал. Я вот до того устаю к воскресенью, что не могу даже газеты прочесть... Раз как-то я болел тифом. Пролежал два с половиной месяца в больнице. За все время ни до чего пальцем не дотрагивался. Хорошее было времечко... Да, хорошо было, — мечтательно повторил он через минуту.

Пока Мартин принимал ванну, его старший товарищ куда-то исчез. Должно быть, за пивом отправился, решил Мартин. Но прогулка в полмили до деревни показалась ему чересчур длинным путешествием. Не снимая сапог, он улегся на кровать и попытался привести в порядок свои мысли. До книги он и не дотронулся. Усталость не давала ему уснуть, и он лежал почти без мыслей, в каком-то полузабытьи, пока не пришло время ужинать. Джо не появлялся, и когда садовник заметил, что он «не иначе как наклюкался в кабаке», Мартин понял, в чем дело. Тотчас же после ужина он улегся в постель и утром решил, что прекрасно отдохнул. Джо все еще не было. Мартин раздобыл воскресную газету и залег в тенистом уголке под деревьями. Он не заметил, как промелькнуло утро. Он не спал, никто его не беспокоил, но газета так и осталась недочитанной. После обеда он снова взялся за нее и тотчас же заснул.

Так прошло воскресенье, а в понедельник утром он уже работал вовсю, сортируя белье, тогда как Джо, туго обвязав голову полотенцем, с воркотней и богохульством пускал в ход стиральную машину и разводил жидкое мыло.

— Ничего тут не поделаешь, — объяснял он, — как приходит этот субботний вечер, так и напиваюсь.

Прошла еще неделя тяжелого труда, заканчивавшегося всякий раз глубокой ночью при электрическом свете. В субботу, в три часа, как только кончили работать, Джо, насладившись минутой вялого торжества, снова потащился в деревню, чтобы найти забвение в вине. Это воскресенье Мартин провел так же, как и предыдущее. Он спал в тени деревьев, делал бесплодные попытки прочесть газету и долго лежал на спине, ничего не делая, ни о чем не думая. Он был слишком измучен, чтобы сосредоточиться на чем-нибудь, хотя чувствовал неудовлетворенность. Он презирал себя, словно чем-то унизил себя или совершал бесчестный поступок. Все, что было в нем возвышенного, куда-то исчезло. Его честолюбие притупилось, а восприимчивость настолько ослабела, что он уже не ощущал его уколов. Он был мертв и телом, и душой. Теперь это было просто животное, рабочая скотина. Он уже не воспринимал прелести солнечных лучей, пробивавшихся сквозь листву;

лазурный свод неба не навевал ему, как прежде, мыслей о необъятности космоса и о тайнах, трепещущих перед разгадкой. Жизнь стала вдруг нестерпимо унылой и бесцельной; она вызывала в нем отвращение. Траурное покрывало окутало зеркало его души, и обессиленная фантазия покоилась, точно больная, в темной комнате, куда не проникал луч света. Он завидовал Джо, который, шатаясь, бродил по деревне и пьянствовал в каком-нибудь кабаке. В его мозгу, должно быть, пылали теперь сказочные желания, он испытывал пьяные восторги перед пьяными видениями, он был фантастически и великолепно опьянен и ничего не помнил в эту минуту о понедельнике и предстоящей неделе убийственного труда.

Прошла третья неделя, и Мартин возненавидел самого себя, возненавидел жизнь. Его угнетала мысль о своей беспомощности. Да, правы были издатели, когда отказывались принимать его произведения. Теперь он ясно понимал это и смеялся над собой и над своими мечтами. Рут вернула ему по почте «Песни моря». Он равнодушно прочел ее письмо. Она всячески старалась внушить ему, что стихи ей очень понравились, что они прекрасны. Но она не умела лгать и не могла скрыть правду от самой себя. Она нашла стихи неудачными, и Мартин видел ее отношение к стихам в каждой строчке этого холодного, лишенного всякой восторженности письма. Она была права. Перечитав свои стихи, он полностью убедился в этом. Красота и вдохновение покинули его, и теперь он недоумевал, как он написал их: настроение, сравнения, смелые обороты сейчас были ему чужды, поражали его своей гротескностью, будто бы удачные выражения казались чудовищными, нелепыми, а все вместе — выдуманным и нереальным. Он тотчас же сжег бы «Песни моря», если бы у него хватило сил пойти в машинное отделение и бросить рукопись в огонь. Вся его энергия уходила теперь на стирку чужого белья, и для его личных дел ничего не оставалось.

Он решил, что в следующее воскресенье обязательно возьмет себя в руки и ответит на письмо Рут. Но в субботу вечером, после окончания работы, Мартин, приняв ванну, почувствовал лишь одно желание — забыться. «Пойти разве в деревню,

посмотреть, как там Джо промышляет?» — сказал он себе. И в ту же минуту понял, что лжет. Однако у него не хватило энергии вдуматься в эту ложь. А если бы энергии и хватило, он все равно не стал бы заниматься этим, потому что ему хотелось лишь одного — забыться. Он медленно и как бы бесцельно побрел в деревню, но по мере приближения к трактиру шаги его против воли ускорились.

— А я-то считал тебя трезвенником, — приветствовал его Джо.

Мартин не счел нужным оправдываться. Он потребовал виски и, прежде чем передать бутылку товарищу, наполнил до краев свой стакан.

— Ну, ты там, наливай живей! — сказал он грубо.

Но Джо долго возился с бутылкой, и Мартин не стал дожидаться его. Он опрокинул стакан и снова наполнил его доверху.

— Теперь я могу подождать тебя, — сказал он мрачно, — только поторапливайся.

Джо поспешил наполнить свой стакан, и они выпили вместе.

— Работа небось довела, а? — осведомился Джо.

Мартин отказался обсуждать этот вопрос.

— Я и сам понимаю, что это сущий ад, — продолжал тот, — и все-таки мне почему-то неприятно видеть тебя здесь, Март. А впрочем, плевать на все.

Мартин пил молча. Время от времени он коротко и резко требовал еще, внушая почтительный трепет буфетчику, женоподобному деревенскому парню с водянистыми голубыми глазами и гладко зализанными волосами, разделенными посередине пробором.

— Черт бы их побрал за то, что они выматывают из нас, бедных, все жилы, — заметил Джо. — Если бы только я не накачивался этак каждое воскресенье, меня обязательно прорвало бы на неделе, а тогда бы уж им не поздоровилось. Просто спалил бы все дотла, и дело с концом. Только мое пьянство их и спасает, верно говорю.

Но Мартин не отвечал. Еще несколько стаканов — и он почувствовал, как в его мозгу зашевелились очаровательные ядовитые змейки. Вот это была жизнь! Первое дыхание жиз-

ни за три недели. Способность грезить снова вернулась к нему. Фантазия вышла из темной горницы и вновь напоила его своей горячей радостью. Зеркало его души опять приобрело свою серебристую прозрачность и засверкало, отражая тайнопись его видений. Красота и вдохновение пошли с ним рука в руку, и вся прежняя мощь снова вернулась к Мартину. Он попробовал объяснить все это Джо, но у Джо были свои видения, непогрешимые проекты относительно того, как он избавится от этой каторжной работы и сам станет владельцем большой паровой прачечной.

— Говорю тебе, Март, ни один малыш не будет потеть в моей прачечной, то есть ни единый... И ни одной живой душе не придется работать после шести часов дня. Слыхал? У меня будет достаточно рабочих и машин, чтобы кончать работу в положенное время. А ты, Март, черт возьми, можешь не беспокоиться. Я сделаю тебя заведующим прачечной — это как в аптеке! Хочешь знать, как все выйдет? Очень просто: годика на два я сделаюсь трезвенником, наколочу за это время деньжат, понимаешь, и тогда...

Но Мартин отвернулся, предоставив ему изливать свои проекты буфетчику, пока этого почтенного человека не отозвали, чтобы подать виски двум фермерам. Они приняли приглашение Мартина, с царской щедростью угощавшего всех: рабочих с фермы, конюха, помощника садовника из гостиницы, буфетчика и подозрительного бродягу, который прокрался в кабачок, как тень, и, как тень, слонялся возле стойки.

ГЛАВА XVIII

В понедельник утром Джо, охая, опускал в стиральную машину первую партию белья.

— Знаешь... — начал он.

— Не разговаривай со мной, — огрызнулся Мартин.

— Извини, Джо, — сказал он в полдень, когда они сделали перерыв для обеда.

У того на глазах выступили слезы.

— Да уж ладно, старина, — ответил он. — Мы живем в аду, с этим ничего не поделаешь. А я, знаешь, очень полюбил тебя. Вот оттого-то мне и обидно стало. Я с первого раза привязался к тебе.

Мартин пожал ему руку.

— Давай-ка все бросим, — уговаривал Джо, — пошлем все это к черту и станем бродяжничать. Я, правда, еще ни разу не пробовал, а только думаю, что это должно быть чертовски приятно. Представь себе — ничего не делать. Так-таки ничего. Я, брат, раз болел... тифом... в больнице... чудесно было. Эх, хоть бы прихворнуть еще разок.

Шли дни. Гостиница была переполнена, и очередные груды тонкого белья так и сыпались на них. Они совершали чудеса доблести: по вечерам трудились до поздней ночи при электрическом свете, сократили обеденное время и даже начинали работать за полчаса до утреннего завтрака. Мартин перестал принимать холодные ванны. Каждая минута была на счету, и Джо, казалось, был властным пастухом этих минут: он заботливо охранял их, не упуская ни одной, пересчитывал их, как скряга пересчитывает золото; он работал, как безумный, превратившись в какую-то лихорадочную машину, которой ревностно помогала и другая машина, считавшая себя некогда человеком Мартином Иденом.

Но Мартин лишь в редкие минуты был способен размышлять. Обитель его мысли была заперта, окна заколочены, и сам он казался теперь призрачным сторожем этой обители. Он стал просто тенью. Джо был прав. Оба они были не что иное, как тени, осужденные на бессрочный каторжный труд. Или, может быть, все это был сон? Порой, среди облаков пара, в духоте, водя взад и вперед тяжелыми утюгами по белым одеждам, он вдруг воображал, что все это сон. Через минуту или, может быть, через тысячу лет он очнется в своей маленькой комнатке с запачканным чернилами столом и начнет писать с того самого места, на котором остановился накануне. Или, быть может, это также был сон, и он проснется для того, чтобы сменить вахту; он скатится со своей койки в на-

кренившемся баке и поднимется на палубу под тропическими звездами, возьмется за руль и почувствует на себе дыхание свежего муссона.

Наступила суббота и с ней в три часа безрадостный отдых.

— Спуститься разве в деревню, пропустить стаканчик? — сказал Джо странным монотонным голосом, в котором отражалось все его изнеможение после целой недели труда.

Мартин как будто проснулся. Он достал сумку с велосипедными инструментами и начал приводить в порядок своего верного коня. Джо был уже на полпути к трактиру, когда Мартин проехал мимо него, низко нагнувшись над рулем, равномерным усилием нажимая ногами на педали. Выражение его лица ясно говорило, что он приготовился к длинному семидесятимильному пути по пыльной дороге. Он переночевал в Окленде и в воскресенье снова преодолел семьдесят миль обратного пути. А в понедельник утром он принялся вновь за недельную работу, так и не отдохнув. Но зато ни в субботу, ни в воскресенье он не прикасался к алкоголю.

Прошла пятая неделя, вслед за ней — шестая. Все это время Мартин жил и работал, как машина; и только искорка чего-то, какая-то мерцающая грань души, заставляла его в конце каждой недели проглатывать сто сорок миль. Но это был не отдых, а скорее какое-то невероятное механическое напряжение, и оно сокрушило в конце концов эту мерцающую грань души, последнее, что оставалось в нем от прошлой жизни.

К концу седьмой недели он почувствовал, что не в силах больше сопротивляться и поплелся в деревню вместе с Джо, чтобы там затопить в вине свою настоящую жизнь и обрести новую, до утра понедельника. Однако в конце следующей недели он снова проехал сто сорок миль, разгоняя оцепенение от чрезмерной усталости другим, еще более сильным утомлением. В конце третьего месяца он снова отправился с Джо в деревню. Там он забылся и снова ожил, но, ожив, ясно увидел, в какое животное превращает его не пьянство, а работа. Пьянство было следствием, а не причиной. Оно неизбежно следовало за работой, как ночь следует за днем. Нет, обращая себя в ломовую лошадь, он никогда не достигнет

высот. Вот что шепнуло ему виски, и он в ответ одобрительно кивнул головой. Мудрое виски открывало ему тайны.

Он потребовал бумагу, карандаш и угощение для всех. Пока они пили за его здоровье, он писал, прислонившись к стойке.

— Вот телеграмма, Джо, — сказал он, — прочти-ка.

Джо посмотрел на бумагу веселыми пьяными глазами. Но то, что он прочел, по-видимому, отрезвило его. Он с упреком посмотрел на товарища, слезы выступили у него на глазах и покатились по щекам.

— Ты не вернешься ко мне, Март? — спросил он безнадежно.

Мартин отрицательно покачал головой и подозвал одного из толкавшихся в кабачке зевак, чтобы дать ему поручение на телеграф.

— Постой, — пробормотал Джо заплетающимся языком. — Дай подумать.

Он держался за стойку, ноги у него подкашивались.

Мартин обнял товарища и поддерживал его, пока тот думал.

— Пиши уж про обоих, — сказал тот решительно. — Уходить, так вместе.

— А ты почему уходишь? — спросил Мартин.

— Да потому же, почему и ты.

— Так ведь я отправляюсь в море, а ты-то как же?

— Плевать, — был ответ, — сделаюсь бродягой и все тут, право.

Мартин минуту испытующе смотрел на него, затем воскликнул:

— А ведь ты прав, черт возьми! Куда лучше быть бродягой, чем рабочей машиной. По крайней мере, поживешь, брат, а это лучше того, что ты до сих пор делал.

— А про больницу-то забыл? — поправил Джо. — Вот хорошо было. Тиф-то, рассказывал я тебе?

Пока Мартин исправлял телеграмму, Джо продолжал:

— Пока лежал это я в больнице, к вину нисколечко не тянуло. Чудно, не правда ли? А вот проработаю неделю, точно каторжник, тут уж не могу, чтобы не запить. Замечал ты когда-нибудь, что все повара чертовские пьяницы? И пекари

тоже. Это от работы. Без вина не обойтись. Послушай, дай-ка я заплачу половину за телеграмму.

— А подзатыльника хочешь? — предложил Мартин.

— Идите сюда все, я угощаю! — крикнул Джо тем, кто играл в кости на мокрой стойке.

В понедельник утром Джо был весь во власти радужных надежд. Он не обращал внимания на головную боль и совершенно не интересовался работой. Целые стада минут ускользали и терялись, покуда их небрежный пастух глядел в окна на солнце и на деревья.

— Подумать только! — восклицал он. — Ведь все это мое. Вот захочу, лягу под этими деревьями да так и просплю тысячу лет. Эй, Март, плюнь ты на все. Чего нам еще ждать? Погляди! Погляди-ка — вон там край ничегонеделания, и у меня в кармане билет прямого сообщения до самого места. Только вот насчет обратного, нет уж, шалишь!

Через несколько минут, наполняя стиральную машину грязным бельем, Джо высмотрел рубаху владельца прачечной. Он знал ее метку и с внезапно вспыхнувшим сознанием свободы торжествующе швырнул ее на пол и стал топтать ногами.

— Хотел бы я, чтобы ты был в ней, толстомордая гадина, — кричал он, — в этой самой рубахе, тут вот под моей ногой! Получи-ка еще, еще, будь ты проклят! Удержите меня кто-нибудь, удержите!

Мартин, смеясь, оттащил его. Во вторник вечером приехали новые прачечники, и остаток недели ушел на то, чтобы посвятить их в тонкости ремесла. Джо садился рядом и объяснял свою систему, но сам больше не работал.

— Пальцем о палец не ударю, — заявил он, — и не подумаю. Пусть попробуют заставить — тотчас же уйду. Наработались, благодарим покорно. Покатаемся теперь в товарных вагонах и належимся всласть под деревьями. Идите вы работать, рабы. Вот так. Корпите и потейте. А когда помрете, сгниете точно так же, как и я. Не все ли равно, как вы проживете свою жизнь? Ну, объясните мне, какая от этого, в сущности, разница?

В субботу они получили свой расчет и дошли вместе до перекрестка.

— Пожалуй, не стоит и спрашивать тебя, пойдешь ли ты со мной? — без надежды спросил Джо.

Мартин отрицательно покачал головой. Он стоял с велосипедом, готовясь к поездке. Они пожали друг другу руки, и Джо на минуту задержал руку Мартина в своей.

— Мы еще свидимся, Март, прежде чем помрем, — сказал он. — Уж это как пить дать. Я чувствую нутром. До свиданья, Март. Будь здоров. Я, знаешь, чертовски полюбил тебя.

Его одинокая, унылая фигура еще долго маячила на дороге, следя за Мартином, пока тот не исчез из виду за поворотом.

— Славный малый, — пробормотал он, — славный малый!

Затем и он побрел вдоль дороги к водокачке, где несколько бродяг лежали под откосом, дожидаясь товарного поезда.

ГЛАВА XIX

Рут и ее семья были уже в городе, когда Мартин возвратился в Окленд, и он снова стал часто видеться с ней. Получив диплом, она больше не училась, а он, истощив работой все свои силы, не писал. Это давало им возможность посвящать друг другу больше времени, чем прежде, и близость между ними быстро росла.

Сначала Мартин полностью отдался отдыху. Он много спал и проводил долгие часы в мечтах и размышлениях, ничего не делая. Он был похож на человека, поправляющегося после какого-то сильного потрясения. Первым признаком пробуждения было то, что он стал проявлять некоторый интерес к газетам. Затем он снова принялся за чтение: легкие романы, стихи и через несколько дней с головой погрузился в своего давно заброшенного Фиска. Великолепное здоровье Мартина позволило ему восстановить запас растраченной энергии, и прежний юношеский задор снова вернулся к нему.

Рут не могла скрыть своего огорчения, услышав, что Мартин отправится в плавание, как только отдохнет.

— Почему вы хотите сделать это?

— Ради денег, — ответил он. — Мне нужны деньги для новой атаки на издателей. Деньги — нерв войны, а в моем случае — деньги и терпение.

— Но если речь идет только о деньгах, почему же вы не остались в прачечной?

— Потому что прачечная превращала меня в животное. Такая изнурительная работа легко приводит к пьянству.

Она посмотрела на него с ужасом.

— Вы хотите сказать... — Она запнулась. Мартин легко мог бы уйти от ответа, но он был честен по натуре и к тому же вспомнил свое старое решение быть всегда правдивым, чем бы это ни грозило.

— Да, — ответил он, — именно это. Несколько раз.

Она вздрогнула и отодвинулась от него.

— Никто из моих знакомых никогда не делал этого.

— Значит, они никогда не работали в прачечной отеля, — горько засмеялся он. — Трудиться похвально и полезно для здоровья, так, по крайней мере, говорят все проповедники, и, видит Бог, я никогда не боялся труда. Но все хорошо в меру. А ее-то и не было в этой прачечной. Вот почему я снова отправляюсь в плавание. Я надеюсь, что оно будет последним; возвратившись, я во что бы то ни стало пробьюсь в журналы. В этом я убежден.

Она неодобрительно молчала, и он грустно следил за ней, ясно сознавая, что она никогда не поймет, через какие мытарства он прошел.

— Когда-нибудь я опишу все это и назову «Унижение труда», или «Психология пьянства в рабочем классе», или что-нибудь в этом роде.

Никогда еще со времени первой встречи они не были так далеки друг от друга, как в тот день. Его признание, за которым таился дух возмущения, оттолкнуло ее. Но отчуждение испугало ее больше, чем причина, вызвавшая его. Оно показало ей, насколько она сблизилась с ним, и ей захотелось дальнейшего сближения. В душе Рут поднималась жалость, у нее возникли наивные идеалистические мечты о том, чтобы исправить его. Она спасет его от проклятия, наложенного

средой, в которой он вырос, спасет его от него самого, даже против его воли. Все эти стремления казались ей необычайно благородными; она не подозревала, что за ними, в их основе, таилась ревность и жажда любви.

Они много катались на велосипедах, пользуясь прекрасными осенними днями, и за городом, на холмах читали друг другу вслух стихи, благородные, возвышенные стихи, которые поднимали их дух. Самоотречение, самопожертвование, терпение, трудолюбие и стремление к возвышенному — вот что она стремилась привить ему. Все это воплощалось для нее в образах ее отца, мистера Бэтлера и Эндрю Карнеги, который из простого мальчика, сына эмигранта, превратился в миллиардера, снабжающего книгами весь мир.

Мартин дорожил этими беседами и наслаждался ими. Теперь он яснее понимал ход ее мыслей, и душа ее перестала быть для него нераскрытым чудом, как прежде. Теперь они стояли на одном уровне в духовном развитии, а разногласия не влияли на его любовь. Его чувство было даже горячее, чем когда-либо, ибо он любил Рут такой, какой она была на самом деле, и физическая хрупкость любимой девушки лишь увеличивала ее обаяние в его глазах. Он читал когда-то о болезненной Элизабет Баррет, которая много лет не касалась ногами земли до того чудесного дня, когда она убежала с Броунингом и твердо стала на землю под открытым небом. Мартину казалось, что он может сделать для Рут то же, что сделал Броунинг для Элизабет. Но прежде она должна полюбить его, остальное будет легко. Он вольет в нее здоровье и силы. И он рисовал себе в грезах их будущую совместную жизнь, когда они, трудом добившись успехов, богатства, уютно устроившись на диване среди подушек, будут читать и обсуждать стихи.

Это будет главное в их будущей жизни. И перед его взором всегда вставала именно эта картина. Менялись лишь детали: иногда читал он, обняв одной рукой Рут, в то время как головка ее покоилась на его плече; в другой раз они вместе замирали над какой-нибудь прекрасной страницей. Но Рут также любила природу, и его щедрое воображение тотчас же меняло фон этой картины. То они читали в какой-нибудь закрытой

долине с отвесными склонами, то на высоких горных лугах, то на низких серых песчаных дюнах, где у ног бушевали волны, то далеко, на вулканическом острове, где низвергались водопады, превращаясь в туман и достигая моря в виде облаков брызг, колебавшихся и трепетавших при малейшем ветерке. Но на первом плане, как владыки прекрасного, неизменно были он и Рут: они читали и делились впечатлениями, а в глубине, в туманной дымке где-то таились картины, показывающие, как труд способствовал успеху, а заработанные этим трудом деньги делали их свободными и независимыми.

— Я бы посоветовала моей девочке быть осторожной, — предостерегающе заметила однажды мать Рут.

— Я знаю, что ты хочешь сказать. Но это невозможно. Он не...

Рут покраснела: это была краска от смущения, вызванная тем, что она впервые заговорила о таких священных вещах с матерью, которая была для нее также священна.

— Не пара тебе? — закончила мать.

Рут кивнула головой.

— Я не хотела этого говорить, но это так. Он неотесан, груб, силен — слишком силен. У него нет...

Она запнулась и остановилась в нерешительности. Ей было непривычно говорить с матерью о подобных вещах. И мать снова закончила за нее мысль.

— У него сомнительное прошлое — ты это хотела сказать.

Снова Рут кивнула, и краска опять залила ее лицо.

— Да, именно это, — подтвердила она. — Это, конечно, не его вина, но он много...

— Видел в жизни грязи.

— Да, и это пугает меня. Иногда мне становится страшно, когда он так просто и легко рассказывает о том, что он делал прежде — как будто все это пустяки. Но ведь это не пустяки, правда?

Они сидели обнявшись. Когда Рут замолчала, мать погладила ее руку, ожидая, чтобы она заговорила снова.

— Но мне с ним очень интересно, — продолжала Рут. — Ведь он до некоторой степени мой ребенок. Да у меня впервые по-

явился друг-мужчина. Не совсем друг, скорее и ребенок, и друг вместе. Подчас, когда он пугает меня, мне представляется, что это бульдог, с которым я играю, как некоторые девочки, а он натягивает цепочку, скалит зубы и грозит вырваться.

Мать снова подождала.

— Я думаю, что он и вправду интересует меня, только как... бульдог. В нем много хорошего, но много и такого, что было бы мне неприятно в... другом случае. Видишь, я уже думала. Он ругается, курит, пьет, он дрался на кулаках; знаешь, он сам рассказывал мне об этом и говорил даже, что любит такие вещи. В нем есть все то, чего не должно быть в мужчине... в мужчине, которого я хотела бы... иметь своим... мужем. Потом он слишком силен. Мой принц должен быть высоким, стройным и обязательно брюнетом — о, это будет грациозный очаровательный принц. Нет, не бойся, я не влюблюсь в Мартина Идена. Это было бы для меня большим несчастьем.

— Но я не это имела в виду, — схитрила миссис Морз. — Подумала ли ты о нем? Ты сама знаешь, как его трудно разгадать. Представь себе, что он влюбится в тебя.

— Но он уже влюблен! — воскликнула Рут.

— Этого следовало ожидать, — ласково сказала миссис Морз. — Может ли быть иначе с тем, кто знает тебя?

— Олни меня ненавидит! — горячо воскликнула Рут. — И я ненавижу Олни. Когда он где-нибудь поблизости, я чувствую себя как кошка. Я сознаю, что я просто противна ему, но даже когда у меня нет этого ощущения, он все же бывает мне противен. А с Мартином Иденом мне приятно. Никто еще не любил меня... таким образом, я хочу сказать. А это очень приятно быть любимой... вот так. Ты понимаешь, что я хочу сказать, мама, дорогая? Так чудесно чувствовать себя настоящей женщиной.

Она спрятала лицо на коленях матери и со вздохом прибавила:

— Ты, наверное, считаешь меня ужасной, я знаю, но я искренна и говорю то, что думаю.

Миссис Морз испытывала странную смесь радости и огорчения. Ее дитя, ее дочка-бакалавр искусств исчезла, и на ее

месте была дочь-женщина. Опыт удался. Странный недочет в натуре Рут был восполнен и к тому же без опасности для нее и без необходимости расплаты. Этот грубый моряк сослужил службу, и, хотя Рут не влюбилась в него, он все же заставил ее почувствовать себя женщиной.

— Его руки дрожат, — признавалась Рут, все еще пряча от стыда лицо. — Это очень смешно и забавно, но мне все-таки становится жаль его. И когда его руки начинают слишком сильно дрожать, а глаза горят чересчур ярким блеском, я читаю ему наставления и указываю ему, что он идет неправильным путем. Но я знаю, что он боготворит меня. Его глаза и руки не лгут, и мысль об этом возвышает меня в собственных глазах — одна только мысль. Я чувствую, что обладаю чем-то таким, что принадлежит мне по праву, что делает меня похожей на остальных девушек... и... молодых женщин. Я сама знаю, что прежде я не была похожа на них, и знаю, что это тревожило тебя. Ты думала, что я ничего не вижу, но я все подмечала.

Мать и дочь переживали священные минуты, беседуя в сумерках. Их глаза были влажны. Рут — сама невинность и целомудрие, ее мать — воплощенное сочувствие, чуткость и доброжелательность.

— Он на четыре года моложе тебя, — сказала миссис Морз. — У него нет еще ни положения в свете, ни места, ни жалованья. Он непрактичен. Любя тебя, он должен был бы, во имя благоразумия, предпринять что-нибудь, что дало бы ему право жениться, а вместо этого он носится со своими рассказами и ребяческими мечтами. Боюсь, что Мартин Иден никогда не остепенится. Он не стремится к тому, чтобы добиться какого-то положения, взяться за настоящую, достойную мужчины работу, как это делали твой отец или все наши друзья, мистер Бэтлер, например. Я думаю, что он никогда не научится зарабатывать деньги, а этот мир так устроен, что деньги необходимы для того, чтобы быть счастливым в нем. О, я не говорю, конечно, об огромных богатствах, но все же нужно иметь достаточно средств, чтобы жить прилично и пользоваться комфортом. Он... он ничего не говорил тебе?

— Ни единого звука. Даже не пробовал. А если бы он попытался, я не позволила бы ему сделать это, потому что я ведь не люблю его.

— Я очень рада. Я не хотела бы, чтобы моя чистая и невинная девочка полюбила такого человека. На свете есть благородные люди, чистые, честные и мужественные. Подожди, пока ты встретишь кого-нибудь из них. Судьба столкнет тебя когда-нибудь с таким человеком, ты полюбишь его и будешь любима сама. Он сделает тебя счастливой, как сделал меня счастливой твой отец. И потом, есть еще одна вещь, о которой ты должна всегда помнить...

— О чем, мама?

— О детях, — проговорила миссис Морз мягким и тихим голосом.

— Я... я думала об этом, — созналась Рут, вспомнив нескромные мысли, преследовавшие ее, и на лице ее снова выступила краска стыда от того, что ей приходится говорить о подобных вещах.

— И вот когда думаешь о детях, то становится очевидным, что мистер Иден не пара для тебя, — с ударением продолжала миссис Морз. — У них должна быть чистая наследственность. А он, я боюсь, вряд ли сможет дать ее. Твой отец рассказывал мне о жизни моряков и... и ты понимаешь...

Рут, в знак согласия, сжала руку матери. Ей в самом деле казалось, будто она все понимает, хотя ей представлялось что-то очень смутное, отдаленное и страшное, что выходило за пределы ее воображения.

— Ты знаешь, я обо всем рассказываю тебе, — начала она. — Но только иногда ты должна спрашивать меня сама, вот как теперь. Я давно уже хотела поговорить с тобой, но не знала, как это сделать. Я знаю, что это ложный стыд... но ты все же можешь облегчить мне признание. Спрашивай же меня иногда сама, как сегодня, чтобы я могла высказаться. Ведь ты тоже женщина, мама, — радостно воскликнула Рут, когда они встали. Она схватила мать за руки и, всматриваясь в сумеречной полутьме в ее лицо, со странным удовольствием сознавала свое равенство с ней. — Я никогда не подумала бы так о тебе, если

бы не этот разговор. Мне нужно было почувствовать себя женщиной, чтобы понять, что ты тоже женщина.

— Да, мы обе женщины, — ответила миссис Морз, притягивая ее к себе и целуя. — Мы обе женщины, — повторила она, когда они вышли из комнаты, обняв друг друга за талию. Сердца их были переполнены новым чувством дружеской близости.

— Наша девочка стала женщиной, — через час с гордостью сказала миссис Морз мужу.

— Это значит, — ответил он, бросив на жену пристальный взгляд, — что она влюбилась.

— Нет, это значит, что она любима, — улыбаясь возразила миссис Морз. — Опыт удался. Она, наконец, проснулась.

— В таком случае нам нужно отделаться от него, — резко проговорил мистер Морз деловым тоном.

Но жена его покачала головой.

— Это лишнее. Рут говорит, что на днях он отправляется в плавание. Когда он вернется, ее уже здесь не будет. Мы пошлем ее погостить к тете Кларе. Год на Востоке, другой климат, люди и обстановка — это как раз то, что ей теперь нужно.

ГЛАВА XX

Желание писать не раз поднималось в Мартине. Рассказы и стихи сами собой зарождались в его мозгу, но он только делал наброски, чтобы в будущем воспользоваться ими. Он ничего не писал. Это были его короткие каникулы; он решил посвятить их отдыху и любви и преуспевал как в том, так и в другом. Жизненная энергия снова забила в нем неистощимым ключом. Он каждый день виделся с Рут, и она при встрече всякий раз испытывала знакомое влечение, поддаваясь обаянию его силы и здоровья.

— Будь осторожна, — снова предостерегла ее мать, — мне кажется, ты слишком часто видишься с Мартином Иденом.

Но Рут беспечно рассмеялась в ответ. Она была уверена в себе; к тому же он через несколько дней отправится в плава-

ние, а ко времени его возвращения она будет уже далеко, в восточных штатах. Однако здоровье и сила Мартина продолжали оказывать на нее какое-то магическое действие. Ему сказали об ее предполагаемом отъезде на Восток, и он понимал, что должен спешить, но не знал, как подступиться к такой девушке, как Рут. К тому же ему мешал собственный опыт, приобретенный в любовных делах с женщинами и девушками, совершенно не похожими на нее. Те знали все, что касалось любви, жизни и флирта, она же не имела и понятия о подобных вещах. Ее поразительная невинность пугала его; пылкие слова застывали на его губах, и сознание того, что он не достоин ее, помимо воли смущало его. Его беспокоило и другое. Он сам никогда раньше не любил. Правда, в буйном его прошлом ему нравились некоторые женщины, иными он даже увлекался, но он не имел понятия о том, что значит любить. Стоило ему только властно и небрежно свистнуть, и они тотчас же бежали к нему. Эти женщины были для него развлечением, случайностью, игрой и, во всяком случае, занимали в его жизни лишь очень незначительное место. А вот теперь он в первый раз чувствовал себя покорным, нежным, робким и сомневающимся. Он не знал ни языка любви, ни ее путей, и голубиная чистота любимой девушки пугала его.

Из своих скитаний по миру он вынес одно жизненное правило: всегда предоставлять в незнакомой игре первый ход противнику. Это много раз выручало его и, кроме того, способствовало развитию у него наблюдательности. Он выучился следить за противником и подмечать его слабые стороны, чтобы потом завладевать положением. Это сильно напоминало кулачный бой, когда он тоже сначала выжидал, подмечая слабое место противника, и затем бил по нему изо всей силы.

Так он держал себя и с Рут. Он наблюдал, весь охваченный желанием выразить ей свою любовь, но не решался сделать это. Он боялся испугать ее и был не совсем уверен в себе. Сам не сознавая этого, он избрал правильный путь. Ведь любовь появилась в мире задолго до членораздельной речи и еще в младенчестве своем изобрела пути и средства, которых никогда уже не забыла потом. Именно таким древним, первобытным

способом Мартин старался завоевать Рут. Сначала он действовал совершенно бессознательно, но потом прозрел. Прикосновение его руки влияло на нее несравненно сильнее, чем любое его слово; обаяние его силы больше действовало на ее воображение, чем все напечатанные любовные стихи и страстные излияния бесчисленных поколений влюбленных. Все, что мог высказать его язык, лишь отчасти повлияло бы на нее; но мимолетное прикосновение, ощущение его руки действовало непосредственно на ее инстинкт женщины. Ее разум был так же молод, как она сама, но инстинкты ее были так же стары, как человечество, или даже еще древнее. Они были юны, как юна была сама любовь, но в то же время мудрее всех условностей и мнений, народившихся позднее. Поэтому ее разум бездействовал. К нему никто не обращался. А сама Рут не сознавала, как усиливается с каждой минутой влияние Мартина на ее любовный инстинкт. С другой стороны, было ясно, как день, что он любит ее, и она сознательно наслаждалась проявлениями этой любви — блеском глаз, в которых теплилась нежность, дрожанием рук и внезапной краской, которая то и дело заливала его лицо, пробиваясь сквозь загар. Она шла еще дальше и сама стала разжигать его, но делала это так робко и бессознательно, что ни он, ни она ничего не замечали. Рут трепетала от удовольствия, ощущая свою женскую силу, и, как истая дочь Евы, с наслаждением играя, мучила его.

Неопытность и избыток чувства сковывали Мартина, но он продолжал сближаться с нею, бессознательно стараясь зажечь ее с помощью прикосновения. Прикосновение его руки было ей приятно и доставляло ощущение гораздо более глубокое, чем простое удовольствие. Мартин не знал этого, но он понимал, что это не вызывает в ней неприятного чувства. Правда, они подавали друг другу руки лишь при встрече и прощании, но руки их часто соприкасались, когда они брались за велосипеды или же передавали друг другу захваченный на прогулку в горы томик стихов и перелистывали его. Подчас ее волосы касались его щеки, а плечо задевало плечо Мартина, когда они сгибались вместе над какой-нибудь страницей, восхищаясь красотой стиха. Она смеялась про

себя над нелепыми желаниями, которые у нее зарождались при этом: по временам ей хотелось потрепать его за волосы, тогда как ему нестерпимо хотелось положить голову ей на колени и мечтать, лежа так с полузакрытыми глазами, об ожидавшем их будущем. Прежде, на воскресных пикниках, в каком-нибудь парке он часто клал голову на женские колени и обычно спокойно засыпал глубоким сном, в то время как девушки защищали его лицо от солнца, любовно дивясь той величавой небрежности, с которой он принимал их любовь. До сих пор ему казалось, что нет ничего легче, как положить свою голову на колени девушки, но теперь, когда это была Рут, такое не представлялось ему возможным.

Именно в этой сдержанности и заключалась вся сила его стремлений. Благодаря ей он ни разу не пробудил в Рут тревоги. Неопытная и робкая, она не замечала опасного направления, по которому совершалось их сближение. Она льнула к нему, сама не подозревая этого, тогда как он, наслаждаясь этой возрастающей близостью, все хотел осмелиться, но не решался.

Однако раз он решился. Придя как-то перед вечером, он застал Рут в ее комнате. Шторы были спущены, и она жаловалась на ужасную головную боль.

— Ничего не помогает, — ответила она на его вопросы. — А порошки от головной боли мне запретил принимать доктор Холл.

— Я думаю, что вылечу вас и без лекарств, — ответил Мартин. — Я не уверен, конечно, но можно попробовать. Это простой массаж. Я выучился этой штуке у японцев. Ведь они, вы знаете, превосходные массажисты. Потом я усовершенствовался в этом деле у гавайцев и изучил несколько новых приемов. Они называют это lomi-lomi. Массаж этот во многих случаях заменяет лекарство, и эффект иногда даже превосходит результаты действия любых порошков и микстур.

Лишь только руки его коснулись ее головы, она глубоко вздохнула:

— Как хорошо.

Через полчаса она заговорила снова:

— Вы не устали?

Вопрос был лишний, и она знала, каков будет ответ. Затем она погрузилась в полудремоту. Из кончиков его пальцев истекала жизненная сила, отгоняя боль. Так, по крайней мере, казалось Рут. Наконец, она почувствовала облегчение и заснула.

В тот же вечер она позвонила ему по телефону, чтобы поблагодарить.

— Я проспала до обеда, — сказала она. — Вы совершенно излечили меня, мистер Иден, и я не знаю, как благодарить вас.

От радости он путался в словах, отвечая ей; и все время, пока он разговаривал с Рут по телефону, в мозгу его носились мысли о Броунинге и болезненной Элизабет Баррет. Он, Мартин Иден, мог сделать то же самое для Рут Морз. Вернувшись в свою комнату, он принялся за «Социологию» Спенсера, лежавшую раскрытой на его кровати. Но он не мог читать. Любовь тревожила его и порабощала его волю, так что, несмотря на всю свою решимость, он снова очутился за маленьким, залитым чернилами столиком. Сонет, написанный им в эту ночь, был первым из цикла пятидесяти любовных сонетов, которые он закончил в течение двух месяцев. Когда он сочинял их, в уме его носились «Сонеты с португальского». Этот цикл он написал в самых благоприятных условиях для создания великого произведения: ибо в этот период Мартин, опьяненный сладким безумием любви, переживал величайшее напряжение всех жизненных сил.

То время, которое он проводил без Рут, он посвящал «Сонетам о любви» и чтению у себя дома или в читальнях, где он ближе знакомился с современными журналами, их направлениями и содержанием. Часы же, которые он проводил с Рут, сводили его с ума, ибо были полны обещаний и неопределенности.

Через неделю после того, как он вылечил ее от головной боли, Норман предложил совершить в лунную ночь прогулку на яхте по озеру Меррит. Артур и Олни поддержали его. Мартин единственный среди них умел управлять парусами, и эту обязанность возложили на него. Рут села рядом с ним на корме, тогда как трое молодых людей расположились на середине яхты и углубились в какой-то спор о студенческих делах.

Луна еще не всходила. Рут глядела на усыпанное звездами небо, не обмениваясь ни единым словом с Мартином, и вдруг почувствовала себя необычайно одинокой. Она взглянула на него. Порыв ветра сильно кренил лодку, и Мартин, держа в одной руке румпель, а в другой грот-шкот, слегка поворачивал к ветру, внимательно всматриваясь вдаль, чтобы разглядеть ближайшие очертания северо-восточного берега. Он не чувствовал устремленных на него глаз Рут, и она внимательно вглядывалась в Мартина, размышляя о странностях характера, заставлявших этого молодого, исключительно одаренного человека тратить свое время на писание ничтожных и бездарных произведений, заранее обреченных на неуспех.

Ее взгляд скользнул по сильной шее, слабо выделявшейся при свете звезд, и перешел на красиво посаженную голову; знакомое желание обвить руками его шею снова проснулось в ней. Сила, которая внушала ей отвращение, в то же время и влекла ее. Чувство одиночества еще больше обострилось вместе с ощущением усталости. Качка раздражала ее, и она вспомнила головную боль, которую он вылечил, и успокоительную силу, казалось, таившуюся в нем. Он сидел рядом с ней, совсем близко, и толчки лодки как будто подталкивали ее к нему. Вдруг в ней проснулось желание прильнуть к этой мощной груди, найти в нем опору. Это было смутное, полуоформленное желание, и оно заставило Рут почти сознательно склониться к Мартину. А может быть, это сделал крен лодки? Она сама не знала и никогда не узнала этого. Она сознавала только, что испытывает от этого облегчение и блаженное ощущение покоя. Быть может, действительно виновата была лодка, но Рут не делала попытки изменить позу. Она слегка опиралась на его плечо и осталась сидеть так, даже когда он переменил положение, чтобы ей было удобнее.

Это было безумием, но она не желала замечать его. Это не была уже прежняя Рут, это была женщина, в которой говорил женский инстинкт, женская потребность опереться на мужчину. И, хотя она едва касалась Мартина, эта потребность все же казалась удовлетворенной. Теперь она уже не чувствовала усталости. Мартин молчал. Если бы он заговорил, очаро-

вание тотчас же было бы нарушено, но его любовная сдержанность продлила эти чары. Он был ошеломлен, голова у него шла кругом. Он не мог понять, что происходит. Это было слишком чудесно, чтобы быть действительностью. Он едва сдерживал безумное желание бросить руль и парус и сжать ее в своих объятиях. Но инстинкт подсказал ему, что это было бы ошибкой, и он радовался тому, что шкот и руль удерживали его руки и мешали поддаться соблазну.

Однако он сознательно замедлял ход лодки, без зазрения совести ослабляя парус, чтобы удлинить галс к северному берегу. Берег заставит его переменить место, и это блаженное ощущение прекратится. Он искусно управлял лодкой, замедляя ее движение, так что спорщики ничего не замечали. И Мартин мысленно благословлял все тяжкие испытания, перенесенные им в прежние плавания и научившие его господствовать над морем, лодкой и ветром, сделав, таким образом, возможной для него эту ночь, это плавание рядом с ней, это бесконечно дорогое ощущение ее головы на своем плече.

Когда первые лучи луны коснулись паруса, заливая жемчужным сиянием лодку, Рут отодвинулась от него. Отстраняясь, она почувствовала, что и он делает то же самое. Желание скрыть это от других оказалось взаимным. По молчаливому тайному соглашению все должно было остаться между ними. Она сидела поодаль от него, и щеки ее пылали, ибо только теперь она понимала все значение этого маленького происшествия. Она сделала что-то такое, чего не должны были видеть ни братья, ни Олни. Как это случилось? Ведь она никогда в жизни не делала ничего подобного, хотя ей не раз приходилось кататься в лодке при лунном свете с молодыми людьми. У нее никогда даже не зарождалось желания совершить что-либо подобное. Она была подавлена стыдом и тайной своей пробуждающейся женственности. Украдкой она взглянула на Мартина, который был занят тем, что переводил лодку на другой галс. В этот момент она готова была возненавидеть его за то, что он заставил ее совершить такой нескромный, постыдный шаг. Он, единственный из всех мужчин! Быть может, ее мать была права: она слишком часто видится с ним. «Это никогда больше не повторится», —

решила Рут. В будущем она постарается пореже встречаться с Мартином. У нее мелькнула нелепая мысль как-нибудь объяснить ему то, что произошло, когда они в первый раз останутся одни, солгать, упомянуть как бы невзначай, о приступе слабости, который она испытала перед самым восходом луны. Но тут она вспомнила, как они отодвинулись друг от друга перед разоблачительницей-луной, и поняла, что он не поверит ей.

В следующие дни, которые промчались очень быстро, Рут была сама не своя. Теперь она чувствовала себя каким-то странным, непонятным существом, которое отказывалось рассуждать, проверить свои чувства, заглянуть в будущее или призадуматься над тем, куда ее несло течение. Ее охватила какая-то странная чарующая лихорадка, пленительная и жуткая в одно и то же время. Она находилась в состоянии постоянного напряжения, и только одно твердо принятое решение, казалось, обеспечивало ей безопасность. Она не позволит Мартину говорить о своей любви. Пока этого не случится, все будет хорошо. Через несколько дней он уйдет в плавание; но даже если он заговорит, ничего дурного все равно не произойдет. Ведь она его не любит. Конечно, ему придется пережить несколько мучительных минут, а она при этом немного смутится. Ведь это будет первое предложение ей! При этой мысли она вздрогнула от наслаждения. Теперь она была настоящей женщиной, которую мужчина попросит стать его женой. Все, что было в ней женского, ликовало и трепетало от этого сознания. Мысль эта билась в ее мозгу, как налетевшая на огонь бабочка. Она дошла до того, что представила себе, как Мартин делает предложение, сама подбирая ему слова. При этом она подыскивала выражения для своего отказа, стараясь, чтобы он звучал как можно мягче. Она мысленно побуждала Мартина к благородным и достойным мужчины поступкам. Прежде всего он должен бросить курить. На этом она будет особенно настаивать. Однако еще лучше совсем не допускать этого объяснения. Она может остановить его, ведь она обещала матери сделать это. Но Рут с грустью расставалась с этой картиной, которую рисовала ей услужливая фантазия. Первое предложение должно быть отложено до более подходящего момента, когда явится более достойный поклонник.

ГЛАВА XXI

Был чудесный осенний день, теплый и томный, звенящий той особенной тишиной, которая составляет прелесть ранней осени в Калифорнии. Солнце точно просвечивало сквозь дымку, и редкие вздохи ветерка не в силах были одолеть дремоты воздуха. Легкий пурпурный туман — не сгущенные пары, а ткань из тончайших волокон — прятался в углублениях холмов. Сан-Франциско выделялся на своих высотах, точно пятно дыма. А между ними тусклым блеском расплавленного металла мерцал залив. В этот день парусные суда неподвижно маячили на его гладкой поверхности или вяло скользили, увлекаемые ленивым течением. Далекий Тамальпайс едва виднелся сквозь серебристую дымку, поднимаясь неясной громадой над Золотыми Воротами, полосой бледного золота горевшими в лучах заката. Там, дальше, Тихий океан, туманный и необъятный, громоздил на горизонте массы облаков, которые направлялись к берегу, неся с собой первое дыхание зимних бурь.

Осень стояла уже у порога. Однако лето еще не желало уходить. Оно блекло и увядало на холмах, сгущая багрянец долин, сплетая туманный покров из своих бледнеющих даров и отлетающих восторгов; оно умирало, умиротворенное сознанием того, что исполнило свое жизненное назначение. Мартин и Рут сидели рядом на своем любимом пригорке, склонив головы над одной и той же книгой. Мартин читал вслух любовные сонеты, написанные женщиной, любившей Броунинга той великой страстью, которая дается лишь избранным.

Но чтение подвигалось вяло. Разлитое вокруг очарование увядающей красоты слишком сильно действовало на них. Золотое время года отходило и, умирая, было так же прекрасно и полно сладостной неги, как и во время своего расцвета.

Отзвуки его поблекших радостей насыщали и отягчали воздух. Этот мечтательный и томящий аромат проникал в них, ослабляя их решимость, заволакивая лик условной нравственности и благоразумия призрачным пурпурным туманом.

Глубокая нежность заливала душу Мартина, и горячая волна пробегала время от времени по его жилам. Их головы почти соприкасались, и когда случайный порыв ветра развевал ее волосы, они касались его лица. В такие моменты печатные строки расплывались перед его глазами.

— Мне кажется, что вы не поняли ни одного слова из того, что прочли, — сказала она ему, когда он сбился.

Он посмотрел на нее горящими глазами и чуть было не выдал себя, как вдруг ответ сам собой сорвался с его губ.

— Да, кажется, и вы поняли не больше моего. Ну о чем говорилось в последнем сонете?

— Не помню, — откровенно рассмеялась она, — я уже забыла. Не стоит читать дальше. День слишком хорош.

— Сегодня наш последний день среди этих холмов, по крайней мере на некоторое время, — сказал Мартин торжественно.

— Там, на горизонте, собирается шторм.

Книга выскользнула из его рук, и они продолжали молча сидеть в какой-то истоме, устремив мечтательные невидящие глаза на дремлющий залив. Рут искоса поглядывала на его шею. Нет, не она склонилась к нему — какая-то внешняя сила, более могучая, чем сила тяготения, и властная, как судьба, неодолимо влекла ее к Мартину. Ей нужно было приблизиться на какой-нибудь дюйм, и она невольно сделала это. Ее плечо коснулось его так же легко, как бабочка касается цветка, и так же легко было ответное прикосновение. Она почувствовала, что его плечо прижимается к ней, почувствовала дрожь, пробегавшую по его телу. Теперь надо было во что бы то ни стало отстраниться. Но она превратилась в автомат, и она больше себя не контролировала. Да она и не задумывалась над этим и вся отдавалась восхитительному безумию, овладевшему ею. Рука Мартина робко протянулась и обвила ее. Она в мучительном восторге следила за ее медленным движением и ждала — сама не зная чего; губы ее пересохли, дыхание прерывалось, кровь горела в ней. Рука Мартина поднялась и притянула ее к себе медленным ласкающим движением. Рут не могла больше

ждать. С томным вздохом она безотчетным, невольным и порывистым движением положила голову ему на грудь. Он нагнулся, и когда его губы приблизились к ней, они встретились с ее губами.

«Это должно быть и есть любовь», — подумала она, когда ее сознание на мгновение прояснилось. Если это не любовь, то это ужасно стыдно! Но это могла быть только любовь. Она любит человека, рука которого обнимает ее, чьи губы прижимаются к ее губам. Она еще ближе прильнула к нему, прижимаясь всем телом. Через мгновение, наполовину освободившись из его объятий, она привстала и вдруг с каким-то особенным восторгом обвила обеими руками его загорелую шею. Томление любви, охватившее ее, было так сильно, что она тихо застонала и почти лишилась чувств в его объятиях.

Они не произнесли ни слова и еще долго продолжали молчать. Он два раза наклонялся и целовал ее, и каждый раз ее губы робко тянулись навстречу его губам, а тело прижималось к нему счастливым льнущим движением. Она не в силах была оторваться от него, и он почти держал ее на руках, глядя невидящими глазами на пятно большого города там, по ту сторону залива. На этот раз в его мозгу не было никаких видений, только краски, вспышки света и огненные языки пульсировали там, жаркие, как этот день, жаркие, как его любовь. Он нагнулся над ней. Она заговорила.

— Когда вы меня полюбили? — шепнула она.

— С первого раза, с самого первого раза, с первого момента, как я вас увидал. Я обезумел от любви к вам, и любовь моя с тех пор становилась все безумнее. Теперь я совсем потерял голову, дорогая. Я просто помешался от радости.

— Я рада, что я женщина, Мартин... дорогой, — сказала она, глубоко вздохнув.

Он снова сжал ее в своих объятиях и спросил:

— А вы, когда вы это узнали?

— О, я знала это все время, почти с самого начала.

— А я-то был слеп, как летучая мышь, — воскликнул он с оттенком досады в голосе. — Мне это даже и не снилось до этой минуты, пока я не поцеловал вас.

— Я не о том. — Она слегка отодвинулась и посмотрела на него. — Я хотела сказать, что почти с первой минуты догадалась, что вы меня любите.

— А вы? — спросил он.

— Это произошло со мной внезапно.

Она говорила очень медленно, и в глазах ее светилась застенчивая нежность, а щеки мягко горели.

— Я сама не знала этого, пока... пока вы не обняли меня, Мартин. Ведь я совсем не думала стать вашей женой, Мартин, до этой минуты. Как вы заставили меня полюбить себя?

— Не знаю, — засмеялся он. — Должно быть просто тем, что любил вас. Ведь я любил вас так сильно, что мог бы растопить своей любовью каменное сердце, а не то что сердце такой живой женщины, как вы.

— Я совсем не так представляла себе любовь.

— А как же вы представляли себе ее?

— Я не думала, что она... такая. — Их взгляды встретились, она потупилась и прибавила: — Видите ли, я совсем не знала, что это такое.

Он попробовал снова прижать ее к себе, но сдержал движение руки, которая обнимала ее, потому что боялся испугать свою любимую. Однако он почувствовал, что ее стан поддается. Она снова очутилась в его объятиях, и губы их слились.

— Что скажут мои? — проговорила она с внезапной тревогой.

— Не знаю. Но мы еще успеем узнать об этом.

— А что если вдруг мама будет против? Я уверена, что у меня не хватит храбрости признаться ей.

— Предоставьте это мне, — мужественно предложил он. — Мне кажется, что ваша мать не любит меня, но я сумею победить ее. Человек, который победил вас, может победить кого угодно А если это не удастся...

— Ну?

— Ну! Нас все равно не разлучат. Однако я не думаю, чтобы ваша мать стала противиться нашему браку. Она слишком любит вас.

— Я не хотела бы разбить ее сердце, — сказала Рут задумчиво.

Он готов был успокоить ее, что сердца матерей не так-то легко разбиваются, но вместо этого сказал:

— Любовь сильнее всего на свете.

— Знаете, Мартин, вы иногда пугаете меня. Мне и теперь становится страшно, когда я подумаю о вас и о том, чем вы были. Вы должны быть очень, очень добры ко мне. Подумайте, ведь я в конце концов просто ребенок. Я никогда еще не любила...

— И я тоже. Мы оба дети. Какое это великое счастье, что мы нашли друг в друге свою первую любовь.

— Но это невозможно, — воскликнула она, быстрым, порывистым движением освобождаясь из его объятий. — Невозможно для вас. Ведь вы были моряком, а моряки, я слыхала... они...

Голос ее прервался и замер.

— Вы слышали, что у них бывают жены в каждом порту? — подсказал он. — Вы это хотели сказать?

— Да, — ответила она тихо.

— Так ведь это не любовь. — Он говорил убедительно. — Я бывал во многих портах, но никогда не испытал даже мимолетного чувства любви, пока не увидел вас в тот первый вечер. Вы знаете, когда я попрощался и вышел от вас, меня чуть не арестовали.

— Арестовали?

— Да. Полицейский подумал, что я пьян. И я, действительно, был пьян от любви к вам.

— Но мы отвлеклись. Вы сказали, что мы дети, а я ответила, что для вас это не может быть правдой.

— Я сказал, что никого не любил до вас, — ответил он. — Вы моя первая любовь, моя настоящая первая любовь.

— Но ведь вы все-таки были матросом? — возразила она.

— Так ведь это не мешает тому, что я люблю вас первую.

— Однако же были ведь женщины... другие женщины... О! — и, к величайшему удивлению Мартина, она вдруг зали-

лась слезами, так что потребовалось немало поцелуев и ласк, чтобы успокоить ее.

Когда он утешал ее, в голове его все время вертелась строчка Киплинга: «Но знатная леди и Джуди О'Греди — родные сестры в душе». Он решил, что это правильно, хотя романы, которые он прочел, заставляли его думать иначе. По этим произведениям у него сложилось представление, что в высшем обществе допускались только формальные предложения. Там, в низах, юноши и девушки завоевывали друг друга объятиями и поцелуями, но ему казалось немыслимым, чтобы утонченные представители высшего общества проявляли свою любовь таким же образом. Значит, романы лгали. Доказательство налицо. Те же объятия и ласки без слов, которые производили впечатление на девушек рабочего класса, так же влияли и на девушек другого, высшего круга. Все они были созданы из одной и той же плоти, все, в конце концов, были сестрами в душе; он сам, пожалуй, мог бы додуматься до этого, если бы вспомнил Спенсера. Держа в объятиях Рут и успокаивая ее, он находил большое утешение в том, что «Полковница-леди и Джуди О'Греди» очень похожи друг на друга. Это сближало его с Рут, делало ее более доступной. Она была создана из той же плоти и крови, что и другие, что и он сам. Препятствий к их браку не было. Единственная разница между ними — это принадлежность к разным классам, но класс — только внешнее отличие. Им можно пренебречь. Он как-то читал, что один раб возвысился до римской порфиры. Если это так, то и он мог возвыситься до Рут. Под ее чистотой, святостью, культурой и эфирной красотой души скрывалась та же человеческая природа, что у Лиззи Конолли и всех ей подобных. Все, что было свойственно им, свойственно и ей. Она способна так же любить и ненавидеть; у нее, быть может, так же бывают истерики, и уж, конечно, она умела ревновать, как ревновала в эту минуту, всхлипывая в его объятиях.

— Да я к тому же старше вас, — вдруг сказала она, открывая глаза и глядя на него, — на целых четыре года.

— Вы настоящее дитя, а я на сорок лет старше вас по жизненному опыту, — ответил он.

В сущности, они оба были детьми во всем, что касалось любви, и в выражениях своей любви были незрелы и наивны, как двое детей, несмотря на то что она получила университетское образование, а его голова была полна научных теорий и сурового жизненного опыта.

Они сидели, освещенные гаснувшим сиянием дня, и вели обычный разговор влюбленных, дивясь чуду любви и странной судьбе, столкнувшей их. Они не сомневались, что никто никогда не испытывал еще такого чувства, и то и дело возвращались к воспоминанию о первом впечатлении, произведенном друг на друга, тщетно пытаясь точно проанализировать характер и силу своего чувства.

Солнце потонуло в густых массах облаков, скопившихся на западе. Весь небосвод окрасился в розовый цвет до самого зенита. Все вокруг них потонуло в этом теплом розовом свете, озарившем и их обоих в ту минуту, когда она запела: «Прощай, счастливый день!». Он держал ее в своих объятиях, ее руки были в его руках, и каждый из них держал сердце другого в своей руке.

ГЛАВА XXII

Миссис Морз не понадобилось прибегнуть к материнской проницательности, чтобы прочесть то, что случилось, по лицу Рут, когда та вернулась домой. Румянец, не сходивший с ее щек, глаза, расширенные и лучистые, ясно отражавшие ее сердечное ликование, красноречиво говорили о том, что произошло.

— Что случилось? — спросила мать, дождавшись, пока Рут легла в постель.

— Ты догадалась? — спросила Рут дрожащими губами.

Вместо ответа мать обняла ее и ласково погладила по голове.

— Он не говорил, — воскликнула Рут, — я не хотела, чтобы это случилось, и никогда не позволила бы ему сделать это... но только он ничего не сказал.

— Но раз он ничего не сказал, значит, ничего и не случилось, так ведь?

— Нет, все-таки случилось.

— Ради Бога, что ты такое болтаешь, дитя мое? — растерянно спросила миссис Морз. — Я совсем перестаю понимать тебя. Что же случилось?

Рут удивленно взглянула на мать.

— Я думала, что ты догадаешься, — ответила она. — Мы с Мартином теперь жених и невеста.

Миссис Морз растерянно улыбнулась, но не на шутку встревожилась.

— Нет, он ничего не сказал, — продолжала Рут, — он просто любит меня и только. Я была так же удивлена, как и ты сейчас. Он не произнес ни единого слова. Он только обнял меня и... я перестала владеть собой. Потом... он поцеловал меня, и я поцеловала его. Я не могла удержаться. Я чувствовала, что должна это сделать. И тут-то я поняла, что люблю его.

Она остановилась, ожидая поцелуя матери, но миссис Морз холодно молчала.

— Я знаю, что это ужасно, — продолжала Рут упавшим голосом. — Я не знаю, простишь ли ты меня когда-нибудь. Но я не могла иначе. Я сама не подозревала до этой минуты, что люблю его. Ты должна сказать об этом отцу вместо меня.

— Не лучше ли совсем не говорить об этом отцу? Я поговорю с Мартином Иденом и объясню ему. Он поймет и освободит тебя от его слова.

— Нет, нет, — воскликнула Рут, вскакивая, — я совсем не хочу, чтобы он отказался от меня. Я люблю его, а любить так приятно... Я выйду за него замуж, если... если, конечно, вы разрешите мне.

— У нас с отцом были другие планы относительно тебя, милая Рут. О, нет, нет, мы не собирались навязывать тебе мужа, ничего подобного. Мы мечтали только о том, чтобы ты вышла замуж за человека твоего круга, за настоящего джентльмена, которого ты сама назвала бы своим избранником, полюбив его.

— Но ведь я уже люблю Мартина, — жалобно возразила Рут.

— Мы ни в коем случае не хотели бы влиять на твой выбор. Но ты наша дочь, и мы не можем согласиться на подобный брак. Кроме грубости и невоспитанности, он ничего не сможет дать тебе за всю твою нежность и тактичность. Он вовсе тебе не пара. И материально обеспечить тебя он не может. Мы вовсе не мечтаем о роскоши, но комфорт — дело другое, и наша дочь должна, по меньшей мере, выйти замуж за такого человека, который сможет его обеспечить, а не за нищего, авантюриста, матроса, ковбоя, контрабандиста и бог знает кем он еще был. И потом какое легкомыслие! Полное отсутствие ответственности за свои поступки.

Рут молчала. Каждое слово матери казалось ей неоспоримой истиной.

— Он тратит время на писательство, — продолжала мать, — стараясь достигнуть того, что не всегда дается даже талантливым людям, получившим образование. Человек, помышляющий о браке, должен готовиться к нему. Я уже сказала, и ты, надеюсь, согласна со мной, что он лишен чувства ответственности. Да могло ли и быть иначе? Таковы уж все моряки. Он никогда не учился бережливости и воздержанности. Годы мотовства наложили на него свой отпечаток. Конечно, это не его вина, но ведь от этого не легче. А подумала ли ты о его прежней беспутной жизни? Подумала ли ты об этом, дочка? Ведь ты знаешь, что такое брак.

Рут вздрогнула и теснее прижалась к матери.

— Я думала об этом, — Рут долго молчала, пытаясь поточнее сформулировать свою мысль. — Это ужасно! Мне тяжело думать об этом. И беда в том, что я полюбила его. Я сама знаю, но ничего не могу с собой поделать. Разве ты могла бы не любить папу? Вот то же самое и со мной. Что-то есть во мне и в нем, я и сама не знала этого до сегодняшнего дня. Но это существует, и оно заставляет меня любить его. Я никогда не думала, что полюблю его, но, видишь, люблю, — закончила она с оттенком торжества в голосе.

Они еще долго беседовали и в заключение решили подождать некоторое время, ничего не предпринимая.

К такому же решению немного позднее, в тот же вечер, пришли мистер и миссис Морз, после того как жена призналась, что ее планы расстроились.

— Вряд ли могло быть иначе, — сказал мистер Морз. — Этот простой матрос был единственным мужчиной, с которым она сблизилась. Рано или поздно она должна была проснуться; и как раз в тот момент, когда это случилось, около нее оказался этот матрос, единственный доступный ей в ту минуту мужчина. Конечно, она сразу же влюбилась в него или вообразила, что влюбилась, что, в общем, одно и то же.

Миссис Морз заявила, что будет стараться повлиять на Рут косвенным путем, вместо того чтобы прямо противиться ей. Времени еще достаточно, ибо Мартин все равно не мог сейчас жениться.

— Пусть она встречается с ним сколько хочет, — посоветовал мистер Морз. — Чем ближе она будет узнавать его, тем скорее разлюбит, ручаюсь. Дай ей также возможность сравнить его с другими. Постарайся привлечь в наш дом побольше молодежи, девушек и молодых людей, образованных, стремящихся к карьере, настоящих джентльменов нашего круга. Пусть она увидит его рядом с ними и сравнит, тогда он предстанет перед ней в истинном свете. К тому же он совсем мальчишка, ему только двадцать один год. Рут тоже настоящий ребенок. Это просто ребяческая влюбленность, которую они сами перерастут.

Так и порешили. В семье признали, что Мартин и Рут помолвлены, но не стали это разглашать. Все без слов понимали, что помолвка будет долгая. От Мартина не требовали, чтобы он подыскал себе занятие или бросил писательство. Они не считали нужным поощрять его к тому, чтобы он изменил свое поведение. И он сам помогал их враждебным планам, так как меньше всего помышлял о приискании занятий.

— Мне хочется знать, понравится ли вам то, что я сделал, — сказал он Рут несколько дней спустя. — Я решил, что жить у сестры мне слишком дорого и намерен устроиться теперь самостоятельно. Я нанял маленькую комнатку в северном Окленде и купил керосинку: сам буду себе стряпать.

Рут пришла в восторг. Особенно понравилась ей керосинка.

— Так начинал и мистер Бэтлер, — сказала она.

Мартин внутренне поморщился при упоминании об этом достойном джентльмене, но продолжал:

— Я наклеил марки на все свои рукописи и опять разослал их по редакциям. А завтра принимаюсь за работу.

— Вы нашли место? — воскликнула она и всем телом радостно прижалась к нему. Она сжала его руку и улыбаясь проговорила: — Что же вы молчали? Какое место?

Он отрицательно покачал головой:

— Я хотел сказать, что снова начну писать.

Лицо ее выразило разочарование, и он, заметив это, поспешно прибавил:

— Не решайте наперед. Я совсем не собираюсь предаваться радужным мечтам. Это будет холодная, прозаическая, чисто деловая работа. Мне кажется, что это лучше, чем снова пускаться в море, и я заработаю больше денег, чем может заработать на каком-либо другом месте в Окленде человек, не имеющий специальности. Видите ли, этот отдых, который я себе устроил, открыл предо мной новые перспективы. Я не слишком переутомлялся и в то же время не писал — по крайней мере не писал для печати. Я делал только одно: любил вас и размышлял. Я читал, но мое чтение переплеталось с моими мыслями, и читал я главным образом журналы. Я много размышлял о себе, о мире, о месте, которое отведено мне в жизни, и о шансах добиться положения, достойного вас. Я прочел также «Философию стиля» Спенсера и нашел там много такого, что имеет значение для меня, вернее, для моей литературной работы, и для большинства той литературы, которая печатается в журналах. А вывод из всего этого, то есть из моих размышлений, чтения и любви, следующий — я решил сделаться литературным ремесленником. Я отложу в сторону художественные произведения и займусь черной работой, буду писать всякие шутки, статейки, юмористические стишки и тому подобную ерунду, на которую существует, по-видимому, большой спрос. Затем есть еще такие агентства, которые обеспечивают материалом для фельетонов, мелких рассказов и воскресных приложений. Я могу стряпать

материал, который им нужен, и достаточно этим зарабатывать. Есть, знаете, рыцари пера, которые выколачивают от четырехсот до пятисот долларов в месяц. Я не стану гоняться за такими деньгами, но, во всяком случае, смогу зарабатывать достаточно и притом буду свободен, чего мне не даст никакое другое занятие. А свободное время я буду посвящать науке и серьезным занятиям. Познакомлюсь с лучшими произведениями, чтобы разобраться в них, проанализировать и самому научиться создавать достойные вещи. Ведь я сам поражаюсь тому, как много я успел за этот срок. Когда я в первый раз попробовал взяться за перо, то мне, собственно, не о чем было писать. Я не мог даже разобраться в том жалком запасе впечатлений, которые успел скопить за свою жизнь. Право, у меня совсем не было мыслей, не было даже слов для их выражения. Мои впечатления — это была вереница картин, лишенных смысла. Но когда я начал приобретать знания, овладевать словом, то начал из этих впечатлений уже что-то выносить. Я задумался над ними и нашел им объяснения. Вот тут-то я и начал писать настоящие вещи: «Приключение», «Радость», «Котел», «Вино жизни», «Веселая улица», «Сонеты о любви» и «Песни моря». Я еще много напишу таких вещей и даже лучших, но теперь буду заниматься этим только в свободное время. Теперь я чувствую под ногами твердую почву. Сначала черная работа и заработок, а потом художественное творчество. Чтобы доказать вам, я как раз вчера вечером написал с полдюжины юмористических стихотворений для сатирических еженедельников. Когда же я собирался ложиться спать, мне пришло в голову попробовать свои силы в юморе, и я за один час написал целых четыре шуточных куплета. Они, во всяком случае, стоят по доллару за штуку. Четыре доллара за несколько мыслей, пришедших в голову перед сном, ведь недурно? Конечно, все это ничего не стоит, просто скучное и бессмысленное кропание, но оно нисколько не скучнее и не бессмысленнее, чем ведение конторских книг за шестьдесят долларов в месяц, выписывание бесконечных столбцов пустых цифр в течение всей жизни. Да и работа эта все-таки имеет отношение к литературе и даст мне возможность создать значительные вещи.

— Но какая польза от этих значительных вещей, от этих художественных произведений? — спросила Рут. — Ведь вы не можете продать их!

— О, конечно, могу, — начал он, но она перебила его.

— Из всех вещей, которые вы назвали и которые считаете хорошими, вы не продали ни одной. Не можем же мы пожениться, имея в запасе только художественные произведения, которые не продаются.

— Ну, значит, мы поженимся, имея в запасе куплеты, которые будут продаваться, — смело заявил он, обнимая Рут, которая на этот раз не проявила обычной податливости. — Вот послушайте, — сказал он с напускной веселостью. — Это, конечно, не искусство, но зато верный доллар:

Он здесь надумал побывать,
А я ушел меж тем.
Хотел он денег призанять.
Затем и вышел погулять —
Вернулся он ни с чем.
А я домой пришел опять,
Но он ушел совсем.

Веселая интонация, с которой он начал читать этот шутливый стишок, уступила под конец место унынию. Он не вызвал даже улыбки на лице Рут. Она смотрела на него серьезным тревожным взглядом.

— Может быть, это и стоит доллар, — сказала она, — но это доллар шута, заработок клоуна. Разве вы не видите, Мартин, что это унизительно? Я хочу, чтобы человек, которого я люблю и уважаю, был лучше и выше сочинителя шутовских стишков.

— Вы хотели бы, чтобы он был похож... скажем, на мистера Бэтлера?

— Я знаю, что вы не любите мистера Бэтлера... — начала она, но он перебил ее.

— Мистер Бэтлер — прекрасный человек, — сказал он. — Я нахожу у него только один недостаток: это — несварение желудка. Но я все же не вижу никакой разницы между писа-

нием стихов и перепиской на машинке или ведением конторских книг. Все это делается с одной целью. По вашему мнению, я должен начать с конторской работы, чтобы сделаться известным стряпчим или дельцом. А по-моему, я должен начать с черной литературной работы, чтобы сделаться известным писателем.

— Тут есть разница.

— В чем же?

— В том, что ваши хорошие произведения — те, которые вы сами считаете удачными, не продаются. Ведь вы пытались, но издатели их не покупают.

— Дайте мне время, дорогая, — просил он. — Черная работа — только средство, и я не смотрю на нее серьезно. Дайте мне два года. За это время я добьюсь успеха, и издатели будут с радостью покупать мои произведения. Я знаю, что говорю. Я верю в себя. Я знаю, на что я способен, и знаю, что такое литература. Я знаю, какой посредственной стряпней наполняют ее ничтожные писатели. И знаю, что через два года я буду уже на верном пути к успеху. Что касается деловой карьеры, то я никогда не сделал бы ее. У меня нет никакой склонности к ней. Она внушает мне отвращение, как нечто скучное, бессмысленное, торгашеское и плутовское. Я, должно быть, просто не создан для нее. Я никогда не поднимусь выше клерка, а разве мы могли бы жить на скудное жалованье конторщика? Я хочу доставить вам все, что есть лучшего в мире. И я добьюсь этого, добьюсь во что бы то ни стало. Гонорары пользующегося успехом писателя заставят стушеваться мистера Бэтлера. Ходкие произведения приносят от пятидесяти до ста тысяч долларов в год, иногда больше, иногда меньше, но приблизительно в этих пределах.

Рут молчала. Ее разочарование было слишком очевидно.

— Ну и что же? — спросил он.

— Я надеялась и рассчитывала на другое. Я думала и думаю до сих пор, что для вас было бы самым лучшим научиться стенографии — вы уже знаете машинку — и поступить в контору к папе. У вас хорошие способности, и я уверена, что из вас вышел бы хороший юрист.

ГЛАВА XXIII

То, что Рут мало верила в литературную будущность Мартина, ничуть не умаляло ее в его глазах. Во время каникул, которые он устроил себе, он много занимался самоанализом и благодаря этому лучше понял самого себя. Он обнаружил, что любит красоту больше славы и если и желает славы, то только ради Рут. Лишь ради нее он и мечтал прославиться, стать великим и знаменитым во всем мире — «творить добро», как он выражался, только для того, чтобы женщина, которую он любил, могла гордиться им и считать его достойным себя.

Сам он страстно любил красоту, и радость служения ей была для него достаточной наградой. Но еще больше красоты он любил Рут. Он думал, что в мире нет ничего прекраснее любви. Ведь эта любовь произвела в нем переворот и превратила его из невежественного матроса в человека, стремящегося к знанию, в художника. Поэтому для него любовь была прекраснее и выше науки и искусства. Он понимал уже, что превосходит по своему умственному развитию и Рут, и ее братьев, и отца. Несмотря на все преимущества университетского образования и на ученую степень бакалавра искусств, она стояла ниже его в понимании и осмыслении мироздания, а год труда, который он посвятил самообразованию и учению, дал ему такое знание мира и жизни, такое понимание искусства, какого ей никогда не суждено достигнуть.

Все это он прекрасно видел, но это нисколько не влияло на его любовь к ней и на ее любовь к нему. Любовь была в его глазах таким возвышенным и благородным чувством, которое нельзя было ничем разрушить. Какое дело любви до того, что Рут не разделяет его взглядов на искусство, на мораль, на французскую революцию или на всеобщее голосование? Эти взгляды определялись умственными процессами, а ведь любовь выше разума, она сверхрациональна. Он не мог умалять любовь. Он боготворил ее. Любовь жила на вершинах гор над долинами разума. Она была высшим проявлением жизни и редко открывалась людям. Благодаря излюбленной им школе науч-

ных философов он понимал биологическую сущность любви. Но в процессе дальнейшего научного рассуждения он пришел к заключению, что человеческий организм только в любви осуществляет свое высшее назначение. Поэтому любовь должна считаться высшей наградой в жизни; и он с наслаждением думал о любви, возвышающейся над всем земным, над богатством, славой, общественным мнением и успехом — над самой жизнью, потому что истинная любовь готова умереть за поцелуй.

О многом Мартин размышлял уже раньше, но многое открылось ему только позднее. Пока же он работал без устали и прерывал работу лишь для того, чтобы повидаться с Рут. Он жил, как спартанец, и платил два с половиной доллара за маленькую комнатку своей хозяйке, португалке Марии Сильва. Это была вдова, добывавшая себе средства к жизни тяжелым трудом и едва прокармливавшая свою многочисленную ораву ребятишек. Время от времени она топила свое горе и усталость в галлоне жидкого кислого вина, которое покупала за пятьдесят центов в мелочной лавке на углу. Мартин сначала возненавидел ее за скверный язык, но потом стал восхищаться ею, следя за тем, как мужественно она боролась с жизнью. В маленьком домике было всего четыре комнаты, одну из которых занимал Мартин. Другая была гостиная. Эта комната выглядела довольно уютной благодаря толстому ковру, покрывавшему пол, но портрет одного из многочисленных умерших младенцев хозяйки, снятый в гробу, наводил на грустные размышления. Гостиная существовала исключительно для гостей. Шторы в ней всегда были спущены, и босоногой команде никогда не разрешалось переступать порога этого святилища, за исключением редких торжественных случаев. Хозяйка стряпала и все обедали в кухне, где она также занималась стиркой и глажением белья во все дни недели, кроме воскресенья, ибо главным источником ее доходов была стирка белья более состоятельных соседей. Сама она ютилась со своими семью детьми в одной комнате, такой же маленькой, как та, которую занимал Мартин, и для него было вечной загадкой, как им там удавалось всем разместиться. Когда они укладывались спать, он всегда слышал в своей комнате, отделенной лишь тонкой

перегородкой, возню и крики, сменявшиеся тихим щебетанием сонных голосов, напоминавших звуки птичьего насеста. Другим источником доходов Марии были ее две коровы, которых она доила утром и вечером. Коровы эти паслись по краям улиц и на пустыре под наблюдением одного или нескольких оборванных мальчуганов, сыновей Марии, которые должны были смотреть главным образом за тем, чтобы животные не попадались на глаза полиции.

В своей маленькой каморке Мартин жил, спал, учился, писал и хозяйничал. Перед единственным окном, выходившим на переднее крыльцо, стоял кухонный стол, который служил ему одновременно письменным столом, библиотекой и подставкой для пишущей машинки. Кровать, стоявшая у задней стены, занимала две трети комнаты. С одной стороны стола помещалась совершенно облупившаяся конторка, а с другой — ящик, на котором Мартин устроил кухню: эта кухня состояла из керосинки, установленной на ящике, внутри которого помещалась посуда и кухонные принадлежности, из стенной полки для провизии и ведра с водой на полу. В комнате не было водопровода, и Мартину приходилось самому носить воду из кухни. Над постелью висел велосипед Мартина, подвешенный к крючку на потолке. Сначала он пробовал оставлять его внизу, но потомство хозяйки тотчас же испортило ему шины, и Мартин вынужден был поискать другое место. Одно время он держал его на крошечном крыльце, пока однажды ночью его не намочил проливной юго-восточный ливень. Делать было нечего, пришлось поместить велосипед в тесной каморке.

В маленьком стенном шкафчике он держал свое платье и книги, для которых уже не хватало места ни на столе, ни под столом. Кроме того, он усвоил себе привычку делать при чтении заметки: листков с этими заметками накопилось так много, что он не знал, куда их девать. Тогда он придумал протянуть поперек комнаты веревки для сушки белья и развесил на них свои заметки. Все это так загромоздило комнату, что по ней едва можно было пройти. Он не мог открыть дверь, не закрыв предварительно дверцы шкафа, — и наоборот. Вообще пройти по комнате прямо было невозможно. Чтобы добраться от

дверей до изголовья, приходилось двигаться зигзагами, а в темноте этого почти невозможно было проделать, не наткнувшись на какой-нибудь предмет. Благополучно миновав двери, он должен был тотчас же повернуть вправо, чтобы обогнуть кухню. Затем приходилось круто повернуть налево, чтобы не наткнуться на кровать. Но при чересчур крутом повороте можно было удариться об угол стола. Искусно лавируя и нагибаясь то вправо, то влево, он попадал, наконец, в нечто, напоминавшее канал, одним берегом которого являлась кровать, а другим — стол. Когда же единственный стул находился на своем обычном месте перед столом, то канал переставал быть судоходным. Когда стул был не нужен, то он лежал на кровати. Иногда Мартин сидел на стуле, приготовляя еду или читая книгу, пока нагревалась вода, и даже ухитрялся по временам написать одну или две главы, пока жарилось мясо. Уголок, занимаемый кухней, был так мал, что он мог, сидя там, достать рукой все, что ему нужно. Стряпать было удобнее сидя, так как стоя он часто сам себе мешал. Обладая здоровым желудком, способным переварить что угодно, Мартин к тому же умел приготовлять различные блюда, питательные и в то же время дешевые. Его обычной пищей был гороховый суп, так же как картофель и крупные коричневые бобы, которые он готовил по-мексикански. По крайней мере, раз в день на его столе появлялся рис, сваренный так, как не умеет варить его да и никогда не научится ни одна американская хозяйка. У него в запасе всегда имелись сушеные фрукты, стоившие дешевле свежих, сваренные и готовые к употреблению, так как они заменяли ему масло к хлебу. Лишь изредка он позволял себе кусок мяса или суп, сваренный из костей. Два раза в день он пил кофе без сливок или молока, а вечером — суррогат чая; но и то, и другое было всегда прекрасно приготовлено.

Экономить было необходимо. Каникулы поглотили почти все, что он заработал в прачечной, а рынок, куда он отправил свои произведения, был так далек, что ему предстояло прождать не одну неделю до получения первого гонорара за свои «специально для заработка» труды. За исключением того времени, когда он виделся с Рут или заглядывал к своей сестре

Гертруде, он жил затворником, ежедневно трудясь за троих. Он спал не больше пяти часов, и только человек, обладающий его железным здоровьем, мог так напряженно работать по девятнадцати часов подряд. Он никогда не терял ни одной минуты. На зеркале у него висели листки с определением слов и обозначением их произношения. Бреясь, одеваясь или причесываясь, он зубрил эти листки. Такие же листки висели на стене над керосинкой, и он также заучивал их, пока готовил или мыл посуду. Старые листки постоянно заменялись новыми. Каждое не совсем понятное или мало знакомое слово, встречавшееся ему при чтении, немедленно выписывалось, и когда их накапливалось достаточно, он переписывал их на машинке и прикреплял к стене или к зеркалу. Он даже носил эти списки с собой в карманах и в свободные минуты просматривал их на улице или дожидаясь своей очереди в мясной или бакалейной лавке.

Он пошел дальше в этой работе. Читая произведения писателей, добившихся успеха, он отмечал все, что считал для себя важным, и старался выяснить, что же принесло успех: особенности стиля, изложения, комментарии, сравнения и остроты. Все это он также заносил на свои листки. Он не собирался подражать этим писателям и только стремился выявить какой-то стержень их творчества. Он составлял списки удачных, метких выражений, встречавшихся у различных авторов, литературных и стилистических приемов и на основании многочисленных примеров, которые ему удалось собрать, делал собственные выводы. Это дало ему возможность выработать свою новую и оригинальную манеру изложения. Таким же образом он составил целые списки характерных выражений, заимствованных из живой речи, выражений едких, как кислота, и жгучих, как пламя, или же нежных, ласкающих и чарующих среди безотрадной пустыни обыденной речи. Он везде и во всем стремился найти основной принцип. Он хотел знать, как создавалось то или другое, ибо тогда он и сам уже мог создать нечто подобное. Ясная, простая красота не удовлетворяла его. В своей крошечной комнатке, пропитанной кухонными запахами и оглашаемой гамом ре-

бятишек, Мартин раскладывал красоту на части; проанализировав ее и изучив ее строение, он тем самым приближался к возможности самому создавать прекрасное.

Он мог работать только сознательно, таким создала его природа. Он не мог творить слепо, в темноте, не зная, что выйдет, и полагаясь на случай и на звезду своего таланта. Случайные результаты не могли уже удовлетворить его. Он хотел знать, «как» и «почему». Его творческий гений был обдуманным, и, прежде чем начать какой-нибудь рассказ или стихотворение, он уже ясно представлял его себе от начала до конца и знал, с помощью каких средств он осуществит свой план. Если же этого не было, то его усилия были обречены на неудачу. С другой стороны, он все же ценил эффект, который давали слова и выражения, порой легко и свободно зарождавшиеся в его мозгу. Они не только выдерживали потом все испытания, но и сами становились мерилом красоты и силы. Перед такими случайными эффектами он преклонялся в восторге, зная, что они выше сознательного творчества человека. Но, анатомируя красоту, чтобы обнаружить элементы, лежащие в ее основе и делающие ее действенной, он тем не менее никогда не забывал, что существует сокровенная тайна прекрасного, в которую он не может проникнуть, как и ни один человек до него не сумел сделать это. Прочитав Спенсера, он знал, что человек никогда не может постигнуть конечной сущности чего бы то ни было и что тайна прекрасного так же велика, как тайна жизни, — даже больше, ибо нити красоты и жизни тесно сплетаются, и сам он не что иное, как частица того же непостижимого творения, сплетенного из солнечных лучей, звездной пыли и чуда.

Под влиянием этих мыслей Мартин написал статью, озаглавленную «Звездная пыль». Статья была посвящена не принципам критицизма, а главным критикам. Это была блестящая, глубокая философская статья, с восхитительным оттенком юмора. Однако все журналы, куда он посылал ее, тотчас же возвращали рукопись обратно. Но, поняв, в чем тут причина, он продолжал спокойно идти своим путем. У него развилась привычка разрабатывать и вынашивать любой сюжет в голове

и браться за перо лишь тогда, когда мысль отольется во вполне определенную форму. То, что его произведения не печатали, в сущности, мало трогало его. Писание являлось для него завершением долгого умственного процесса, собиранием в одно целое разбросанных мыслей и обобщением всех впечатлений, накопившихся в его мозгу. Написать такую статью значило для него освободить сознательным усилием свой мозг и подготовить в нем место для нового материала и новых проблем. Это до известной степени было сродни привычке, присущей многим мужчинам и женщинам: облегчать время от времени душу излияниями по поводу своих настоящих или выдуманных горестей.

ГЛАВА XXIV

Проходили недели. Деньги у Мартина заканчивались, а издательские чеки были так же далеки от него, как и раньше. Все его важнейшие рукописи вернулись обратно и снова были отправлены в другие издательства; но и с произведениями «для заработка» дело обстояло не лучше. В его маленькой кухне уже не приготовлялись больше разнообразные кушанья. У Мартина оставался только начатый мешок риса и несколько фунтов сушеных абрикосов; поэтому рис и абрикосы в течение пяти дней только и составляли его меню, появляясь на столе по три раза в день. Затем он решил воспользоваться кредитом. Португалец, хозяин мелочной лавки, которому Мартин платил наличными, прекратил кредит, как только счет Мартина достиг огромной суммы в три доллара восемьдесят пять центов.

— Потому, видите, — сказал лавочник, — если ваш не нашла работа, мой потеряла деньга.

И Мартин не мог ничего возразить на это. Как объяснить ему? Ведь это действительно противоречило деловому подходу. Нельзя же открывать кредит здоровому молодому парню из рабочих, который слишком ленив, чтобы работать.

— Ваш доставал работа, мой давал провизия, — говорил лавочник. — Нет работа, нет провизия. Такой дела. — И, чтобы доказать Мартину, что он действует исключительно из деловых соображений, а не из личной неприязни, лавочник добавлял:

— Заходи домой выпить — наша оставался друзья.

И Мартин отправился к нему, выпил с ним, чтобы показать, что он по-прежнему остается его другом, после чего лег спать без ужина.

Овощная лавка, в которой Мартин покупал овощи, принадлежала американцу, толком не разбиравшемуся в таких делах, и счет Мартина у него успел подняться до пяти долларов, прежде чем и здесь прекратили кредит. Булочник остановился на двух долларах, а мясник на четырех. Мартин подсчитал свои долги и пришел к заключению, что весь его кредит в целом мире равнялся четырнадцати долларам и восьмидесяти пяти центам. Он задолжал за свою пишущую машинку, но рассчитывал, что может пользоваться ею два месяца в кредит, что составит восемь долларов. Когда этот срок истечет, то весь его кредит окажется исчерпанным.

Последней его покупкой в овощной лавке был мешок картофеля, и в течение недели он ел один только картофель три раза в день. Случайные обеды у Рут помогали ему поддерживать свои силы, но при этом он испытывал танталовы муки, отказываясь от лишнего куска, ведь его аппетит всегда только возрастал из-за обилия расставленных перед ним блюд. Время от времени, мучаясь от стыда, он заходил к сестре в обеденное время и ел столько, сколько осмеливался, — во всяком случае больше, чем за столом у Морзов.

Он работал изо дня в день, и изо дня в день почтальон приносил ему отвергнутые рукописи. У него не было больше денег на марки, и рукописи скапливались под его столом. Настал момент, когда он сорок часов не прикасался к пище. Он не мог рассчитывать пообедать у Рут, потому что она уехала на две недели в гости в Сан-Рафаэль, а стыд мешал ему пойти к сестре. В довершение всех бед почтальон принес ему пять возвращенных рукописей. Тогда Мартин взял свое пальто и отвез его в Окленд. Он вернулся без пальто, но с пятью долларами в кар-

мане. Он заплатил по доллару каждому из своих четырех поставщиков, и в кухне у него снова появилось жареное мясо с луком, кофе и большой горшок с черносливом. Пообедав, он уселся за свой письменный стол и закончил к полуночи статью, которую назвал «Сила ростовщичества». Переписав рукопись на машинке, он швырнул ее под стол, так как из пяти долларов у него ничего не осталось на марки.

Спустя некоторое время он заложил свои часы, а за ними велосипед. Сократив количество провизии, он употребил часть денег на марки и снова разослал все свои рукописи. Его произведения «для заработка» также принесли ему разочарование. Никто не желал покупать их. Он сравнивал их с теми, которые печатались в газетах, еженедельниках и дешевых журналах, и находил, что у него получалось гораздо лучше. Однако они не продавались. Затем он открыл, что большинство газет печатает в значительном количестве то, что называется «стереотипным материалом». Он разузнал адрес общества, поставлявшего этот материал, и послал туда свою работу. Но он получил ее обратно с печатным заявлением, уведомлявшим его, что весь нужный материал готовит штат сотрудников.

В одном из больших журналов для юношества он увидел целые столбцы происшествий и анекдотов. Он решил попытать счастья в этом направлении. Но посланные им заметки возвратились обратно. Впоследствии, когда это уже не имело для него значения, он узнал, что обыкновенно сами редакторы и их помощники готовят этот материал с целью дополнительного заработка. Сатирические еженедельники возвращали его шутки и юмористические стихи, но и другие его стихотворения, которые он писал для больших журналов, не находили там сбыта. Оставались еще мелкие рассказики для газет. Он знал, что может написать нечто лучшее, чем то, что обычно в них печаталось. И вот, раздобыв адреса двух газетных синдикатов, он засыпал их мелкими рассказами. Написав двадцать таких рассказов и не устроив ни одного из них, он перестал писать их. А между тем он изо дня в день читал такие рассказы в газетах и еженедельниках, — бесчисленное множество мелких рассказов, из которых ни один не мог сравниться с его соб-

ственными. В отчаянии он решил, что не может правильно судить о себе, потому что загипнотизирован тем, что пишет, и потому не может судить объективно о своих творениях.

Бесчеловечная издательская машина продолжала действовать все так же исправно. Мартин вкладывал марки в рукопись, опускал ее в почтовый ящик, а через три недели или самое позднее через месяц почтальон поднимался по лестнице и приносил ему его рукопись обратно. Наверное, там, на другом конце, не существовало живых, чувствующих издателей или редакторов, ничего, кроме огромного механизма и зубчатых колес, автоматически приводимых в действие. Он достиг той степени отчаяния, когда даже самое существование издателей стало казаться ему сомнительным. Он ни разу не видел ни единого признака их существования, и то, что все — решительно все — написанное им отвергалось без всякого суждения, как будто подтверждало предположение, что редакторы и издатели не что иное, как миф, выдуманный и поддерживаемый рассыльными, наборщиками и метранпажами.

Часы, которые Мартин проводил с Рут, были единственными счастливыми часами в его жизни. Однако и они были отравлены тревогой, более мучительной, чем та, которую он испытывал, когда не знал еще о ее любви, ибо теперь обладание ею было так же далеко от него, как и раньше. Он просил дать ему два года. Время шло, а он ничего не мог достигнуть. При этом он постоянно чувствовал, что она не одобряет его занятий. Она не говорила этого прямо, но косвенно давала ему понять это так ясно и определенно, что не могла бы выразить этого лучше и словами. В ней говорила не досада, а только неодобрение, хотя менее кроткие женщины, пожалуй, испытали бы досаду там, где она чувствовала лишь разочарование. Да и это разочарование, в сущности, объяснялось только тем, что человек, из которого она собиралась что-то вылепить, не поддавался ее стараниям. Вначале он показался ей, правда, довольно пластичным материалом, но затем стал проявлять упорство, отказываясь принять образ и подобие ее отца или мистера Бэтлера.

То, что в нем было великого и мощного, оставалось непонятным для нее. Этот человек, который так умел приспособ-

ляться к жизни в любых ее формах человеческого существования, казался ей необыкновенно упрямым и своевольным только потому, что она не могла переделать его так, чтоб он подошел к ее представлениям, единственным, которые она знала. Она не могла следовать за полетом его мыслей и принимала его умственное превосходство за заблуждение. Никто из окружающих не отличался более высоким, чем она, кругозором. Она всегда понимала своего отца, мать, своих братьев и Олни; поэтому когда она переставала понимать Мартина, то винила в этом его. Это была старая трагедия ограниченности, которая стремится руководить безграничным.

— Вы поклоняетесь тому, что принято, — сказал он ей однажды, когда они поспорили о Прапсе и Вандеруотере. — Я согласен, что это первейшие литературные критики Соединенных Штатов и что они очень хороши, когда надо ссылаться на авторитеты. Каждый школьный учитель в стране смотрит на Вандеруотера как на главу американской критики. Я прочел его, и он показался мне великолепнейшим образцом самодовольной бессодержательности. Да и Прапс не лучше, так что дальше их и подниматься некуда. Он зарабатывает больше всех остальных критиков Соединенных Штатов, хотя — да простит мне небо! — он совсем не критик. В Англии лучше понимают критику. Но суть в том, что в их произведениях звучит популярная нота и они умеют прекрасно, с чувством нравственного удовлетворения пользоваться ею. Их обзоры напоминают мне британское воскресенье с выступлениями популярных ораторов. Вот они именно такие ораторы. Они поддерживают ваших профессоров английского языка, а те в свою очередь поддерживают их. Но ни у одного из них никогда не зарождалось в голове хотя сколько-нибудь оригинальной мысли. Они знают только общепризнанное да, в сущности, и сами являются чем-то общепризнанным. Они легко поддаются влиянию, и установленное отпечатывается на них так же легко, как название пивного завода на бутылке. А функции их заключаются в том, чтобы вылавливать молодежь, посещающую университеты, и вытравливать у нее малейший проблеск оригинальности, накладывая и на них свою печать общепризнанного.

— Я думаю, что я ближе к истине, придерживаясь общепризнанного, — ответила она, — чем вы, который нападаете на него.

— Да ведь идолов низвергают миссионеры, — рассмеялся он. — И к сожалению, все миссионеры находятся среди язычников, а у нас не осталось никого, кто был бы способен низвергнуть этих старых кумиров мистера Вандеруотера и мистера Прапса.

— А заодно уж и всех университетских профессоров? — добавила она.

Он с чувством покачал головой.

— Нет, профессора точных наук должны остаться. Они в самом деле великие люди. Но, право, было бы недурно выгнать девять десятых профессоров английской литературы, этих маленьких попугаев с микроскопическим мозгом.

Такой строгий суд над профессорами литературы показался Рут кощунством. Она не могла удержаться от сравнения этих профессоров, — изящных, образованных, в дорогой одежде, говорящих размеренными голосами, носящих отпечаток культуры и утонченности, — с этим, почти не поддающимся описанию молодым парнем, которого она, правда, любила, но который никогда не будет как следует одет, чьи крепкие мускулы свидетельствуют о тяжелом физическом труде. Кроме того, Мартин всегда возбуждался, когда говорил, и вместо спокойных замечаний употреблял сильные выражения, а вместо холодного самообладания проявлял страстную невоздержанность. Те, по крайней мере, получали хорошее жалованье и были — да, она вынуждена сознаться в этом, — были джентльменами, тогда как он не мог заработать ни гроша и во всех отношениях резко отличался от них.

Она не вникала в слова Мартина и не старалась разобраться в его аргументах. Путем сравнения чисто внешних обстоятельств она пришла к заключению, что все они ошибочны. Профессора были правы в своих литературных суждениях, потому что они имели успех. Литературные суждения Мартина были ошибочны, потому что он не мог продать своих произведений. Употребляя его собственное выражение, от них был толк, а от

него не было толку. И потом, разве он мог быть прав — он, который еще так недавно стоял в этой самой гостиной, красный от смущения и неловкий, с опаской оглядываясь вокруг, как бы не задеть чего-нибудь своими висящими руками, он, который спрашивал, давно ли умер Суайнберн, похвастaвшись при этом, что читал «Все выше и выше» и «Псалом жизни».

Таким образом, Рут, сама того не сознавая, доказывала, что она преклоняется перед общепринятым. Процесс ее мышления был совершенно ясен Мартину, но он не хотел над этим задумываться. Он любил ее не за то, что она думала о Прапсе, Вандеруотере или профессорах литературы, и в нем все больше и больше укреплялось убеждение, что многие области мысли и знания, открытые для него, оставались совершенно недоступными ей.

Ей же нелепыми казались его взгляды на музыку, например, на оперу — не только нелепыми, но даже сознательно извращенными.

— Как вам понравился спектакль? — спросила она его как-то вечером, когда они возвращались домой из оперы.

В этот вечер, после целого месяца суровой экономии на еде, он позволил себе, наконец, пойти с ней в театр. Тщетно прождав, что он первый заговорит с нею об опере, Рут, взволнованная и возбужденная всем, что она видела и слышала, сама задала ему вопрос.

— Мне понравилась увертюра, — ответил он, — она превосходна.

— Да, но сама опера?

— Да, опера тоже была хороша... То есть оркестр; но, по-моему, было бы гораздо лучше, если бы все эти клоуны стояли спокойно или убрались бы совсем со сцены.

Рут была ошеломлена.

— Но ведь это не может относиться к Тетралани или Барильо? — спросила она.

— Ко всем... Ко всей их братии.

— Но это великие артисты, — протестовала она.

— И тем не менее, они портили музыку своими кривляниями и неестественностью.

— Но разве вам не нравится голос Барильо? — спросила Рут. — Ведь он считается вторым после Карузо.

— Конечно, нравится, а голос Тетралани даже еще больше. У нее превосходный голос, по крайней мере, мне так кажется.

— Но, но... — Рут замялась. — В таком случае я не понимаю, что вы хотите сказать. Вы восхищаетесь их голосами и говорите, что они испортили музыку.

— Вот именно. Я много бы дал, чтобы услышать их в концерте, и еще больше, чтобы не слышать их, когда играет оркестр. Боюсь, что я безнадежный реалист. Великие певцы не бывают великими актерами. Слушать, как Барильо поет ангельским голосом любовную арию, а Тетралани так же божественно отвечает ему под аккомпанемент превосходной колоритной музыки, — это, конечно, большое наслаждение. Я не только признаю это, но даже утверждаю. Однако стоит мне взглянуть на Тетралани — почти шесть футов ростом и сто девяносто фунтов весом или на Барильо — маленького, не больше пяти футов, — заплывшего жиром, с грудью коренастого кузнеца, — чтобы все впечатление было мигом испорчено, особенно, когда они оба принимают позы, бьют себя в грудь, размахивают руками в воздухе, как сумасшедшие. И если от меня требуют, чтобы я принимал все это за правдивое изображение любовной сцены между стройной прекрасной принцессой и молодым романтичным красавцем принцем... Ну, что ж, я просто не могу, вот и все. Это ерунда. Это нелепо и неестественно. В этом все дело — это неестественно. Не пытайтесь убедить меня, что кто-либо в этом мире объясняется в любви таким образом. Ведь если бы я попробовал так объясниться вам, вы дали бы мне пощечину.

— Но вы не понимаете, — возражала Рут. — Каждая форма искусства имеет свои пределы. (В эту минуту она усиленно старалась вспомнить слышанную ею в университете лекцию об условностях в искусстве.) В живописи вы имеете только два измерения на полотне, однако вы принимаете иллюзию трех измерений, которую воспроизводит искусство художника. Писатель также должен обладать подобным всемогуществом. Ведь вы же считаете вполне допустимым, чтоб автор рассказывал вам о тайных мыслях своей героини, несмотря на то, что героиня,

как вы знаете, все время была наедине с этими мыслями, так что ни автор, ни кто-либо другой не мог подслушать их. То же самое и на сцене, в скульптуре, в опере и во всяком виде искусства. Необходимо мириться с некоторыми условностями.

— Да, я понимаю это, — отвечал Мартин. — Все виды искусства имеют свои условности. (Рут была поражена, что он употребил это слово, как будто сам учился в университете, а не приобрел своих познаний случайно, из книг, взятых в библиотеке.) Но даже условности должны быть правдоподобными. Мы ведь принимаем деревья, нарисованные на плоских кулисах по бокам сцены, за лес. Это довольно реальная условность. Но, с другой стороны, не можем же мы принять за лес изображение моря. Это было бы просто невозможно, потому что явилось бы насилием над нашими чувствами. И вы не можете, конечно, считать убедительным изображением любви беснование, ломание и судорожные подергивания этих двух сумасшедших на оперной сцене сегодня вечером.

— Неужели вы считаете себя выше всех музыкальных критиков? — возмущалась Рут.

— О нет, нисколько, — отвечал он. — Я просто сохраняю за собой право иметь собственное мнение. Я высказал вам только что свои взгляды, чтобы объяснить, почему медвежьи прыжки мадам Тетралани портят мне удовольствие, получаемое от оркестра. Быть может, музыкальные критики всего мира и правы, но я хочу оставаться самим собой и не желаю подчинять своих вкусов даже единодушному приговору всего человечества. Если я не люблю чего-нибудь, то не люблю, вот и все. И под солнцем не существует силы или разумного основания, которые заставили бы меня обезьянничать и любить что-нибудь только потому, что большинство подобных мне существ любит это или, по крайней мере, делает вид, что любит. Я не могу следовать моде в своих вкусах.

— Но понимание музыки развивается воспитанием, — доказывала Рут. — Вы сами это знаете, а понимание оперы тем более. Может быть...

— Может быть, я недостаточно образован для понимания оперы? — перебил он.

Она кивнула.

— Что же, может быть, это и правда, — согласился он. — Но я считаю, что это к лучшему. Если бы опера успела захватить меня, когда я был помоложе, то сегодня вечером я, может быть, тоже проливал бы сентиментальные слезы, и клоунские выходки этой великолепной парочки, пожалуй, еще усиливали бы впечатление, производимое красотой их голосов и аккомпанементом оркестра. Вы правы. Это, главным образом, дело воспитания. И я уже слишком стар для этого. Мне нужно или реальное, или ничего. Иллюзия, которая не убеждает, не что иное, как явная ложь. Такой ложью и представляется мне опера, когда маленький Барильо, корчась в судорогах, заключает в свои объятия мощную Тетралани (тоже бьющуюся в припадке) и говорит ей о том, как страстно он ее любит.

Но Рут опять-таки оценила его взгляды путем сравнения с внешними обстоятельствами, в соответствии со своей верой в общепризнанное. Кто он такой, чтобы считать себя правым, а весь остальной культурный мир заблуждающимся? Его слова и мысли не производили на нее никакого впечатления. Она слишком твердо верила в общепризнанное, чтобы сочувствовать каким бы то ни было революционным идеям. Она получила музыкальное образование и с детства наслаждалась оперой, так же, как и все люди ее круга. По какому же праву этот человек, Мартин Иден, вынырнувший еще совсем недавно из мира оборвышей, выросший на песнях рабочего класса, высказывает теперь столь смелые суждения о мировой музыке? Это раздражало ее, и, идя рядом с ним, она испытывала какое-то неясное чувство, словно ее оскорбили. В лучшем случае, его взгляды представлялись ей капризом, неостроумной и неуместной шуткой. Но когда, подойдя к подъезду дома, он обнял ее и нежно поцеловал на прощание, она забыла все, кроме своей любви к нему. Позднее, лежа без сна в постели, она в сотый раз задавала себе вопрос, как это случилось, что она полюбила такого странного человека и любит его наперекор всей своей семье?

А на следующий день Мартин Иден отложил в сторону свою работу «для заработка» и под свежим впечатлением написал статью «Философия иллюзий». Наклеив марку, он

отправил рукопись путешествовать, но и ей суждено было вернуться к нему обратно и еще много раз в течение следующих месяцев пускаться в далекие странствия.

ГЛАВА XXV

Мария Сильва была бедна и хорошо знала, что такое бедность. Для Рут же бедность означала отсутствие жизненных удобств. Больше она ничего о ней не знала. Она знала, что Мартин беден, но связывала его положение с отроческими годами Авраама Линкольна, мистера Бэтлера и других людей, достигших впоследствии успеха. Признавая, что бедность неприятна, она все же придерживалась успокоительного взгляда, свойственного людям ее круга, что бедность может оказать благоприятное влияние, что она подстегивает и заставляет стремиться к успеху всех тех, кто не совсем лишен способностей и еще не опустился окончательно. Поэтому она не слишком огорчилась, узнав, что Мартин так обеднел, что вынужден был заложить свои часы и пальто. Она даже усмотрела в этом хорошую сторону, рассчитывая, что рано или поздно это заставит его бросить свое писательство.

Рут никогда не догадывалась по лицу Мартина, как он голодает, хотя он сильно похудел и щеки его ввалились. Эта перемена даже нравилась ей, ибо придавала ему некоторую утонченность и отняла у него избыточный вес и ту животную силу, которая в одно время и привлекала и отталкивала ее. Иногда она замечала странный блеск в его глазах и восхищалась этим, потому что возлюбленный казался ей теперь больше похожим на поэта и ученого. Но Мария Сильва читала другое на впалых щеках и в горящих глазах Мартина и изо дня в день отмечала перемены в его внешности, объяснявшиеся приливом или отливом его капиталов. Она видела, как он вышел из дому в пальто и вернулся без него, хотя день был сырой и холодный. Вскоре после этого она заметила, что щеки его немного пополнели и исчез голодный блеск из глаз.

Точно так же она отметила исчезновение велосипеда и часов, и каждый раз после этого силы его снова расцветали.

Мария видела, как он работает, и судила о напряженности его работы по количеству керосина, которое он сжигал по ночам. Она знала, что он работает больше ее, хотя его работа была другого рода. И она с удивлением замечала, что чем меньше он ест, тем усерднее работает. При случае, как бы невзначай, она посылала ему кусок свежеиспеченного хлеба, неловко прикрывая этот поступок шуткой, что ее хлеб наверно лучше, чем тот, который он сам может испечь себе. Иногда она посылала к нему кого-нибудь из своих ребятишек с большой миской горячего супа, терзаясь в то же время сомнением, имеет ли она право отнимать этот суп у своих отпрысков. Мартин не оставался неблагодарным. Он знал жизнь бедняков и понимал, что если на свете существует милосердие, то оно проявляется именно здесь.

Однажды, накормив свое потомство тем, что оставалось в доме, Мария истратила свои последние пятнадцать центов на галлон дешевого вина и пригласила Мартина, когда тот пришел в кухню за водой, присесть и выпить с нею. Он выпил за ее здоровье, а она за его, затем она выпила снова за успех его начинаний, а он пожелал ей, чтобы Джемс Грант, наконец, явился и заплатил ей за стирку. Джемс Грант был плотник, работавший поденно. Он неаккуратно платил по счетам и был должен Марии три доллара.

Кислое молодое вино, которое Мария и Мартин выпили на пустой желудок, быстро ударило им в голову. Несмотря на всю разницу, существовавшую между ними, они были одиноки в своей нищете, и, хотя об этой нищете никогда не говорилось, она была как бы связующим звеном между ними. Мария с удивлением узнала, что Мартин бывал на Азорских островах, где она жила до одиннадцати лет. Но еще больше ее изумило то, что он был и на Гавайских островах, куда она переселилась с Азорских вместе со своими родными. Когда же он рассказал ей, что был на Мауйи, маленьком острове, где она вышла замуж, изумлению Марии не было пределов. На Кагулуи, где она в первый раз встретилась со своим мужем, он, Мартин,

был два раза. Да, она помнит пароходы с грузом сахара, и он бывал на них — да, да, мир очень мал. А Вайлуку? И там он был! Знавал ли он старшего надсмотрщика плантации? Да, он даже раза два выпил с ним.

Они обменивались воспоминаниями и топили свой голод в скверном кислом вине. Мартину будущее не казалось таким мрачным. Его ждал успех. Теперь он был на пути к нему. Вглядываясь в изборожденное морщинами лицо усталой женщины, сидевшей перед ним, он вспомнил ее супы и ломти свежего хлеба и почувствовал горячий прилив благодарности, желания отплатить сторицей за ее добро.

— Мария, — воскликнул он вдруг, — что бы вы хотели иметь?

Она посмотрела на него в полном недоумении.

— Чего бы вам хотелось сейчас, вот сию минуту, если бы это было возможно?

— Сапог на всех рэбята — семь пар сапог.

— Вы получите их, — объявил он, и она с серьезным видом кивнула головой. — Но я спрашиваю вас о чем-нибудь большом, самом главном желании.

В глазах ее появилась добродушная усмешка. Он вздумал пошутить с ней — с Марией, за последнее время это так редко приходило кому-нибудь в голову.

— Подумайте хорошенько, — сказал он, когда она открыла рот, чтобы ответить ему.

— Ладно, — ответила она, — я подумаю. Я бы хотела иметь эта дом, чтобы он была моим собственным и мне не платила семь доллара на месяц.

— Вы получите его, — пообещал он, но спустя короткое время опять спросил: — Ну а какое у вас еще самое большое желание? Представьте себе, что я бог и говорю вам, что вы получите все, что захотите. Теперь пожелайте чего-нибудь, я слушаю.

Мария торжественно рассматривала его с минуту.

— А вы не бояцца? — предостерегающе спросила она.

— Нет-нет, — засмеялся он. — Не боюсь. Говорите же.

— Это очень большой вещь, — снова предупредила она.

— Ладно, выкладывайте.

— Хорошо... — Она с трудом, по-детски, перевела дыхание, собираясь словами выразить величайшее желание, какое когда-либо зарождалось в ней. — Я хочется молочная ферма, — хорошая молочная ферма. Много корова, много земля, много трава. И чтобы близко Сан-Лиана, там живет мой сестра. Я продавала молоко в Окленд и наживала кучу денег. Джо и Ник не гонят коров, они ходят в школу. Может, они будут хороший механик и работают на железной дороге. Да, я хотела молочная ферма.

Она остановилась и посмотрела на Мартина заблестевшими глазами...

— Вы получите ее, — быстро ответил он.

Она кивнула и, деликатно дотронувшись губами до стакана с вином, выпила за здоровье своего великодушного благодетеля, хотя прекрасно понимала, что никогда не получит обещанного подарка. У него было доброе сердце, и она в душе оценила его порыв и была так же благодарна за него, как если бы получила самый подарок.

— Да, Мария, — продолжал он. — Нику и Джо не придется пасти коров. Все ваши ребята будут ходить в школу и будут носить круглый год башмаки. Это будет первоклассная молочная ферма — все как полагается. При ней будет дом для жилья, конюшня для лошадей и, конечно, хлев для коров. Будут и цыплята, и свиньи, и овощи, и фруктовые деревья, словом все, а коров будет достаточно, чтобы держать одного или даже двух работников. Тогда вам ничего не нужно будет делать самой, только присматривать за детьми. Потом, если вам встретится подходящий человек, вы сможете выйти за него замуж и отдыхать, пока он будет управлять фермой.

После таких щедрых подарков из своих будущих богатств Мартин снес в заклад свой единственный приличный костюм. Это был уже совсем отчаянный шаг, потому что он лишал его возможности встречаться с Рут. У него не было другого приличного костюма и, хотя он мог теперь снова пойти к булочнику и мяснику, а при случае даже к сестре, нечего было и думать о том, чтобы войти в таком жалком виде в дом Морзов.

Он продолжал работать, чувствуя себя несчастным и близким к отчаянию. Ему начинало казаться, что и второе сражение

проиграно, что ему придется искать работу. Поступив так, он доставил бы удовольствие всем — лавочнику, сестре, Рут и даже Марии, которой он задолжал за месяц. Он уже два месяца не платил за пишущую машинку, и агентство требовало, чтобы он внес плату или вернул ее. В отчаянии, уже готовый сдаться и заключить перемирие с судьбой, пока не явится возможность начать борьбу заново, он решил сдать экзамен на право поступления в почтовое ведомство. К своему удивлению, он сдал экзамен лучше всех. Место было обеспечено, хотя никто не знал, когда откроется вакансия.

И вот как раз в это время полнейшего упадка издательская машина, так гладко работавшая до сих пор, вдруг сдала. Соскользнуло ли какое-нибудь колесико или винтик плохо смазали, но только почтальон принес ему однажды утром маленький тонкий конверт. Мартин взглянул на левый верхний угол и прочел название и адрес «Трансконтинентального Ежемесячника». Сердце его сильно забилось, и он почувствовал внезапную слабость и странную дрожь в коленях. Шатаясь, он доплелся до кровати и опустился на нее, все еще держа в руках нераспечатанный конверт. В этот момент он вдруг понял, как люди внезапно умирают, получив неожиданное радостное известие.

Известие, несомненно, было радостное. Рукопись не могла поместиться в таком маленьком конверте — значит, она была принята. Он вспомнил, какой рассказ послал в этот журнал. Это был «Колокольный звон», один из его страшных рассказов в пять тысяч слов. И так как лучшие журналы всегда платят тотчас по принятии рукописи, то в конверте должен быть чек. По два цента за слово — двадцать долларов за тысячу слов. Чек, следовательно, должен быть на сто долларов. Сто долларов!

Разрывая конверт, он уже подводил мысленно итог своим долгам: три доллара восемьдесят пять центов в бакалейную лавку, мяснику — четыре доллара, булочнику — два, в овощную лавку — пять; всего четырнадцать долларов восемьдесят пять центов. Затем он был должен за комнату два с половиной доллара и еще за месяц вперед — два с половиной доллара; за два месяца агентству пишущих машинок — восемь долларов и за месяц вперед четыре доллара. Всего тридцать один доллар во-

семьдесят пять центов, и, наконец, чтобы разделаться с ломбардом, выкупить заклад и заплатить проценты за часы — пять долларов пятьдесят, за пальто пять пятьдесят, за велосипед семь семьдесят пять, костюм пять с половиной долларов (шестьдесят процентов) — но что за беда! — итого — пятьдесят шесть долларов десять центов? Он уже видел перед собой эту сумму в сияющих цифрах вместе с остатком, который должен получиться за вычетом долгов — сорок три доллара девяносто центов. Когда он покроет все долги и выкупит все свое имущество, у него все еще будут позвякивать в карманах сорок три доллара девяносто центов! Огромное богатство! К тому же будет уплачено вперед за месяц за пишущую машинку и за комнату.

Он вынул из конверта письмо, написанное на машинке, и развернул его. Чека там не было. Он заглянул в конверт, поднял его на свет и, не веря своим глазам, дрожащими руками разорвал его. Чека не было. Он прочел письмо, глотая строчку за строчкой и стараясь проникнуть через редакторские похвалы в суть, то есть понять, почему не прислан чек. Такого объяснения он не нашел, но зато прочел нечто такое, что внезапно сразило его. Письмо выскользнуло из его рук, блеск в глазах погас. Он упал на подушку и натянул на себя одеяло до самого подбородка.

Пять долларов за «Колокольный звон», пять долларов за пять тысяч слов! Вместо двух центов за слово — десять слов за цент! А редактор еще хвалит его! И он получит чек, когда рассказ будет напечатан. Значит, все эти россказни о двух центах за слово — пустая выдумка, так же как и то, что издательство платит тотчас же по принятии рукописи. Это была ложь, которая сбила его с толку. Он никогда не стал бы писать, если бы знал это. Он стал бы работать, работать для Рут. Он вспомнил тот день, когда в первый раз попробовал писать, вспомнил, как его поразила громадная затрата времени, которой требовал литературный труд. И все это, чтобы получить цент за десять слов! Должно быть, все эти крупные писательские гонорары, о которых он читал, тоже ложь. Его представления о положении писателей были, очевидно, неправильны; доказательство налицо. Ежемесячник продается за двадцать пять центов, и его

бросающаяся в глаза художественная обложка указывает, что он принадлежит к первоклассным журналам. Это солидный, почтенный журнал, который начал выходить задолго до того, как Мартин появился на свет. На обложке каждый месяц печатаются слова одного из великих мировых писателей, слова, прославляющие высокую миссию Ежемесячника, слова, произнесенные тем, кто добился всемирной известности и чьи первые произведения появились под этой обложкой. И этот возвышенный и почтенный журнал платит пять долларов за пять тысяч слов. Мартин вспомнил, что этот великий писатель умер недавно на чужбине в жестокой нужде. В этом не было ничего удивительного, если принять во внимание, как щедро оплачивается труд писателей.

Ну, теперь он, по крайней мере, знает, что попался на удочку. Все, что пишут газеты о писателях и их гонорарах, сплошная ложь, из-за которой он потерял два года. Теперь его больше не проведут! С этой минуты он не напишет ни строчки. Он сделает то, чего желает Рут и все другие, — поступит на службу. Эта мысль напомнила ему о Джо, который странствует по земле, ничего не делая. Мартин глубоко вздохнул от зависти. Реакция после многих дней девятнадцатичасового труда, наконец, наступила. Но Джо ведь не был влюблен и не нес на себе той ответственности, которую налагает любовь. Он мог позволить себе роскошь бродить по стране и бездельничать.

А Мартину необходимо работать. Завтра же с раннего утра он отправится на поиски работы и уведомит Рут, что он изменил свои взгляды и готов поступить в контору ее отца.

Пять долларов за пять тысяч слов, десять слов за один цент, вот рыночная цена искусства! Это разочарование, эта ложь и низость подавляли его, и под опущенными веками огненными знаками горели три доллара восемьдесят пять центов, которые он должен был лавочнику. Он дрожал и чувствовал ломоту в костях. Особенно болела поясница. В голове у него стучало. Ему казалось, что у него болит темя, затылок, самые мозги и голова как будто распухает. Боль над бровями становилась невыносимой. А под веками все так же безжалостно горели «три доллара восемьдесят пять центов». Он открыл

глаза, чтобы избавиться от этих цифр, но солнечный свет в комнате только усилил боль и заставил его снова закрыть их.

Пять долларов за пять тысяч слов, десять слов за один цент. Эта мысль сверлила его мозг, и он не мог избавиться от нее, так же как не мог избавиться от трех долларов восьмидесяти пяти центов, пылавших у него под веками. Однако он заметил, что цифры меняются и с изумлением увидел вместо прежней суммы «два доллара». Ах, подумал он, это булочнику. Вслед за тем появились два доллара пятьдесят центов. Это удивило его, и он стал ломать себе голову над тем, кому он должен был эту сумму. Эта загадка мучила его с такой силой, как будто от ее решения зависел вопрос жизни и смерти. Он должен был кому-то два с половиной доллара, это было несомненно, но кому же? Ему надо было во что бы то ни стало решить этот вопрос, и он бродил по бесконечным коридорам своего сознания, открывая всевозможные чердаки и закоулки, набитые обрывками воспоминаний и знаний, тщетно стараясь разрешить его. Прошло, как ему казалось, несколько столетий, прежде чем он вспомнил вдруг без всякого усилия, что должен их Марии. Но чувство облегчения скоро исчезло, и он снова вернулся к созерцанию мучительного экрана, мелькавшего под веками. Задача решена, теперь можно бы и отдохнуть. Но нет! Два с половиной доллара угасли, и на их месте запылали восемь долларов. Кому же он должен их? Опять надо шарить в высохшем мозгу и изо всех сил стараться разрешить задачу.

Как долго продолжались эти поиски, он не знал, но ему казалось, что это длилось бесконечно. Стук в дверь заставил его очнуться. Голос Марии спрашивал, не болен ли он. Он отвечал ей глухим голосом — он сам едва узнал его, — что просто заснул. Его очень удивило, что в комнате темно. Он вспомнил, что получил письмо в два часа пополудни, и понял, что заболел.

Под его закрытыми веками снова запылали восемь долларов, и он опять вернулся к своим мучительным поискам. Но он стал хитрее. Зачем ему шарить в мозгу? Зачем стараться вспоминать? Это глупо. Он просто пустил в ход колеса своей памяти, и они начали быстро вертеться, пока крутящийся вихрь не подхватил его и не погрузил в темную бездну хаоса.

Вполне естественно, что он снова увидел себя у катка. Он крахмалил манжеты и, работая, заметил вдруг, что на этих манжетах напечатаны какие-то цифры. Наверное, новый способ метить белье, подумал он. Приглядевшись, он увидел на одной из манжет число три доллара восемьдесят пять центов. Тогда он вспомнил, что это был счет бакалейщика, и сообразил, что через каток пропускаются его счета. Ему пришла в голову хитрая мысль бросить все счета на пол, чтобы избежать платежа, и он тотчас же со злостью смял манжеты и бросил их на необыкновенно грязный пол, но куча все росла и каждый счет удваивался бесчисленное количество раз, кроме одного счета в два с половиной доллара — его долга Марии. Это значило, что Мария не станет притеснять его, и поэтому он великодушно решил, что это будет единственный счет, по которому он заплатит. Он стал рыться в куче, чтобы найти его, и с отчаянием искал целые века, как вдруг вошел содержатель отеля, толстый немец. Его лицо пылало гневом, и он закричал громовым голосом, который раздался по всей вселенной: «Я вычту стоимость этих манжет из вашего жалованья!». Куча манжет выросла в целую гору, и Мартин понял, что ему придется работать тысячу лет, чтобы заплатить за них. Оставалось только одно — убить немца и сжечь прачечную. Но огромный немец перехитрил его: он схватил Мартина за шиворот и стал трясти его, заставляя плясать над гладильными столами, над печкой и катком, а затем над выжимальной и стиральной машинами. Он тряс Мартина до тех пор, пока у того не начали трещать зубы и не заболела голова. Сила этого немца привела Мартина в полное изумление.

Затем он снова очутился у катка, но на этот раз он вынимал из него манжеты, которые вкладывал с другой стороны издатель журнала. Каждая манжета была чеком, и Мартин с трепетным ожиданием вынимал их, но чеки все были пустые. Он стоял так у катка миллионы лет, вынимая манжеты, боясь упустить хоть одну, на которой мог бы находиться заполненный чек. Наконец, он нашел его и дрожащими руками поднес к свету. Чек был на пять долларов. «Ха-ха!» — расхохотался издатель, стоявший у другого конца катка. «Ну так я убью вас», — сказал Мартин. Он пошел в стиральную комнату за топором и увидел,

что Джо крахмалит рукописи. Мартин хотел, чтобы он прекратил это, и бросил в него топором. Но топор повис в воздухе, а Мартин снова очутился в гладильной, где свирепствовала теперь метель. Нет, это был не снег, это падали чеки с крупными суммами, не меньше чем в тысячу долларов каждый. Он начал собирать и сортировать их в пачки по сотням, перевязывая каждую пачку бечевкой.

Вдруг он оторвался от своей работы и увидел перед собой Джо, жонглировавшего утюгами, крахмальными рубашками и рукописями. Время от времени Джо схватывал пачки чеков и подбрасывал их, присоединяя к летающим в воздухе предметам, которые проносились через крышу и, кружась, исчезали из виду. Мартин бросился на него, но Джо выхватил топор и тоже бросил его вверх, потом швырнул туда же Мартина. Мартин пролетел через крышу, хватая по дороге рукописи, так что, когда он спустился, в руках у него оказалась целая охапка бумаги. Но не успел он коснуться пола, как снова полетел вверх. Это повторялось бесконечное количество раз. А издали доносился детский голосок, напевавший песенку: «Покружись со мной, Вилли, еще, еще, еще».

Мартин нашел свой топор среди Млечного Пути из чеков, крахмальных рубах и рукописей и решил убить Джо, как только спустится вниз. Но он так и не спустился. А вместо этого в два часа ночи Мария, услышав через тонкую перегородку его стоны, вошла в комнату, чтобы обложить горячими утюгами тело Мартина и покрыть мокрым полотенцем его воспаленные глаза.

ГЛАВА XXVI

Мартину не пришлось идти на другой день искать работу. Было уже поздно, когда он пришел в себя и обвел больными глазами комнату. Мэри, восьмилетняя дочка Сильвы, дежурила возле него. Увидев, что он пришел в себя, она позвала мать. Из кухни прибежала Мария.

Она притронулась своими мозолистыми руками к его горячему лбу и пощупала пульс.

— Хотите поест? — спросила она.

Он отрицательно покачал головой. Ему вовсе не хотелось есть, и он с удивлением вспомнил в эту минуту, что был когда-то голоден.

— Я болен, Мария, — проговорил он слабым голосом. — Что это со мной? Вы не знаете?

— Грипп, — ответила она. — Через два-три дня вы будэт здоров. Лучше не кушай тэпер. Потом можно, сколько хочешь, может, завтра.

Мартин не привык хворать, и поэтому, когда Мария и ее дочка вышли из комнаты, он попробовал встать и одеться. Сделав невероятное усилие, он поднялся с постели; перед ним все плыло, и глаза болели так, что он с трудом держал их открытыми. Он добрался до стола и почти без чувств опустился на стул. Через полчаса ему удалось снова добраться до постели; он с радостью улегся и, закрыв глаза, стал анализировать непривычные ощущения слабости и боли. Мария несколько раз заходила к нему переменить у него на лбу холодное полотенце. Вообще же она оставляла его в покое, благоразумно решив не беспокоить болтовней. Это тронуло его до глубины души, и он с благодарностью пробормотал про себя:

— Мария, вы получите молочную ферму и все, все...

Затем он вспомнил вчерашний день, который, как ему казалось, был когда-то давно-давно, точно целая жизнь миновала с тех пор, как он получил письмо от «Трансконтинентального Ежемесячника». Со всем этим теперь было покончено, он перевернул новую страницу, он задвинул засов за этим прошлым, задвинул крепко и теперь свалился. Если бы он не морил себя голодом, то не заболел бы гриппом. Но он был истощен, и у него не хватало сил бороться с болезнью. Вот что вышло из всего этого!

— Что толку для человека написать целую библиотеку, если ради этого ему нужно загубить свою жизнь? — спросил он себя громко. — Нет, это не для меня. Я покончил с лите-

ратурой. Передо мной теперь контора, счетные книги, месячное жалованье и жизнь в маленьком домике с Рут.

Два дня спустя, съев яйцо с двумя ломтиками булки и выпив чашку чаю, он спросил свою почту. Но читать он еще не мог, так как у него болели глаза.

— Прочитайте за меня, Мария, — сказал он. — Оставьте большие длинные письма, бросьте их под стол. Прочтите мне только маленькие.

— Я не умей, — ответила Мария. — Вот Тереза, она ходит в школа, она может.

Итак, Тереза Сильва, девятилетняя девочка, распечатывала его письма и читала их ему вслух. Он рассеянно слушал длинное послание от агентства пишущих машинок, занятый лишь одной мыслью, как и где найти работу. Вдруг он точно очнулся.

— «Мы предлагаем вам сорок долларов за право напечатать вашу повесть, — медленно читала Тереза по складам, — при условии, что вы разрешите нам сделать кое-какие изменения».

— Что это за журнал? — крикнул Мартин. — Дай-ка сюда!

Теперь он мог свободно читать и даже не замечал боли в глазах. Журнал, предлагавший ему сорок долларов, был «Белая мышь», а рассказ назывался «Водоворот». Это был также один из его первых страшных рассказов. Он несколько раз перечитал письмо. Редактор прямо говорил ему, что он недостаточно обработал материал, но что в рассказе есть оригинальная идея, и поэтому они покупают его. Если он разрешит сократить рассказ на одну треть, то они, тотчас же по получении ответа, вышлют ему сорок долларов.

Мартин потребовал перо и чернила и ответил редактору, что разрешает сократить рассказ хоть на три четверти и просит выслать ему сорок долларов.

Тереза отнесла письмо в почтовый ящик, а Мартин снова лег и начал размышлять. Значит, это не было ложью. «Белая мышь» платит по принятии. В «Водовороте» было три тысячи слов, если выкинуть треть, останется две тысячи. Сорок долларов — значит по два цента за слово. Плата по принятии и два цента за слово, — значит, газеты говорили правду. А он-то считал «Белую

мышь» третьестепенным журналом. Очевидно, он совсем не разбирается в этом деле. Он принимал «Трансконтинентальный Ежемесячник» за первоклассный журнал, а между тем оказалось, что тот платил по центу за десять слов. Он пренебрежительно относился к «Белой мыши», а вот этот журнал платил в двадцать раз больше и притом тотчас по принятии.

Одно было ясно: когда он поправится, то не пойдет искать работу. В голове у него было много рассказов не хуже «Водоворота». Получая по сорок долларов за каждый, он мог заработать гораздо больше, чем на любой службе. Как раз в ту минуту, когда он считал сражение проигранным, оказалось, что он победил. Теперь карьера перед ним была открыта. Дальнейший путь ясен. Начав с «Белой мыши», он будет присоединять один журнал за другим к возрастающему списку готовых его печатать. Работу «для заработка» можно бросить; в сущности, он напрасно потратил на нее время, потому что она не принесла ему ни одного доллара. Теперь он посвятит себя целиком настоящей работе и постарается дать лучшее, что только в нем есть. Как он хотел, чтобы Рут была здесь в эту минуту и могла бы разделить его радость. Перебирая другие письма, оставшиеся лежать на его постели, он нашел письмо и от нее. Она нежно упрекала его, удивляясь, почему он так ужасно долго не приходит. Он с обожанием перечитывал письмо, рассматривал ее почерк, любовался каждой черточкой пера и, наконец, поцеловал ее подпись.

Отвечая ей, он прямо написал, что не приходил, потому что заложил свой приличный костюм. Сообщил, что прихворнул, но теперь поправляется и дней через десять или две недели (сколько нужно для того, чтобы получить ответ из Нью-Йорка на отправленное письмо) он выкупит костюм и явится к ней.

Но Рут не хотела ждать десять дней или две недели, ведь ее возлюбленный был болен. На следующий день она приехала в сопровождении Артура в собственном экипаже к великому удовольствию оравы Сильвы и всех уличных мальчишек и к необычайному смущению самой хозяйки. Хозяйка надавала пощечин своим ребятишкам, которые теснились вокруг гостей на крошечном крылечке, и на ужасном английском языке

извинилась перед приезжими за свой вид. Рукава ее были засучены, руки в мыльной пене, а мокрый рогожный мешок, повязанный вместо передника, ясно указывал, за какой работой ее застали. Она так растерялась при виде важных молодых господ, спрашивавших ее жильца, что даже забыла пригласить их в маленькую гостиную. Чтобы войти в комнату Мартина, они должны были пройти через кухню, жарко натопленную н наполненную паром, потому что в ней шла большая стирка. От волнения Мария не могла сразу справиться с дверьми и в течение пяти минут тщетно старалась закрыть их как следует; поэтому в комнату больного ворвались облака пара и запах мыльной воды и грязного белья. Искусно лавируя то вправо, то влево, Рут благополучно миновала все препятствия и прошла через узкий проход между столом и кроватью Мартина. Артур шел менее осторожно и попал в угол, где была кухня Мартина, отчего все горшки и сковородки с шумом и грохотом попадали на пол. Но Артур оставался недолго. Рут заняла единственный стул, и брат ее, исполнив свой долг, вышел на улицу и остановился у калитки, где семеро ребятишек Марии в немом изумлении рассматривали его, словно какую-нибудь диковинку. Вокруг коляски толпились дети из соседних домов, с нетерпением ожидая какой-нибудь трагической развязки. В этом квартале коляски появлялись только на свадьбах и похоронах. Здесь же не было ни свадьбы, ни смерти и, следовательно, можно было ожидать чего-нибудь необычайного.

Мартин был вне себя от радости. Он обладал нежным любящим сердцем и более, чем кто-либо другой, нуждался в заботе. Он всей душой стремился к любви, но любовь означала для него прежде всего духовную близость. Между тем, он должен был убедиться, что симпатия, которую питала к нему Рут, носила сентиментальный характер и обусловливалась скорее нежностью ее натуры, нежели пониманием того, кто служил объектом этой симпатии. Поэтому, когда Мартин держал ее руку в своей и радостно говорил с ней, она тоже пожимала ему руку, побуждаемая к этому своей любовью, и глаза ее были влажны от слез, выступивших при виде его беспомощности и следов страдания, запечатлевшихся на его лице.

Но когда он рассказал ей о двух принятых рукописях, о своем отчаянии после получения первого письма из «Трансконтинентального Ежемесячника» и о радости, которую принес с собой ответ «Белой мыши», она выслушала его безучастно. Она слышала слова, которые он произносил, и понимала их буквальное значение, но не разделяла с ним ни его отчаяния, ни восторгов. Она не могла отрешиться от самой себя. Ее нисколько не интересовала продажа рассказов в различные редакции. Для нее было важно одно — брак. Однако она так же мало сознавала это, как и то, что ее желание заставить Мартина поступить на службу вызывалось инстинктивным и подготовительным импульсом материнства. Если бы ей прямо сказали это, она вспыхнула бы от стыда и возмущенно начала бы уверять, что ею руководит только интерес к человеку, которого она любит, и желание наставить его на правильный путь. Таким образом, пока Мартин изливал ей свою душу, взволнованный первым успехом, она рассеянно слушала его, оглядывая время от времени комнату, которая поражала ее своей бедностью.

Рут впервые в жизни заглянула в грязное лицо нищеты. Голодающие влюбленные всегда казались ей романтичными, но она не имела представления о том, как живут эти голодающие влюбленные. Ничего подобного она и не воображала. Ее взгляд то и дело переходил от этой жалкой обстановки на Мартина и обратно. Запах пара и грязного белья, проникший в комнату из кухни, вызывал у нее тошноту. Мартин, должно быть, пропитался им, решила Рут, если эта ужасная женщина часто устраивает стирку. Когда она смотрела на Мартина, ей казалось, что она видит грязь, оставленную на нем окружающей обстановкой. Она никогда не видела его небритым, и теперь борода, выросшая у него за три дня болезни, внушала ей отвращение. Она не только придавала ему тот же неряшливый и мрачный отпечаток, который лежал на всем доме Сильвы снаружи и внутри, но еще, казалось, подчеркивала ту животную силу, которую она ненавидела в нем. А он теперь еще больше утвердился в своем безумии после того, как две его вещи оказались принятыми, о чем он с такой гордостью сообщил ей. Еще немного, он сдался бы и взялся за работу.

А теперь он еще несколько месяцев будет жить в этом доме, писать и голодать.

— Чем это пахнет? — спросила она вдруг.

— Должно быть, один из кухонных ароматов Марии, — ответил он.

— Нет-нет, не то, какой-то застоявшийся противный запах.

Прежде чем ответить, Мартин втянул воздух.

— Я не чувствую ничего, кроме застоявшегося табачного дыма, — заявил он.

— Вот именно. Это ужасно! Зачем вы так много курите, Мартин?

— Не знаю. Только я курю больше, когда чувствую себя одиноким. И притом это давнишняя привычка. Я начал курить еще мальчиком.

— Это скверная привычка, — заметила она укоризненно. — Пахнет отвратительно!

— Это оттого, что табак скверный. Ведь я могу позволить себе только самые дешевые сорта. Но подождите, когда я получу чек на сорок долларов, то куплю такой табак, что он понравится даже ангелам. А ведь, правда, недурно — две принятые рукописи в три дня? Эти сорок пять долларов покроют приблизительно все мои долги.

— Это за два года работы? — спросила она.

— Нет, меньше чем за неделю. Пожалуйста, передайте мне вон ту книгу, которая лежит на конце стола — расчетную книгу в сером переплете. — Он раскрыл книгу и начал быстро перелистывать ее. — Да, я был прав. Четыре дня на «Колокольный звон», два — на «Водоворот». Это составляет сорок пять долларов в неделю, сто восемьдесят долларов в месяц. Ни одна служба не даст мне такого жалованья. Да и это только начало. Ведь мне не хватит тысячи долларов, чтобы купить для вас все, что я хотел бы. Жалованья в пятьсот долларов будет слишком мало. Эти сорок пять долларов только начало. Подождите, пока я выйду на дорогу. Посмотрите тогда, как я закурю.

Рут не поняла этого выражения и подумала, что он говорит о папиросах.

— Вы и так курите слишком много. Сорт табака тут ни при чем. Курение само по себе неприятно, все равно, что бы вы ни курили. Вы настоящая дымовая труба, живой вулкан, и это отвратительно. Мартин, милый, ведь вы сами должны понять, что это отвратительно!

Она нагнулась к нему с мольбой в глазах, и, когда он взглянул на ее нежное личико, в ее чистые ясные глаза, его снова поразила прежняя мысль, что он недостоин ее.

— Я хотела бы, чтобы вы перестали курить, — прошептала она. — Пожалуйста... Ради меня.

— Хорошо, не буду, — воскликнул он. — Вы знаете, что я готов для вас на все, моя любимая, на все, на все, чего вы ни потребуете от меня.

В эту минуту она испытала сильное искушение. Настаивая на своем, она отметила его уступчивость, составлявшую одну из черт его характера, и подумала, что если бы она попросила его бросить писать, то он бы послушался ее. Какой-то миг эти слова уже готовы были слететь с ее губ. Но она не произнесла их. У нее не хватило мужества. Она не осмеливалась сделать это. Вместо того она прильнула к нему и пробормотала в его объятиях:

— Вы знаете, что я не для себя прошу об этом, Мартин, а для вас. Я уверена, что вам вредно курить. И притом нехорошо быть рабом чего бы то ни было, особенно какого-нибудь зелья.

— Я всегда буду вашим рабом, — сказал он улыбаясь.

— В таком случае я начинаю повелевать.

Она лукаво посмотрела на него, хотя в глубине души уже жалела о том, что не высказала своего главного желания.

— Моя жизнь в распоряжении вашего величества.

— Хорошо, в таком случае вот мое первое повеление: брейтесь каждый день. Посмотрите, как вы оцарапали мне щеку.

Таким образом, все кончилось веселым смехом и ласками. Но все же она достигла кое-чего, а на большее пока и не рассчитывала. Она по-женски гордилась тем, что заставила его отказаться от курения. В другой раз она убедит его поступить куда-нибудь на службу. Разве он не сказал, что сделает все, что она от него потребует.

Рут встала, чтобы осмотреть комнату, взглянула на заметки, висевшие над головой, ознакомилась с секретом блока, на котором висел велосипед, и огорчилась, увидев груду рукописей под столом, напоминающую о том, сколько времени он потратил даром. Керосинка привела ее в восторг, но, осмотрев пустые полки для провизии, она расстроилась.

— Бедняжка, ведь вам нечего есть, — сказала она с нежным состраданием. — Вы, должно быть, голодаете?

— Я держу свою провизию у Марии, в ее кладовой, — солгал он. — Она лучше сохраняется там. Не бойтесь, мне далеко до голодной смерти. Вот, посмотрите.

Она подошла к нему и увидела, что он согнул руку в локте, и мускулы, сократившись, образовали под рукавом рубашки твердый плотный узел. Этот вид отталкивал и привлекал ее в одно и то же время; она находила это отвратительным, но ее пульс, ее кровь, каждая клеточка ее тела стремились к этим мускулам, она, как и прежде, непонятно каким образом вместо того, чтобы отшатнуться, потянулась к нему. Но уже в следующий момент, когда он сжимал ее в своих объятиях, ее рассудок, не проникавший далее внешних проявлений, начал возмущаться, тогда как сердце ее, все женское в ней радостно возликовало. В такие минуты она особенно чувствовала всю силу своей любви к Мартину: ей доставляли неизъяснимое наслаждение эти сильные объятия, когда его мощные руки сжимали ее почти до боли. В такие мгновения она готова была оправдать себя за измену своим принципам и высоким идеалам, за свое молчаливое неповиновение матери и отцу. Ее любовь к этому человеку оскорбляла их. Да и сама она порой злилась на себя, особенно, когда вдали от него становилась холодным и рассудочным существом. Однако рядом с ним она не могла его не любить. Правда, временами это было мучительное чувство, доставлявшее ей много огорчений. Но все же это была любовь, любовь, которая сильнее ее.

— Этот грипп пустяки, — говорил он. — Немного неприятно, и голову порядком ломит, но что это за мелочи по сравнению с тропической лихорадкой!

— А вы болели лихорадкой? — рассеянно спросила она, все еще находясь под впечатлением блаженства, испытанного в его объятиях. Она продолжала все также рассеянно расспрашивать его, пока вдруг одно слово, которое он произнес, не заставило ее встрепенуться. Он перенес лихорадку в тайной колонии тридцати прокаженных на одном из Гавайских островов.

— Но как же вы туда попали? — спросила она.

Такое царственное равнодушие к собственному здоровью казалось ей преступным.

— Я не знал, — ответил он. — У меня и в мыслях не было никаких прокаженных. Когда я дезертировал со шхуны и высадился на берег, я направился в глубь острова, чтобы там укрыться. Три дня я питался гуавой, бананами и другими дикими плодами, растущими в лесах. На четвертый день я нашел тропинку, протоптанную ногами людей. Она вела в глубь острова и в гору. Это было как раз то направление, по которому я и хотел идти, и я заметил на ней свежие следы. В одном месте тропинка проходила по острому, как нож, кряжу горного хребта. Тропинка была шириной не более трех футов, и по обеим сторонам ее открывались пропасти глубиной в несколько сот футов. Один хорошо вооруженный человек мог бы противостоять там сотням людей.

Это был единственный путь в укромное место острова. Через три часа после того, как я нашел тропинку, я очутился в маленькой горной долине, лежавшей между вулканических скал. Все это место было расположено террасами, засеянными таро. Там росли также фруктовые деревья и стояло восемь или десять тростниковых хижин. Но, увидев их обитателей, я тотчас понял, куда попал. Достаточно было одного взгляда на них.

— Что же вы сделали? — спросила Рут, с замиранием сердца слушая его, точно Дездемона, испуганная и очарованная подвигами своего Отелло.

— Что же мне было делать? Старший у них был добрый старикашка, правда, достаточно подгнивший, но управлявший всем, как король. Это он открыл маленькую долину и основал в ней колонию, причем все это было противозаконно. Однако у них были ружья, много амуниции, а эти канаки, привыкшие

охотиться на дикий скот и кабанов, очень меткие стрелки. Нет, бежать я не мог. Я остался и пробыл там три месяца.

— Но как же вы выбрались оттуда?

— Я бы до сих пор находился там, если бы не одна девушка, наполовину китаянка, на четверть белая и на четверть гавайянка. Она была красавицей, эта бедняжка, и хорошо воспитанна. Ее мать в Гонолулу слыла миллионершей. Эта девушка и помогла мне выбраться оттуда. Ее мать снабжала колонию деньгами, поэтому девушка не побоялась наказания за то, что помогла мне бежать. Но сначала она заставила меня поклясться, что я никому не открою их убежища. И я действительно в первый раз заговорил об этом сегодня. У этой девушки еще только появились первые признаки проказы. Пальцы ее правой руки были слегка сведены, а на руке повыше виднелось маленькое пятно. Вот и все. Я думаю, что теперь она уже умерла.

— Неужели вы не боялись? Воображаю, как вы были рады, что спаслись оттуда, не заразившись этой ужасной болезнью!

— Да, вначале было страшновато, но потом я привык. Мне было очень жаль эту бедную девушку, и это заставляло меня забывать о своем страхе. Она была прекрасна и душой и телом и только слегка затронута болезнью, но была обречена навсегда оставаться там, вести жизнь первобытных дикарей и медленно разлагаться. Проказа гораздо ужаснее, чем вы можете себе представить.

— Бедняжка, — тихо прошептала Рут. — Просто удивительно, как она отпустила вас?

— Что удивительно? — простодушно спросил Мартин.

— Ведь она, наверное, любила вас, — сказала Рут все так же тихо. — Ну, скажите откровенно, ведь любила?

Загар сошел с лица Мартина от работы в прачечной и постоянного пребывания в комнате, а голод и болезнь сделали его лицом даже бледным. Теперь же сквозь эту бледность медленно пробивалась волна краски. Он открыл было рот, чтобы ответить, но Рут остановила его:

— Не надо, не надо, не отвечайте, — засмеялась она, — это лишнее.

Ему показалось, что в ее смехе звучала металлическая нотка, а глаза сделались холоднее. И в эту минуту он невольно вспомнил о буре, которую перенес однажды в северной части Тихого океана. С необычайной яркостью предстала перед ним картина шторма, ночного шторма при ясном небе и полной луне, он увидел огромные волны, холодно блестевшие в лунном свете, и девушку из убежища прокаженных, которая из любви к нему помогла ему бежать.

— Она была благородна, — сказал он просто, — она спасла мне жизнь.

Разговор на этом закончился, но он заметил, что Рут подавила слезы и отвернулась к окну. Когда она снова повернулась к нему, лицо ее было спокойно, и в глазах уже не отражалось и следа бури.

— Я такая глупая, — жалобно сказала она. — Но я ничего не могу с собой поделать. Я так люблю вас, Мартин, так люблю. Со временем я сделаюсь спокойнее, но теперь я не могу удержаться от ревности к этим призракам вашего прошлого, а оно ведь полно призраков, вы сами знаете. Иначе и не могло быть, — остановила она его возражения. — А вот и бедняга Артур делает мне знаки. Ему надоело ждать. Ну, до свидания, дорогой... Говорят, есть какие-то капли, которые помогают отвыкать от курения, — сказала она уже в дверях, — я их вам пришлю.

Дверь закрылась, но через мгновение открылась снова.

— Люблю, люблю, — шепнула она и на этот раз скрылась окончательно.

Мария восхищенными глазами проводила Рут до экипажа, не упустив, однако, ни одной детали ее туалета и особенно отметив покрой костюма, который показался ей необычайно красивым. Толпа разочарованных уличных мальчишек провожала коляску, пока та не скрылась из виду, затем перенесла свое внимание на Марию, которая неожиданно превратилась в самую важную персону на всей улице. Но кто-то из ее же потомства разрушил этот ореол, объявив, что важные посетители приезжали к их жильцу. После этого Мария снова вернулась к прежнему состоянию неизвестности, зато Мартин стал замечать перемену в отношении к себе со стороны соседей.

Что касается Марии, то Мартин возвысился в ее глазах по крайней мере вдвое, а если бы и португалец-лавочник увидел, что к его должнику приезжают гости в коляске, он несомненно открыл бы Мартину добавочный кредит еще на три доллара восемьдесят пять центов.

ГЛАВА XXVII

Звезда Мартина всходила все выше. Через день после визита Рут он получил чек на три доллара от нью-йоркского бульварного еженедельника в уплату за «Три триолета». Через два дня одна чикагская газета приняла его «Искателей сокровищ», обещая уплатить десять долларов по напечатании. Цена была невелика, но это была первая статья, написанная им, первая попытка выразить на бумаге свою мысль. В довершение же всего его вторая попытка — приключенческая повесть для юношества — была до истечения недели принята ежемесячным журналом для юношества, носившим название «Юность и зрелость». Правда, в повести была двадцать одна тысяча слов, а ему предлагали уплатить за нее шестнадцать долларов, что составляло приблизительно по семидесяти центов за тысячу слов, но это была всего лишь вторая литературная попытка, и он сам прекрасно сознавал, что статья никуда не годилась.

Однако даже самые незрелые произведения Мартина нельзя было назвать посредственными. Их неуклюжесть объяснялась скорее избытком силы, чересчур большой мощью — это была неуклюжесть новичка, пытавшегося стрелять из пушек по воробьям. Поэтому Мартин был рад продать свои первые работы хотя бы за гроши. Он знал им цену, и ему понадобилось немного времени, чтобы это узнать. Все свои надежды он возлагал на последние работы, стремясь к тому, чтобы сделаться настоящим писателем, а не журналистом. Мартин хотел вооружиться всеми ресурсами художественного творчества и сознательно старался приобрести еще больше силы, избегая при этом крайностей. В своих произведениях

он стремился сочетать реализм с фантазией и вымыслом, искал реализма, проникнутого человеческими желаниями и верой. Для него главным было изображать жизнь как она есть, со всем ее духовным содержанием.

Читая, он выяснил, что существуют две литературные школы: одна из них изображает человека в виде божества, забывая о его земном происхождении; другая же смотрит на человека как на зверя, не признавая его духовности и огромных возможностей. Обе эти школы, по мнению Мартина, заблуждались, их взгляды и цели он считал односторонними. Однако, полагал он, существовал компромисс, который приближался к истине: он не льстил первой школе, рассматривавшей человека как божество, но отвергал животную грубость и примитивность, которую приписывала ему другая школа. Свой рассказ «Приключение» Мартин считал осуществлением идеала правды в беллетристике, а в статье «Бог и зверь» он излагал свои теоретические взгляды на этот предмет.

Однако «Приключение» и все, что он считал своими лучшими достижениями, по-прежнему странствовали от издателя к издателю. А первые работы, которые он ни во что не ставил, приносили ему деньги. Точно так же он невысоко ценил свои страшные рассказы, из которых два были уже проданы. Эти рассказы были чистейшим вымыслом, хотя и скрытым реальностью, — в этом и заключалась вся их сила. Такое правдоподобное изображение нелепого и нереального в рассказе он считал фокусом, в лучшем случае — искусным фокусом. Настоящая литература не могла ограничиваться этим. Правда, в художественном отношении такие произведения могли достигать высокого уровня, но Мартин отрицал значение художественности, если она расходилась с правдой жизни. Фокус заключался лишь в том, чтобы облечь художественную выдумку в маску живой жизни, что Мартин и делал в своих «страшных» рассказах, которые он написал, прежде чем достиг высоты такими произведениями, как «Приключение», «Радость», «Котел» и «Вино жизни».

Три доллара, полученные за триолеты, помогли ему кое-как просуществовать до получения чека от «Белой мыши». Он

разменял этот первый чек у недоверчивого португальца, заплатив ему доллар в счет долга и разделив два оставшиеся доллара между булочником и торговцем фруктами. Мартин еще не был достаточно богат, чтобы позволить себе мясо, и питался очень скудно, когда, наконец, пришел чек от «Белой мыши». Он не знал, как разменять его. Ему ни разу в жизни не приходилось бывать в банке, тем более по делу, и теперь он испытывал наивное детское желание зайти в один из больших банков в Окленде и разменять там свой чек на сорок долларов. Но здравый смысл советовал ему разменять чек у бакалейщика, чтобы произвести на того впечатление, которое впоследствии, несомненно, отразится на кредите. Скрепя сердце Мартин подчинился здравому смыслу и разменял чек у бакалейщика. Он покрыл весь свой счет и получил на сдачу кучу звонких монет, которая наполнила его карман. Затем он расплатился и с другими торговцами, выкупил свой костюм и велосипед, заплатил за пишущую машинку и за комнату — за прошлый месяц и за месяц вперед. После этого у него осталось в кармане около трех долларов.

Эта маленькая сумма казалась ему целым состоянием. Получив свой костюм, он тотчас же отправился к Рут и по дороге не мог удержаться, чтобы не позвякивать в кармане серебром. Он так долго был без денег, что не мог решиться выпустить их из рук, как человек, спасенный от голодной смерти, не может оторвать глаз от пищи.

Мартин не был ни скуп, ни жаден, но эти деньги означали для него больше, чем столько-то долларов и центов. Они означали успех, и орлы, вычеканенные на монетах, были для него символами крылатых побед.

Незаметно к нему вернулось убеждение, что мир очень хорош. Теперь он, несомненно, казался ему значительно лучше, чем прежде. В течение многих недель мир представлялся ему скучным и мрачным, но теперь, когда почти все долги уплачены, в кармане весело позвякивали три доллара, а в душе жило сознание успеха, ему казалось, что солнце светит несравненно ярче и теплее, и даже дождь, внезапно окативший прохожих, показался ему забавным приключением. Когда он голодал, его

мысли часто обращались к тем тысячам голодных, которые разбросаны по всему миру. Но теперь, когда он был сыт, мысль о тысячах голодных уже не зарождалась в его мозгу. Он забыл о них и так как был влюблен, то думал о бесчисленных влюбленных, живущих на свете. И невольно в его мозгу зашевелились мотивы любовной лирики. Увлекшись творчеством, он незаметно проехал в трамвае два лишних квартала.

У Морзов он застал многочисленное общество. Две кузины Рут приехали к ней в гости из Сан-Рафаэля, и миссис Морз, под предлогом организации для них развлечений, приводила в исполнение свой план окружить Рут молодежью. Военные действия начались во время вынужденного отсутствия Мартина и были теперь в полном разгаре. Мать Рут поставила себе целью собрать в своем доме молодых людей, делающих карьеру. Таким образом, кроме кузин Дороти и Флоренс, Мартин встретил у Морзов двух университетских профессоров, из которых один преподавал латынь, а другой английскую филологию. Там же находились молодой офицер, только что вернувшийся с Филиппинских островов, бывший школьный товарищ Рут, какой-то молодой человек по имени Мельвилл, личный секретарь Джозефа Перкинса, главы треста в Сан-Франциско, и, наконец, кассир банка Чарльз Хэпгуд, моложавый господин тридцати пяти лет, имевший ученую степень Стэнфордского университета, член Нильского и Соединенного клубов, оратор республиканской партии, выступавший во время последней избирательной кампании, — словом, во всех отношениях выдающийся молодой человек. Среди женщин одна была художница-портретистка, другая — профессиональная музыкантша и еще одна женщина — доктор социологии, известная в филантропических кругах своими трудами по организации приютов в трущобах Сан-Франциско. Но для планов миссис Морз женщины не имели большого значения и, в лучшем случае, являлись лишь необходимым аксессуаром. Надо же было как-нибудь привлекать в дом преуспевающих мужчин.

— Не горячитесь во время разговора, — наставляла Рут Мартина, прежде чем началась пытка представления.

Вначале он держался несколько натянуто, смущенный сознанием собственной неловкости, в особенности опасаясь за свои плечи, которые, неровен час, могли выкинуть прежний фокус и смахнуть какую-нибудь безделушку или украшение. Но это общество пробуждало в нем самоуверенность. Он никогда еще не сталкивался с такими благородными людьми, да еще в таком большом числе. Мельвилл, кассир банка, необычайно привлекал его, и он решил при первой возможности поближе с ним познакомиться. Ибо под робостью Мартина скрывалось его самоутверждающееся «я», и он чувствовал потребность помериться силами с этими мужчинами и женщинами и выяснить, чему они научились из книг и жизни, чего не знал он.

Рут часто поглядывала на него, наблюдая за тем, как он держит себя, и была удивлена и обрадована, увидев, как непринужденно он беседовал с ее кузинами. Он в самом деле не волновался, пока сидел, ибо тогда ему не приходилось беспокоиться за свои плечи. Рут знала своих кузин как светских и неглупых девушек, и ей казалось непонятным, почему они, ложась спать, так расхваливали Мартина. А Мартин, слывший в своей среде веселым шутником и всегда отличавшийся на танцевальных вечерах и воскресных пикниках, нашел, что и здесь можно легко шутить и перебрасываться остротами. В этот вечер успех стоял за его спиной и ободрял его, похлопывая по плечу. Поэтому он смеялся сам, заставлял смеяться других и нисколько не смущался.

Однако позднее опасения Рут оправдались. Мартин и профессор Колдуэлл разговорились друг с другом в укромном уголке, и хотя Мартин уже не размахивал руками, критический взор Рут подметил, что в глазах его слишком часто вспыхивают огоньки, что он слишком быстро и горячо говорит, слишком увлекается и что щеки его покраснели от волнения. Ему не хватало спокойствия и выдержки, и он представлял разительный контраст с молодым профессором английской филологии, который разговаривал с ним.

Но Мартин не придавал значения приличиям. Он сразу заметил развитой ум своего собеседника и оценил его знания.

Больше того, профессор Колдуэлл, как оказалось, совсем не соответствовал тому представлению, которое Мартин составил себе вообще о профессорах английской филологии. Мартину хотелось, чтобы он заговорил о своей специальности, и хотя тот вначале, по-видимому, сопротивлялся этому, Мартину все же удалось втянуть его в разговор.

Мартин не понимал, почему человек не должен говорить на профессиональные темы.

— По-моему, — говорил он Рут за несколько недель перед тем, — все эти возражения против профессиональных разговоров просто нелепы и несправедливы. Для чего же в таком случае и собираются вместе мужчины и женщины, как не для того, чтобы обмениваться своими знаниями, лучшим, что у них есть? А лучшее — это то, чем они больше всего интересуются, то, чем они живут, в чем они специализировались, над чем просиживали дни и ночи и даже что видят во сне. Представьте себе, например, что мистер Бэтлер, подчиняясь общественному этикету, вдруг начал бы излагать свои взгляды на Поля Верлена, на немецкую драму или на роман Д'Аннунцио. Ведь он навел бы на всех смертельную тоску. Я, например, — если уж нужно слушать мистера Бэтлера, — предпочитаю, чтобы он говорил о юридических казусах. Это лучшее, что в нем есть. А жизнь так коротка, что я тороплюсь взять от каждого мужчины, от каждой женщины, которых я встречаю, то лучшее, что в них есть.

— Но, — возражала Рут, — ведь есть темы, представляющие общий интерес.

— В этом вы ошибаетесь, — перебил он. — Все люди в обществе, все общественные группы — или, во всяком случае, почти все — подражают своим лучшим представителям. Кто же эти лучшие? Лентяи, богатые лентяи. Они обычно не знают того, что знают люди, занимающиеся каким-нибудь делом. Им слушать разговоры о таких вещах смертельно скучно. Поэтому они и заявляют, что эти вещи представляют профессиональный интерес и говорить о них не принято. Они же устанавливают, какие темы не являются специальными, профессиональными и о чем прилично разговаривать. Это последние оперы, последние романы, карты, бильярд, кок-

тейли, автомобили, конские состязания, ловля форелей, охота, парусный спорт и т. д. И заметьте, что все это хорошо знакомо праздным людям. В сущности, это профессиональный разговор лентяев. И самое забавное то, что многие умные люди и все желающие казаться умными позволяют лентяям командовать собой. Я же хочу, чтобы человек показал то лучшее, что у него есть, — пусть это называется специальностью, вульгарностью или как вам угодно.

Но Рут не поняла его. И эти нападки на общепринятое показались ей просто своенравной выходкой.

Мартин, однако, заразил профессора Колдуэлла своей серьезностью и заставил его высказать свои взгляды. Рут, остановившись позади них, услышала, как Мартин говорил:

— Вы, наверное, не высказываете такой ереси в Калифорнийском университете?

Профессор Колдуэлл пожал плечами.

— Что же, я честный гражданин и политик, — сказал он, — нас назначают, и нам, естественно, приходится считаться со взглядами тех, от кого мы зависим, а также с партийной прессой или даже с прессой обеих партий.

— Да, это ясно, — согласился Мартин. — Но вы-то сами? Вы, должно быть, чувствуете себя, как рыба на песке?

— Таких, как я, кажется, немного в университетском пруду. Порой я, действительно, чувствую себя, точно рыба, вынутая из воды, и мне кажется, что я был бы скорее на своем месте в Париже, или среди лондонской богемы в каком-нибудь кабачке, где пьют итальянское красное вино, или же в каком-нибудь дешевом ресторане в латинском квартале, где высказывают за обедом отчаянно смелые радикальные взгляды на мировые проблемы. В самом деле, я часто думаю, что рожден быть радикалом. Но существует так много вопросов, в которых я не чувствую уверенности. Когда я думаю о своей человеческой слабости, ограниченности, то становлюсь робким, и эта робость вечно мешает мне охватить умом все аспекты какой-нибудь общечеловеческой жизненной проблемы. Вы понимаете меня?

Пока он говорил, Мартин почему-то вспомнил слова «Песни пассата»: «Я сильнее всего в полуденный час...» Он едва

удержался, чтобы не напеть мелодию; ему вдруг стало ясно, что профессор напоминает ему северо-восточный пассат, упорный, холодный и сильный. Он такой же жестокий, на него так же можно положиться, и вместе с тем в нем было что-то смущающее. Мартин подумал, что профессор никогда не высказывается до конца, точно так же, как пассаты никогда не проявляют всей своей силы и всегда сохраняют кое-что про запас. Богатое воображение Мартина работало, как всегда, интенсивно. Его мозг представлял собой как бы склад всевозможных всегда доступных фактов и фантазий. Благодаря этому Мартин тотчас же находил в этом складе для всякого явления аналогию или контраст, немедленно воплощая все в образы. Процесс этот совершался чисто автоматически, и образы тут же отражали впечатления действительной жизни. Как тогда лицо Рут в минуту внезапной ревности вызвало перед ним образ бури в лунную ночь, так теперь профессор Колдуэлл напомнил ему окрашенную закатом поверхность океана и белые гребни волн, гонимые северо-восточным пассатом. И так, ежеминутно, нисколько не нарушая течения его мыслей и даже скорее классифицируя и распределяя их, все новые видения проходили перед его глазами или мелькали на экране его сознания. Эти видения порождались впечатлениями и поступками прошлого, событиями, вещами и книгами, прочитанными вчера или на прошлой неделе, и создавали как во сне, так и наяву бесконечный материал для игры его воображения.

И вот, слушая гладкую речь профессора Колдуэлла, — речь умного и культурного человека, — Мартин видел перед собой все свое прошлое. Он видел себя в то время, когда был настоящим хулиганом, в котелке и двубортной куртке, когда его идеалом была грубость в той мере, какая только допускалась полицией. Мартин не скрывал этого от себя и не пытался смягчить этих воспоминаний. В его жизни был период, когда он был самым настоящим хулиганом, предводителем шайки, не дававшей покоя полиции и терроризировавшей честных отцов рабочих семейств. Но идеалы его с тех пор изменились. Теперь он смотрел на окружавших его хорошо

воспитанных, хорошо одетых людей, дышал воздухом культуры и утонченности и в то же время созерцал призрак своей юности: грубого, наглого хулигана в двубортной куртке и котелке и этот хулиган, беседуя в гостиной с настоящим профессором университета, исчез в нем.

Однако в сущности Мартин никогда и нигде не находил своего настоящего и постоянного места, он приспособлялся ко всяким обстоятельствам и всюду был любимцем, потому что в игре и в работе одинаково проявлял себя. Кроме того, он умел внушать к себе уважение, умел и постоять за себя. Но нигде он не пускал корней. Он мог удовлетворить своих товарищей, но не самого себя. Его постоянно мучило какое-то беспокойство, он всегда слышал какой-то голос, звавший его вдаль, и странствовал в поисках за чем-то неясным, пока не нашел, наконец, книг искусства и любви. И вот теперь он находится среди всего этого, он, единственный из всех своих старых товарищей, единственный, допущенный в дом Морзов...

Все эти мысли и видения не мешали ему внимательно слушать профессора. С полным пониманием и критическим отношением к себе он отмечал обширные познания своего собеседника и видел пробелы в собственных познаниях, ибо целые области, которых касался разговор, были ему незнакомы. Тем не менее, благодаря Спенсеру он все же приобрел общие научные познания — и ему нужно было только время, чтобы заполнить эти пробелы. «Тогда посмотрим, кто кого», — думал он, но в эту минуту все же испытывал благоговейное чувство к профессору и внимательно его слушал. Однако постепенно он начал замечать слабинку в его суждениях, настолько, впрочем, незаметную, что, пожалуй, и сам упустил бы ее, если бы она не давала о себе знать время от времени. И поняв это, он сразу почувствовал себя равным собеседнику.

Рут второй раз подошла к ним в тот момент, когда заговорил Мартин:

— Я скажу вам, в чем ваша ошибка или, вернее, ваша слабость, — заметил он. — Вы игнорируете биологию, ей нет места в вашем миросозерцании. О, я имею в виду настоящую научную биологию, обширную область знания — от самых

основ, от лаборатории с ее пробирками и оживлением неорганической материи вплоть до самых широких эстетических и социологических обобщений.

Рут была ошеломлена. Она прослушала двухлетний курс у профессора Колдуэлла и смотрела на него как на живой кладезь всяческих знаний.

— Я не совсем понимаю вас, — нерешительно произнес профессор.

— Постараюсь объяснить, — продолжал Мартин. — Помнится, в истории Египта я прочел, что нельзя понять египетское искусство, не изучив предварительно характера страны.

— Совершенно верно, — подтвердил профессор.

— И мне кажется, — продолжал Мартин, — что знакомство с характером страны, так же как и разрешение всех других вопросов, связанных с этим, не может быть достигнуто без предварительного изучения материала, из которого создавалась жизнь, а также того процесса, путем которого она образовалась. Можем ли мы понять законы, учреждения, религии и обычаи, не понимая не только природы существ, создавших их, но и самого материала, из которого созданы эти существа? Разве литература не такое же человеческое создание, как египетская архитектура и скульптура? Существует ли что-нибудь в известной нам вселенной, что не подчинялось бы закону эволюции? О, я знаю, эволюция различных искусств разработана, но мне кажется, что она разработана слишком механически. Человек тут оставлен в стороне. Эволюция орудий, арфы, музыки, песни и танцев — все это разработано прекрасно. Но как обстоит дело с эволюцией самого человека, с развитием у него наиболее существенных органов, которыми он обладал раньше, чем изобрел свое первое орудие или промурлыкал первую песенку? Вот чего вы не принимаете в расчет и что я называю биологией. Это биология в самом широком смысле. Я знаю, что выражаюсь несколько сбивчиво, но я стараюсь разъяснить свою мысль. Все это пришло мне в голову, пока вы говорили, и я не успел хорошо подготовиться. Вы сами упомянули о человеческой ограниченности, мешающей охватить умом все факторы эволюции. Но вы, как мне, по крайней мере, кажет-

ся, прямо пренебрегаете биологическим фактором, основой и тканью всех человеческих действий и достижений.

К удивлению Рут, Мартин не был тотчас же уничтожен, и ответ профессора, по ее мнению, можно было объяснить лишь снисходительным отношением к молодости Мартина. Профессор с минуту молчал, перебирая пальцами цепочку от часов.

— Знаете ли, — ответил он, наконец, — меня однажды раскритиковал таким же образом один великий человек — ученый-эволюционист Жозеф Леконт. Но он умер, и я думал, что меня никто уже больше не обличит. А вот теперь появились вы и снова обвиняете меня. Серьезно признаюсь, что в ваших возражениях на самом деле есть значительная доля правды. Я слишком увлечен классикой и недостаточно знаком с современными достижениями естественных наук. В свое оправдание могу сослаться только на недочеты моего образования и собственную лень, которая мешает мне восполнить их. Не знаю, поверите ли вы мне, но я ни разу в жизни не был ни в одной физической или химической лаборатории. Леконт был прав, так же, как и вы, мистер Иден, по крайней мере, до известной степени, хотя я и не могу сказать — насколько.

Рут под каким-то предлогом отвела Мартина в сторону и шепнула ему:

— Нельзя так монополизировать профессора. Может быть, и другие хотят поговорить с ним.

— Виноват, — смущенно ответил Мартин. — Но видите ли, мне удалось заставить его разговориться, и он оказался настолько интересным, что я забыл обо всем. Знаете, он самый блестящий и умный человек из всех, с кем мне приходилось разговаривать. И я скажу вам еще кое-что. Я думал прежде, что все, кто посещает университет и занимает высокое положение в обществе, такие же блестящие и умные люди, как он.

— Он исключение, — ответила Рут.

— Вероятно. С кем же вы хотите, чтоб я поговорил теперь? Ах, вот что: познакомьте-ка меня с кассиром.

Мартин беседовал с ним минут пятнадцать, и Рут не могла желать лучшего поведения для своего возлюбленного. Глаза

его ни разу не загорелись, и щеки ни разу не вспыхнули, а уверенность и спокойствие, с которыми он разговаривал, просто поразили ее.

Но зато во мнении Мартина все сословие кассиров упало на сто процентов, и у него создалось впечатление, что банковские кассиры и пошлые болтуны — синонимы. Офицер показался ему добродушным, простоватым и здоровым, в полном смысле этого слова, молодым человеком, вполне довольным своей судьбой и местом, которое выпало ему в жизни благодаря происхождению и удаче. Узнав, что он тоже провел два года в университете, Мартин был поражен тем, куда же девались все его знания? Тем не менее, он понравился Мартину больше, чем пошлый банковский кассир.

— В сущности, меня возмущают не эти пошлости, — сказал он потом Рут, — а то, что они произносятся с таким необыкновенным самодовольством и самомнением и что на них уходит так много времени. Все это просто действует мне на нервы. Ведь я мог бы изложить этому господину всю историю Реформации за тот промежуток времени, который понадобился ему для того, чтобы сообщить мне, что рабочая партия слилась с демократами. Знаете, он процеживает свои слова, как профессиональный игрок в покер перебирает свои карты. Когда-нибудь я покажу вам, как это делается.

— Мне жаль, что он вам не понравился, — ответила Рут. — Это любимец мистера Бэтлера. Мистер Бэтлер считает его очень честным и надежным человеком и называет не иначе как Петр — камень. На этом камне, по его словам, можно основать любое банковское учреждение.

— Я не сомневаюсь в этом, хотя не успел хорошенько приглядеться к нему и мало с ним говорил. Но теперь я уже не такого высокого мнения о банках, как прежде. Вы не сердитесь на меня, милая, что я так прямо высказываю вам свое мнение?

— Нет-нет. Это очень интересно.

— Да, — с чувством проговорил Мартин. — Ведь я не более как варвар, воспринимающий первые впечатления от цивилизации. Такие впечатления должны казаться особенно интересными цивилизованным людям.

— Ну, а какого вы мнения о моих кузинах? — осведомилась Рут.

— Они понравились мне больше других женщин. Они очень веселые, простые, без претензий.

— Значит, вам понравились и другие женщины?

Мартин отрицательно покачал головой.

— Эта дама, занимающаяся социальными вопросами, просто попугай, болтающий о социологии. Что касается художницы, то она смертельно скучна. Вот была бы подходящая жена для кассира! А музыкантша! Мне нет дела до того, насколько подвижны ее пальцы, насколько совершенна ее техника, насколько велика ее выразительность, — суть от этого не меняется: она ничего не смыслит в музыке.

— Она великолепно играет, — протестовала Рут.

— Да, у нее несомненно прекрасная техника, но внутренняя сущность музыки ей чужда и непонятна. Я спросил ее, что ей дает музыка — вы знаете, я всегда интересуюсь этим, — но она не могла мне ответить. Она сказала только, что обожает музыку, что это величайшее из всех искусств и что оно для нее дороже жизни.

— Вы всех их заставили говорить на профессиональные темы, — упрекнула его Рут.

— Сознаюсь. Но если они оказались несостоятельными даже в своей специальности, можете представить себе, какую муку я вынес бы, если бы они говорили со мной о других предметах. Прежде я думал, что здесь, на высоте, где люди пользуются всеми благами культуры... — Он остановился на мгновение, увидев, как его собственная тень — тень юноши в котелке появляется в дверях и проходит через комнату... — Так вот, я говорю, что все эти мужчины и женщины казались мне прежде блестящими и яркими. Но теперь, судя по тому немногому, что я видел, мне кажется, что большинство из них просто ничтожества, а девяносто процентов остальных невыносимо скучны. Вот профессор Колдуэлл — другое дело. Это настоящий человек, в каждом дюйме своего тела и в каждом атоме серого вещества своего мозга.

Лицо Рут просияло.

— Расскажите мне о нем, — настаивала она. — Не о его замечательных качествах — я знаю их, — а о том, что вам в нем не понравилось. Мне очень интересно знать.

— Быть может, я попаду впросак, — полушутливо заметил, колеблясь, Мартин. — Может быть, вы сначала. Или вы видите в нем только хорошее?

— Я прослушала у него два курса и знакома с ним два года. Вот почему меня интересует ваше первое впечатление о нем.

— Дурное впечатление — хотите вы сказать. Ну, ладно. Я думаю, что он вполне достоин того прекрасного мнения, которое у вас о нем сложилось. По крайней мере, он лучший образец интеллигентного человека, какой я встречал до сих пор. Но это человек, который скрывает какой-то стыд в душе. О нет-нет, — поспешил он воскликнуть. — Я не подозреваю в нем ничего вульгарного или низкого. Я хочу сказать, что он производит на меня впечатление человека, который проник в глубь вещей, но испугался того, что увидел. И этот страх заставляет его убеждать самого себя, что он никогда ничего не видел. Может быть, я неясно выражаю свою мысль. Попробую объяснить по-другому: это человек, который нашел тропинку к тайному храму, но не пошел по ней. Может быть, он даже видел храм, но потом постарался уговорить себя, что это был только мираж, созданный листвой. И еще можно сказать так: это человек, который мог совершить многое, но не посчитал нужным, и теперь в глубине души постоянно жалеет о том, чего не сделал. Он смеется над наградой за подвиг, но еще больше томится желанием получить ее и испытать радость совершения.

— Я никогда не смотрела на него с этой точки зрения, — возразила Рут. — Поэтому я не понимаю, что вы хотите сказать...

— Это только смутное чувство, — оправдывался Мартин. — У меня нет для этого никаких оснований; я просто так чувствую и, возможно, ошибаюсь. Вы, конечно, знаете его лучше, чем я.

Мартин вынес из этого вечера у Рут странные, смутные и противоречивые чувства. Он разочаровался в своей цели и в людях, до которых старался подняться. С другой стороны, его ободрял успех, достигнутый им за это короткое время. Подняться оказалось гораздо легче, чем он ожидал. Подъем

не только не превышал его сил, но напротив (он не скрывал этого от себя из ложной скромности), он оказался теперь выше тех, до которых старался подняться, за исключением, конечно, профессора Колдуэлла. О книгах и жизни он знал больше, чем они; и Мартин никак не мог понять, в какие углы и кладовые они запрятали свое образование. Он не сознавал, что сам обладает исключительной умственной силой, так же как не знал и того, что люди, которые могут спускаться в глубины мышления и доискиваться конечных выводов, не встречаются в гостиных разных Морзов. Не знал он и того, что такие люди одиноки, как орлы, парящие в небесной лазури высоко над землей, где копошится остальная жизнь...

ГЛАВА XXVIII

Однако удача изменила Мартину, и ее вестники перестали приходить к дверям его квартиры. Двадцать пять дней, работая по праздникам и воскресеньям, он трудился над большой статьей в тридцать тысяч слов, которую назвал «Позор солнца». Это было планомерное нападение на мистицизм метерлинковской школы, вылазка из крепости положительной науки против мечтателей о чуде. Но в самом этом нападении заключалось немало красивого и чудесного, поскольку оно не противоречило точным фактам. Несколько позднее он дополнил эту статью двумя краткими очерками: «Жрецы чудесного» и «Мерило нашего “я”». И эти статьи, большая и маленькие, отправились путешествовать из журнала в журнал.

В течение этих двадцати пяти дней, потраченных на «Позор солнца», он продал на шесть с половиной долларов ремесленных вещей. За одну шуточную вещицу он получил пятьдесят центов, а другую, проданную популярному юмористическому еженедельнику, оценили в целый доллар. Два юмористических стихотворения принесли ему одно два, другое три доллара. В конце концов, кредит его снова оказался исчерпанным (хотя у бакалейщика он возрос до пяти долларов), и ему пришлось

снова заложить свой костюм и велосипед. Агентство опять требовало денег за пишущую машинку, настоятельно напоминая о том, что согласно договору он должен платить вперед.

Удачный сбыт нескольких мелких вещей заставил Мартина снова приняться за ремесленную работу. Быть может, это все же даст ему возможность существовать. Под столом у него лежали двадцать мелких рассказов, отвергнутых газетными агентами. Он перечитал их, желая уяснить себе, как не следует писать рассказы для газет и таким образом выработать идеальную форму. Он обнаружил, что такой рассказ никогда не должен иметь трагического конца, отличаться красотой языка, тонкостью мысли и чувства. Впрочем, чувства в рассказе должно быть много, чувства чистого и благородного, приблизительно такого рода, которое вызывали у него в ранней юности аплодисменты во время представления таких пьес, как «За веру, короля и отечество» и «Хоть беден, но честен».

Усвоив все это, Мартин принялся составлять рассказ по следующей формуле: 1) двое влюбленных разлучены судьбой; 2) благодаря какому-нибудь событию или подвигу они соединяются вновь; 3) свадебные колокола. Третья часть была неизменяемой величиной, но первая и вторая могли изменяться до бесконечности. Так, двое влюбленных могли быть разлучены вследствие недоразумения, случайности судьбы, ревности соперников, гнева родителей, коварства опекунов, хитрости родственников и т. д., и т. д. Соединить же их могли мужественные поступки влюбленного или влюбленной, вынужденное признание коварного опекуна, хитрых родственников или ревнивого соперника, или же добровольное признание тех же лиц при разоблачении какой-нибудь неожиданной тайны, наконец, смелый поступок влюбленного или же его долгая и благородная самоотверженность, и так до бесконечности. Очень заманчиво было бы изобразить девушку в роли героини, добивающейся соединения с возлюбленным, и Мартин постепенно нашел возможность прибегнуть к другим положительно-остроумным и захватывающим уловкам. Единственное, чего он не мог изменить, были свадебные колокола в конце. Хотя бы небеса рухнули и обрушились звезды, свадебные

колокола должны были звонить. Что касается размера, то формула предписывала как максимум тысячу пятьсот слов, как минимум — тысячу двести.

Прежде чем овладеть искусством писания таких рассказов, Мартин выработал с полдюжины трафаретных форм, к которым постоянно обращался, составляя свои рассказики. Эти формулы напоминали ловко составленные таблицы, употребляемые математиками и состоящие из целого ряда столбцов цифр, которыми можно пользоваться справа и слева, сверху и снизу и без всякого труда получать тысячи разнообразных решений, всегда одинаково точных и верных. Пользуясь такими формулами, Мартин мог за полчаса набросать дюжину рассказов, которые он обрабатывал в свободное время. Обычно он делал это перед сном, после целого дня серьезной работы. Впоследствии он признавался Рут, что мог сочинять их почти во сне. Главная работа состояла в том, чтобы набросать план, а остальное уже делалось чисто механически.

Он ни минуты не сомневался в рациональности своих формул и, разослав первые два рассказа по редакциям, решительно сказал себе, что они непременно принесут ему чеки. На этот раз он безошибочно угадал издательский вкус. Чутье не обмануло его, и через двенадцать дней он получил по четыре доллара за каждый рассказ.

Тем временем он сделал новое и тревожное открытие относительно журналов. «Трансконтинентальный Ежемесячник» напечатал его рассказ «Колокольный звон», но чека не появлялось. Мартин, нуждаясь в деньгах, написал в редакцию, но получил только уклончивый ответ и просьбу прислать еще что-нибудь. Ожидая этого ответа, он голодал два дня и опять заложил свой велосипед. Он регулярно два раза в неделю напоминал журналу о своих пяти долларах, хотя и то, что он получил ответ, объяснялось в значительной степени случайностью. Он не знал, что журнал этот уже в течение нескольких лет влачит жалкое существование, что это третьестепенный, если не десятистепенный орган, без средств, с ничтожной подпиской, державшийся только патриотическими воззваниями да объявлениями, служившими чем-то вроде пожертвований в его пользу. Мартин

не знал и того, что этот журнал был единственным источником средств к существованию для его издателя и редактора и что они могли выжимать из него эти средства только тем, что никогда не платили за квартиру и никогда не расплачивались по счетам, если только от них можно было увильнуть. Мартин не подозревал, конечно, что его пять долларов были присвоены издателем и пошли на окраску его дома в Аламеде, причем он сам производил эту работу в течение недели в послеобеденные часы, так как не мог заплатить по ставке, требуемой союзом, а бедняк, согласившийся стать к нему на работу за гроши, упал с лестницы, сломал себе ключицу и был отправлен в больницу.

Десяти долларов «За искателей сокровищ», проданных чикагской газете, Мартину тоже не довелось получить. Статья была напечатана, в чем он убедился, просматривая в центральной читальне номера газет, но никакого ответа от издателя он добиться не мог. Письма его оставались без внимания. Дабы не сомневаться, что они дойдут по назначению, он несколько раз посылал их заказными. Это был настоящий грабеж, хладнокровное воровство. Он голодает, а у него отнимают его товар, его добро, продажа которого была для него единственным способом добыть себе кусок хлеба.

Еженедельник «Юность и зрелость», напечатавший две трети из его рассказов в двадцать одну тысячу слов, перестал вдруг выходить. С ним вместе исчезла всякая надежда получить шестнадцать долларов.

В довершение же всего «Котел», который он считал одной из своих лучших вещей, оказался потерянным. В отчаянии разыскивая журнал, куда бы он мог посылать свои произведения, он отправил «Котел» в светский еженедельник «Волна», издававшийся в Сан-Франциско. Главная причина, по которой он выбрал именно этот журнал, заключалась в том, что он рассчитывал на скорый ответ, ибо Сан-Франциско разделял с Оклендом лишь залив. Две недели спустя он чрезвычайно обрадовался, увидев в газетном киоске последний номер журнала, где рассказ его был напечатан целиком, на видном месте и снабжен иллюстрациями. Он вернулся домой с сильно бьющимся сердцем, соображая, сколько ему могут заплатить за одну из его

лучших вещей. Ему было приятно, кроме того, что его так быстро приняли и напечатали, но все же удивило, что издатель не сообщил ему об этом. Прождав около двух с половиной недель, он, наконец, победил свою застенчивость и, отчаявшись, написал в редакцию «Волны», что, по всей вероятности, его маленький счет забыт по небрежности заведующего.

«Даже если это будет не больше пяти долларов, — думал Мартин, — я все же смогу купить достаточно бобов и гороху, что даст мне возможность написать еще несколько таких вещей».

Но вместо этого Мартин получил от издателя ответ, который своей наглостью привел его даже в восхищение.

«Мы благодарим Вас, — говорилось в письме, — за Ваш прекрасный рассказ. Всем нам в редакции он чрезвычайно понравился и, как видите, мы напечатали его немедленно на видном месте. Мы надеемся, что Вам понравились рисунки.

Перечитывая Ваше письмо, мы поняли, что Вы, очевидно, находитесь в заблуждении, полагая, что мы платим за рукописи, которые не были нами заказаны. Это у нас не принято, а на Вашей рукописи условия не были обозначены. Мы, естественно, полагали, получив Ваш рассказ, что Вам это известно. Мы можем только выразить Вам глубокое сожаление по поводу этого печального недоразумения и засвидетельствовать наше неизменное уважение. Еще раз благодарим Вас и, надеясь в будущем получить от Вас новые рассказы, остаемся...» и т. д.

В постскриптуме было сказано, что хотя «Волна» никому не высылается бесплатно, но редакция с удовольствием подпишет его на следующий год.

После такого опыта Мартин всегда писал наверху каждого листа своей рукописи: «Гонорар по вашей обычной таксе».

Когда-нибудь, утешал он себя, они будут платить по *моей* таксе.

В этот период в нем пробудилась страсть к совершенствованию, и он переделал и отшлифовал «Веселую улицу», «Вино жизни», «Радость», «Песни моря» и другие свои ранние произведения. Как и прежде, девятнадцатичасовой рабочий день был для него слишком короток. Он много писал и много читал, забывая в работе муки, причиняемые воздержанием

от курения. Присланное Рут средство от курения, снабженное популярной рекламой, он засунул в самый дальний угол своей каморки. Отсутствие табака причиняло ему особенно сильные страдания в то время, когда он голодал. Но как ни подавлял он в себе желания курить, оно оставалось все таким же сильным и не покидало его. Он считал свою стойкость величайшей победой. А с точки зрения Рут он просто поступал правильно, не больше. Она купила ему это средство из своих карманных денег и через неделю уже забыла об этом.

Его маленькие рассказы ремесленного производства продавались хорошо, хотя он ненавидел их и смеялся над ними. Но все же благодаря им он выкупил свои вещи, покрыл большую часть счетов и даже купил новую шину для своего велосипеда. Эти рассказы по крайней мере давали ему возможность быть сытым и заниматься серьезной работой. Бодрость его поддерживалась воспоминаниями о сорока долларах, полученных из «Белой мыши». Все его надежды основывались на этом, и он верил, что настоящие первоклассные журналы будут платить неизвестному автору столько же, если не больше. Задача заключалась в том, как проникнуть в эти первоклассные журналы; его лучшие повести, статьи и стихотворения напрасно стучались в двери редакций, а между тем он каждый месяц читал под их пестрыми обложками кучу невыносимо скучных, глупых и нехудожественных вещей.

«Если бы хоть один редактор, — думал он иногда, — снизошел до того, чтобы написать мне одну ободряющую строчку! Пусть моя работа необычна, пусть она непригодна по каким-нибудь высшим соображениям, но ведь есть же в ней, несомненно, какие-то искорки — хотя бы самая малость, — которые должны вызывать у них ту или иную реакцию».

И после этого он снова вытаскивал какую-нибудь из своих рукописей и перечитывал ее, тщетно стараясь понять причину молчания редакторов.

Когда наступила теплая калифорнийская весна, период его благоденствия кончился. Несколько недель его терзало странное молчание со стороны литературных агентов. Затем в один прекрасный день ему были возвращены по почте десять безукориз-

ненно сделанных рассказов ремесленного производства. Они сопровождались коротким извещением, что агентство завалено материалом и что новые рассказы могут понадобиться разве только через несколько месяцев. Мартин позволил себе даже некоторую расточительность, рассчитывая на эти десять рассказов. До последнего времени ему платили по пяти долларов за каждый и принимали все, что он присылал. Поэтому он считал, что эти рассказы как бы проданы, и жил так, будто эти пятьдесят долларов лежали у него в банке. Таким образом, на него сразу обрушились лишения: в этот период он только и делал, что сбывал свои ранние произведения издательствам, которые не платили, и посылал новые работы в журналы, которые не покупали. Он возобновил свои походы в Окленд, чтобы кое-что опять заложить. Несколько юмористических стихотворений, проданных нью-йоркским еженедельникам, давали ему возможность кое-как существовать. В это время он послал несколько запросов в разные большие ежемесячники и узнал из ответов, что они редко принимают не заказанные рукописи и что в основном в них печатают материалы известных опытных авторов, уже завоевавших авторитет.

ГЛАВА XXIX

Это было тяжелое лето для Мартина. Редакторы и издатели отправились на отдых, и те журналы, которые обычно отвечали ему через три недели, теперь задерживали его рукописи по три месяца, а то и больше. Единственное утешение он находил в том, что это избавляло его от почтовых расходов. Только грабительские издания, по-видимому, продолжали работать, и им Мартин переслал все свои ранние произведения: «Ловцов жемчуга», «Профессию моряка», «Ловлю черепах» и «Северо-восточный пассат». За эти рукописи он так и не получил ни гроша. Правда, после шестимесячной переписки он добился некоторого компромисса и получил за «Ловцов черепах» безопасную бритву,

а «Акрополь» обещал ему за «Северо-восточный пассат» пять долларов и пять годовых подписок, но выполнил только вторую часть своего обещания.

За сонет о Стивенсоне он умудрился извлечь два доллара от одного бостонского издателя, который не любил развязывать свой кошелек. Остроумная поэма в двести строк «Пери и жемчуг», только что законченная Мартином, очень понравилась издателю журнала в Сан-Франциско, печатавшегося по заказу одной крупной железнодорожной компании. Когда же издатель написал ему об этом, предлагая в виде гонорара бесплатный проезд по железной дороге, то Мартин спросил его, может ли он передать свое право другому лицу. Оказалось, что это невозможно, и так как Мартин не мог перепродать билет, то он попросил вернуть ему рукопись, что редактор и исполнил, выразив ему свое сожаление. Мартин тотчас же отослал ее в журнал «Шершень», издававшийся одним блестящим журналистом, который сразу завоевал популярность среди лучших журналов. Однако звезда «Шершня» начала меркнуть еще задолго до рождения Мартина. Издатель обещал Мартину пятнадцать долларов за его поэму, но когда она была напечатана, он, по-видимому, забыл об этом. Не получая ответа на свои письма, Мартин отправил сердитый запрос и получил письмо уже от нового издателя, который холодно извещал его, что он снимает с себя всякую ответственность за недоработки старого издателя и что «Пери и жемчуг» ему лично совсем не нравится.

Однако самое жестокое оскорбление нанес Мартину чикагский журнал «Глобус». Мартин долго удерживался и не посылал «Песни моря», пока голод не заставил его, наконец, сделать это. Отвергнутые чуть ли не дюжиной разных журналов, стихотворения эти попали, наконец, и в редакцию «Глобуса». Сборник состоял из тридцати стихотворений, и Мартин должен был получить по доллару за каждое. В первый же месяц были напечатаны четыре стихотворения, и он тотчас же получил чек на четыре доллара, но когда он просмотрел журнал, то пришел в ужас от искажений, которым они подверглись. В некоторых случаях были изменены названия. Но

все это было ничто по сравнению с искажениями, которым подверглись самые стихотворения. Мартин скрежетал зубами, потел и хватался руками за голову. Целые фразы, строчки и стансы были выброшены, перепутаны или изменены до неузнаваемости. Иногда его собственные строфы заменялись чужими. Он не хотел верить, что здравомыслящий редактор мог совершить что-либо подобное, и решил, что поэмы его были, должно быть, искалечены рассыльным или стенографом. Мартин немедленно написал издателю, чтобы он прекратил печатание его стихов и возвратил их ему. Но, несмотря на неоднократные просьбы, требования и угрозы, издатель не откликался. Это безобразие продолжалось месяц за месяцем, пока все тридцать стихотворений не вышли в свет, и из месяца в месяц Мартин получал чеки за те стихи, которые появились в последнем номере журнала.

Несмотря на все эти неудачи, воспоминание о чеке в сорок долларов, полученном от «Белой мыши», поддерживало Мартина, хотя ему все больше и больше приходилось заниматься теперь ремесленной работой. Он нашел возможность зарабатывать в сельскохозяйственных и промышленных журналах, попытался проникнуть в религиозные еженедельники, но с ними иметь дело оказалось невыгодно: тут легко можно было умереть с голоду. В критическую минуту, когда черный костюм снова был заложен, Мартину опять несколько повезло на конкурсе, устроенном местным комитетом республиканской партии. Конкурс состоял из трех номинаций, и он оказался победителем во всех, горько насмехаясь над самим собой и над тем, что жизнь заставляет его прибегать к таким уловкам, чтобы добывать себе кусок хлеба. Его стихотворение получило первую премию в десять долларов, его боевая песнь — вторую, в пять долларов, а статья о принципах республиканской партии — первую премию в двадцать пять долларов, что очень обрадовало его, пока он не явился за получением денег. Что-то произошло в республиканском комитете, и хотя в числе его членов были один богатый банкир и сенатор Штата, денег не оказалось. Пока длились переговоры, он доказал, что понимает также и принципы демократической партии,

ибо удостоился первой премии за свою статью на таком же конкурсе, объявленном этой партией. Кроме того, на этот раз он получил и деньги, двадцать пять долларов. Но сорока долларов, присужденных на первом конкурсе, он так никогда и не увидел.

Поскольку теперь он мог видеться с Рут только урывками, а путешествие из северного Окленда к Морзам и обратно отнимало слишком много времени, Мартин решил выкупить велосипед и оставить вместо него ростовщику свой черный костюм. Велосипед не только служил ему для физических упражнений и сберегал время, но также давал возможность видеться с Рут. Короткие парусиновые брюки и старый свитер могли сойти за довольно приличный велосипедный костюм и позволяли ему таким образом кататься с Рут. Он все равно не мог уже видеться с ней в ее собственном доме, ибо миссис Морз усердно вела свою кампанию развлечений. Люди, которых он встречал у Морзов и на которых еще недавно смотрел снизу вверх, теперь раздражали его. Они уже упали в его глазах. Тяжелые обстоятельства, разочарования и усиленная работа сделали его нервным и раздражительным, и разговор с такими людьми доводил его до бешенства. Он не переоценивал себя и сравнивал свой ум не с ограниченным умом этих людей, а с умами тех мыслителей, произведения которых с удовольствием читал. Он ни разу не встречал в доме Рут ни одного человека с широким кругозором, за исключением профессора Колдуэлла, да и того он видел там лишь один раз. Все же остальные были люди ограниченные, ничтожные, поверхностные, узкие догматики и невежды. Особенно поражало его их невежество. Почему они такие? Где же их хваленое образование? Ведь они имели в своем распоряжении те же книги, которые читал он. Как случилось, что они ничего из них не извлекли?

Он знал, что существуют великие умы, глубокие мыслители; доказательством этому служили книги, те книги, которые подняли его выше уровня Морзов. И он знал, что в мире существуют более высокие умы, чем те, которые он встречал в кругу Морзов. Он читал также английские романы из светской жизни, в которых мужчины и женщины беседовали о по-

литике и философии. Он читал и о салонах больших городов даже в Соединенных Штатах, где ум и искусство сочетались в гармоничное целое. Прежде он думал, по наивности, что все люди высших классов, живущие в хороших условиях, непременно отличаются большим умом и стремлением к красоте. Культура и крахмальные воротнички являлись для него синонимами, и он ошибочно полагал, что университетское образование и знание — это одно и то же.

Ну что же, он будет прокладывать себе дорогу вперед и вверх и возьмет с собой Рут. Он горячо любил ее и твердо верил, что она может блистать всюду. Он ясно видел отпечаток, который наложило на него прежнее окружение, и понимал, что то же самое произошло и с Рут. У нее не было возможности развиваться в нужном направлении. Книги на полках ее отца, картины на стенах, ноты на рояле — все это была лишь одна видимость. Настоящей литературы, настоящей музыки, настоящей живописи Морзы и им подобные не понимали и не чувствовали. Но еще важнее всего этого была сама жизнь, что касается ее, тут они были безнадежными и непроходимыми невеждами. Несмотря на маску либерального свободомыслия, они все же на два поколения отстали от современной науки. Их мышление отдавало средневековьем, а взгляды на вселенную и на происхождение жизни поражали его своим сходством с метафизическим мировоззрением, столь же древним, как пещерный человек, пожалуй, даже еще древнее. Это был тот же процесс мышления, который заставлял первого обезьяноподобного человека ледникового периода бояться темноты и внушал первому иудею мысль о том, что Ева создана из Адамова ребра. Он же внушил Декарту мысль построить идеалистическую систему вселенной на основах собственного ничтожного «я». А одно британское знаменитое духовное лицо, с таким же мышлением, осмеяло процесс эволюции в сатире, столь уничтожающей, что она вызвала всеобщий восторг и запечатлела его имя на страницах истории.

Так думал Мартин, и чем больше он думал, тем яснее становилось ему, что разница между адвокатами, офицерами, дельцами и банковскими служащими, с которыми он стал-

кивался теперь, и представителями рабочего класса, которых он знал раньше, заключается, в сущности, только в пище, одежде и окружающей их среде. Несомненно, что и тем и другим не хватало чего-то большего, что он находил в книгах и ощущал в самом себе. Морзы показали ему то лучшее, что могло дать их социальное положение, и он не видел в этом ничего особенно соблазнительного. Будучи сам нищим и рабом своих кредиторов, он все же сознавал себя выше всех тех, кого встречал в доме Морзов, и когда он снова выкупил свой единственный приличный костюм и явился к ним, то чувствовал себя в их обществе, как принц, вынужденный жить среди пастухов.

— Вы ненавидите социалистов и боитесь их, — сказал он однажды Морзу за обедом. — Но почему? Ведь вы не знаете ни их, ни того, к чему они стремятся.

Разговор принял это направление благодаря миссис Морз, которая подчеркнуто уважительно отозвалась о мистере Хэпгуде. Мартин особенно ненавидел кассира и буквально выходил из себя, как только речь заходила об этом пошлом болтуне.

— Да, — сказал он, — Чарли Хэпгуд, что называется, делает карьеру. Кто-то говорил мне об этом. И это правда. Он будет когда-нибудь сидеть в губернаторском кресле и даже — кто знает, может быть, попадет в сенат Соединенных Штатов.

— Почему вы так думаете? — спросила миссис Морз.

— Я слышал его речь во время избирательной кампании. Она была так благоразумно глупа, так шаблонна и в то же время так убедительна, что лидеры должны считать его вполне надежным и безопасным человеком. Банальность же соответствует ограниченности заурядных избирателей. А ведь вы знаете, конечно, что каждому человеку лестно услышать с кафедры свои собственные мысли.

— Я почти убеждена в том, что вы завидуете мистеру Хэпгуду, — вставила Рут.

— Боже сохрани! — Ужас, отразившийся на лице Мартина, возбудил неудовольствие миссис Морз.

— Ведь вы не хотите же сказать, что мистер Хэпгуд глуп? — спросила она ледяным и враждебным тоном.

— Он, конечно, не глупее всякого заурядного республиканца, — ответил Мартин, — или демократа. Все они глупы, за исключением хитрых, но таких немного. Единственные умные республиканцы — это миллионеры и те, кто сознательно прислуживает им. Эти, по крайней мере, знают, с какой стороны хлеб у них намазан маслом.

— Я республиканец, — шутливо заметил мистер Морз. — Куда же вы причисляете меня?

— О, вы бессознательный прислужник.

— Прислужник?!

— Ну да. Вы трудитесь для трестов. Вы не имеете практики в рабочей среде или в уголовном мире. Ваш доход не зависит от мужей, истязающих своих жен, и от карманников. Вы получаете свои средства к жизни от людей, распоряжающихся судьбами общества, а кто кормит человека, тот и является его хозяином. Да, вы их прислужник. Вы заинтересованы в защите интересов капиталистических организаций, которым вы служите.

Лицо Морза чуточку покраснело.

— Должен признаться, сэр, — сказал он, — что вы рассуждаете как отъявленный социалист.

Вот на это Мартин и сделал свое замечание относительно ненависти к социалистам и полного незнания их взглядов.

— Ваши взгляды, несомненно, очень близки к социализму, — возразил ему Морз.

Рут с тревогой переводила взгляд с одного на другого, а миссис Морз сияла от радости, следя за тем, как обостряется разговор.

— Из того, что я назвал республиканцев глупыми и что считаю свободу, равенство и братство лопнувшими мыльными пузырями, еще не следует, что я социалист, — сказал Мартин, улыбаясь. — Уверяю вас, мистер Морз, что вы гораздо ближе к социализму, чем я, так как я его заклятый враг.

— Вы изволите шутить, — только и нашелся Морз.

— Ничуть. Я говорю совершенно серьезно. Вы еще верите в равенство, а между тем трудитесь для трестов, которые изо дня в день занимаются только тем, что хоронят равенство.

Меня же вы называете социалистом, потому что я отрицаю равенство и подтверждаю как раз то, чем вы живете. Республиканцы — враги равенства, хотя, борясь против равенства, они большей частью именно его и выдвигают в качестве лозунга. Во имя равенства они и разрушают равенство. Вот почему я назвал их глупыми. Что касается меня, то я индивидуалист. Я верю, что бегать могут быстроногие, а бороться — сильные. Это урок, который я усвоил из биологии или, по крайней мере, думаю, что усвоил. Повторяю — я индивидуалист, а индивидуализм — наследственный и вечный враг социализма.

— Но ведь вы бываете на митингах социалистов? — с вызовом спросил Морз.

— Конечно, так же, как лазутчики посещают враждебный лагерь. Как же вы узнаете иначе врага? Кроме того, эти митинги доставляют мне большое удовольствие. Эти люди умеют бороться, и худо ли, хорошо ли, но они все же читают книги. Каждый из них знает о социологии и о всяких других «логиях» больше заурядного капиталиста. Да, я несколько раз посещал их митинги, но это не сделало меня социалистом, точно так же, как ораторские упражнения Чарли Хэпгуда не сделали из меня республиканца.

— Я ничего не могу сказать, — слабо возразил мистер Морз. — Мне все же кажется, что вы склонны к социализму.

«Боже милосердный! — подумал Мартин. — Да ведь он не понял ни одного слова из того, что я сказал. Где же все-таки его образование?»

Таким образом, на пути своего развития Мартин столкнулся с экономической, или классовой, моралью, и она скоро сделалась для него настоящим пугалом. Лично он был интеллектуальным моралистом, и мораль окружающих его людей, представлявшая собой какую-то окрошку из экономики, метафизики, сентиментальности и подражательности, раздражала его еще сильнее самодовольной пошлости.

Образчик этой курьезной смеси Мартин нашел и среди своей родни. Его сестра Мэриен познакомилась с одним механиком, трудолюбивым немцем, который, основательно

изучив свое дело, открыл собственную мастерскую для починки велосипедов. Став потом агентом по продаже дешевых велосипедов, он достиг благополучия. Мэриен незадолго перед тем навестила Мартина, чтобы сообщить ему о своей помолвке и во время этого посещения шутя начала рассматривать ладонь брата и предсказывать ему его судьбу. В следующий раз она привела с собой Германа Шмидта. Мартин радушно принял их и поздравил обоих в изысканных выражениях, которые произвели неприятное впечатление на тупого возлюбленного его сестры. Это дурное впечатление еще усилилось, когда Мартин прочел им стихотворение, посвященное прошлому визиту Мэриен. Это было очень изящное и тонкое стихотворение, слегка салонного характера, названное им «Гадалка». Он удивился, когда, кончив читать, не заметил на лице сестры никакого удовольствия. Напротив, глаза ее с тревогой были устремлены на жениха, и когда Мартин взглянул на него, то прочел в неправильных чертах этого достойного человека только угрюмое и суровое порицание. Тем дело и кончилось, так как они скоро ушли, и Мартин совершенно забыл об этом. Но все же в первую минуту его поразило, что женщина, принадлежащая к рабочему классу, не почувствовала себя польщенной и довольной, что в честь ее написали стихи.

Несколько дней спустя Мэриен снова навестила его, на этот раз одна. Без дальних околичностей она стала упрекать его за то, что он сделал.

— Послушай! — воскликнул он. — Ты говоришь так, точно стыдишься своих родственников или, по крайней мере, своего брата.

— И стыжусь, — прямо объявила она. Мартин был поражен, увидев в ее глазах слезы неподдельного огорчения.

— Но, Мэриен, ведь не может же Герман ревновать тебя ко мне! Он недоволен, что я написал стихи в честь своей сестры?

— Он не ревнует, — проговорила она со слезами. — Но он говорит, что это неприлично, бес... бесстыдно.

Мартин слегка свистнул от изумления и тотчас же стал просматривать переписанные на машинке стихи.

— Я ничего не нахожу, — сказал он, протягивая ей листок. — Прочти сама и покажи мне, что тебе кажется бесстыдным, — так, кажется, ты сказала?

— Это он говорит, а он знает, — ответила Мэриен, отстраняя от себя листок и с отвращением глядя на него. — Он говорит, что ты должен это уничтожить. Он говорит, что не хочет иметь жену, о которой писались бы такие вещи и всякий мог бы это читать. Он говорит, что это позор, которого он не может вынести.

— Послушай, Мэриен, ведь это же нелепо... — начал Мартин, но потом вдруг одумался.

Он видел перед собой несчастную девушку, сознавал бесплодность попытки убедить ее или ее жениха, и, хотя все это казалось ему нелепым и бессмысленным, он решил покориться.

— Хорошо, — сказал он, разорвал листок на мелкие куски и бросил их в корзинку.

Его, впрочем, утешало сознание, что отпечатанный на машинке экземпляр стихотворения находился уже в редакции одного нью-йоркского журнала. Мэриен и ее супруг никогда об этом не узнают, и никто решительно не пострадает, если это красивое невинное стихотворение будет напечатано.

Мэриен потянулась к корзинке, но вдруг остановилась.

— Можно? — спросила она.

Мартин кивнул головой, задумчиво следя за тем, как она собирает разорванные куски рукописи и засовывает их в карман своей кофточки, — неопровержимое доказательство успеха своей миссии. Она напомнила ему Лиззи Конолли, хотя в ней было меньше огня, кипучей жизни, чем в той девушке из рабочей среды, с которой он виделся два раза. Но они были под стать друг другу, если бы их нарядить и посадить в коляску. Он сам улыбнулся своей фантазии, представив себе вдруг, как эти девушки входят в гостиную миссис Морз. Однако веселое настроение исчезло, и его охватило чувство глубокого одиночества. Его сестра и гостиная Морзов — вот вехи пройденного им пути. И они остались позади. Он с нежностью взглянул на немногие сохранившиеся у него книги. Это были единственные оставшиеся у него друзья...

— А? Что такое? — спросил он с изумлением.

Мэриен повторила свой вопрос.

— Почему я не иду на работу? — Он засмеялся невеселым смехом. — Это твой Герман говорил тебе?

Мэриен отрицательно покачала головой.

— Не лги, — строго сказал Мартин, и, когда она кивнула утвердительно, подтверждая его обвинение, он заметил:

— Ну так скажи своему Герману, чтобы он не совал носа в чужие дела. Если я пишу стихи в честь девушки, на которой он хочет жениться, то это может его касаться, но до всего остального ему нет никакого дела. Поняла? Значит, ты не думаешь, что я могу стать писателем, а? Ты думаешь, что я никуда не годен, что я опустился и навлекаю позор на семью? — спрашивал он.

— Я думаю, что было бы гораздо лучше, если бы ты взялся за какую-нибудь работу, — сказала она твердо и, как он видел, искренно. — Герман сказал...

— К черту Германа! — добродушно прервал он. — Мне интереснее знать, когда твоя свадьба? Узнай, кстати, у своего Германа, соблаговолит ли он разрешить тебе принять от меня свадебный подарок?

Когда она ушла, Мартин начал размышлять об этом инциденте и не мог удержаться от горького смеха. В самом деле, его сестра, ее жених, все люди его круга, так же как и те, кто окружал Рут, приспосабливали свою узкую мелкую жизнь к узким, мелким догматам, которые исповедовали. Эти тупые создания толпятся в стаде, выкраивают свои жизни, сообразуясь с мнениями друг друга, утрачивают всякую индивидуальность и не видят настоящей жизни, принося ее в жертву этим детским представлениям. Перед его глазами потянулась бесконечная процессия таких людей — Бернард Хиггинботам об руку с мистером Бэтлером, Герман Шмидт, обнявшись с Чарли Хэпгудом, и многие другие. Всех их попарно и в одиночку Мартин подвергал оценке, применяя к ним те мерила ума и нравственности, которые он извлек из своих книг. Он тщетно спрашивал: где же великие души, великие мужчины и женщины? Он не находил их среди беспечных, грубых и ту-

пых людей, которые, повинуясь зову его фантазии, наполняли сейчас его тесную комнату. Он чувствовал к ним такое же презрение, какое должна была чувствовать к своим свиньям Цирцея. Когда удалился последний из них и Мартин думал, что он остался один, в его каморку вошел запоздалый гость, нежданный и непрошеный. Мартин увидел перед собой юного хулигана в котелке и плохо скроенной двубортной куртке, каким он был когда-то.

«И ты был таким же, как все остальные, приятель, — усмехнулся Мартин. — Твоя мораль и твои знания ничем не отличались от духовного багажа других. И ты не мыслил и не действовал сам за себя. Твои мнения, как и одежду, ты получал готовыми, и твои поступки вызывали всеобщее одобрение. Ты был предводителем своей шайки, потому что тебя выбрали другие. Ты дрался и управлял своей оравой не потому, что тебе это нравилось, — ведь на самом деле ты презирал это, — а потому, что другие парни одобрительно хлопали тебя по плечу. Ты избил Масляную Рожу, потому что не хотел отступить, а не хотел ты этого отчасти потому, что был грубым зверем, отчасти же потому, что достоинство мужчины, — как думал ты и все остальные, — выражается в кровожадной свирепости, способности калечить и избивать своих ближних. Эх ты, мальчишка! Ты даже девушек отбивал у своих товарищей не потому, что желал их, а потому что в мозгу окружающих тебя, тех, кто направлял твою мораль, был заложен инстинкт дикого жеребца и быка. Ну вот, с тех пор прошли годы. Что ж ты думаешь об этом теперь?»

И как бы в ответ на этот вопрос видение вдруг быстро изменилось. Шляпа и куртка заменились другим, менее вызывающим костюмом, исчезла грубость лица, жесткость глаз, и перед Мартином встало новое лицо, очищенное и облагороженное внутренней жизнью, соединением красоты и знания. Теперь видение сильно походило на его нынешний образ, и, разглядывая его, Мартин заметил школьную лампу, озарявшую лицо юноши, и книгу, над которой он склонился. Мартин прочел заглавие: «Основы эстетики» и тотчас сам зажег свою лампу и сел читать «Основы эстетики».

ГЛАВА XXX

В такой же прекрасный день бабьего лета, какой был в прошлом году, когда они признались друг другу в любви, Мартин прочел Рут свои «Сонеты о любви». Как и тогда, они отправились после полудня на свой любимый пригорок среди холмов. Несколько раз она прерывала его чтение восклицаниями восторга, и он, кончив читать, ждал, чтобы она высказала свое мнение. Но она медлила и, наконец, заговорила нерешительно, запинаясь и подыскивая слова, словно для того, чтобы смягчить резкость своей мысли.

— Мне кажется, что эти стихи прекрасны, очень хороши, — сказала она. — Но ведь вы не сможете продать их, правда? Вы понимаете, что я хочу сказать, — сказала она почти умоляюще. — Ваше писательство непрактично. Не знаю, в чем тут дело, может быть, в этом виноваты условия рынка, но есть что-то такое, что мешает вам зарабатывать этим средства к жизни. Пожалуйста, милый, не истолкуйте ложно моих слов. Я польщена и горжусь тем, — иначе я не была бы женщиной, — что эти стихотворения посвящены мне. Но они не ускорят нашей свадьбы. Неужели вы не понимаете этого, Мартин? Не считайте меня корыстолюбивой. Я думаю только о любви и о нашем будущем. Целый год прошел с тех пор, как мы узнали, что любим друг друга, но день нашей свадьбы нисколько не приблизился. Не считайте меня нескромной оттого, что я так говорю о нашей свадьбе, но ведь тут поставлено на карту мое сердце, вся моя жизнь. Почему вы не попытаетесь найти работу в газете, если уж вам так хочется писать? Почему бы вам не сделаться репортером?.. Хотя бы на время?

— Это испортит мой стиль, — ответил он тихим, унылым голосом. — Вы не имеете представления, как много я трудился над ним.

— А ваши газетные рассказы, — возразила она. — Ведь вы же сами называли их ремесленной работой. Вы много их писали. Разве они не портили вам стиль?

— Нет, это совсем другое дело. Эти рассказы я писал в конце дня, после долгой напряженной работы над стилем. А репортерская работа носит сплошь ремесленный характер с утра до вечера. Она должна составлять главное занятие в жизни. И эта жизнь похожа на вихрь — это сиюминутная жизнь, без прошлого и будущего и, конечно, без всякой мысли о каком-либо ином стиле, кроме репортерского. А это не литература. Стать репортером теперь, когда мой стиль начинает формироваться, кристаллизуется, было бы равносильно литературному самоубийству. И без того каждый рассказ для газеты, каждое слово в каждом таком рассказе кажутся мне насилием над самим собой, над моим самоуважением, над моим уважением к прекрасному. Поверьте мне, что это отвратительно. Я чувствовал себя преступником и втайне обрадовался, когда рынок закрылся, хотя мне и пришлось заложить костюм. Но что может сравниться с радостью, которую испытываешь, когда пишешь такие вещи, как этот «Сонеты о любви»! Это благороднейшая форма творческой радости. Она вознаграждает за все.

Мартин не знал, что для Рут радость творчества была пустым звуком. Она употребляла эту фразу, и он впервые услышал ее именно от Рут. Она читала об этом, училась этому в университете, добиваясь степени бакалавра искусств. Но в ней самой не было ничего оригинального, никакого творчества, и вся ее образованность состояла лишь из перепевов чужих слов.

— Может быть, редактор был не так уж неправ, исправляя ваши «Песни моря», — заметила Рут, — не забывайте, что редактор должен обладать некоторыми знаниями, иначе он не был бы редактором.

— Это все результат поклонения общепринятому, — с жаром возразил Мартин, раздражаясь при одном воспоминании об издевающихся над ним редакторах. — То, что существует, считается не только правильным, но единственно возможным и лучшим. Существование чего бы то ни было признается уже достаточным доказательством его права на существование, и притом заметьте, — как обычно думают, не только в настоящих, но и во всяких условиях. Только невежество, конечно,

заставляет людей верить в такой вздор. И это невежество не что иное, как человекоубийственный умственный процесс, описанный Вейнингером. Они только воображают, что могут мыслить. И такие-то безмозглые существа распоряжаются судьбами других действительно мыслящих людей.

Он остановился, подавленный вдруг сознанием, что Рут не доросла до понимания того, что он говорит ей.

— Я, право, не знаю, кто такой Вейнингер, — сказала она. — И вы вообще так ужасно обобщаете, что я не могу уследить за вами. Ведь я говорила только о том, что каждый редактор...

— А я скажу вам вот что, — прервал ее Мартин, — каждый редактор или, по крайней мере, девяносто девять процентов из них — неудачники, не доросшие до писателей. Не думайте, что они предпочитают свое корпение над редакторским столом и рабскую зависимость от подписки и от заведующего конторой радости творчества. Они пробовали писать, но не добились успеха. В этом-то и заключается проклятая нелепость. Все двери к успеху в литературе охраняются именно этими сторожевыми псами, этими неудачниками в литературе. Эти редакторы и их помощники, издатели и те, которые просматривают рукописи в журналах, в большинстве — или даже почти все — люди, желавшие писать, но потерпевшие неудачу. А между тем, они-то, оказавшиеся менее других способными к литературе, как раз и решают, что должно и что не должно попасть в печать. Они, проявившие свою банальность, доказавшие, что в них нет божественного огня, являются судьями оригинальности и гения. А дальше — критики, точно такие же неудачники. Не говорите мне, что они не мечтали и не пробовали стать поэтами и писателями, ибо это именно так и было. Все эти заурядные журнальные статьи тошнотворнее рыбьего жира. Впрочем, вы ведь знаете мое мнение о критиках и рецензентах, пользующихся всеобщим уважением. Существуют, конечно, великие критики, но они так же редки, как кометы. Если я потерплю неудачу как писатель, то докажу свою пригодность на редакторском месте. Это, во всяком случае, даст мне кусок хлеба и даже с маслом.

Однако быстрый ум Рут тотчас же подметил противоречие в словах возлюбленного, и это укрепило ее отрицательное отношение к его взглядам.

— Но, Мартин, — сказала она, — если это так, если все двери закрыты, как вы это доказываете, как же проникли туда великие писатели?

— Они проникли, потому что совершили невозможное, — ответил он. — Потому что они написали такие яркие, блестящие вещи, которые обратили в пепел всех, кто противился им. Конечно, они проникали чудом, имея один шанс против тысячи. Они проникали потому, что были закаленными в битвах гигантами, которых нельзя было свалить с ног. Вот и мне надо это сделать, то есть совершить невозможное.

— А если это вам не удастся? Ведь вы должны же подумать и обо мне, Мартин!

— Если мне не удастся... — Он с минуту смотрел на нее так, как будто то, что она сказала, было немыслимо. Затем глаза его сверкнули. — Если мне не удастся, — сказал он, — то я сделаюсь редактором, и вы будете женой редактора.

Его веселость заставила Рут поморщиться, и эта гримаска вышла такой очаровательной, что он тотчас же обнял свою невесту и разгладил эту морщинку поцелуями.

— Ну, довольно, — объявила она, освобождаясь усилием воли от обаяния его мощи. — Я говорила с матерью и отцом. Я никогда еще так сильно не противилась им. Я требовала, чтобы меня выслушали. Я была очень непочтительна. Вы знаете, что они против вас. Но я так убедительно говорила им о своей любви к вам, что папа, наконец, согласился взять вас на службу в свою контору, если вы захотите. Кроме того, он по собственной инициативе сказал мне, что даст вам с самого начала такое жалованье, чтобы мы могли обвенчаться и поселиться где-нибудь в маленьком коттедже. Я нахожу, что это очень хорошо с его стороны, не правда ли?

Мартин почувствовал в сердце тупую боль отчаяния и, пробормотав что-то невнятное, машинально потянулся в карман за табаком и бумагой (которых там больше не было). Рут между тем продолжала:

— Если откровенно, — только не обижайтесь, я говорю вам это, чтобы подчеркнуть, как он к вам относится, — ему не нравятся ваши радикальные взгляды, и он считает вас лентяем. Конечно, я знаю, что вы не лентяй, я знаю, что вы много работаете.

«Но как много я работаю, этого и ты не подозреваешь», — подумал Мартин и сказал:

— Ну, а какого же вы мнения о моих взглядах? Вам тоже они кажутся чересчур радикальными?

Он смотрел ей в глаза и ждал ответа.

— Я думаю... видите ли, я тоже думаю, что они, пожалуй, чересчур смелы, — ответила она.

Этот ответ произвел на Мартина удручающее впечатление, и жизнь показалась ему сразу такой беспросветной, что он забыл о соблазнительном предложении, которое сделала ему Рут. Она же, исчерпав всю свою смелость, готова была снова ждать, пока можно будет еще раз повторить вопрос.

Но ждать ей пришлось недолго. У Мартина был тоже вопрос, который он хотел задать ей. Он хотел убедиться, насколько велика ее вера в него, и через неделю на оба вопроса был получен ответ. Мартин сам ускорил это, прочитав ей свой «Позор солнца».

— Отчего вам не сделаться репортером? — спросила она, когда он кончил. — Ведь вы так любите писать, и я уверена, что вы добились бы успеха. Вы могли бы выдвинуться в журналистике и создать себе имя. Ведь есть очень много крупных специальных корреспондентов; они много зарабатывают, и для них открыт весь мир. Их посылают повсюду — в африканские дебри, как Стэнли, интервьюировать римского папу или исследовать таинственный Тибет.

— Значит, вам не нравится моя статья? — спросил он. — Вы находите, что у меня есть способности к журналистике, но не к литературе?

— Нет-нет, ваша статья мне нравится. Она хорошо написана. Но я боюсь, что ваши читатели еще не доросли до нее. По крайней мере, она выше моего понимания. Она очень красиво написана, но я ничего не поняла в ней. Ваш научный

язык недоступен для меня. Вы человек крайностей, дорогой мой, и то, что понятно вам, может быть непонятно другим.

— Может быть, вас просто затрудняют философские термины, — только и произнес он.

Он весь пылал от чтения этой статьи, в которой изложил свои самые зрелые мысли, и этот приговор ошеломил его.

— Может быть, это плохо написано, — настаивал он, — но неужели вы не видите в этой статье никаких достоинств, в ее идее, я хочу сказать?

Она покачала головой.

— Нет, это так не похоже на все, что я читала. Я читала Метерлинка и понимала его...

— Его мистицизм? Вы понимаете его? — воскликнул Мартин.

— Да, а то, что вы мне прочли, этих нападок на него я не понимаю. Конечно, если говорить об оригинальности...

Он остановил ее нетерпеливым движением, но сам не сказал ни слова. И вдруг до его сознания дошло, что она продолжает что-то говорить.

— Ведь, в конце концов, все ваши писания были для вас только забавой, — говорила она. — И вы уже достаточно поиграли этим. Пора отнестись серьезнее к жизни — к нашей жизни, Мартин. До сих пор вы жили только для себя одного.

— Вы хотите, чтобы я поступил на службу? — спросил он.

— Да. Папа предложил...

— Знаю, — прервал он, — но мне хочется узнать другое: вы потеряли веру в меня или нет?

Она молча пожала ему руку, глаза ее затуманились.

— В ваше писание, милый? — спросила она полушепотом.

— Вы читали массу моих произведений, — резко продолжал он, — какого вы о них мнения? Считаете ли вы их совершенно безнадежными? Могут они выдержать сравнение с произведениями других писателей?

— Но ведь те, другие продают свои произведения, а вы... не можете.

— Это не ответ на мой вопрос. Вы думаете, что литература не мое призвание?

— Хорошо, я отвечу. — Она собралась с духом. — Я не думаю, что вы созданы быть писателем. Простите меня, милый. Вы сами заставили меня это сказать. А я понимаю в литературе больше вашего.

— Да, вы бакалавр искусств, вы должны понимать больше, — произнес он задумчиво.

С минуту длилось тягостное молчание.

— Но я должен прибавить еще вот что. Только я один знаю, что во мне есть. Никто не знает этого так хорошо, как я. Я знаю, что добьюсь своего. Им не удастся затереть меня. Во мне пылает то, что я хочу высказать в стихах, в беллетристике и в критических статьях. Но я не прошу вас верить в это. Я не прошу вас верить в меня или в мои произведения. Я молю вас только об одном: любите меня и верьте в любовь.

Год тому назад я просил вас дать мне еще два года сроку. Один из них еще впереди. И я верю и клянусь моей честью и душой, что прежде, чем этот год пройдет, я добьюсь успеха. Помните, вы мне сказали когда-то, что я должен пройти курс учения, чтобы стать писателем. Ну, я прошел его и прошел основательно. Моей целью были вы, и я никогда не отступал. Знаете, я забыл, что значит выспаться. Миллионы лет тому назад я знал, что значит спать, сколько требует организм, и просыпаться естественным путем, выспавшись. Теперь же каждое утро меня поднимает будильник. Когда бы я ни лег, рано или поздно, я всегда ставлю его так, чтобы не проспать больше положенного времени, и это бывает моим последним сознательным актом. Когда меня начинает одолевать дремота, я заменяю серьезную книгу более легкой. А если я начинаю засыпать и над нею, то бью себя кулаками по голове, чтобы разогнать сонливость. Я читал у Киплинга о человеке, который боялся спать. Он приспособил гвоздь таким образом, что, когда начинал засыпать, железное острие вонзалось ему в тело. Вот то же самое делал и я. Я сообразовался с временем и решил, что до полуночи, до часу, до двух или до трех острие не будет убрано и не даст мне заснуть. Этот гвоздь целыми месяцами был моим верным товарищем. Я дошел до того, что пять с половиной часов сна кажутся мне роскошью. Я сплю

теперь четыре часа, и мне все время хочется спать. Иногда смерть с ее покоем и сном начинает не на шутку привлекать меня. Но, конечно, это вздор. Просто результат переутомления расстроенных нервов. Но зачем я все это делаю? Ради вас. Чтобы сократить это ученичество. Чтобы заставить успех поторопиться. И мое ученичество теперь кончено. Я знаю то, что мне нужно. Клянусь вам, что за один месяц я успеваю научиться большему, чем средний студент за год. Я знаю это, говорю вам. Ах, мне так нужно, чтобы вы поняли меня! Иначе я не стал бы говорить вам этого. Это не хвастовство. Я измеряю результаты книгами. Теперь ваши братья просто невежественные варвары по сравнению со мной, с теми знаниями, которые я добыл из книг в те часы, когда они спали. Прежде, давно, я мечтал о славе. Теперь я не придаю ей значения. Я желаю только одного, чтобы вы стали моей. Только вы одна мне нужны, а не богатство, не слава... Я мечтаю о том, как положу голову на вашу грудь и буду спать долго, долго. И я верю, что мечта эта станет действительностью, прежде чем пройдет второй год.

Его сила, точно волной, заливала ее, и чем сильнее ее воля противилась его воле, тем неодолимее ее влекло к нему. Сила, которая всегда исходила от него к ней, теперь изливалась потоком в его страстном голосе, в его горящих глазах, в той мощи жизни и разума, которая бушевала в нем. В этот момент, но только на одно мгновение, она увидела настоящего Мартина Идена, блестящего и непобедимого; и, как на укротителей зверей иногда находят сомнения, так и она усомнилась в том, что может укротить стихийную мощь этого духа.

— И вот еще что, — стремительно продолжал он, — вы любите меня. Но почему? Что вы нашли во мне достойного любви? Да, именно то самое, что побуждает меня писать. Вы любите меня, потому что я чем-то не похож на мужчин, которых вы встречали и могли полюбить. Я не создан для канцелярии и конторы, для кропотливого сутяжничества или адвокатского словоизвержения. Заставьте меня проделывать все это, сделайте меня похожим на других людей, заставьте меня заниматься тем, чем занимаются они, дышать одним

воздухом с ними, усвоить их взгляды — и вы уничтожите различие между нами, уничтожите меня, уничтожите то, что вы любите. Мое желание писать — самое живое, что есть во мне. Будь я посредственностью, ни я не желал бы писать, ни вы не желали бы иметь меня своим мужем.

— Но вы забываете одно, — прервала она. Ее поверхностный, но быстрый ум тотчас уловил параллель. — Ведь бывали же эксцентричные изобретатели, которые морили свои семьи голодом, гоняясь за такими химерами, как например вечное движение. Конечно, жены любили их и разделяли их страдания, но совсем не потому, что сами верили в это вечное движение, а наоборот.

— Вы правы, — ответил он. — Но были и другие изобретатели — не эксцентричные, — были такие, которые голодали, работая над осуществимыми изобретениями, и, как вы знаете, добились успеха. Я тоже не стремлюсь к чему-либо невозможному...

— Но вы сами выразились: «совершить невозможное», — вставила она.

— Ну, это просто образное выражение. Я хочу сделать то, что люди делали и до меня, — хочу писать и жить этим.

Она молчала. Это заставило его спросить:

— Так моя цель кажется вам такой же химерой, как вечное движение?

Он прочел ее ответ в движении, которым она положила на его руку свою: словно любящая мать, склонившаяся над своим больным ребенком. Для нее он, действительно, был больным ребенком-сумасбродом, пытающимся совершить невозможное.

К концу разговора она снова упомянула о том, что ее родные относятся к нему враждебно.

— Но вы-то любите меня? — спросил он.

— Люблю, люблю! — горячо воскликнула она.

— И я люблю вас, а не их, и они ничего не могут мне сделать.

В его голосе звучало торжество.

— Не могут... Потому что я верю в вашу любовь и не боюсь их вражды. Все в мире может ошибаться, только не любовь.

Любовь никогда не заблуждается, если только это не хилое существо, которое изнемогает и падает в пути.

ГЛАВА XXXI

Мартин случайно встретил на Бродвее свою сестру Гертруду. Это была счастливая, но в то же время мучительная встреча. Гертруда стояла на углу, у трамвайной остановки, и первая заметила брата. Она была поражена, увидев его обострившиеся черты, голодное выражение лица и озабоченный, полный отчаяния взгляд. Мартин, действительно, был озабочен и близок к отчаянию. Он возвращался после неудачного посещения ростовщика; он тщетно пытался выжать из него добавочную ссуду под свой велосипед. На дворе стояла дождливая осенняя погода, и Мартин предпочел отказаться от велосипеда и сохранить свою черную пару.

— У вас остался еще черный костюм, — заявил Мартину ростовщик, прекрасно осведомленный об его имуществе. — Нечего уверять меня, что вы уже заложили его этому старому Липке, потому что если вы это сделали...

Выразительный взгляд ростовщика довершил угрозу, и Мартин поспешно воскликнул:

— Нет-нет, костюм у меня, но он мне нужен для дела.

— Хорошо, — ответил, несколько смягчившись, ростовщик. — Но ведь мне он тоже нужен для дела, иначе я не могу дать вам денег. Не воображаете же вы, что я занимаюсь этим ради собственного удовольствия?

— У вас останется велосипед, который стоит по меньшей мере сорок долларов, да к тому же он в полной исправности, — пытался протестовать Мартин, — а вы мне дали под него лишь семь долларов. Нет, даже не семь, а шесть с четвертью, потому что проценты вы удержали вперед.

— Если вам нужны еще деньги, принесите свой костюм.

Это категорическое требование заставило Мартина покинуть душную маленькую берлогу ростовщика с таким отчая-

нием в душе, что оно отразилось на его лице и тронуло Гертруду.

Не успели они поздороваться, как к остановке подошел трамвай, чтобы забрать поджидавших его пассажиров. Когда Мартин стал помогать миссис Хиггинботам подняться на ступеньку, она догадалась, что он не собирается следовать за ней. Она быстро обернулась, и сердце ее снова сжалось при виде его измученного лица.

— А ты разве не поедешь? — спросила она и сейчас же спустилась со ступеньки вагона.

— Я пешком... так, все-таки прогулка, движение... — объяснил Мартин.

— Тогда я тоже пройду с тобой несколько кварталов. Может быть, и мне это будет полезно. Я тоже что-то раскисла за последние дни.

Мартин бросил на нее взгляд и ясно увидел подтверждение этих слов во всем неряшливом виде, нездоровой тучности, опущенных плечах и утомленном одутловатом лице. Она с трудом передвигала ноги, и эта тяжелая, лишенная упругости походка показалась ему настоящей карикатурой на уверенные движения здоровой, нормальной женщины.

Когда они дошли до следующей остановки, Гертруда стала задыхаться, и Мартин остановился.

— Остановимся здесь. Садись-ка ты лучше в трамвай.

— А ведь я и впрямь уже устала, — сказала она, с трудом переводя дыхание. — В твоих башмаках и я бы, пожалуй, ходила не хуже. Только подошвы вот у тебя больно тонкие, того и гляди протрутся, пока ты доберешься до Северного Окленда.

— У меня дома есть лучшая пара.

— Приходи ко мне завтра обедать, — предложила она вдруг, — мужа не будет дома, он уезжает по делам в Сан-Леандро.

Мартин отрицательно покачал головой, но сестра все же уловила голодный блеск, невольно загоревшийся в его глазах при одном намеке на обед.

— Март, да ведь у тебя нет гроша в кармане, вот почему ты ходишь пешком! Движение! — Она презрительно хмыкнула. — Подожди-ка, — она порылась в своем мешочке, достала оттуда

пять долларов и сунула монету в руку Мартина. — Я, кажется, забыла о твоем дне рождения, Март, — смущенно пробормотала она.

Рука Мартина инстинктивно зажала золотую монету, хотя он в тот же миг почувствовал, что не должен принимать этого подарка. Но этот кусочек золота означал для него пищу, жизнь, приток новых сил для его тела и мозга, а вместе с этим способность писать; и, кто знает, быть может, он даст ему возможность создать нечто такое, что принесет ему много других таких же золотых кусочков. В его воображении тотчас же встали две недавно законченные статьи. Они лежали под столом на груде возвращенных рукописей, для которых у него не было больше марок. Он увидел заглавия, которые надписал перед самым уходом из дому: «Колыбель красоты» и «Жрецы чудесного». Он никуда их еще не посылал, а между тем это было лучшее, что ему удалось создать до сих пор в этой области. Если бы только у него были марки, чтобы разослать их по редакциям! Уверенность в конечном успехе, верная союзница голода, воскресла в нем с новой силой, и Мартин быстрым движением опустил монету в карман.

— Я верну тебе, Гертруда, в сто раз больше, — пробормотал он сдавленным голосом, чувствуя, как к горлу подкатывает мучительный клубок, а на глазах выступают слезы. — Запомни мои слова, — продолжал он, решительным усилием овладев собой. — Не пройдет и года, как я вложу тебе в руку сто таких же маленьких желтых кружочков. Я знаю, что ты не веришь мне сейчас. Что ж, пусть так. Я прошу тебя только немного подождать.

Гертруда не поверила Мартину, и от этого ей самой стало не по себе. Не находя ничего другого, она ответила:

— Ты голоден, Март, этого не скроешь. Приходи к нам почаще обедать. Я пришлю к тебе кого-нибудь из ребят предупредить, когда Хиггинботама не будет дома. И потом, знаешь, Март... — она запнулась.

Мартин молчал, хотя весь ход ее мышления был вполне ясен для него, и он мог бы закончить за нее начатую фразу.

— Не думаешь ли ты, что тебе пора взяться за дело?

— Значит, ты не веришь в то, что я могу добиться успеха? — спросил он в ответ.

Она покачала головой.

— Никто не верит в меня, Гертруда, кроме меня самого, — со страстным возмущением продолжал он. — Я уже создал много крупных хороших вещей, и рано или поздно они будут проданы.

— Почему ты знаешь, что они хорошие?

— Потому что... — Мартин осекся.

Внезапно вся обширная область существующей литературы и истории литературы раскрылась перед ним, и он понял тщетность попытки доказать сестре, на чем основывается его вера в себя.

— Да просто потому, что они лучше девяноста девяти процентов того, что печатается в журналах.

— Как бы я хотела, Мартин, чтобы ты сделался, наконец, благоразумнее, — возразила она ему с непоколебимой верой в спасительность своего совета. — Да, я очень бы хотела этого... Так приходи же к нам завтра обедать.

Мартин помог сестре войти в трамвай и побежал в ближайшее почтовое отделение, где тотчас же истратил на марки три доллара из полученных пяти. Позже, отправляясь вечером к Морзам, Мартин сдал на почту целый ворох длинных, объемистых пакетов, на которые он истратил все купленные утром марки, кроме трех марок по два цента.

Этот вечер оказался для Мартина знаменательным, потому что после обеда он встретил у Морзов Рэсса Бриссендена. Как он попал туда, чьим другом он был или кто привел его в этот дом, Мартин не знал. Он не стал расспрашивать о нем Рут. Бриссенден показался ему анемичным, неинтересным человеком, и он вскоре совсем забыл о его существовании. Через час он решил, что Бриссенден, кроме того, и невежа: он бесцеремонно слонялся из комнаты в комнату, глазел на картины или совал нос в книги и журналы, которые брал со столов или снимал с полок. Хотя он был в этом доме в первый раз, под конец вечера он уединился, развалился с полным комфортом в глубоком мягком кресле и углубился в чтение

тоненькой книжки, которую вытащил из своего кармана. Читая, он машинально поглаживал свои волосы. В этот вечер Мартин больше не обращал на него внимания и только раз мельком заметил, что он не без успеха ведет шутливый разговор с несколькими молодыми женщинами.

Случилось так, что, возвращаясь домой, Мартин нагнал Бриссендена, который шел в том же направлении. Он окликнул его. Бриссенден буркнул что-то нелюбезное, но посторонился. Мартин пошел рядом, не делая больше попыток возобновить разговор. Они молча прошли несколько кварталов.

— Что за напыщенный старый осел!

Мартин даже вздрогнул от этого неожиданного и энергичного восклицания. Оно рассмешило его, но в то же время усилило неприязнь к Бриссендену.

— Зачем вы ходите туда? — резко спросил его Бриссенден, после того как они молча прошли еще один квартал.

— А вы зачем? — спросил в свою очередь Мартин.

— А черт его знает! Во всяком случае, я в первый раз дал такого маху. В сутках двадцать четыре часа, нужно же их как-нибудь заполнить. Зайдем выпить.

— Ладно, — ответил Мартин.

Однако в следующее мгновение он уже раскаивался в той готовности, с которой принял приглашение Бриссендена. Дома его ждали несколько часов работы перед тем, как лечь в постель, а в постели — томик Вейсмана, не говоря уже об автобиографии Герберта Спенсера, которая была для него интереснее самого захватывающего романа. Чего ради он станет терять время теперь с человеком, который к тому же ему не по душе. Да, конечно, его привлекал не сам Бриссенден и не выпивка, а то, что непосредственно связано с выпивкой: яркие огни, зеркала, блестящий ряд стаканов, разгоряченные и возбужденные лица, гул голосов. Постоянное одиночество тяготило Мартина, вот почему он так охотно принял приглашение. После знаменательной попойки с Джо в «Горячих Ключах» он ни разу не был в каком-нибудь баре и только раз выпил в компании с португальцем-бакалейщиком. Умственное истощение не вызывает такого тяготения

к вину, как физическое переутомление, и Мартин до сих пор просто не ощущал потребности в алкоголе. Теперь же его потянуло вдруг в эту атмосферу, где бывает шумно, пьяно и весело. Таким местом оказалась «Пещера», где он и Бриссенден удобно расположились в больших кожаных креслах и стали потягивать шотландское виски с содовой.

Они разговорились о разных вещах, по очереди заказывая выпивку. Мартин и сам обладал на редкость крепкой головой, но Бриссенден просто поразил его тем, сколько он мог выпить. Однако еще больше изумило Мартина то, что он говорил. Мартин быстро пришел к заключению, что Бриссенден знает все, и решил, что это второй по-настоящему мыслящий человек, с которым он встретился за все это время. Но он тут же отметил, что у Бриссендена есть еще то, чего не хватало профессору Колдуэллу, а именно: огонь, блестящая интуиция, позволявшая ему проникать в самую сущность вещей, и широкий размах мысли. Из его уст лилась прекрасная живая речь; с тонких губ срывались едкие, безжалостно язвительные фразы, и те же тонкие губы мягко облекали в благоуханную форму нежные, бархатистые, сладкие мысли о блеске и славе, о служении красоте, о неразрешимых тайнах бытия. Но вот рот его снова превращался в бряцающий кинжал, который звенел отзвуками бурь космической борьбы, и слова звучали чище серебра, лучезарнее звездных пространств, подводя итог всей мудрости человеческого знания. Однако в них заключалось и нечто большее, чем знание, — возвышенная непостижимая истина, которую может облечь в формы человеческого языка только поэт, одаренный искусством находить какие-то новые, еле осязаемые, почти неуловимые сочетания обычных слов. Благодаря чудесному дару прозрения он проникал в недостижимые глубины, за пределы последних граней эмпиризма, для которых не существует человеческих слов; но благодаря своему волшебному дару слова он вкладывал новый смысл в старые понятия и таким образом передавал чуткой душе Мартина истины, недоступные пониманию заурядных людей.

Мартин забыл о своей неприязни к Бриссендену. Перед ним было теперь лучшее, что могли дать книги, — живой интеллект,

человек, на которого он должен был смотреть снизу вверх. «Я словно в прахе у его ног», — мысленно твердил он.

— Вы, видимо, изучали биологию? — произнес он вслух.

Однако, к его великому изумлению, Бриссенден отрицательно покачал головой.

— Но ведь вы высказываете истины, установленные именно биологией, — настаивал Мартин, заметив недоуменный взгляд Бриссендена. — Ваши выводы, несомненно, взяты из книг, которые вы читали.

— Мне очень приятно слышать это, — ответил Бриссенден, — я рад, что мои поверхностные знания дали мне возможность найти кратчайшую дорогу к истине. Я сам никогда не интересуюсь тем, прав я или нет. По-моему, это совершенно не важно. Человек не может познать абсолютной истины.

Мартин не удержался от торжествующего возгласа.

— Так вы последователь Спенсера?

— Я не читал его со времен ранней юности, да и тогда прочел только его «Воспитание».

— Хотел бы я приобретать знания так же играючи, как вы, — воскликнул Мартин через полчаса, в течение которых он ближе познакомился с умственным багажом Бриссендена. — Вы догматик чистейшей воды, и вот это-то и есть самое удивительное. Вы догматически доходите до самых новых положений, которые наука сумела установить лишь путем индуктивного рассуждения. Вы сразу перескакиваете к правильным выводам и, конечно же, мчитесь к истине кратчайшими путями, с быстротой света, пробегая благодаря какой-то сверхъестественной способности.

— Пожалуй, меня немало изводили этим отец Джозеф и брат Дэттон, — ответил Бриссенден. — Нет, нет, я тут ни при чем, — быстро добавил он. — Это была просто счастливая случайность, что меня воспитали в католическом колледже. Но вы-то откуда набрались всей этой премудрости?

Мартин начал рассказывать ему о себе, в то же время внимательно рассматривая Бриссендена, его продолговатое, худощавое, умное лицо, сутулые плечи, его брошенное на со-

седний стул пальто с оттопыренными карманами, из которых торчали книги.

Лицо Бриссендена и длинные тонкие кисти рук были покрыты загаром, слишком сильным, по мнению Мартина, и это обстоятельство сбивало его немного с толку. Было ясно, что Бриссенден не принадлежит к числу людей, проводящих много времени на открытом воздухе. Где же он мог так загореть? И Мартину невольно пришло в голову, что под этим загаром кроется что-то не совсем обычное и нормальное. Он снова стал всматриваться в узкое лицо Бриссендена, с выдающимися скулами, впалыми щеками и изумительно тонким орлиным носом. Такого изящного носа Мартин никогда еще не видел. По форме и цвету глаза Бриссендена не были примечательны: они ни велики, ни малы, неопределенного коричневого оттенка; но в них таился огонь, вернее, какое-то странное, противоречивое, двойственное выражение. Эти вызывающие, непокорные, даже жестокие глаза почему-то вызывали жалость. Мартин поймал себя на том, что жалеет Бриссендена, сам не зная почему. Однако он скоро понял это.

— Я ведь чахоточный, — небрежно заметил Бриссенден, рассказывая о том, что недавно вернулся из Аризоны. — Я провел там несколько лет, провел курс климатического лечения.

— А вы не побоялись вернуться в наш климат?

— Побоялся?

Бриссенден повторил это слово без какого-либо особого подчеркивания, и Мартин ясно прочел на его аскетическом лице, что он ничего и никого не боится. Глаза Бриссендена сузились, как у орла, и Мартин, затаив дыхание, смотрел на этот орлиный нос с раздувающимися ноздрями, такой смелый, властный, вызывающий. «Великолепно!» — мысленно воскликнул Мартин, чувствуя, как закипает вся его кровь. Вслух же он продекламировал:

Под мечом Успеха острым
Обольется кровью жаркой,
Но ни разу не поникнет
Мое буйное чело...

— Вы любите Хенли, — заметил Бриссенден, и лицо его тотчас же стало мягким, почти нежным. — Впрочем, иначе и быть не могло. Хенли — смелая душа. Среди толпы современных журнальных рифмоплетов он выделяется, как гладиатор среди евнухов.

— Вы не любите журналов? — мягко спросил Мартин.

— А вы их любите? — огрызнулся Бриссенден так резко, что Мартин вздрогнул.

— Я... я... пишу, вернее, пытаюсь писать в журналах, — запинаясь, ответил Мартин.

— Это лучше, — последовал смягченный ответ. — Вы пытаетесь писать, но безуспешно. Я уважаю ваши неудачи и преклоняюсь перед ними. Я знаю, что вы пишете. Мне нет надобности видеть это своими глазами. В ваших произведениях есть что-то, что мешает им проникнуть в журналы, у вас есть глубина, внутренний смысл, а этот товар журналам не нужен. Им требуются пустые орехи, мусор, и, можете быть спокойны, они получают его вдоволь, — только, конечно, не от таких, как вы.

— Я гожусь только для ремесленной работы.

— Напротив, — Бриссенден остановился и внимательно осмотрел Мартина с ног до головы. Он сразу подметил следы нищеты, ясно сквозившие в сильно поношенном галстуке, в вытертом воротничке, блестящих рукавах пиджака, одном обтрепанном обшлаге и во впалых щеках Мартина, — напротив, ремесленная работа — это не для вас, настолько не ваша, что вы не должны даже думать об успехах в ней. Скажите, дружище, ведь я оскорбил бы вас, если б предложил вам поесть?

Вся кровь бросилась Мартину в лицо, ему даже стало жарко. Бриссенден торжествующе рассмеялся.

— Сытого человека не оскорбляет такое предложение, — добавил он.

— Вы сущий дьявол! — возмущенно крикнул Мартин.

— Ведь я же еще ничего не предложил вам.

— Вы не посмели бы!

— Ну, это, положим, неизвестно. А вот теперь я приглашаю вас.

С этими словами Бриссенден слегка приподнялся, как бы собираясь в самом деле отправиться в ресторан.

Мартин крепко сжал кулаки, чувствуя, что кровь так и стучит у него в висках.

— Боско! Он ест их живьем, ест их живьем! — воскликнул Бриссенден, подражая выкрикам местной знаменитости — пожирателя змей.

— Вас-то я безусловно мог бы съесть живьем, — ответил Мартин в свою очередь, дерзко впиваясь глазами в болезненное лицо Бриссендена.

— Ну, меня есть не стоит!

— Напротив. Но из-за этого, действительно, не стоит. — Мартин разразился сердечным искренним смехом. — Сознаюсь, Бриссенден, вы заставили меня свалять дурака. Нет ничего сверхъестественного, а тем более постыдного в том, что я голоден и что вы это заметили. Вы видите, я смеюсь над жалкой условной моралью толпы, но стоило вам произнести правдивое резкое слово, как я тотчас же снова обратился в раба этой жалкой условной морали.

— Да, вы обиделись, — подтвердил Бриссенден.

— На одну минуту. Предрассудки юности. Ведь недаром меня пичкали этим ненужным хламом с детства, вот он и примешивается иногда к тому, что я усвоил с тех пор. Это привидения в чулане моей души.

— Надеюсь, что теперь вы хорошенько прихлопнули за ними дверь.

— Будьте спокойны.

— Наверно?

— Наверно!

— Тогда пойдем поесть чего-нибудь.

— Пойдем, — согласился Мартин, тут же пытаясь уплатить за виски с содовой остатками своих двух долларов. Но ему пришлось отказаться и от этого, ибо Бриссенден заставил официанта вернуть деньги и сам расплатился за обоих.

Мартин с недовольной гримасой опустил деньги в карман и почувствовал на мгновение ласковое прикосновение руки Бриссендена к своему плечу.

ГЛАВА XXXII

На следующий день, после обеда, Мария была взволнована приходом нового гостя Мартина. На этот раз, однако, она не растерялась и проводила Бриссендена в свою гостиную.

— Надеюсь, вы не имеете ничего против моего визита? — начал Бриссенден.

— Нет-нет, напротив, — приветствовал гостя Мартин, пожимая ему руку и предлагая свой единственный стул. — Но как вы узнали мой адрес? — спросил он, сам усаживаясь на кровать.

— Позвонил по телефону к Морзам. Мисс Морз сказала мне, где вы живете, и вот я здесь. — Он вынул из кармана пальто тонкую книжку и бросил ее на стол. — Вот книга, написанная настоящим поэтом. Прочтите ее и оставьте себе.

Мартин попробовал протестовать, но Бриссенден продолжал:

— На что мне книги? Сегодня у меня опять было кровохарканье. Есть у вас виски? Конечно, нет! Подождите минуту.

Он исчез. Мартин проводил глазами его длинную фигуру, спускавшуюся по наружной лестнице, и с грустью заметил, как согнулись его некогда широкие плечи над впалой грудью. Мартин вынул два бокала и погрузился в чтение последнего сборника стихотворений Генри Вогана Марлоу.

— Шотландского нет, — заявил, возвратившись, Бриссенден. — Этот плут держит только американский. Зато я принес целую четверть.

— Я пошлю кого-нибудь из ребят за лимонами, — предложил Мартин, — и мы приготовим грог. Интересно, сколько Марлоу заработает на такой книжице?

— Долларов пятьдесят. Однако сомневаюсь, чтобы ему удалось выжать даже это. Не всякий издатель рискнет выпустить эту книжку.

— Так вы думаете, что жить поэзией нельзя? — лицо и тон Мартина выразили глубокое разочарование.

— Конечно, нет. Какой дурак станет на это рассчитывать? Рифмоплетством, пожалуй, еще можно. Вот Брюс, Виржиния Спринг, Седжвик процветают. Но поэзия! Знаете, как Воган Марлоу добывает средства к существованию? Он преподает в Пенсильвании на курсах, предназначенных натаскивать к экзаменам отстающих мальчишек. Это наихудшее из всех видов ада на земле. Я не поменялся бы с ним, даже если бы он посулил мне за это пятьдесят лет жизни. А между тем, его произведения блещут среди кучи мусора современных рифмоплетов, как рубин среди моркови. А что пишут о нем критики! Будь они прокляты — все эти ничтожные бездушные людишки!

— О настоящих писателях большей частью пишут люди, которые сами не способны ничего создать, — заметил Мартин. — Я был поражен количеством ерунды, написанной о Стивенсоне и его сочинениях.

— Мегеры и гарпии! — проскрежетал Бриссенден. — Да, я помню, как эта свора старалась разнести его в клочья за его «Письмо отца Дамьена». Они анализировали, взвешивали, копались...

— Мерили его на свой мелкий мещанский аршин, — докончил Мартин.

— Вот именно, хорошо сказано. Они чавкают, гложут, обдирают все истинное, прекрасное, доброе, чтобы под конец одобрительно похлопать автора по спине, точно собаку: «Молодец, Фидо! Хороший пес!» Тьфу! Ричард Рилф перед самой своей смертью назвал их маленькими трескучими сороками в человеческом облике.

— Да, сороки, пытающиеся клевать звездную пыль, — горячо поддержал его Мартин, — мысль гения, сверкающую, как метеор. Я как-то написал статью о них или, вернее, о рецензентах.

— Покажите-ка, — быстро сказал Бриссенден.

Мартин откопал свою рукопись «Звездная пыль». Читая, Бриссенден то и дело посмеивался, потирая от восторга руки, и даже забыл о своем гроге.

— Думается мне, что вы сами частица этой звездной пыли, брошенная в мир гномов, у которых глаза плотно закрыты

колпаками. Конечно, первый же журнал, к которому вы обратились, отверг вашу рукопись, — предположил Бриссенден.

Мартин заглянул в свою записную книжку:

— Двадцать семь журналов отказались принять ее.

Бриссенден попробовал было весело расхохотаться, но вместо этого разразился кашлем.

— Послушайте, Мартин, не может быть, чтобы вы не пробовали писать стихов. Давайте-ка сюда что-нибудь!

— Только не читайте их сейчас, — взмолился Мартин. — Я хочу поговорить с вами. Я вам упакую их, и вы прочтете все это дома.

Бриссенден вышел от него, унося под мышкой «Сонеты о любви» и «Пери и жемчуг». На следующий день он вернулся и потребовал:

— Дайте еще!

Бриссенден уверил Мартина, что считает его истинным поэтом. Из разговора Мартин узнал, что Бриссенден тоже пишет стихи. Познакомившись с его произведениями, Мартин пришел в восторг. Его поразило то, что Бриссенден ни разу не сделал попытки напечатать свои стихи.

— Черт с ними, со всеми этими журналами, — ответил Бриссенден, когда Мартин предложил ему поспособствовать с этим. — Любите красоту ради нее самой. И забудьте о журналах. Возвращайтесь вы к своему морю, к своим кораблям, Мартин Иден, — вот мой совет. Чего вы хотите в этих болотах, гниющих городах? Вы сами себя убиваете каждым лишним днем, который теряете, живя здесь, потому что принуждаете себя проституировать красоту во славу журналов. Что это вы мне процитировали на днях? Ах, да! «Человек — последняя из эфемер». Зачем же вам, последней из эфемер, слава? Ведь если вы даже достигнете ее, она тотчас же отравит вас. Вы слишком цельны, слишком стихийны и слишком рациональны, чтобы благоденствовать. Я надеюсь, что вы никогда не продадите в журнал ни единой строчки. Одна только красота достойна служения. Служите же ей, и к черту толпу! Успех! На кой шут вам успех. Вы уже достигли его в своем сонете в честь Стивенсона, который стоит выше Хенли, в ва-

ших «Сонетах о любви», в морских стихах. Ведь радость — не в достигнутом успехе, а в самом процессе созидания, в творчестве. Можете не говорить мне этого, я и сам знаю. Вы ранены красотой, и эта незаживающая рана жжет вас вечной мукой. Бросьте журналы! Пусть вашей целью будет красота. Зачем претворять красоту в золото? Впрочем, вам это все равно никогда не удастся, и я напрасно волнуюсь. Читайте журналы хоть тысячу лет, вы так и не найдете в них ничего, что могло бы выдержать сравнение хотя бы с одной строчкой Китса. Бросьте гоняться за славой и золотом. Запишитесь завтра же на какой-нибудь корабль и вернитесь к своему морю.

— Это погоня не за славой, а за любовью, — засмеялся в ответ Мартин. — В вашем космосе, по-видимому, нет места для любви. В моем же — красота лишь прислужница любви.

Бриссенден посмотрел на него с выражением восхищения и сожаления.

— Вы так еще молоды, Мартин, так молоды. Вы взлетите высоко, но ваши крылья сделаны из тончайшего газа и осыпаны пыльцой красивейших цветов. Смотрите, как бы не опалить их! Впрочем, вы, несомненно, уже опалили их. Ведь ясно, что ваши «Сонеты о любви» прославляют какую-то юбку, — стыдитесь!

— Мой цикл прославляет не только юбку, но и любовь, — снова рассмеялся Мартин.

— Философия безумия, — возразил Бриссенден. — Я убедился в этом когда-то, утопая в грезах, навеянных гашишем. Но берегитесь. Эти буржуазные города убьют вас. Вот возьмите хотя бы это гнездо торгашей, в котором я встретил вас. Их даже нельзя назвать гнилью. Нельзя сохранить здоровье в такой атмосфере. Это атмосфера низости, и вы не найдете среди них ни одного человека, который возвышался бы над этой низостью. Все они, мужчины и женщины, просто одушевленные желудки, управляемые семейными аппетитами...

Бриссенден внезапно умолк и посмотрел на Мартина. У него вдруг мелькнула догадка, и он сразу понял, в чем дело. На лице его отразилось изумление и испуг.

— И вы написали свои потрясающие «Сонеты о любви» в честь ее, в честь этой бледной сухопарой самочки?

В то же мгновение правая рука Мартина крепко схватила его за горло и встряхнула с такой силой, что у него застучали зубы. Взглянув ему в глаза, Мартин, однако, не увидел в них и следа страха: точно какой-то любопытный и насмешливый бесенок выглядывал из них. Мартин опомнился, разжал пальцы и, освободив шею Бриссендена, бросил его на кровать.

Отдышавшись, Бриссенден расхохотался.

— Вы бы сделали меня своим вечным должником, если бы отправили меня на тот свет.

— У меня страшно напряжены нервы в последние дни, — извинился Мартин. — Надеюсь, что я не причинил вам вреда? Я приготовлю вам сейчас свежий грог.

— Ах вы, юный грек! — продолжал Бриссенден. — Любопытно, знаете ли вы цену своему телу? Вы дьявольски сильны, точно молодой лев или пантера. Ну-ну, и придется же вам расплачиваться за эту силу.

— Что вы этим хотите сказать? — с любопытством спросил Мартин, передавая ему стакан. — Вот выпейте и не злитесь.

— Из-за... — Бриссенден отхлебнул из своего стакана и добродушно улыбнулся, — из-за женщин. Они будут надоедать вам до самой смерти так же, как, несомненно, надоедали до сих пор. Напрасно вы пытались душить меня, я все равно выскажу вам то, что думаю. Это, конечно, ваша первая любовь. Но, во имя красоты, постарайтесь проявить в следующий раз больше вкуса. Скажите ради неба, что может дать вам девица из буржуазной семьи? Бросьте их. Зажгите бурную, огненную страсть в женщине, которая смеется над жизнью, не боится смерти и умеет любить. Такие женщины существуют, они полюбят вас с такой же готовностью, как и любой малодушный продукт буржуазной теплицы.

— Малодушный? — запротестовал Мартин.

— Именно малодушный, лепечущий наставления прописной морали, которой его пичкали с детства, и дрожащий перед жизнью. Она-то будет любить вас, Мартин, но еще больше будет любить свою прописную мораль. Вам же нуж-

но гордое пренебрежение к жизни, вам нужны великие свободные души, блестящие ослепительные бабочки, а не мелкая серая моль. О, вы устанете от них, от всех женщин вообще, если на свое несчастье останетесь жить. Но нет, вы жить не будете. Вы ведь не вернетесь к вашему морю, к вашим кораблям, а останетесь торчать здесь, в этой зачумленной городской дыре, пока сами не прогниете до костей. А потом сгниете сами.

— Вы можете говорить, сколько хотите, но переубедить меня вам все же не удастся, — сказал Мартин. — В конце концов, это только ваша мудрость, но моя мудрость не менее непогрешима, чем ваша.

Они расходились во взглядах на любовь, на журналы и на многое другое, но это не помешало им искренно полюбить друг друга, и со стороны Мартина чувство это вылилось в глубокую привязанность. Они виделись ежедневно, хотя Бриссенден не мог высидеть больше часа в маленькой душной комнате Мартина. Он никогда не приходил без четверти виски. Когда же им случалось вместе обедать в городе, Бриссенден неизменно пил свое виски с содовой в продолжение всего обеда. Он всегда платил за обоих, и благодаря ему Мартин вкусил прелесть изысканного стола и познакомился с шампанским и рейнвейном.

Но Бриссенден продолжал оставаться для него загадкой. Несмотря на анемичность и лицо аскета, он был откровенным чувственником; он не боялся смерти, желчно и цинично относился ко всяким проявлениям жизни и, умирая, любил жизнь в каждой ее мелочи. Он был одержим безумной жаждой жить, ощущать трепет жизни, «ворошиться в космической пыли, из которой я создан», как он однажды выразился про себя. Он принимал различные возбуждающие снадобья и делал много странного в поисках новых острых ощущений. Он рассказал Мартину, что однажды три дня не прикасался к воде, чтобы испытать невыразимое наслаждение — утолить жгучую жажду. Кто был Бриссенден и кем он был — Мартин так никогда и не узнал. Это был человек без прошлого, с неизбежной могилой в ближайшем будущем и лихорадочной жаждой жизни в настоящем.

ГЛАВА XXXIII

Мартин все больше проигрывал сражение. Как он ни экономил, но заработок, приносимый ремесленной работой, не покрывал его расходов. В скором времени его черный костюм был заложен, и он не мог принять приглашения Морзов на обед. Его объяснения нисколько не утешили Рут, а сам он был просто в отчаянии. Он обещал ей, что все-таки придет. Мартин решил отправиться в редакцию «Трансконтиненталя» в Сан-Франциско, получить там причитающиеся ему пять долларов и выкупить свой черный костюм.

Утром он занял у Марии десять центов. Он охотнее попросил бы их у Бриссендена, но этот загадочный человек исчез. Мартин не видел его уже две недели и тщетно ломал себе голову, чем он мог его обидеть. За эти десять центов Мартин переправился на пароме в Сан-Франциско и, идя по Маркет-стрит, размышлял о том, что он станет делать, если не получит своих пяти долларов. Он даже не сможет вернуться в Окленд, потому что в Сан-Франциско у него не было ни одной знакомой души, у которой он мог бы занять десять центов на обратный путь.

Дверь в редакцию «Трансконтиненталя» была приоткрыта. Мартин собрался уже войти, как вдруг остановился, услыхав чей-то громкий голос:

— Дело не в этом, мистер Форд (как Мартин знал из переписки, Форд было имя редактора), а в том — намерены вы платить или нет. Мне нужны деньги. Уплатите наличными, вот что. Меня нисколько не интересует, какие виды у журнала и на что вы рассчитываете в будущем году. Я хочу, чтобы вы уплатили мне за мою работу, и заявляю вам, что рождественский номер не будет напечатан, пока я не получу денег на руки. Будьте здоровы. Когда достанете денег, приходите ко мне.

Дверь распахнулась, и мимо Мартина, бормоча проклятия, проскочил человек с сердитым лицом и сжатыми кулаками. Мартин не решился войти сейчас же и побродил с четверть часа по вестибюлю. Затем открыл дверь и вошел. Он впервые

был в редакции. Все было для него ново. Визитные карточки, очевидно, не являлись необходимостью в этом учреждении, потому что мальчик-курьер просто крикнул во внутреннюю комнату, что кто-то хочет видеть мистера Форда.

Обернувшись, мальчик знаком позвал Мартина и ввел его во внутреннее помещение, в редакторское святилище. Первое, что бросилось Мартину в глаза, был хаотический беспорядок, царивший в комнате. Затем он заметил моложавого человека с бакенбардами, который сидел за письменным столом и с любопытством смотрел на него. Мартина изумило безмятежно-спокойное выражение его лица. Было очевидно, что ссора с типографом нисколько не нарушила его душевного равновесия.

— Я... я... Мартин Иден, — начал Мартин («И хочу получить свои пять долларов», — хотел он добавить, но не посмел).

Это был первый редактор, с которым он имел дело, и, принимая во внимание то, что сейчас произошло, Мартин не хотел слишком резко наседать на него.

К его изумлению, мистер Форд вскочил с возгласом «Не может быть!» и стал обеими руками с чувством пожимать руку Мартина.

— Не могу выразить, как я рад вас видеть, мистер Иден! Сколько раз я пытался представить себе, как вы выглядите!

Он слегка отстранил от себя Мартина и окинул сияющим взглядом его сильно поношенный и потрепанный костюм, который выглядел весьма жалко, несмотря на тщательно вытюженные брюки.

— Признаюсь, я думал, что вы гораздо старше. В вашем рассказе, знаете ли, чувствуется такая широта и мощь, такая зрелость и глубина мысли! Этот рассказ написан мастерски. Я почувствовал это с первых строк. Позвольте мне рассказать вам, как я в первый раз прочел ваш рассказ. Впрочем, нет, сначала я должен познакомить вас со штатом редакции.

Не переставая говорить, мистер Форд провел Мартина в общую комнату, где представил его своему коллеге — редактору, мистеру Уайту, худенькому, тщедушному человечку со странно холодными руками — как будто у него был озноб — и с жидкими шелковистыми бачками.

— А это мистер Эндс, мистер Эндс — мистер Иден. Мистер Эндс — наш заведующий.

Мартин машинально пожал руку лысому человеку с живыми, бегающими глазами, тоже довольно моложавому, судя по лицу, наполовину заросшему белоснежной, тщательно расчесанной бородой. Эту бороду ему подстригала по воскресеньям жена, и она же брила его затылок.

Все трое окружили Мартина, выражая ему свое восхищение. Они говорили все сразу, точно стараясь перещеголять друг друга.

— Мы часто удивлялись, почему вы не приходите, — говорил мистер Уайт.

— У меня не было денег на проезд, а я живу по ту сторону залива, — откровенно заявил Мартин, желая намекнуть им на критическое состояние своих финансов.

«Наверно, — подумал он, — мои лохмотья сами по себе достаточно красноречиво говорят о нужде». Во время разговора он при каждом удобном случае намекал на цель своего посещения, но его поклонники, казалось, ничего не слышали. Они расточали ему хвалы, сообщали о своем первом впечатлении от его рассказа, о том, что они подумали после прочтения, что сказали их жены и родственники, но о том, чтобы заплатить за рассказ, никто и не заикался.

— Рассказывал я вам, как я в первый раз прочел ваш рассказ? — спросил мистер Форд. — Кажется, нет. Я возвращался из Нью-Йорка, и, когда поезд остановился в Огдене, проводник принес в вагон последний номер «Трансконтиненталя».

«Господи, — подумал Мартин, — ты разъезжаешь в пульмановских вагонах, а я тут умираю с голоду из-за несчастных пяти долларов, которые ты же мне должен». Волна гнева захлестнула его. Зло, причиненное ему журналом, возросло до колоссальных размеров. Он живо припомнил все тяжелые месяцы напрасных стремлений, нужды и лишений, и в нем тотчас же проснулся жестокий голод, напоминая, что он еще ничего не ел со вчерашнего дня, да и вчера съел очень мало. На мгновение у него потемнело в глазах. «Эти твари даже не грабители, а просто гнусные воришки», — решил он. Они выманили у него ложными

обещаниями и обманом этот рассказ. Но он им покажет. В нем сразу созрело решение. Он не уйдет из редакции, пока не получит своих денег. Он вспомнил, что у него не будет никакой возможности вернуться обратно в Окленд, если он не получит этих пяти долларов. Усилием воли Мартин овладел собой, но бешеное выражение его лица успело испугать и смутить их.

Они сделались еще словоохотливее. Мистер Форд снова стал рассказывать, как он прочел в первый раз «Колокольный звон», в то время как мистер Эндс пытался передать Мартину похвалы своей племянницы, школьной учительницы в Аламеде.

— Я вам скажу, зачем я пришел, — сказал, наконец, Мартин, — я хочу получить деньги за этот рассказ, который так понравился вам всем. Если я не ошибаюсь, вы обещали уплатить мне пять долларов, как только он будет напечатан.

Подвижное лицо мистера Форда выразило немедленную и радостную готовность, а рука его потянулась к карману. Вдруг он повернулся к мистеру Эндсу и заявил, что забыл деньги дома. Мистеру Эндсу это, видимо, не понравилось, и Мартин заметил судорожное движение его руки, точно он хотел защитить свои карманы, и это навело Мартина на мысль, что при нем есть деньги.

— Мне очень жаль, — сказал мистер Эндс, — но я как раз перед вашим приходом рассчитался с типографом и отдал ему все, что у меня было. Очень жалею, что не захватил с собой больше, но я не ожидал, что этот типограф попросит заплатить ему вперед.

Оба выжидательно посмотрели на мистера Уайта, но тот только засмеялся и пожал плечами. Его совесть, во всяком случае, была спокойна. Он поступил в издательство с целью поучиться журналистике, а вместо этого ему приходилось изучать финансы. Редакция была должна ему за четыре месяца, но он знал, что типографию надо удовлетворить раньше, чем редакторов.

— Как досадно, мистер Иден, что вы застали нас врасплох, — бодро начал мистер Форд. — Это простая случайность, уверяю вас. Вот, что мы сделаем: завтра же с утра пошлем вам чек. Ведь у вас имеется адрес мистера Идена, мистер Эндс?..

Да, у мистера Эндса адрес записан, и чек будет выслан мистеру Идену не позднее завтрашнего утра. Но хотя Мартин имел очень смутное представление о банках и чеках, он все же не видел причины, почему они не могли дать ему чек сегодня.

— Значит, решено, мистер Иден, мы завтра же высылаем вам чек, — сказал мистер Форд.

— Мне нужны деньги сегодня, — настойчиво повторил Мартин.

— Несчастное стечение обстоятельств! Если бы вы пришли в другой день... — снова сладко начал мистер Форд, но его перебил мистер Эндс, вспыльчивость которого отражалась в его живых глазах.

— Мистер Форд уже объяснил вам, как обстоит дело, — резко произнес он, — чек будет послан...

— Я тоже объяснил вам, — перебил Мартин, — что деньги мне нужны сегодня.

Он почувствовал, как пульс его забился сильнее от грубого тона заведующего, и устремил на него зоркий взгляд, ибо догадывался, что наличность редакции находится в карманах этого джентльмена.

— Право, нам очень досадно, — снова начал мистер Форд, но в эту минуту мистер Эндс сделал нетерпеливое движение и повернулся, как бы намереваясь выйти из комнаты. Мартин, не спускавший с него глаз, тотчас же бросился на него и схватил его одной рукой за горло, так что белоснежная борода заведующего, не изменив своей безукоризненной формы, поднялась прямо к потолку под углом в 45 градусов. Мистер Уайт и мистер Форд к своему ужасу увидели, что Мартин встряхивает их товарища, точно персидский ковер.

— Выворачивайте карманы, эй вы, почтенный эксплуататор начинающих молодых талантов! — кричал Мартин. — Выкладывайте монету, а не то я сам вытряхну из вас все до последнего гроша. — И, обращаясь к двум испуганным зрителям, добавил: — Не вздумайте соваться, не то плохо будет.

Мистер Эндс задыхался и, когда хватка Мартина несколько ослабела, тотчас же выразил знаками свою полную готов-

ность исполнить его требование. После долгих поисков из его кармана появились четыре доллара 15 центов.

— Вывернуть! — скомандовал Мартин. Выпало еще десять центов. Во избежание ошибки Мартин снова пересчитал свою добычу.

— Ну, теперь вы! — заорал он на мистера Форда. — Мне нужно еще 75 центов.

Мистер Форд не стал медлить и поспешно обыскал свои карманы, что дало еще 60 центов.

— Вы уверены, что это все? — угрожающе спросил Мартин, забирая и эти деньги. — Что у вас в карманах жилета?

В доказательство своей добросовестности мистер Форд вывернул оба кармана наружу. Из одного выпал кусочек картона. Он хотел вложить его обратно, но Мартин крикнул:

— Что это? Билет на паром? Давайте-ка его! Он стоит десять центов. Я засчитываю его. Итак, я получил 4 доллара 95 центов, включая этот билет. Пять центов за вами.

Он посмотрел на мистера Уайта и увидел, что этот тщедушный человечек протягивает ему никелевую монетку.

— Благодарю вас, — сказал Мартин, обращаясь ко всем вместе, — и будьте здоровы.

— Грабитель! — зарычал ему вслед мистер Эндс.

— Низкий вор! — отпарировал Мартин и, уходя, хлопнул за собою дверью.

Мартин разошелся — до того разошелся, что, вспомнив о «Шершне», который был должен ему 15 долларов за «Пери и жемчуг», решил сейчас же пойти туда и получить их.

Но «Шершень» издавался компанией чисто выбритых ловких молодых людей, откровенных мошенников, которые грабили всех и каждого, не исключая друг друга. После того как Мартин переломал часть редакционной мебели, редактору, считавшемуся в свое время чемпионом университета, удалось при искусной помощи заведующего, агента по сбору объявлений и швейцара выставить Мартина из редакции и спустить его с лестницы.

— Заглядывайте почаще, мистер Иден, всегда будем рады вас видеть, — насмехались они с верхней площадки лестницы.

Мартин поднялся, ухмыляясь.

— Фью, — крикнул он им, — после этого «трансконтинентальная шайка» — сущий хлам, а вы, ребята, призовые борцы!

Новый взрыв смеха приветствовал его слова.

— Должен сказать вам, мистер Иден, — крикнул ему вниз редактор «Шершня», — что для поэта вы тоже малый не промах. Позвольте узнать, где вы научились этому прямому удару?

— Там же, где вы выучились своему полунельсону, — ответил Мартин, — а фонарь-то у вас под глазом все-таки будет!

— Надеюсь, что ваша шея достаточно пострадала, — любезно возразил редактор. — Что вы скажете, не пойти ли нам выпить по этому поводу, то есть не по поводу вашей шеи, а по поводу нашего маленького, но бурного сражения?

— А что ж, прекрасно! — согласился Мартин.

Грабители и ограбленный выпили вместе и дружески порешили, что поле битвы осталось за сильнейшим и что 15 долларов за «Пери и жемчуг» по праву принадлежат штату редакции «Шершня».

ГЛАВА XXXIV

Артур остался у калитки, пока Рут поднималась по лестнице в квартиру Марии. За дверьми она услышала быструю трескотню машинки, и, когда Мартин впустил свою гостью, в руках его был последний лист рукописи. Она пришла выяснить, будет ли Мартин обедать у них в День благодарения, но прежде чем она успела спросить его, он заговорил о том, что поглощало все его мысли.

— Вот послушайте, я прочту вам, — воскликнул он, отделяя копии и складывая по порядку листы рукописи. — Это моя последняя вещь, и она совсем не похожа на то, что я писал до сих пор. Различие так велико, что я и сам немного испугался. Но чувствую, что это хорошая вещь. Вот, посудите сами. Это гавайский рассказ. Я назвал его «Вики-Вики».

Он весь горел творческим жаром, в то время как она дрожала в холодной комнате. Здороваясь с Мартином, она обратила внимание на то, что руки его холодны, как лед. Рут внимательно слушала его чтение, и хотя лицо ее выражало лишь неодобрение, он все-таки спросил:

— Скажите откровенно, что вы думаете об этом рассказе?

— Я... я не знаю, — ответила она. — Можно будет... как вы думаете, удастся его продать?

— Боюсь, что нет, — прямо ответил Мартин. — Это слишком сильная вещь для журналов. Но это правда, клянусь, сущая правда!

— Но почему вы непременно хотите писать такие вещи, которые нельзя продать? — беспощадно продолжала она. — Ведь вы же пишете для того, чтобы зарабатывать средства к жизни, не так ли?

— Так-то оно так. Но этот злосчастный рассказ овладел мной. Я должен был написать его, он так и рвался на бумагу.

— Но этот тип, этот Вики-Вики, почему вы заставляете его так грубо выражаться? Ведь это, несомненно, оскорбит читателей. Я уверена, что редакторы, главным образом, из-за этого и отказываются принимать ваши произведения, и они вполне правы.

— Но ведь настоящий живой Вики-Вики не мог бы говорить иначе.

— И все-таки это дурной вкус!

— Это жизнь, — резко ответил он, — это действительность, это правда. А я должен описывать жизнь такой, как она есть.

Она ничего не ответила, и на мгновение между ними воцарилось неловкое молчание. Он плохо понимал ее, потому что любил, а она не могла понять его, потому что он выходил за пределы ее кругозора.

— А я все-таки получил деньги от редакции «Трансконтиненталя», — сказал он, пытаясь перевести разговор на более спокойную тему.

Он вспомнил, как расправился с бородатой тройкой, отобрав у нее четыре доллара девяносто центов и билет на паром, и расхохотался.

— Так, значит, вы придете, — радостно воскликнула она, — ведь я только для того и пришла, чтобы узнать об этом.

— Прийти? — рассеянно пробормотал он. — Куда?

— Господи, да завтра к обеду! Помните, вы сказали, что если получите эти деньги, то выкупите ваш костюм.

— Я совсем забыл об этом, — виновато произнес он, — видите ли, сегодня утром сторож захватил двух коров и теленка Марии, ну... и вышло так, что у Марии не было денег, так что я заплатил штраф за ее коров. Вот куда ушла пятерка «Трансконтиненталя». «Колокольный звон» попал в карман сторожа.

— Так вы не придете?

Он посмотрел на свой костюм.

— Не смогу.

В ее голубых глазах блеснули слезы разочарования и упрека, но она промолчала.

— В будущем году в этот праздник вы будете обедать со мной у Дельмонико, — весело сказал он, — в Лондоне или в Париже, где захотите. Я в этом уверен.

— Несколько дней назад я прочла в газете, — отрывисто сказала она, — что в почтовом ведомстве состоялось несколько назначений. Ведь вы были, кажется, первым кандидатом?

Он был вынужден сознаться, что получил назначение и отклонил его.

— Я был так уверен... так уверен... в себе, — закончил он. — Через год я буду зарабатывать больше, чем дюжина почтовых чиновников, вместе взятых. Подождите — увидите.

— Ох, — только и произнесла Рут, когда он умолк. Она встала, натягивая перчатки. — Я должна идти, Мартин, Артур ждет меня.

Он обнял ее и поцеловал, но она осталась холодна к его ласкам. Ее тело не льнуло к нему, руки не обвивались вокруг шеи, и губы равнодушно встретились с его губами.

«Она рассердилась на меня, — решил Мартин, проводив ее до ворот. — Но за что же? Ведь это несчастная случайность, что сторож захватил коров Марии. Просто удар судьбы, за

который никого нельзя винить». Ему и в голову не приходило, что он мог поступить иначе. Правда, он действительно был немного виноват в том, что отказался от места в почтовом ведомстве. И «Вики-Вики» ей тоже не понравился.

Поднявшись по лестнице, он обернулся и увидел почтальона, который совершал свой дневной обход. Обычная лихорадка снова охватила Мартина, когда он взял от него пачку длинных конвертов. Но один был не похож на остальные. Это был короткий тонкий конверт с печатным бланком «Нью-Йоркского обозрения». Он медлил разорвать конверт. Это не могло быть уведомление о принятии рукописи, так как он ничего не посылал туда. Может быть, — сердце его замерло от такой дерзновенной мысли, — может быть, они заказывают ему статью? Но в следующую минуту он отогнал от себя эту мысль, как совершенно невероятную.

Это было короткое официальное извещение о том, что редакция получила прилагаемое анонимное письмо, но при этом считает долгом уведомить его, что редакция «Обозрения» никогда не придает значения анонимным письмам и что он может быть вполне спокоен в этом отношении.

Мартин увидел, что вложенное письмо было написано печатными буквами и представляло безграмотную ругань в его адрес. В нем говорилось, что «именующий себя Мартином Иденом», продающий журналам рассказы, — вовсе не писатель, а просто мошенник, который крадет свои рассказы из старых журналов, переписывает их на машинке и выдает за свои собственные. На конверте стоял почтовый штемпель Сан-Леандро. Мартин без большого труда догадался, кто автор. Правописание Хиггинботама, его стиль и словечки достаточно говорили за себя, и в каждой строке Мартину рисовался грубый кулак его зятя-лавочника.

Но за что, напрасно ломал себе голову Мартин. Чем он оскорбил Бернарда Хиггинботама? Этот поступок казался ему диким, бессмысленным и непонятным, и он никак не мог объяснить его. В течение недели около полудюжины подобных писем было переслано Мартину редакторами разных журналов. Редакторы ведут себя очень благородно, решил

Мартин. Он был им совершенно неизвестен, а между тем многие из них даже выражали ему свое сочувствие.

Они, очевидно, гнушались анонимными письмами. Он видел, что злостная попытка повредить ему не удалась. В самом деле, если из этого что-нибудь и вышло, то только хорошее, так как его имя, в конце концов, обратило на себя внимание многих редакторов. Может быть, кто-нибудь из них, читая присланную рукопись, и припомнит, что это именно о нем он получил анонимное письмо. И кто может сказать, что подобное воспоминание, как бы слабо оно ни было, не склонит весов их приговоров в его пользу?

Примерно в это же время Мартин сильно упал в глазах Марии. Однажды утром, войдя в кухню, он услышал, что она плачет и стонет от боли, с трудом водя тяжелыми утюгами. Он тотчас же поставил диагноз — грипп, напоил ее горячим виски (остатками принесенного Бриссенденом) и велел ей лечь в постель. Мария не соглашалась. Надо выгладить белье, возражала она, и сдать его вечером, иначе завтра ее семерым ребятам нечего будет есть.

Вдруг, к ее невыразимому изумлению (она до самой смерти не переставала рассказывать об этом потрясающем впечатлении), Мартин схватил утюг с плиты и бросил на гладильную доску тонкую батистовую блузку. Это была самая нарядная воскресная блузка Кэт Флэнаган, которую Мария считала необычайно взыскательной и разборчивой франтихой. Мисс Флэнаган прислала специальную инструкцию Марии, чтобы она приготовила ей к вечеру эту блузку. Всякий знал, что за Кэт ухаживает Джон Коллинз, кузнец, и Мария, кроме того, выведала частным образом, что они отправляются завтра в парк Золотых Ворот. Но напрасно старалась Мария спасти эту блузку из рук Мартина. Он заставил ее сесть в кресло, откуда она и смотрела на него вытаращенными от удивления глазами. Вскоре он подал ей блузку, и Мария собственными глазами убедилась, что вещь выглажена превосходно, во всяком случае, нисколько не хуже, чем если бы она сама выгладила ее.

— Я мог бы работать еще быстрее, — объяснил он, — если бы ваши утюги были горячее.

Однако, по ее мнению, утюги, которые были в его распоряжении, гораздо горячее тех, которыми она осмеливалась когда-либо работать.

— Вы не так обрызгиваете белье, — сказал он ей потом. — Дайте-ка я поучу вас. Надо применять давление. Обрызгивайте под давлением, если хотите, чтобы глаженье шло быстрее.

Он вытащил из погреба ящик, приделал к нему крышку и положил на нее железный лом, который собирали для сдачи ребята Марии. Спрыснутое белье укладывалось в ящик и накрывалось доской, на которую давил железный груз. Все это было очень просто и легко.

— А теперь смотрите, Мария, — сказал он, беря утюг, который был, по его мнению, «как следует нагрет».

— А когда он кончил гладить, — рассказывала потом Мария, — то показал мне, как надо стирать шерстяные вещи. «Мария, вы просто глупы, — сказал он. — Я научу вас, как стирать шерстяные вещи». И научил. В десять минут он смастерил машину из бочки, колесной ступицы и двух палок — вот как эта.

Мартин научился этой штуке у Джо в «Горячих Ключах». Спица от старого колеса, прикрепленная к вертикальному шесту, служила скалкой. Другим концом она прикреплялась к шесту, привязанному к балкам, что давало возможность приводить ее в движение одной рукой и хорошенько выколачивать шерстяное белье, находившееся в бочке.

«Больше я не стираю сама шерстяных вещей, — всегда заканчивала свой рассказ Мария. — Я заставляю ребятишек вертеть палку, спицу и бочку. Что и говорить, ловкий человек, этот мистер Иден!»

В результате, искусство Мартина и усовершенствования, введенные им в ее крошечную прачечную, сильно уронили его в глазах Марии. Романтический ореол, которым она окружила его, тотчас же рассеялся, когда она узнала, что он работал в прачечной. Все эти книги и важные друзья, приезжавшие в собственных экипажах или приносившие бесчисленное количество виски, потеряли теперь в ее глазах всякое значение. В конце концов, он тоже был рабочим и, следова-

тельно, принадлежал к тому же классу, что и она. Теперь он стал ей понятнее и ближе, но загадочность его исчезла.

Отчуждение Мартина от его семьи продолжалось. Вслед за беспричинным нападением Хиггинботама показал свои когти и мистер Герман Шмидт. Удачная продажа нескольких рассказов, стихов и шуток принесла Мартину временное благоденствие. Он не только выкупил свой велосипед и черный костюм, но решил выделить немного денег на починку велосипеда. Мартин в знак дружеского расположения к своему будущему зятю отправил его в мастерскую Германа Шмидта. Но в тот же день велосипед был возвращен ему обратно с каким-то мальчуганом. Мартин решил, что Шмидт тоже желает выказать ему особое внимание, ибо велосипеды обычно не присылаются на дом. Но, осмотрев его, он увидел, что велосипед остался неисправленным. Мартин тотчас позвонил по телефону жениху своей сестры и услыхал, что эта почтенная личность просто не желает иметь с ним никакого дела, «никоим образом, ни при каких обстоятельствах и ни в каком отношении».

— Герман Шмидт, — весело ответил Мартин, — у меня большое желание пойти и щелкнуть вас по вашему немецкому носу.

— Если вы явитесь ко мне в мастерскую, я тотчас же пошлю за полицией, — услышал он в ответ. — Я вас проучу. О, я вас вижу насквозь и не дам себя в обиду. Я не желаю иметь ничего общего с таким прощалыгой, как вы. Вы — бездельник, а я честный труженик. Вам не удастся поживиться на мой счет только потому, что я помолвлен с вашей сестрой. Ну-ка отвечайте, почему вы лодырничаете и не хотите заняться честным трудом, а?

Философия Германа рассеяла его гнев, и он, насмешливо свистнув, просто повесил трубку. Однако вскоре его настроение изменилось и он почувствовал себя бесконечно одиноким. Никто не понимал его, и никому он, собственно, не был нужен, кроме разве Бриссендена, да и тот пропадал неизвестно где.

Наступили сумерки, когда Мартин вышел из овощной лавки и отправился домой с покупками в руках. На углу остановился трамвай, и сердце Мартина запрыгало от радости, когда

он увидел знакомую тощую фигуру Бриссендена, выходившего из вагона. И прежде чем трамвай тронулся, Мартин разглядел при его свете оттопыренные карманы пальто Бриссендена, в одном из которых была бутылка, а в другом книги.

ГЛАВА XXXV

Бриссенден не объяснил причины своего долгого отсутствия, да Мартин и не пытался ее узнать. Ему достаточно было видеть своего друга, мертвенно-бледное лицо которого вырисовывалось перед ним сквозь пар, поднимавшийся над стаканом тодди [1].

— Я тоже не ленился, — воскликнул Бриссенден, выслушав рассказ Мартина о выполненной им работе.

Он вытащил из внутреннего кармана рукопись и передал ее Мартину. Мартин, взглянув на заглавие, с любопытством посмотрел на своего друга.

— Да, так оно и есть, — засмеялся Бриссенден. — Недурное заглавие, не правда ли? «Эфемерида». Это вы мне его подсказали. Помните вашу мысль: человек есть последняя эфемерида. Это определение засело у меня в голове, и я должен был написать эту штуку, чтобы отделаться от него.

По мере того как он читал, раскрасневшееся лицо Мартина стало бледнеть. Это было вполне совершенное художественное произведение. Форма торжествовала над содержанием, если можно назвать торжеством то, что малейшие подробности содержания нашли себе выражение в таком совершенном построении; у Мартина от восторга кружилась голова, жгучие слезы навертывались на глаза, а по спине пробегал мороз. Это была длинная странная поэма, строк в шестьсот-семьсот, поэма фантастическая, изумительная, неземная. Она пугала и удивляла, и она действительно была вот тут, написанная черными чернилами на белой бумаге. В ней говорилось о человеке,

---

[1] Тодди — смесь виски, горячей воды и сахара.

об исканиях его совершенной души, исследующей бездну вселенной в поисках доказательства существования самых отдаленных солнц. Это была безумная оргия воображения, бушевавшая в мозгу умирающего человека, едва сдерживающего рыдания и оживляемого только трепетом уже дающего перебои сердца. Поэма звучала величественным ритмом в такт холодному гулу межзвездных столкновений, в такт шуму битв, встречам остывших солнц и вспышкам светил, внезапно воспламеняющихся в потемневшей бездне туманностей, а сквозь все это непрерывно и едва слышно, как серебряный звон, раздавался слабый, болезненный голос человека, жалкий лепет среди вопля планет и грохота солнечных систем.

— В литературе нет ничего подобного, — сказал Мартин, когда он, наконец, оказался в состоянии говорить. — Это чудесно, чудесно! У меня кружится голова. Я словно опьянел. Этот вопрос о великом и бесконечно малом — я не могу выкинуть его из головы. Этот вопрошающий, вечный, постоянно возвышающийся, слабый, жалобный голос человека все еще звучит у меня в ушах. Он похож на похоронный марш комара среди рева слонов и рычания львов. И в нем слышится ненасытная страсть. Я знаю, я смешон, но это просто какое-то наваждение. Вы — я не знаю, что вы такое — вы удивительный человек, вот и все. Но как вы этого достигли? Как вы смогли?

Мартин прервал свои восхваления, но лишь для того, чтобы начать снова:

— Я больше никогда не буду писать. Я пачкун. Вы мне показали работу настоящего мастера. Гениально! Здесь нечто большее, чем гениальность. Это выше всякой гениальности. Это сама истина, лишившаяся рассудка. Ваша поэма правдива, мой друг. Каждая строчка ее верна. Я желал бы знать, понимаете ли вы это, вы, догматик? Никакая наука не может опровергнуть вас. Это истина, вещаемая пророком, высеченная из темных железных глыб космоса, переплетенная с могучим ритмом звуков, она вылилась в нечто, полное великолепия и красоты. Теперь я больше не скажу ни слова. Я подавлен, уничтожен. Позвольте мне попробовать ее напечатать.

Бриссенден усмехнулся.

— Ни один журнал во всем мире не решится напечатать ее — вы сами это знаете.

— Я вовсе этого не знаю. Я знаю, что нет ни одного литературного сборника в мире, который не набросился бы на нее. Не каждый день удается им получать такие вещи. Это не из тех произведений, которые производят фурор на один сезон, не какая-то однодневка. Подобные вещи появляются раз в столетие.

— Я хотел бы поймать вас на слове.

— Не будьте таким скептиком, — воскликнул Мартин. — Издатели журналов не совсем уж дураки. Я это знаю; я готов держать с вами пари на что угодно, что «Эфемерида» будет принята с первого или со второго раза.

— Одно только мешает мне поймать вас на слове, — Бриссенден остановился на секунду. — Это вещь крупная, самая крупная из всех, которые я когда-либо написал. Я это знаю. Это моя лебединая песнь. Я страшно горжусь ею. Я преклоняюсь перед ней. Это лучше виски. Это то великое и совершенное произведение, о котором я мечтал еще будучи молодым человеком со сладкими иллюзиями и чистыми идеалами. А теперь я создал его; это последнее мое усилие, и я не хочу, чтобы эта вещь была захватана грязными лапами. Я не буду держать с вами пари. Она моя. Я создал ее и поделился ею с вами.

— Но подумайте обо всем остальном человечестве, — протестовал Мартин. — Назначение красоты — доставлять радость.

— Эта красота — моя.

— Не будьте эгоистом.

— Я не эгоист. — Бриссенден спокойно усмехнулся; он всегда усмехался так каждый раз, как тонкие губы его собирались выговорить какую-нибудь остроту, которая ему самому нравилась. — Я так же далек от эгоизма, как проголодавшийся кабан.

Напрасно Мартин пытался заставить его изменить свое решение. Мартин говорил ему, что его ненависть к журналам нелепа, фанатична, что поведение его в тысячу раз безрас-

суднее и заслуживает большего осуждения, чем поведение юноши, который сжег храм Дианы в Эфесе. Слушая сыпавшиеся на него обвинения, Бриссенден спокойно и с видимым удовольствием прихлебывал свой грог; он соглашался, что все сказанное его приятелем — совершенно справедливо, за исключением только того, что он говорил об издателях журналов. Его ненависть к ним не имела границ; своими филиппиками он превзошел даже Мартина.

— Я хотел бы, чтобы вы перепечатали мне ее на машинке, — сказал он. — Вы это делаете в тысячу раз лучше всякого профессионала. А теперь я дам вам совет. — Он вытащил из бокового кармана пальто большую рукопись. — Вот ваш «Позор солнца». Я прочел его, и не раз, а два, три раза: это самый большой комплимент, который я могу вам сделать. После того, что вы сказали про «Эфемериду», я должен молчать. Но одно я скажу: когда «Позор солнца» будет напечатан, он произведет сенсацию. Он вызовет споры, и эта реклама даст вам тысячи долларов.

Мартин засмеялся.

— Я полагаю, что вы посоветуете мне предложить эту вещь журналам.

— Ни в коем случае, если вам хочется видеть ее напечатанной. Предложите ее первоклассным издательским фирмам. Рецензент какого-нибудь издательства может оказаться настолько сумасшедшим или настолько пьяным, что даст о ней благоприятный отзыв. Вы прочли множество книг. Они переварились в вашей голове, как в реторте алхимика, и все это вылилось в «Позоре солнца». Наступит день, когда Мартин Иден будет знаменит, и не малой долей своей славы он будет обязан этому произведению. Следовательно, вы должны найти издателя, и чем скорее, тем лучше.

Бриссенден в этот вечер отправился домой поздно. Уже, став на подножку трамвая, он вдруг круто повернулся к Мартину и сунул ему в руку маленький, измятый, свернутый в комок, клочок бумаги.

— Вот, возьмите это, — сказал он. — Я был сегодня на скачках, и мне повезло.

Раздался звонок; трамвай тронулся. Мартин пошел домой, недоумевая, что это за грязный и засаленный обрывок бумаги он держит в кулаке. Вернувшись в свою комнату, он развернул бумажку, и оказалось, что это банковый билет в сто долларов. Он нисколько не смутился и воспользовался этими деньгами. Он знал, что у его друга их много; к тому же он твердо верил, что успех даст ему возможность возвратить Бриссендену эти сто долларов. Утром он заплатил по всем счетам, дал Марии денег за три месяца вперед за комнату и выкупил все заложенные вещи. Далее он купил свадебный подарок для Мэриен и более простые рождественские подарки для Рут и Гертруды. И, наконец, на оставшуюся у него сумму он повез все семейство Сильва в Окленд.

Наконец-то он исполнил свое обещание; правда, с опозданием на год, но все-таки исполнил; последний, самый маленький Сильва получил пару башмаков, так же, как и сама Мария. Появились еще рожки и куклы, и всевозможные игрушки, и мешки с конфетками и орехами; у детей руки были полны подарков.

Он встретил Рут и ее мать; они столкнулись, когда он, вместе с Марией и следовавшей за ними по пятам необыкновенной процессией, входил в кондитерскую в поисках самого большого леденца, который можно было достать. Миссис Морз была шокирована. Даже Рут была возмущена: она всегда обращала внимание на внешние приличия, а вид ее жениха рядом с Марией, во главе этой ватаги оборванцев-португальцев, представлял далеко не утонченное зрелище. Но не это так сильно укололо ее: она решила, что Мартин совершенно лишен гордости и уважения к себе. Она увидела в этом инциденте доказательство того, что Мартин не в состоянии отрешиться от своего происхождения и подняться над своей средой, и это для нее было хуже всего. Так бесстыдно щеголять перед лицом общества, ее общества, своим происхождением — это было уже слишком. Хотя ее помолвка с Мартином и держалась в тайне, их продолжительная близость дала повод для сплетен; в кондитерской было несколько их знакомых, украдкой поглядывавших на ее жениха и его

свиту. Рут не хватало свободной и уверенной широты взглядов Мартина, и она не могла стать выше своей среды. Этот случай задел ее за живое, и свойственная ей чувствительность заставляла ее трепетать от стыда. Поэтому, когда Мартин пришел к ней, купленный для нее подарок так и остался у него в кармане: он решил отдать его ей в другой раз, дождавшись более удобного случая. Рут в слезах — горячих, гневных слезах, — потрясла его. Ее страдания убедили его, что он грубое, бесчувственное животное, хотя в душе все-таки никак не мог понять, в чем же дело. Ему и в голову не приходило стыдиться людей своего круга, а факт покупки семейству Сильва рождественских подарков не мог, как ему казалось, означать неуважения и невнимания к Рут. Все-таки он понял, что расстроило Рут, когда она ему все объяснила, но он счел это за женскую слабость — ведь этим страдают все женщины, и даже лучшие из них.

ГЛАВА XXXVI

— Пойдемте, я покажу вам «настоящую грязь», — сказал Бриссенден в один из январских вечеров.

Они пообедали вместе в Сан-Франциско и возвращались в Окленд. Когда они уже ожидали паром, Бриссендену вдруг пришла фантазия показать Мартину «настоящую грязь». Он повернул и очень быстро, почти бегом, понесся вдоль набережной, словно призрак-скелет в своем развевающемся пальто. Мартин едва поспевал за ним. Бриссенден купил две больших, оплетенных соломой, бутылки старого портвейна и, держа по одной в каждой руке, вскочил в трамвай вместе со следовавшим за ним по пятам Мартином, нагруженным несколькими бутылками виски.

«Если бы Рут увидела меня теперь», — подумал он, недоумевая, что бы такое могла означать эта «настоящая грязь».

— Может быть, там никого и не окажется, — сказал Бриссенден, когда они вышли из трамвая и, взяв направо, про-

никли в самый центр рабочего квартала к югу от Маркет-стрит. — В таком случае, вам не удастся увидеть то, что вы так давно уже ищете.

— Да что же это такое, черт возьми? — спросил Мартин.

— Людей, умных людей, а не тех, болтающих попусту ничтожеств, с которыми вы встречаетесь в берлоге этого торгаша. Вы прочли кучу книг и почувствовали себя одиноким. А вот я сегодня вечером собираюсь показать вам еще кое-кого, кто тоже почитывает, чтобы вы больше не были одиноки.

— Я не обращаю внимания на их бесконечные рассуждения и споры, — сказал он, когда они дошли до конца квартала. — Я не интересуюсь книжной философией. Вы сами увидите, эти люди — воплощение высокого ума, это не буржуазные свиньи. Но берегитесь: они могут разбить вас в любом споре. Надеюсь, Нортон там, — сказал он немного погодя; он с трудом переводил дух, но сопротивлялся попыткам Мартина освободить его от бутылей. — Нортон — идеалист, окончил Гарвардский университет. Поразительная память. Идеализм привел его к философскому анархизму, и его семья отказалась от него. Его отец — председатель правления железной дороги и обладатель многих миллионов, а сын голодает в Фриско [1], издавая анархистскую газету.

Мартин плохо знал Сан-Франциско; местность же к югу от Маркет-стрит ему вовсе не была знакома; таким образом, он не имел никакого представления о том, куда его ведут.

— Идите вперед, — попросил он, — и расскажите мне теперь уже про этих людей. Чем они зарабатывают? Каким образом они здесь очутились?

— Надеюсь, Гамильтон там.

Бриссенден остановился отдохнуть.

— Его зовут Страун-Гамильтон, — двойная фамилия, — он южанин, из старинного рода. Это бродяга, самый ленивый человек, которого я когда-либо знал, хотя он служит или, вернее, пытается служить конторщиком в кооперативе у социалистов за шесть долларов в неделю. Но он убежденный

---

[1] Сан-Франциско.

бродяга. К нам в город добрался пешком. Я сам видел, как он по целым дням просиживает на скамейке в парке, с самого утра; но если я вечером позову его пообедать в ресторан, тут же через два квартала, он говорит: «Лень тащиться, старина. Купи-ка мне лучше пачку папирос». Он был последователем Спенсера, как и вы, пока Крейс не обратил его в материалистический монизм. Я попробую заставить его поговорить о монизме. Нортон тоже монист, но он признает только дух. Он тоже дока, не хуже Крейса и Гамильтона.

— Кто же такой этот Крейс? — спросил Мартин.

— Одно время он был профессором, но его выгнали из университета — обыкновенная история. Он схватывает мысли на лету. Зарабатывает, чем угодно. Я знаю, он был уличным фокусником, когда у него было безвыходное положение. Беспринципен. Способен на все, даже саван с покойника снимет. Разница между ним и буржуа заключается в том, что он грабит без иллюзий. Он готов говорить о Ницше, или о Шопенгауэре, или о Канте — о чем угодно, но единственная вещь на свете, не исключая и Мери, которую он действительно любит, это свой монизм. Геккель для него божок. Единственный способ оскорбить его — это лягнуть Геккеля. А вот и их берлога.

Перед тем как подняться наверх, Бриссенден отдохнул у входа. Это был обыкновенный угловой двухэтажный дом с лавкой и пивной внизу.

— Компания живет здесь, занимает весь верхний этаж. Но один Крейс имеет две комнаты. Пойдемте.

Наверху в холле не было света, и Бриссенден стал пробираться по нему в полном мраке, словно местное привидение. Он остановился, чтобы заговорить с Мартином.

— Тут есть один человек — Стивенс. Теософ. Когда он начинает говорить, получается порядочная путаница. Сейчас он моет посуду в ресторане. Любит хорошие сигары. Мне приходилось видеть, как он обедал за десять центов в кухмистерской и платил пятьдесят центов за сигару, которую потом закуривал. У меня две штуки для него в кармане, если он появится. Есть еще другой малый — Парри — австралиец: он статистик и ходячая энциклопедия спорта. Спросите его

о вывозе зерна из Парагвая в 1903 году или о ввозе полотна и холста в Китай в 1890 году, или с каким весом Джимми Брит победил Беттлина Нельсона, или кто был победителем в среднем весе в Соединенных Штатах в 68-м году, и он выбросит вам моментально правильный ответ, как автомат. Еще там есть Энди, каменщик: имеет понятие обо всем, хороший шахматный игрок, и другой малый, Гарри, булочник, ярый социалист, один из столпов союза. Кстати, вы помните забастовку поваров и лакеев? Так этот союз организовал Гамильтон; он и ускорил стачку; все было заранее обдумано здесь, в комнате у Крейса. Сделал он это только ради забавы, он был слишком ленив, чтобы оставаться в союзе и продолжать в нем работу. А мог бы достигнуть многого, если бы захотел. Нет пределов тому, что мог бы совершить этот человек, если бы только не был так поразительно ленив.

Бриссенден продолжал продвигаться вперед в темноте, пока полоска света не указала ему порога двери. Дверь открылась, и Мартин пожал руку Крейсу, красивому брюнету с ослепительно белыми зубами, длинными черными усами и большими блестящими черными глазами. Мери, степенная молодая блондинка, мыла посуду в соседней маленькой комнате, служившей кухней и столовой. Первая комната была спальней и гостиной. Над головой у присутствующих висело белье от еженедельной стирки; оно свисало фестонами так низко, что Мартин вначале не заметил двух мужчин, разговаривавших в углу. Они окликнули Бриссендена и радостно приветствовали его и его бутылки; Мартина познакомили с ними; он узнал, что это Энди и Парри. Он присоединился к ним и стал внимательно слушать рассказ о борьбе на приз, на которой Парри присутствовал накануне; тем временем Бриссенден активно принялся готовить грог, виски с содовой и разливать вино. Услыхав его команду «тащить сюда всю компанию», Энди удалился, чтобы обойти все комнаты и созвать жильцов.

— Нам посчастливилось, что большинство здесь, — шепнул Бриссенден Мартину. — Вот Нортон и Гамильтон, пойдемте к ним навстречу. Говорят, Стивенса нет дома. Я постараюсь

завести разговор о монизме. Подождите, пока они пропустят несколько стаканчиков — увидите, как они разойдутся.

Вначале разговор велся несвязно и отрывисто. Несмотря на это, Мартин не мог не оценить живости ума присутствующих. Он скоро заметил, что, о чем бы они ни говорили, каждый собеседник проявлял соответствующие знания и глубокое понимание законов общества и вселенной. Они не повторяли и ни у кого не заимствовали чужих мнений; все они были бунтарями и врагами пошлости. Мартин никогда не слышал, чтобы у Морзов обсуждалось такое поразительное количество самых разнообразных вопросов. Казалось, не было таких тем, кроме разве времени, которыми они бы не интересовались. Разговор перескакивал с новой книги миссис Гемфри Уорд на последнюю пьесу Шоу, с вопроса о будущности драмы на воспоминания о Нате Гудвине. Они хвалили передовые статьи утренних газет или же смеялись над ними, перескакивали от условий труда в Новой Зеландии к Генри Джеймсу и Брэндеру Мэтьюзу; они толковали о целях, преследуемых Германией на Дальнем Востоке, и об экономической подоплеке «желтой опасности»; спорили о выборах в Германии и о последней речи Бебеля; наконец, остановились на вопросах местной политики, на последних скандалах в администрации рабочего союза и заговорили о способах, которые применялись для организации стачки грузчиков.

Мартин был поражен глубиной знаний, которыми обладали его собеседники. Они знали то, что никогда не печаталось в газетах, знали о работе невидимых рук, которые держали веревочки и проволочки и заставляли плясать марионеток. К удивлению Мартина, и Мери вмешалась в разговор и выказала при этом такой ум, какого ему никогда не приходилось встречать у знакомых женщин. Он поговорил с ней о Суинберне и Россетти, после чего она увлекла его в неведомую для него область французской литературы. Его очередь отыграться наступила, когда она начала защищать Метерлинка: тут он выступил с тщательно обдуманными и разработанными тезисами «Позора солнца».

Пришло еще несколько человек; воздух был весь насыщен табачным дымом. Вдруг Бриссенден объявил:

— Вот новая жертва для вашего меча, Крейс. Свеженький, зеленый юноша, страстный поклонник Герберта Спенсера. Сделайте из него последователя Геккеля, если сумеете.

Эти слова должны были подействовать на присутствующих, как красная тряпка на быков.

Крейс, казалось, проснулся и вспыхнул весь, словно заискрившись, в то время как Нортон с кроткой мягкой улыбкой сочувственно посмотрел на Мартина, как бы желая сказать, что в обиду его не даст.

Крейс сразу накинулся на Мартина, но вмешался Нортон, понемногу отвлекая его внимание; вскоре между ним и Крейсом завязалось единоборство. Мартин слушал, подавляя в себе желание протереть глаза: настолько невероятным ему казалось, что нечто подобное могло происходить наяву, а тем более в рабочем квартале, к югу от Маркет-стрит. В устах этих людей оживали книги. Все говорили пламенно и с увлечением; отвлеченные споры возбуждали их, как других людей вино или гнев. То, что слышал Мартин, уже не было сухой философией печатных творений, написанных почти мифическими полубогами, вроде Канта и Спенсера. У этих двоих живая философия вошла в плоть и кровь; они так пылко спорили, что лица их удивительно менялись от волнения. Время от времени в спор вмешивались остальные, но все без исключения слушали со вниманием; папироски тухли в руках; выражение лиц было оживленное и напряженное.

Идеализм никогда не привлекал Мартина, но толкование, которое ему давал Нортон, было для него откровением. Логическая убедительность его, в которой он не сомневался, казалось, ускользала от Крейса и Гамильтона: они подсмеивались над Нортоном, называя его метафизиком. Он же, в свою очередь, тоже поднимал их на смех и уверял, что они такие же метафизики, как и он. Спорившие так и перебрасывались словами «феномен» и «ноумен». Крейс и Гамильтон обвиняли Нортона в том, что он определяет сознание посредством самого сознания. Он же обвинял их в игре словами и уверял,

что они выводят свою теорию из слов, а не из фактов. Это их возмущало: их основное правило заключалось в том, что всякое рассуждение должно исходить из фактов и определять эти факты.

Когда Мартин забрался в самые дебри кантовской философии, Крейс напомнил ему, что все почтенные мелкие немецкие философы попадали, если были пай-мальчиками, после смерти в Оксфорд. Немного спустя Мартин упомянул о гамильтоновском законе экономии; тотчас же все потребовали, чтобы его немедленно включили в настоящие прения. А Мартин сидел, обняв колени, и наслаждался всем, что слышал. Но Нортон не был последователем Спенсера; он тоже старался перетянуть на свою сторону Мартина и потому обращался к нему так же часто, как и к двум своим противникам.

— Вы знаете, ведь никто так и не мог опровергнуть Беркли, — сказал он, глядя прямо на Мартина. — Герберту Спенсеру это удалось лучше, чем другим, но и то далеко не вполне. Даже самые ярые из последователей Спенсера не решаются это утверждать. Я читал на днях статью Салиби: он говорит, что Герберту Спенсеру почти удалось опровергнуть Беркли, но дальше этого он не идет.

— Знаете ли вы, что сказал Юм? — спросил Гамильтон.

Нортон кивнул головой, но Гамильтон все-таки процитировал слова философа для остальных слушателей:

— Он сказал, что доводы Беркли неопровержимы, но вместе с тем и неубедительны.

— Неубедительны для него, для Юма, — последовал ответ. — А Юм мыслил так же, как и вы, но с некоторой разницей: он был мудр и потому признал неопровержимость учения Беркли.

Нортон отличался раздражительностью и легко возбуждался, хотя все же никогда не терял головы, тогда как Крейс и Гамильтон были подобны двум хладнокровным дикарям, которые так и искали слабое место, куда бы уколоть и уязвить врага. По мере того как вечер приближался к концу, выражение женственного лица Нортона становилось все более суровым

и уверенным, а серые глаза его подчас яростно сверкали; наконец, возмущенный многократными обвинениями в приверженности к метафизике, он уцепился двумя руками за стул, чтобы не дать себе вскочить на него, и повел последнее, решительное наступление на противников.

— Ну, ладно. Эх вы, последователи Геккеля. Пусть я рассуждаю как неуч-знахарь, но вы-то, скажите на милость, как вы-то рассуждаете? Вам не на что опереться, ненаучные вы догматики, с вашей положительной наукой, которую вы легко суете туда, где ей вовсе и не место. Еще задолго до того, как возникла школа материалистического монизма, те основы, на которых она построила свое учение, были разрушены, и она оказалась без фундамента. Это сделал Локк — Джон Локк. Двести лет тому назад — даже раньше, — он в своем «Опыте» доказал, что врожденных идей не существует. Интереснее всего то, что вы сами именно это же и утверждаете. Сегодня вы не раз поддерживали учение об отсутствии у человека врожденных идей. А что это значит? Это значит, что вы никогда не познаете полной истины. Когда вы появляетесь на свет, у вас в мозгу пусто. При помощи пяти чувств ваш мозг может воспринять только явления, то есть феномены. В таком случае ноумен, отсутствующий в нем при рождении, никак не может туда проникнуть.

— Я отрицаю...

Крейс вскочил, собираясь прервать его.

— Подождите, пока я не кончу, — воскликнул Нортон. — Вы можете познать взаимоотношение силы и материи лишь постольку, поскольку она оказывает воздействие на ваши органы чувств. Допустим, что материя существует; теперь я побью вас вашими же доводами. Я не могу этого сделать никаким другим способом, потому что у вас обоих от природы отсутствует всякое абстрактное философское мышление.

А ну-ка, что вы знаете о материи на основании вашей излюбленной положительной науки? Вы знаете только ее феномены, ее проявления. Вы замечаете только ее изменения или, вернее, лишь те из них, которые вызывают какие-либо

изменения у вас в сознании. Положительная наука имеет дело только с феноменами, а вы, тем не менее, упорствуете в своем нелепом стремлении познать вещь в себе, ноумен. Положительная наука, как явствует из самого ее определения, занимается одними явлениями. Как сказал кто-то, познание феномена не может превзойти сам феномен.

Вы не можете опровергнуть Беркли, даже если вы уничтожите Канта; однако вы по необходимости принимаете за факт, что Беркли не прав, когда утверждаете, что наука доказывает, будто бога не существует или, что то же самое, будто существует материя... Не забудьте, я допустил существование материи только для того, чтобы вы лучше меня поняли. Будьте позитивистами, если хотите, но помните, что онтология не принадлежит к числу позитивных наук и потому оставьте ее в покое. Спенсер прав в своем агностицизме, но если Спенсер...

Между тем пора было уходить, чтобы попасть на последний паром, шедший в Окленд, и Бриссенден и Мартин потихоньку ушли; Нортон все еще продолжал говорить, а Крейс и Гамильтон, словно два волкодава, только ждали, когда он кончит, чтобы на него накинуться.

— Вы дали мне заглянуть в волшебный мир, — сказал Мартин, когда они оказались на пароме. — Стоит жить, если имеешь возможность встречаться с подобными людьми. Я потрясен. До сих пор я не мог правильно ценить учение идеалистов. Однако я не могу с ними согласиться. Я знаю, что навсегда останусь реалистом. Вероятно, так уж я создан. Но мне хотелось возразить Крейсу и Гамильтону, и, мне кажется, я нашел бы словечко в защиту Нортона. А Спенсеру, по-моему, ничуть не досталось. Я чувствую себя, как ребенок после первой поездки в цирк. Я вижу, что мне необходимо многое еще почитать. Я займусь Салиби. Я все еще считаю теорию Спенсера неуязвимой. В следующий раз я сам приму участие в спорах.

Но Бриссенден, тяжело дыша, уснул, опустив голову на грудь и уткнув подбородок в кашне; тело его, закутанное в длинное пальто, мерно покачивалось в такт движению парома.

ГЛАВА XXXVII

Утром Мартин первым долгом поступил вопреки тому, что ему посоветовал и даже приказал Бриссенден. Он положил «Позор солнца» в конверт и отправил его в журнал «Акрополь». Он надеялся, что ему удастся напечатать эту вещь в журнале; признание же его журналами, он знал, послужит рекомендацией для книгоиздательств. «Эфемериду» он точно так же вложил в конверт и отправил в редакцию одного журнала. Мартин решил, что большая поэма появится в печати несмотря на доходившее до мании предубеждение Бриссендена против журналов. Он не собирался, однако, отдавать ее в печать без разрешения автора. Его план заключался в следующем: добиться, чтобы один из лучших журналов принял ее, а потом, уже имея положительный ответ, он намеревался добиться на это согласия Бриссендена.

В это утро Мартин начал писать рассказ, который набросал несколько недель назад; рассказ этот все время мучил его: он словно вопил, требуя, чтобы Мартин его написал. Очевидно, должен был получиться увлекательный рассказ о морской жизни, полной романтизма и приключений, свойственных двадцатому веку; в нем описывались живые люди из реального мира, с реальными характерами. Но под фабулой и внешним блеском должно было скрываться нечто другое — то, что поверхностному читателю ни за что не удалось бы уловить, — но с другой стороны, ни в коем случае и не снизить интереса к рассказу и получить при чтении удовольствие. Именно это нечто, а не увлечение самой фабулой побуждало Мартина написать рассказ. Он всегда черпал свои сюжеты из великого космоса. Вдохновившись, он начинал обдумывать точное местонахождение во времени и пространстве тех событий и подробности тех характеров, которые должны были стать выразителями мировой идеи. Он решил озаглавить свой рассказ «Запоздалый»; объем его, как ему казалось, не должен был превышать шестидесяти тысяч слов, а это пустяк для него, с его изумительной творческой мощью. В этот день он при-

нялся за работу с радостным сознанием, что он в совершенстве овладел пером. Он уже не был неопытным рабочим, который боится неловким ударом молота испортить свою работу. Долгие месяцы упорного прилежания и напряженного труда дали свои плоды. Он уже мог уверенно, в полной мере осветить тему, за которую взялся: шел час за часом, а он все писал и никогда еще так ясно не ощущал подобного всеобъемлющего, безграничного понимания жизни и всех ее проявлений. В рассказе «Запоздалый» он хотел правдиво отразить жизнь реальных людей и реальные события, но вместе с тем, — Мартин это сознавал, — затронуть великие жизненные вопросы, касающиеся всех эпох, всех мест, всех времен и народов. И все благодаря Герберту Спенсеру, подумал Мартин, подняв голову и откинувшись на спинку стула. Да, благодаря Герберту Спенсеру и эволюции — этому ключу к пониманию жизни, который Спенсер дал ему, Мартину, в руки.

Он сознавал, что творит нечто великое. «Дело пойдет, дело пойдет», — припевом звучало в его ушах. Без сомнения, дело пойдет. Наконец-то, он создаст вещь, на которую набросятся журналы. Рассказ весь сверкал в его воображении, порой словно озаряемом вспышками молнии. Он оторвался от него только для того, чтобы занести в записную книжку последний абзац рассказа. Вся книга уже сложилась у него в голове, готовая во всех подробностях, и потому он мог написать заключение за несколько недель до ее окончания. Сравнивая свой еще не написанный рассказ с другими рассказами о морских приключениях, он почувствовал, что его произведение неизмеримо выше их.

«Один только человек мог бы сделать нечто подобное, — прошептал он вслух, — Джозеф Конрад. «Запоздалый» заставил бы и его встать с места, пожать мне руку и сказать: «Молодец, Мартин, дружище!»

Мартин усердно работал весь день и лишь в последнюю минуту вспомнил, что собирался обедать у Морзов. Благодаря Бриссендену его черный костюм был выкуплен, и он снова мог появляться на обедах в соответствующем виде. По дороге он соскочил с трамвая, чтобы забежать в библиотеку и поискать

произведения Салиби. Он выбрал «Цикл жизни» и, снова сев в трамвай, принялся читать статью о Спенсере, о которой упоминал Нортон. По мере того как Мартин читал, его начала охватывать злость. Его лицо раскраснелось, зубы были стиснуты, а свободная рука бессознательно сжималась, разжималась и снова сжималась, словно он хотел схватить и раздавить какое-то ненавистное ему существо. Когда он вышел из трамвая, он пошел по тротуару, шагая, словно исступленный. Он пришел в себя только у двери Морзов, после того как со страшной злостью дернул за ручку звонка. В дом он вошел, уже добродушно улыбаясь над самим собой. Но не успел он очутиться в гостиной, как его охватило уныние. «Буржуазия», «берлога торгаша», — невольно вспоминались ему определения, расточаемые Бриссенденом. Ну и что ж из этого, сердито спросил он себя. Ведь он собирался жениться на Рут, а не на ее семье. Никогда еще Рут не была так прекрасна, казалось ему, такой одухотворенной и эфирной, как в этот вечер. На ее щеках играл румянец, и глаза ее притягивали его все больше и больше; это были те глаза, в которых он впервые прочел бессмертие. За последнее время он забыл о бессмертии — его научные занятия и чтение увлекли его далеко от подобных мыслей, но тут, в глазах Рут, он прочел безмолвное доказательство бессмертия, более убедительное, чем всякие словесные доводы. Он увидел в ее глазах то, перед чем должны были замолкнуть всякие споры и рассуждения: он увидел в них любовь. И в его глазах тоже светилась любовь, а против любви возражать было невозможно. Так всемогуща в его глазах была страсть.

После получаса, проведенного вдвоем с Рут перед обедом, Мартин почувствовал себя бесконечно счастливым и бесконечно довольным жизнью. Однако, когда он сел за стол, неизбежная реакция и усталость после целого дня упорного труда дали себя знать. Он почувствовал, что глаза у него утомлены и что сам он стал раздражителен. Он вспомнил, что за этим самым столом, за которым он теперь часто скучал и над завсегдатаями которого смеялся, он когда-то впервые пообедал с культурными людьми. Тогда они казались ему высокообразованными и утонченными. Ему представилась его собственная жалкая

фигура; это было так давно; он чувствовал себя дикарем, обливался в ужасе потом, смущался и становился в тупик при виде множества вилок и ножей, его ужасал вид лакея, казавшегося ему каким-то людоедом. Тогда он хотел одним прыжком взобраться на те головокружительные высоты общественного положения, где обитали его хозяева; но под конец он решил быть просто самим собой и не делать вида, будто он человек светский, знакомый с приличиями, когда этого на самом деле не было.

Чтобы успокоиться, он взглянул на Рут, словно пассажир на пароходе при катастрофе: охваченный внезапным страхом, он ищет взглядом, где висит спасательный круг. Вот что это дало ему — любовь и Рут. Все остальное, под влиянием прочитанных книг, рухнуло. Лишь Рут и любовь уцелели после испытания. Для оправдания этой любви он подыскивал доводы в биологии. Любовь была самым возвышенным проявлением жизни. Природа создала его, Мартина, как и всех прочих нормальных людей, для того, чтобы он любил. Она посвятила десять тысяч столетий, нет! — больше, — сто тысяч, миллион столетий этой работе, и он был лучшим ее произведением. Она сделала любовь самым могучим из его свойств, увеличила ее силу на миллиарды процентов, одарила его воображением и кинула его в мир, где ему предназначено было трепетать, умиляться и любить.

Его рука нашла под столом руку Рут, сидевшей рядом с ним, и они обменялись страстным рукопожатием. Она быстро взглянула на него, и в ее глазах было сияющее, умиленное выражение. Все существо его затрепетало, и он ответил ей таким же взглядом; блеск и умиление в ее взоре были лишь отражением того, что она прочла в его глазах, но он не отдавал себе в этом отчета.

Против него, по ту сторону четырехугольного стола, по правую руку от мистера Морза сидел судья Блоунт, член Верховного суда. Мартин часто встречался с ним, но судья ему не нравился. С отцом Рут они обсуждали политику рабочих союзов, местные дела и вопрос о социализме; мистер Морз старался здесь уязвить Мартина. Наконец, судья Блоунт кротко и с выражением отеческого сожаления посмотрел на него. Мартин улыбнулся в душе.

— Со временем вы разочаруетесь в этом движении, молодой человек, — ласково сказал судья. — Время — лучшее средство от подобных юношеских болезней. — Он обратился к мистеру Морзу. — Я считаю, что в подобных случаях всякие рассуждения бесполезны. Они только развивают в больном упорство.

— Вы правы, — серьезно согласился с ним мистер Морз. — Но полезно иногда предостеречь больного относительно его болезни.

Мартин рассмеялся весело, но с некоторым усилием. День тянулся слишком долго, напряжение было слишком велико, и он очень страдал от наступившей реакции.

— Без сомнения, вы оба прекрасные врачи, — сказал он, — но если вы хоть немного интересуетесь мнением больного, разрешите вам сказать, что вы плохие диагносты. Собственно говоря, вы оба страдаете от той же болезни, которую, как вам кажется, вы нашли у меня. Что касается меня, то меня это не коснулось. Философия социализма, которая в полупереваренном виде бушует у вас в крови, прошла мимо меня.

— Умно, умно! — пробормотал судья. — Это отличный тактический прием поменяться местами с противником.

— Я говорю на основании ваших же слов. — Глаза у Мартина блестели, но он сдерживался. — Видите ли, господин судья, я слышал ваши речи во время выборной кампании. Каким-то образом вы убеждаете себя, будто вы верите в борьбу за существование и в выживание сильных, но вместе с тем вы изо всех сил принимаете и поддерживаете всевозможные меры, чтобы лишить этих сильных их силы.

— Молодой человек...

— Не забывайте, что я слышал ваши речи, — предостерег его Мартин. — Всем известна та позиция, которую вы заняли по вопросу о торговых сношениях между штатами; об урегулировании дел железнодорожного треста и компании «Стандарт-Ойл»; о сохранении лесов и по вопросу о введении тысячи других ограничительных мероприятий, всецело проникнутых духом социализма.

— Вы хотите сказать, что не верите в необходимость урегулирования всех этих возмутительных проявлений произвола?

— Не в этом дело. Я хочу вам сказать, что вы — плохой диагност. Я хочу вам сказать, что я вовсе не заражен микробом социализма. Я хочу вам сказать, что вы страдаете от расслабляющего, разрушительного действия этого самого микроба. Что касается меня, то я закоренелый противник социализма, точно так же, как я являюсь закоренелым противником вашего излюбленного псевдодемократизма; он не что иное, как псевдосоциализм, прикрытый личиной разных терминов, которые на самом деле — стоит только заглянуть в словарь — имеют совершенно противоположное значение. Я реакционер, настолько убежденный и цельный, что мои взгляды непонятны для вас; вы живете, весь окутанный ложью общественных отношений, и не обладаете достаточно острым зрением, чтобы разглядеть что-либо сквозь это покрывало. Вы притворяетесь, будто верите в победу и господство сильных. А я на самом деле верю. Вот в чем разница! Когда я был немного моложе, на несколько месяцев моложе, я верил в то же, во что и вы. Видите ли, ваши идеи и идеи окружающих вас произвели на меня впечатление. Но торгаши и купцы, в лучшем случае, оказываются лишь малодушными и подлыми правителями; они целыми днями валяются и хрюкают в своем свином корыте, стараясь заграбастать побольше денег и нажиться. Я же, прошу вас заметить, вернулся к индивидуализму. Я — единственный индивидуалист из всех здесь сидящих. Я ничего не жду от государства; я верю в сильного человека, который один только может спасти государство от его гнили и ничтожества. Ницше был прав... Я не буду отнимать у вас время и объяснять вам, кто такой Ницше. Но он был прав. Мир принадлежит сильным, — тем сильным людям, которые в то же время не лишены благородства и которые не коснеют в свином корыте торгашества и спекуляции. Мир принадлежит истинно благородным представителям человеческой породы, белокурым дикарям, неспособным на компромиссы, тем, кто всегда говорит «да». Они съедят вас, социалистов, боящихся социализма и воображающих себя индивидуалистами. Ваша рабская мораль смиренных и униженных вас не спасет. О, для вас все это китайская грамота, я знаю и больше не буду надоедать вам. Но прошу вас запомнить одно: в Окленде вряд

ли можно насчитать с полдюжины индивидуалистов, но в их числе — и Мартин Иден.

Он дал понять, что спор окончен, и обратился к Рут.

— Я измучен сегодня, — сказал он вполголоса. — Я хочу только любить, но не разговаривать.

Он пропустил мимо ушей слова мистера Морза, который сказал:

— Вы меня не переубедили. Все социалисты — иезуиты. По этому признаку их и узнают.

— Мы как-нибудь еще сделаем из вас доброго республиканца, — сказал судья Блоунт.

— Сильный человек появится раньше, — добродушно возразил Мартин и повернулся к Рут.

Но мистер Морз был подавлен. Ему не нравилась в его будущем зяте эта лень и отсутствие склонности к настоящему, серьезному труду; он не понимал его и не уважал его образа мыслей. Мистер Морз завел разговор о Герберте Спенсере. Судья Блоунт поддержал его, и Мартин, насторожившийуши при первом упоминании имени философа, стал слушать, как судья вежливо и серьезно излагал свои взгляды на Спенсера, — взгляды, собственно, сводившиеся к злой критике. Время от времени мистер Морз поглядывал на Мартина, словно желая сказать: «Вот, мой милый, вы видите!»

— Сороки болтливые, — едва слышно пробормотал Мартин и продолжал разговаривать с Рут и Артуром.

Но продолжительная дневная работа и «настоящая грязь», виденная им накануне, оказали на него свое действие; кроме того, у него не выходила из головы прочитанная в трамвае и рассердившая его статья.

— В чем дело? — вдруг спросила его Рут, испуганная тем, как он с трудом сдерживал себя.

— Нет Бога, кроме Непостижимого, и Герберт Спенсер пророк его, — говорил в это время судья Блоунт.

Мартин обратился к нему:

— Пошлое изречение, — спокойно заметил он. — В первый раз я услыхал его в парке городской ратуши от рабочего, которому не мешало бы воздержаться от таких фраз. С тех пор я час-

то слышу его, и каждый раз эти бьющие на эффект слова вызывают во мне омерзение. Стыдитесь! Когда вы произносите имя этого благородного человека, мне кажется, что я вижу чистую каплю росы, попавшую в грязную лужу. Что за гадость!

Слова эти произвели действие удара грома. Глаза судьи Блоунта сверкнули гневом, он покраснел так, словно с ним сейчас случится удар. Воцарилась тишина. Мистер Морз в душе был доволен. Он видел, что его дочь возмущена. Ему хотелось заставить этого человека, который ему не нравился, проявить свою врожденную грубость, и это ему удалось.

Рука Рут с мольбой искала под столом руку Мартина, но Мартин был раздражен. Его возмутило притворство и лживость этих людей, занимавших такое высокое положение. Член высшего суда! Недавно еще, несколько лет назад, когда Мартин сам жил в грязи, среди подонков общества, подобные важные особы казались ему чуть ли не богами.

Судья Блоунт пришел в себя и попытался продолжать разговор, обращаясь к Мартину подчеркнуто вежливо. «Благодаря присутствию дам, — подумал Мартин, и это разозлило его еще больше. — Неужели же на свете вовсе не существует честности?»

— Вы не можете говорить со мной о Спенсере! — воскликнул он. — Вы о Спенсере знаете не больше, чем его же соотечественники. Но это не ваша вина, я это признаю. Это просто одно из проявлений презренного невежества нашего времени. На один из его образчиков мне довелось наскочить сегодня. Я только что прочел статью Салиби о Спенсере. Вам тоже следовало бы ее прочесть. Она доступна всем. Вы можете купить ее в любом книжном магазине или взять в библиотеке. Вам станет стыдно из-за ваших нападок и узости сведений об этом благородном человеке, когда увидите, что собрал по этому вопросу Салиби. Его позорное отношение к Спенсеру побило всякий рекорд, и перед ним меркнут и ваши позорные выдумки. «Философ недоучек» — так назвал Спенсера философ-академик, который не достоин дышать одним с ним воздухом. Я думаю, вы не читали и десяти строчек из Спенсера; но бывали и критики, считавшие себя поумнее вас и знакомые с ним не больше,

чем вы, а между тем они решились публично бросить вызов его последователям, предлагая им процитировать хотя бы одну-единственную оригинальную мысль из всех его сочинений — из сочинений Герберта Спенсера! Спенсера, печать гения которого украшает все научные искания и все современные идеи, этого отца психологии, человека, революционизировавшего всю педагогику, — сейчас дети французских крестьян учатся грамоте по методу Спенсера! Мелкие людишки стараются оскорбить его память, не понимая, что они и хлеб-то насущный имеют лишь благодаря применению его идей в области техники. Тем немногим, что у них есть ценного в голове, они обязаны ему. Можно сказать с уверенностью, что, не будь Спенсера, не было бы и большей части заученных ими знаний, идей, которые они повторяют, как попугаи. Тем не менее, Фэрбенкс из Оксфорда, человек, занимавший даже более высокое положение, чем вы, судья Блоунт, сказал, что потомство скоро забудет Спенсера, потому что он был не мыслитель, а поэт и мечтатель. Лгуны и выскочки — вот они кто, вся эта клика! Один из них сказал, что «Основные начала» не лишены известных литературных достоинств. Другие уверяли, что Спенсер скорее терпеливый компилятор, чем оригинальный мыслитель. Лгуны и выскочки! Лгуны и выскочки!

Мартин резко прервал свою речь. Наступила мертвая тишина. Все родные Рут считали судью Блоунта человеком заслуженным и относились к нему с почтением — они пришли в ужас от выходки Мартина. Конец обеда прошел в молчании, словно похороны; судья и мистер Морз говорили только между собой; общий разговор за столом не клеился. Позднее, когда Мартин и Рут остались наедине, между ними разразилась ссора.

— Вы невыносимы! — рыдала она.

Но его гнев еще не прошел и он продолжал бормотать:

— Скоты, скоты!

Когда она сказала, что он оскорбил судью, он возразил:

— Тем, что высказал ему правду в глаза?

— Мне безразлично, высказали ли вы правду или нет, — настаивала она. — Существуют известные границы приличия, и вы не имеете права оскорблять кого бы то ни было.

— А кто же дал судье Блоунту право оскорблять истину? — спросил Мартин. — Я думаю, что искажение истины — преступление более серьезное, чем оскорбление, нанесенное такому пигмею, как судья. Но он сделал нечто худшее — он забросал грязью имя великого, благородного человека, которого уже нет на свете. О, скоты, скоты!

Он снова воспылал гневом; Рут даже испугалась его. Она никогда не видала его таким разгневанным; его злость казалась ей непонятной и неразумной. И тем не менее, несмотря на испытываемый ею ужас, она ощущала прежнее влечение к нему, его обаяние, которое продолжалось и теперь; тут, в эту безумную и неожиданную минуту, оно заставило ее наклониться к нему и обвить руками его шею. Она была оскорблена и возмущена тем, что случилось, но все же, вся трепещущая, упала к нему в объятия, между тем как он продолжал бормотать: «Скоты, скоты!»

Она все еще лежала у него на груди, когда он сказал:

— Я больше никогда не буду у вас обедать, дорогая. Они не любят меня, и с моей стороны нехорошо навязывать им мое ненавистное присутствие. Впрочем, они мне столь же ненавистны, как и я им. Фу! Они прямо омерзительны! И подумать только! Ведь мне по моему неведению и невинности казалось, что люди, занимающие высокое положение, живущие в прекрасных домах, имеющие образование, обладающие банковскими счетами, представляют собой какую-то ценность!

ГЛАВА XXXVIII

— Пойдемте к социалистам на собрание! — сказал Бриссенден, хотя у него еще кружилась голова от слабости. За час до того у него шла кровь горлом — это было уже второе кровотечение за три дня. В руках он держал свой неизменный стакан виски, он осушил его. Руки его заметно дрожали.

— На кой мне шут эти социалисты? — спросил Мартин.

— Посторонним лицам разрешается говорить в продолжение пяти минут, — настаивал больной, — выступите с речью. Скажите им, почему вы противник социализма. Скажите им, что вы думаете о них и об их этике — этой этике гетто. Угостите их Ницше — в благодарность вас поколотят. Устройте генеральное сражение — это им полезно. Они любят рассуждать и спорить — и вы тоже. Видите ли, я хотел бы увидеть вас в рядах социалистов, прежде чем умру. Социализм даст вам смысл жизни. Это единственная штука, которая может спасти вас, когда наступит неизбежный момент разочарования.

— По-моему, кому-кому, а уж не вам быть социалистом, — недоумевал Мартин. — Вы так ненавидите толпу. Ведь на самом деле в ней нет ничего привлекательного, что могло бы удовлетворить ваш эстетический вкус.

Он с укоризной указал пальцем на стакан с виски, который Бриссенден снова наполнил.

— А вот вас-то и социализм, по-видимому, не спасет!

— Я очень болен, — последовал ответ. — Вы — другое дело. Вы обладаете здоровьем и еще многим, ради чего стоит жить, и вам следует иметь какую-то цель в жизни. Что касается меня... вы вот удивляетесь, почему я социалист. Я скажу вам. Социализм неизбежен; нынешний, прогнивший, нерациональный строй не может дольше существовать, а для вашего «сильного человека» время прошло. Рабы не будут стоять за него. Их слишком много, и volens-nolens они стащут этого мистического всадника с лошади даже раньше, чем он успеет на нее сесть. А избавиться от них нельзя, и вам придется проглотить пилюлю — эту их рабскую мораль. Это неприятно, согласен. Но это давно готовится, и проглотить пилюлю придется. Как бы то ни было, ваши ницшеанские идеи допотопны. Прошлое кануло в вечность, и люди врут, когда говорят, что история повторяется. Разумеется, я толпы не люблю, но что же прикажете делать? Нам негде взять «сильного человека», и все, что хотите, лучше тех трусливых свиней, которые сейчас стоят у власти. Но как бы то ни было — пойдем. Я здорово нагрузился. А если я останусь здесь дольше, то совсем напьюсь. Ведь вы знаете, что говорит доктор — черт бы его побрал! Я еще одурачу его!

Был воскресный вечер, и маленький зал был битком набит оклендскими социалистами, в основном рабочими. Оратор, умный еврей, вызвал восхищение Мартина, но при этом и какое-то чувство несогласия. Его сутулые и узкие плечи и впалая грудь свидетельствовали о том, что он воистину дитя гетто. Когда Мартин смотрел на него, мысли его обратились к вековой борьбе слабых, несчастных рабов против горсточки господствующих, которые правили ими и будут править до скончания веков. Для Мартина это поблекшее, похожее на тень существо являлось символом. Этот человек был представителем всей той несчастной массы слабых и неспособных людей, которые, опустившись на дно, погибают согласно законам биологии. К жизни они непригодны. Несмотря на их хитроумную философию и чисто муравьиную склонность к коллективному, природа отвергает их ради людей исключительных. Из многочисленных семян, которое она разбрасывает щедрой рукой, она выбирает только лучшее. Следуя ее же методу, подражая ей, люди выводят породистых лошадей, выращивают необыкновенные огурцы. Несомненно, будь у вселенной определенный создатель, он сумел бы изобрести более рациональный метод, но существа, населяющие нашу вселенную, должны мириться с ее порядками. Правда, им разрешается, погибая, извиваться, подобно червякам — вот так, как извиваются социалисты, как извивался оратор на кафедре и как извивается и теперь вся обливающаяся пóтом толпа тружеников, когда они стараются выискать новый способ для уменьшения тягот жизни и как-нибудь перехитрить природу.

Так думал Мартин и в таком духе он начал говорить с кафедры, когда Бриссендену, наконец, удалось убедить его выступить и «задать им жару». Повинуясь приятелю, он направился к помосту и обратился к председателю собрания, прося слова. Он начал негромким голосом, делая паузы, приводя в порядок мысли, пришедшие ему в голову во время речи еврея. На этих собраниях каждому оратору разрешалось говорить не больше пяти минут; но, когда истекло это время, оказалось, что речь его в полном разгаре и он успел лишь наполовину разбить учение социалистов. Мартину удалось заинтересовать

слушателей, и они единогласно потребовали от председателя собрания продлить Мартину время. Они оценили его как противника, достойного их по силе мышления, и напряженно слушали его, следя за каждым словом. Мартин говорил пламенно, убежденно, не смягчая выражений, нападая на рабскую мораль, на действия рабов, и откровенно намекал, что под рабами подразумевает своих слушателей. Он цитировал Спенсера и Мальтуса и излагал биологический закон эволюции.

— Итак, — закончил он, кратко резюмируя свои доводы, — ни одно созданное рабами государство существовать не может. Древний закон эволюции все еще действует. Как я уже указывал, в борьбе за существование суждено выжить лишь сильным и их потомству; слабые же и их потомство будут раздавлены, и им суждено погибнуть. В результате выживают сильные и потомство сильных, и пока эта борьба продолжается, каждое последующее поколение становится все более и более могучим. В этом и состоит эволюция. Но вы, рабы, — признаю, что тяжело быть рабами, — но вы, рабы, мечтаете об обществе, в котором не действовал бы закон эволюции, где слабые и неспособные не были бы обречены на гибель. В этом обществе всякому, самому неприспособленному, будет обеспечена пища; он будет есть сколько захочет и как захочет; всем слабым наравне с сильными можно будет жениться и произвести потомство. Каков же будет результат? Мощь и жизнеспособность последующих поколений уже перестанут возрастать. Напротив, они будут уменьшаться. Вот Немезида вашей рабской философии. Ваше общество рабов — созданное рабами и для рабов — должно неизбежно ослабнуть и распасться, как слабеют и распадаются сами жизни, его составляющие. Не забывайте, я излагаю биологические истины, а не сентиментальную этику. Ни одно государство рабов долго существовать не может.

— А Соединенные Штаты? Они-то как же? — завопил кто-то из публики.

— Как они? — переспросил Мартин. — Тринадцать колоний когда-то восстали против своих правителей и образовали так называемую республику. Рабы стали сами себе господами. Не было больше господ, властвующих силой меча. Но вы не мог-

ли долго жить без господ, и вот появились новые господа — не могучие, мужественные, благородные люди, а хитрые, похожие на пауков, — торгаши и ростовщики. И они опять поработили вас, но не открыто, как это сделали бы настоящие благородные люди, — силой своего духа, а потихоньку, паучьими махинациями, подлизыванием, лестью и ложью. Они подкупили ваших судей-рабов, развратили ваших законодателей-рабов и превратили ваших сыновей-рабов и дочерей-рабынь в нечто худшее, чем бессловесные скоты. Два миллиона ваших юношей и девушек работают сейчас в Соединенных Штатах — в этой олигархии торгашей. Десять миллионов подобных вам рабов лишены теплого угла и сытной пищи. Но вернемся к сущности моей речи. Я показал вам, что общество рабов не может существовать, потому что по самой природе своей оно аннулирует закон эволюции. Не успеет такое общество рабов организоваться, как в нем сразу начнется разложение. Вам легко говорить об уничтожении закона эволюции, но где же новый закон эволюции, который мог бы вас поддержать? Формулируйте его. Быть может, он уже сформулирован? В таком случае изложите его.

Мартин вернулся на свое место под громкий шум голосов. Человек двадцать вскочили, требуя у председателя слова. Подбодренные громкими аплодисментами, они, один за другим, горячо и с воодушевлением возражали Мартину, взволнованно жестикулируя. Это было жестокое сражение, но сражение одних умов, — борьба идей. Некоторые ораторы уклонялись от темы, но большинство возражало прямо Мартину. Они поразили его новым для него образом мышления и дали ему возможность познакомиться не только с новыми биологическими законами, но с новыми способами применения старых законов. Они были слишком пылки и слишком увлечены, чтобы всегда соблюдать вежливость, и председателю собрания пришлось не раз стучать по столу, чтобы водворить порядок.

Среди публики случайно оказался репортер, мальчишка, настоящий щенок; этот день не принес ему сенсаций, а ему необходимо дать в газету что-нибудь очень интересное. Особым талантом он не отличался, только умел писать легко и развязно.

Следить за прениями он не мог — для этого он был слишком туп. Собственно говоря, у него было приятное сознание своего превосходства над этими рабочими — маньяками слова. Он также питал глубокое уважение к лицам высокостоящим, дающим направление политике народов и руководящим прессой. Кроме того, его идеалом было сделаться первоклассным репортером, то есть научиться из ничего создавать кое-что, — подчас даже крупную сенсацию. О чем шла речь, он не понял. Да ему это и не требовалось. Ему хватило бы малейшего намека, например, услышанного два-три раза слова «революция». Как палеонтолог по одной кости животного, найденной при раскопке, может восстановить целый скелет, так и этот репортеришка мог по одному слову «революция» составить целую речь. Так он и сделал — сразу, и притом недурно. Поскольку больше всего шума вызвала речь Мартина, то он все и приписал ему, превратив его в самого ярого анархиста из всей компании и придав его реакционно-индивидуалистическим взглядам характер самого крайнего социализма. Репортеришка владел словом: придав картине местный колорит, он, не жалея, сгустил краски: описал длинноволосых мужчин с дикими глазами, неврастеников и дегенератов, с голосами, дрожавшими от страсти, с угрожающе поднятыми кулаками, — и все это на фоне гула, ругательств и воплей разъяренных людей.

ГЛАВА XXXIX

На следующее утро, сидя за кофе в своей маленькой комнате, Мартин читал утреннюю газету. Для него было непривычным увидеть свое имя на первой странице газеты. Из нее он с удивлением узнал, что является самым известным лидером социалистов в Окленде. Он пробежал горячую, резкую речь, которую репортер вложил ему в уста; сначала он разозлился из-за такой лжи, но потом рассмеялся и отбросил газету.

— Или репортер был пьян, или он злостный врун, — сказал Мартин, сидя на кровати, когда Бриссенден днем зашел к нему и, видимо, усталый и ослабевший, опустился на единственный имевшийся в комнате стул.

— А не все ли вам равно? — спросил Бриссенден. — Неужели вы заботитесь о мнении буржуазных свиней, которые читают газеты?

Подумав немного, Мартин сказал:

— Нет, на самом деле их мнение меня ни капельки не беспокоит, но, с другой стороны, это может поставить меня в несколько неловкое положение в семье Рут. Ее отец всегда считал меня социалистом, и написанная тут чепуха еще больше убедит его в этом. Не то чтобы я дорожил его мнением. Ну, да ладно! Я хочу прочесть вам, что написал сегодня. Это рассказ «Запоздалый»; я уже закончил половину.

Он начал читать, когда вдруг Мария отворила дверь и впустила молодого человека в чистеньком костюме. Пришедший быстрым взглядом окинул комнату, причем от его взгляда не ускользнули стоявшие в углу керосинка и посуда; лишь потом он взглянул на Мартина.

— Присядьте, — сказал Бриссенден.

Мартин потеснился на кровати, чтобы дать место молодому человеку, ожидая, пока тот заговорит.

— Я слышал вчера вечером вашу речь, мистер Иден, и пришел проинтервьюировать вас, — начал он.

Бриссенден весело расхохотался.

— Это кто, товарищ социалист? — спросил репортер, кинув в сторону Бриссендена быстрый взгляд и подметив мертвенный цвет лица больного.

— И он мог написать такую статью, — мягко проговорил Мартин. — А ведь он совсем еще мальчик!

— Почему вы не поколотите его? — спросил Бриссенден. — Я дал бы тысячу долларов, чтобы мне на пять минут вернули мои легкие.

Этот разговор о нем и замечания в его адрес привели репортера в некоторое смущение. Но его похвалили за блестящее описание митинга социалистов и поручили ему лично

проинтервьюировать Мартина Идена, лидера организованных врагов общества.

— Вы ничего не будете иметь против того, чтобы вас сфотографировали, мистер Иден? — спросил он. — У меня фотограф, видите ли, ждет внизу, и он говорит, что лучше снять вас сейчас, пока солнце еще не зашло. Интервью можно начать потом.

— Фотограф! — задумчиво сказал Бриссенден. — Поколотите-ка его, Мартин, поколотите!

— Я что-то состарился, видно, — последовал ответ. — Я знаю, что следовало бы это сделать, но мне как-то лень. Да и не все ли равно?

— Это правильно, так и надо смотреть на это дело, — непринужденно заявил мальчишка, но при этом тревожно взглянул на дверь.

— Но ведь все, что он написал, — ложь, все до последнего слова, — продолжал Мартин, обращаясь исключительно к Бриссендену.

— Это было только описание в общих чертах, вы понимаете, — отважился вставить молодой человек, — и кроме того, это хорошая реклама, — вот что имеет значение. Мы вам оказали услугу.

— Хорошая реклама, Мартин, дружище, — мрачно повторил Бриссенден.

— И мне этим оказали услугу. Подумайте только, — прибавил Мартин.

— Приступим к делу. Где вы родились, мистер Иден? — спросил репортеришка, приготовившись внимательно слушать.

— Он не записывает, — заметил Бриссенден, — он и так все помнит.

— Я считаю это лишним. — Юный репортер старался скрыть свое беспокойство. — Ни один приличный репортер не нуждается в записывании.

— Лишним? Для вчерашнего собрания? — Но Бриссенден отнюдь не был поклонником всепрощения; он вдруг резко изменил тон: — Мартин, если вы не поколотите его, то я сделаю это сам, даже если тут же упаду мертвым.

— А что, правда, не отшлепать ли его? — спросил Мартин.

Не прошло и мгновения, как Мартин уже сидел на краю кровати и на коленях у него лицом вниз лежал молоденький репортер.

— Только, чур, не кусаться, — предостерег Мартин, — иначе мне придется хватить вас кулаком по лицу. А жаль, личико-то у вас уж очень хорошенькое!

Его поднятая рука опустилась, потом поднялась и снова опустилась в быстром уверенном ритме. Репортер сопротивлялся, и ругался, и извивался, но кусаться не пытался. Бриссенден с серьезным видом наблюдал за этой сценой; только раз он заволновался, схватил бутылку из-под виски и стал умолять:

— Позвольте мне ударить его разочек, только один разочек!

— Жаль, рука устала, — сказал наконец Мартин, перестав колотить репортера. — Совсем онемела. — Он поднял мальчишку и посадил его на кровать.

— Вы будете арестованы за это, — огрызнулся тот, и ребяческие слезы негодования потекли по его раскрасневшимся щекам. — Вы поплатитесь за это, вот увидите!

— Как бы не так! — заметил Мартин. — Ах, он не отдает себе отчета в том, что катится по наклонной плоскости. Так клеветать на ближнего бесчестно, неблагородно, недостойно, но он этого не знает.

— Он и пришел сюда к вам, чтобы вы ему это разъяснили, — заметил Бриссенден после непродолжительной паузы.

— Да, он пришел ко мне, ко мне, которого он оскорбил и оклеветал. Мой поставщик-лавочник, несомненно, теперь откажет мне в кредите. Хуже всего то, что бедный мальчик так и пойдет по этому пути, пока, наконец, не сделается первоклассным репортером и первоклассным негодяем и мерзавцем.

— Но время еще не упущено, — заметил Бриссенден. — Кто знает, может быть, вам суждено было оказаться скромным орудием его спасения? Почему вы не позволили мне хватить его разочек? Ведь мне тоже хотелось бы участвовать в этом.

— Я добьюсь того, что вас арестуют, вас обоих, скоты вы этакие! — рыдала заблудшая душа.

— Нет, у него рот слишком красив — это признак слабохарактерности. — Мартин мрачно покачал головой. — Я боюсь,

что зря утомил руку. Этот молодой человек измениться не может. Он сделается очень известным репортером и будет иметь большой успех. У него нет совести. Одно это сделает его великим.

После этих слов репортеришка выскочил из комнаты; он до последней минуты трепетал от страха, что Бриссенден запустит ему в спину бутылкой, которую все время держал в руке.

Прочитав на другой день утреннюю газету, Мартин узнал очень много нового о себе. «Мы — заклятые враги общества, — таковы были якобы его собственные слова, сказанные им во время интервью. — Нет, мы не анархисты, мы социалисты». Когда репортер заметил, что между обоими учениями разница не так уж велика, Мартин будто бы пожал плечами в знак молчаливого согласия. Лицо у него, оказывается, асимметричное и носившее все признаки вырождения. Особенно же бросались в глаза его чисто разбойничьи руки и огненный блеск налитых кровью глаз.

Мартин также узнал, что каждый вечер он выступает перед рабочими в парке городской ратуши и что из всех анархистов и агитаторов, которые там занимаются разжиганием страстей, он привлекает наибольшее количество слушателей и произносит наиболее революционные речи. Репортеришка яркими красками обрисовал картину его бедной маленькой комнаты, керосинку, единственный стул, не забыл и находившегося в гостях у Мартина бродяги с лицом мертвеца, имевшего вид человека, только что отсидевшего лет двадцать в одиночном заключении в подземелье какой-нибудь крепости.

Репортер развил большую деятельность. Он разузнал, кто родственники Мартина, и пронюхал про его семейные дела; ему удалось сделать снимок бакалейной лавки Хиггинботама и самого Бернарда Хиггинботама, стоящего у входа. Бакалейщик был изображен как умный и почтенный деловой человек, одинаково не переносивший как социалистических взглядов своего шурина, так и его самого; по его мнению, Мартин был ленивым, ни на что не годным малым, не желавшим поступать на службу, которая ему предлагалась; Хиггинботам не удивился бы, если бы его шурин кончил тюрьмой. Репортер интервьюировал также и Германа Шмидта, мужа Мэриен. Этот

последний назвал Мартина позором семьи и отрекся от него. «Он попробовал было жить на мой счет, но я быстро положил этому конец, — будто бы заявил Шмидт репортеру. — Он больше у меня не бывает. Человек, не желающий работать, никуда не годен. Таково мое мнение».

На этот раз Мартин действительно рассердился. Бриссенден смотрел на все это дело как на шутку, но ему не удалось утешить Мартина, который знал, как трудно будет объяснить все это Рут. Он представлял себе, как обрадует ее отца вся эта история и как он будет стараться расстроить их свадьбу. Вскоре ему пришлось узнать, что его опасения не были напрасны. С дневной почтой пришло письмо от Рут. Распечатывая его, Мартин уже предчувствовал беду; он начал читать его, стоя у открытой двери, которую так и не закрыл после ухода почтальона. Он машинально положил руку в карман и по старой привычке начал искать курительную бумагу и табак; он совсем забыл, что бросил курить, что в кармане у него никак не могло оказаться курительных принадлежностей.

Письмо Рут было написано бесстрастным тоном. В нем не звучало гневных ноток. Но с начала до конца, от первой до последней строки, оно было проникнуто чувством обиды и разочарования. Она ожидала от него совсем иного. Она думала, что он забыл про все проделки своей молодости, что ради ее любви к нему он начнет вести серьезный и приличный образ жизни. Теперь и родители были неумолимы и требовали, чтобы она ему отказала. Она вынуждена была признать, что они правы. Мартин и она никогда не могли бы быть счастливы вместе; их отношения были ошибкой. Во всем письме проскользнуло только раз сожаление, и Мартину было от этого особенно горько. «Если бы вы только поступили на какую-нибудь должность и попытались создать себе какое-нибудь положение, — писала она. — Но этого не случилось. Вся ваша жизнь была слишком беспутна и беспорядочна. Я понимаю, что вас нельзя в этом упрекать. Вы могли действовать только согласно особенностям вашего характера и в соответствии с вашим воспитанием. И потому, Мартин, я вас не осуждаю. Помните это. Это просто была ошибка. Мы не созданы друг

для друга, как говорят мои родители, и в будущем мы будем счастливы, так как заметили это вовремя... Не старайтесь видеться со мной, — писала она в конце письма. — Это было бы тяжело для нас обоих, а также и для моей матери. Я чувствую, что и так уж причинила ей много огорчений и беспокойства. Мне не скоро удастся загладить мою вину перед ней».

Мартин тщательно перечитал письмо еще раз с начала до конца, а затем сел отвечать. Он вкратце пересказал содержание своей речи на митинге социалистов, подчеркнув, что высказанные им суждения во всех отношениях были диаметрально противоположны тому, что ему приписывала газета. В конце письма он был только влюбленным, страстно умолял ее о любви. «Молю вас, ответьте мне, — писал он, — и скажите только одно: любите ли вы меня? Больше ничего! Я прошу ответить мне только на этот один вопрос».

Но ответа не было ни на следующий день, ни позднее. Рассказ «Запоздалый» лежал нетронутым на столе, и каждый день росла под столом кипа возвращенных журналами рукописей. Впервые богатырский сон Мартина нарушился: у него началась бессонница, и он провел много мучительных ночей, лежа без сна на постели. Три раза он заходил к Морзам, но не был принят. Бриссенден лежал больной у себя в гостинице; он был слишком слаб, чтобы выходить, и Мартин, хотя и часто навещал его, не хотел надоедать ему своими огорчениями и заботами.

А забот и огорчений у Мартина было много. Статья репортера произвела свое действие: подобных последствий Мартин даже не ожидал. Бакалейщик-португалец отказал ему в кредите, а зеленщик, который был американцем и гордился этим, назвал его изменником родины и отказался иметь с ним дело. Он довел свой патриотизм до того, что перечеркнул страницу со счетом Мартина и велел ему даже не пытаться заплатить свой долг. В разговорах всех соседей отражались те же чувства, и негодование против Мартина было велико. Никто не желал иметь ничего общего с изменником-социалистом. Бедная Мария была перепугана и полна сомнений, но все же осталась верной своему жильцу. Дети из соседних домов вскоре забыли про страх и благоговение, которое им внушило появление шикарного

экипажа у дома Мартина; теперь, отбегая на почтительное расстояние, они обзывали его бродягой и жуликом. Вся ватага детей Сильва, однако, яростно защищала его и не раз сражалась за его честь; подбитые глаза и окровавленные носы сделались обычным явлением в семье, что еще больше расстраивало и заставляло недоумевать бедную Марию.

Как-то раз Мартин встретил на улице Гертруду и узнал от нее кое-что, в чем он, впрочем, был заранее уверен, а именно, что Бернард Хиггинботам был страшно сердит на него. Он не мог простить Мартину, что тот публично опозорил семью, и запретил ему бывать у себя в доме.

— Почему бы тебе не уехать отсюда, Мартин? — спросила его Гертруда. — Уезжай, поступай на место где-нибудь и устройся. Впоследствии, когда все забудется, ты сможешь вернуться.

Мартин покачал головой, но не стал ей ничего объяснять. Он был потрясен глубиной той моральной пропасти, которая отделяла его от родных. Перешагнуть через эту пропасть и объяснить им свое отношение, отношение последователя Ницше, к социализму было невозможно. Ни в английском, ни в каком-либо другом языке не хватило бы слов, которыми он мог бы объяснить им свое поведение так, чтобы они поняли его. Только одним способом, так они считали, Мартин мог доказать свою порядочность: поступлением на службу. С этого они начинали и этим кончали. Этим и ограничивался весь их запас мыслей. Поступить на место! Взяться за работу! «Бедные, глупые рабы!» — думал он, слушая сестру. Нечего удивляться, что миром владеют сильные. Рабы были загипнотизированы собственными цепями. «Место» служило для них каким-то золотым фетишем, которому они поклонялись и перед которым падали ниц.

Когда Гертруда предложила ему денег, он снова отрицательно покачал головой, хотя знал, что через день или два ему опять придется закладывать костюм.

— Ты пока держись подальше от Бернарда, — уговаривала его Гертруда. — Через несколько месяцев, если ты захочешь, он тебе даст место у себя: будешь разъезжать с фургоном.

А если я тебе буду нужна, пришли за мной, и я всегда приду к тебе. Смотри, не забудь.

Она ушла, громко всхлипывая. У Мартина болезненно сжалось сердце при виде ее грузной фигуры и неуклюжей походки. Он смотрел ей вслед, и его вера в Ницше как будто поколебалась. Хорошо было говорить о классе рабов в отвлеченном смысле, но было не вполне приятно видеть пример этого рабства в своей же семье. А между тем, была ли на свете другая рабыня, которою так помыкали бы более сильные? Этот парадокс заставил его грустно усмехнуться. Какой же он последователь Ницше, если первый сентиментальный порыв или душевное волнение могли поколебать его мировоззрение. И поколебать чем же? Самой рабской моралью, — ведь на ней, в сущности, и была основана его жалость к сестре. Истинный сверхчеловек должен стоять выше жалости и сострадания. Жалость и сострадание — эти чувства зародились в подземельях, где ютились рабы; их породили муки и кровавый пот униженных и слабых.

ГЛАВА XL

Рассказ «Запоздалый» все еще лежал забытый у Мартина на столе. Все рукописи, некогда отправленные им в журналы, валялись теперь под столом, и только одна из них еще путешествовала, это была «Эфемерида» Бриссендена. Велосипед и черный костюм опять были заложены; за прокат пишущей машинки снова требовали денег. Но все это уже не трогало его. Он искал новых путей; и пока они не будут найдены, жизнь должна замереть.

По прошествии нескольких недель случилось то, чего он ждал. Он встретил Рут на улице. Правда, сопровождал ее брат Норман; правда также, они сделали вид, будто не замечают его, а затем Норман велел ему уйти.

— Если вы не оставите мою сестру в покое, я позову полицейского, — пригрозил Норман. — Она не желает с вами разговаривать; ваша назойливость — оскорбление для нее.

— Если вы будете настаивать на своем, вам на самом деле придется позвать полицейского; тогда ваше имя попадет в газеты, — со злостью ответил Мартин. — А теперь потрудитесь мне не мешать и, если хотите, зовите вашего полицейского. Я хочу поговорить с Рут.

— Я хочу услышать все от вас самой, — сказал он ей.

Она была бледна и дрожала, но взяла себя в руки и вопросительно посмотрела на него.

— Ответ на вопрос, который я задал вам в письме, — подсказал ей Мартин.

Норман жестом выразил свое нетерпение, но Мартин взглядом остановил его.

Рут покачала головой.

— Вы действовали по собственному желанию? — спросил он.

— Да.

Она говорила тихим, твердым голосом, взвешивая каждое слово.

— Это мое собственное желание. Вы так опозорили меня, что мне стыдно встречаться с друзьями. Они все говорят обо мне, я знаю это. Вот все, что я могу вам сказать. Вы сделали меня очень несчастной, и я больше не хочу с вами видеться.

— Друзья! Сплетни! Газетное вранье! Неужели подобные вещи могут оказаться сильнее любви? Я могу только думать, что вы меня никогда не любили.

Яркий румянец покрыл ее бледное лицо.

— После всего, что было? — тихо сказала она. — Мартин, вы сами не знаете, что вы говорите. Я не настолько легкомысленна.

— Вы видите, она не хочет иметь с вами ничего общего, — заявил Норман.

И они пошли дальше.

Мартин посторонился, чтобы дать им пройти, бессознательно шаря в кармане пальто в поисках табака и коричневой бумаги, которых там не было.

До Северного Окленда было далеко, но, только поднимаясь по лестнице и входя в свою комнату, он сообразил, что прошел пешком все расстояние. Вдруг он заметил, что сидит на кровати и глядит вокруг, словно только что проснувшийся лунатик.

Он заметил свою рукопись, лежавшую на столе, придвинул стул и взялся за перо. Его натура логически требовала законченности. А тут что-то недоделанное. Работа была отложена ради чего-то другого. Теперь, раз то, другое, было кончено, ему нужно было посвятить себя этой работе, пока она не будет доведена до конца. Что он будет делать дальше, этого он не знал. Он только сознавал, что в его жизни наступил перелом. Один период его жизни пришел к концу, и он округлял, заканчивал его, как рабочий заканчивает свою работу. Будущим он не интересовался. Все равно, рано или поздно он узнает, что ему уготовлено. Какова бы ни оказалась его судьба, ему было все равно. Все решительно казалось ему безразличным.

Пять дней он проработал над рассказом «Запоздалый», нигде не бывая, никого не видя и почти не принимая пищи. На утро шестого дня почтальон принес ему тоненькое письмо от издателя «Парфенона». Мартин с первого взгляда понял, что «Эфемерида» принята. «Мы показали поэму мистеру Картрайту Брюсу, — писал издатель, — и он дал о ней такой лестный отзыв, что мы не можем выпустить ее из рук. В доказательство того, что мы действительно желаем напечатать поэму, разрешите Вам сказать, что мы поместим ее в августовский номер, так как июльский уже набран. Не откажите передать нашу признательность мистеру Бриссендену и прислать нам с обратной почтой его фотографию и биографические сведения о нем. Если предложенный нами гонорар недостаточен, протелеграфируйте нам немедленно и скажите, какую цену Вы считаете приемлемой».

Предложенный издательством гонорар равнялся тремстам пятидесяти долларам. Поэтому Мартин решил, что не стоит телеграфировать. Кроме того, надо было еще получить согласие Бриссендена. Итак, он, Мартин, в конце концов оказался прав. Нашелся редактор журнала, который мог оценить настоящую поэзию. Гонорар был отличный, даже для шедевра. Что же касалось мистера Картрайта Брюса, то это был единственный критик, мнение которого Бриссенден уважал, и Мартину это было известно.

Сидя в трамвае и наблюдая за мелькавшими мимо него домами и перекрестками, Мартин почувствовал сожаление, что успех

его друга и его собственная знаменательная победа так мало его радуют. Его убеждение, что талантливое произведение будет оценено и напечатано журналами, оправдалось: ведь единственный во всей стране настоящий хороший критик дал благоприятный отзыв о поэме. Но у него уже не было прежнего энтузиазма. Ему просто хотелось повидаться с Бриссенденом больше, чем сообщить ему радостную новость. Письмо из редакции «Парфенона» напомнило ему, что он в течение последних пяти дней, проведенных в работе, ни разу не справился о Бриссендене и даже ни разу не вспомнил о нем. Впервые Мартин понял, что он все это время жил в каком-то тумане, и ему стало стыдно, что он забыл друга. Но даже это чувство стыда не было особенно острым и не жгло его. Он оставался глух ко всем душевным переживаниям, за исключением тех, которые волновали его как художника, пока он писал свой рассказ. Что же касалось всего прочего, то он относился к нему как человек, находящийся в трансе. В сущности, это состояние продолжалось и теперь.

Вся эта жизнь за окнами мчавшего его трамвая казалась ему далекой, нереальной. Упади ему на голову колокольня, мимо которой он только что проехал, и рассыпься она тут же в прах, он и то не поразился бы и не особенно поинтересовался бы этим случаем.

В гостинице он быстро поднялся к Бриссендену в номер и так же быстро опять спустился оттуда. В номере никого не было. Все вещи Бриссендена исчезли.

— Не оставил ли мистер Бриссенден своего адреса? — спросил он в конторе отеля.

Служащий с удивлением посмотрел на него.

— Разве вы не слыхали? — спросил он.

Мартин покачал головой.

— Неужели? Газеты были полны этим. Его нашли мертвым. Покончил с собой. Выстрелил себе в висок.

— Его уже похоронили?

Мартину казалось, что вопрос этот задал не он, а чей-то чужой голос, откуда-то издалека.

— Нет. После дознания тело было отправлено морем на Восток, по поручению его родных.

— Надо признать, они не теряли времени, — заметил Мартин.
— Ну как сказать. Ведь это случилось пять дней тому назад.
— Пять дней?
— Да, пять дней.
— Вот как, — сказал Мартин и вышел.

На углу он зашел на телеграф и сообщил в редакцию «Парфенона», что поэму можно печатать. У него в кармане было всего пять центов на трамвай, и телеграмму пришлось послать с уплатой за счет получателя.

Вернувшись домой, он снова принялся писать. Дни проходили за днями, ночи за ночами, а он все сидел за столом и писал. Он никуда не ходил, кроме ломбарда, и вообще сидел дома без воздуха и движения; когда он бывал голоден и у него имелась кое-какая провизия, он аккуратно обедал, но при этом так же спокойно обходился без еды, когда ее не было.

Хотя вся фабула была заранее подробно обдумана, ему тем не менее пришла в голову идея о новом вступлении, которое усиливало впечатление от рассказа, но зато удлиняло его на двадцать тысяч слов. Собственно говоря, его ничто не принуждало так тщательно шлифовать свое произведение, но выработанные им самим правила заставляли его добиваться совершенства. Он продолжал работать, словно в тумане, пребывая в каком-то странном отчуждении от окружающего его внешнего мира, словно он был призраком, очутившимся среди привычных атрибутов своей прежней, посвященной писанию жизни. Он вспомнил чьи-то слова, что привидение есть не что иное, как дух умершего человека, который сам не понял этого. И он задавал себе вопрос: а не умер ли и он на самом деле и сам того не замечает?

Наступил и день, когда повесть «Запоздалый» была окончена. Агент из магазина пишущих машинок пришел за машинкой и ждал, сидя на кровати, пока Мартин, поместившись на единственном своем стуле, не допечатал последних страниц заключительной главы. «Finis» — написал он под конец большими буквами; для него это, действительно, было концом. Он с чувством облегчения смотрел, как уносили пишущую машинку. Затем он лег на кровать. Он ослабел от голода: уже тридцать шесть часов, как он не ел, но он об этом не думал. Он лежал на

спине с закрытыми глазами и вообще ни о чем не думал, в то время как туман, в котором он жил все это время, постепенно сгущался, заволакивая понемногу его сознание. Почти в бреду он начал громко бормотать слова из стихотворения неизвестного автора, которое Бриссенден любил декламировать. Подслушав за дверью его монотонное бормотание, Мария не на шутку встревожилась. Сами слова не имели для нее значения, но ее волновал факт, что Мартин говорит сам с собой. «Конец всему», таков был лейтмотив стихотворения.

Я окончил, —
Спи, струна!
Умирают песни скоро,
Словно тени средь узора
Густолиственного бора...
Я окончил, —
Спи, струна!
А певал и я когда-то,
Словно дрозд в лучах заката, —
Песня выпита до дна.
Птицей быть душа устала,
В горле голоса не стало,
Мне не петь уж, как бывало...
Я окончил, —
Спи, струна!

Мария не могла больше этого вынести. Она побежала на кухню и наполнила супом небольшую мисочку, положив туда львиную долю крошеного мяса и овощей, которые она выловила большой суповой ложкой со дна горшка. Мартин пришел в себя, сел и начал есть; жуя, он успокаивал Марию, уверяя ее, что у него нет ни малейшей лихорадки и что он не бредил.

После ее ухода Мартин уселся, согнувшись, на краю кровати и тоскливо обвел комнату взглядом широко открытых, ничего не видящих, потускневших глаз; случайно взор его остановился на разорванной бандероли журнала, принесенного еще утром. Он так и не развернул его. Вдруг словно луч света озарил его затуманенный мозг.

«Да ведь это «Парфенон», — подумал он, — августовский номер «Парфенона», в нем должна быть «Эфемерида». Если бы только Бриссенден мог это видеть!»

Он перелистывал журнал и вдруг остановился. «Эфемериду» напечатали с роскошной виньеткой и украшениями в стиле Бердсли на полях. С одной стороны виньетки была фотография Бриссендена, с другой — британского посла сэра Джона Вэлью. В предисловии редактор приводил слова сэра Джона Вэлью, уверявшего, что в Америке поэтов нет; и печатая «Эфемериду», «Парфенон» словно хотел ответить: «Вот вам, сэр Джон Вэлью, прочитайте-ка эту штуку». Приводились слова Картрайта Брюса, наиболее выдающегося, по словам журнала, критика в Америке: «“Эфемерида” — величайшая поэма, когда-либо написанная в Америке». Предисловие редактора заканчивалось словами: «Мы еще не в состоянии дать правильную оценку этой поэмы; может быть, мы никогда и не будем в состоянии это сделать. Но мы читали ее много раз, удивляясь словам поэта и сочетаниям их, дивясь, каким образом мистер Бриссенден умел находить их и связывать между собой». Затем следовала сама поэма.

— Хорошо, что вы умерли, Брис, старина, — прошептал Мартин и уронил журнал на пол.

Пошлость и вульгарность всего этого была омерзительна, но Мартин апатично заметил, что сам он не испытывал особого омерзения. Он был бы рад разозлиться, но у него не хватало энергии даже сделать попытку. Слишком сильно было охватившее его оцепенение. Кровь у него так застыла, что сердце уже не могло забиться сильнее даже от негодования. В сущности говоря, не все ли равно? Приемы журнала соответствовали уровню всего остального, что Бриссенден так осуждал в буржуазном обществе.

«Бедный Брис, — подумал Мартин, — он никогда бы мне этого не простил».

Сделав над собой усилие, он взял коробку из-под бумаги для пишущей машинки. Пересмотрев ее содержимое, он вытащил оттуда одиннадцать стихотворений, написанных его другом. Он разорвал их на четыре части и бросил в корзинку.

Он делал это спокойно, лениво, а когда кончил, уселся опять на кровать, машинально уставившись в одну точку.

Он не видел окружающих предметов и не знал, сколько времени он так просидел. Вдруг в его затуманенном сознании возникла длинная, белая, горизонтальная полоса. Это было интересно. Наблюдая за тем, как эта полоса постепенно начала обрисовываться все яснее и определеннее, Мартин, наконец, увидел, что это коралловый риф, возвышавшийся над белым гребнем волн Тихого океана. Далее он заметил среди волн прибоя маленькую лодку, легкую местную лодку. На корме сидел молодой бог с бронзовым телом, вокруг бедер у него был обернут кусок ярко-красной материи; в руках он держал сверкающее на солнце весло. Мартин узнал юношу. Это был Моти, младший сын вождя Тами; остров этот был Таити; вон там, за тем видневшимся вдали рифом, находилась чудная страна Папара, где у устья реки стояла соломенная хижина вождя. День склонялся к вечеру, и Моти возвращался домой после рыбной ловли. Он ждал высокой волны, на гребне которой он мог бы перескочить через риф. Вдруг Мартин увидел и самого себя с веслом в руках, сидящего на носу лодки; в прежние времена он частенько так сиживал, выжидая, пока не вырастет позади лодки бирюзовая стена; тогда Моти давал знак и он изо всех сил начинал работать веслами. Но вот он уже перестал быть простым наблюдателем; Моти громко крикнул, и они оба начали грести, как сумасшедшие; лодка высоко вздымалась на гребне бешено мчавшейся бирюзовой громады. Под носом лодки вода зашипела, словно пар; кругом летели брызги; вдруг страшный толчок, треск, грохот, отраженный эхо, — и лодка тихо поплыла по спокойным водам лагуны. Моти смеялся и стряхивал соленую воду, попавшую ему в глаза; слегка работая веслами, они подплыли к берегу, покрытому коралловым песком, где в тени кокосовых пальм стояла хижина Тами; соломенные стены ее казались золотыми под лучами заходящего солнца.

Картина вдруг исчезла, и перед Мартином снова возник лишь беспорядок своей жалкой конуры. Напрасно он снова старался увидеть Таити. Он знал, что там, среди деревьев, раздавалось

пение и что девушки танцевали, озаренные лучами луны; но он уже не мог видеть их. Он видел только письменный стол, на котором все было разбросано, пустое место, где недавно еще стояла пишущая машинка, и давно не мытые стекла окон. Он закрыл глаза и с глубоким, похожим на стон вздохом заснул.

ГЛАВА XLI

Он проспал всю ночь тяжелым сном и не просыпался до тех пор, пока его не разбудил почтальон, разносивший утреннюю почту. Мартин чувствовал усталость и апатию и без всякого интереса взялся за письма. Один тоненький конверт содержал чек на двадцать два доллара; деньги пришли из редакции «пиратского» журнала. Целых полтора года Мартин приставал к редактору по поводу этих денег и только теперь получил их. Он равнодушно отметил размер суммы. Радость прежних лет, испытываемая им при получении чека от издателя, исчезла бесследно. Этот чек не походил на прежние: он не был полон заманчивых обещаний. Для него это был просто чек на двадцать два доллара — и больше ничего; на эти деньги он мог купить что-нибудь съестное.

С этой же почтой был получен другой чек, присланный нью-йоркским еженедельником в виде оплаты за юмористические стихи, принятые несколько месяцев тому назад. Этот чек был на десять долларов. Мартину пришла мысль, которую он начал спокойно обдумывать. Он не знал, что будет делать в ближайшем будущем и не торопился приняться за что-нибудь. Между тем нужно было жить. У него было много долгов. Не наклеить ли марки на огромную кипу рукописей под столом и не отправить ли их снова в путешествие? Не окажется ли это выгодным вложением капитала? Одна или две, быть может, будут приняты. На это можно будет жить какое-то время. Так он и решил. Получив по чекам деньги в оклендском банке, он купил на десять долларов марок. Мысль вернуться домой и приняться за приготовление завтрака в душной маленькой ком-

нате была ему противна. В первый раз в жизни он решил забыть о своих долгах. Он знал, что мог приготовить сытный завтрак у себя за пятнадцать или двадцать центов. Но вместо этого он пошел в кафе «Форум» и заказал завтрак за два доллара. Лакею на чай дал он четверть доллара и истратил пятьдесят центов на пачку египетских папирос. Он закурил в первый раз после того, как Рут попросила его бросить. Теперь больше не было причины не курить, и, кроме того, Мартину этого хотелось. А какое значение имели деньги? На пять центов он мог купить пачку табаку и курительных бумажек и скрутить сорок папирос, но что же из этого? Деньги для него сейчас значения не имели, разве только постольку, поскольку можно было на них что-нибудь купить. Не имея карты берегов, не зная куда пристать, без руля плыл он по течению; так было лучше, он меньше чувствовал жизнь, ведь жить ему было больно.

Дни проходили за днями, и он систематически спал по восемь часов в сутки. Хотя теперь, в ожидании новых чеков, он и ел в японском ресторане, где можно было пообедать за десять центов, все же его истощенный организм укреплялся: он полнел, и щеки его округлились. Он не мучил себя непосильной работой, чтением и бессонными ночами. Он ничего не писал и не открывал ни одной книги. Он много гулял, ходил по горам и проводил достаточно времени в безлюдных парках. У него не было ни друзей, ни знакомых, и он не стремился их приобрести. Ему ничего не хотелось. Он ждал какого-нибудь внешнего толчка, какого-нибудь импульса, который мог бы снова привести в движение его словно остановившуюся жизнь; откуда мог явиться этот толчок, он не знал. А между тем он продолжал жить бесцельной, праздной и пустой жизнью.

Как-то раз он съездил в Сан-Франциско, чтобы повидать там «настоящую грязь». Но в последнюю минуту, когда он уже поднимался на верхнюю площадку лестницы, он внезапно передумал, повернул обратно и, быстро удалившись, зашагал по переполненным народом улицам гетто. Он испугался при мысли опять услышать философские споры и быстро бежал, опасаясь, как бы кто-нибудь из «тех» не встретил и не узнал бы его.

Иногда он просматривал газеты и журналы, желая знать, что пишут об «Эфемериде». Поэма произвела сенсацию, и какую! Все читали ее и рассуждали о том, настоящая ли это поэзия. Местные газеты были полны «Эфемеридой», о ней ежедневно появлялись в печати целые столбцы научной критики, шутливых статей и серьезных писем подписчиков. Элен Делла Дельмар (провозглашенная с трубным гласом и барабанным боем величайшей поэтессой Соединенных Штатов) не сочла Бриссендена достойным занять место рядом с ней на спине крылатого Пегаса и писала длиннейшие письма, доказывая, что он вовсе не может считаться поэтом.

В следующем своем номере «Парфенон» сам себя погладил по головке за всю ту шумиху, которую ему удалось произвести, и насмехался над сэром Джоном Вэлью, причем смерть Бриссендена эксплуатировалась чисто по-торгашески. Распространенная газета, расходившаяся в количестве полумиллиона экземпляров, напечатала оригинальный экспромт Элен Деллы Дельмар, в котором она осмеивала Бриссендена и издевалась над ним. Кроме того, она разразилась еще и пародией на него.

У Мартина много раз были причины радоваться смерти своего друга. Ведь Бриссенден так ненавидел толпу, а тут самое лучшее, самое святое для него, было брошено на поругание толпы. Ежедневно производилась вивисекция красоты. Все глупцы, примазавшись к славе Бриссендена, выступали в печати, навязывая публике свою собственную ничтожную личность. Одна газета писала: «Мы получили письмо от одного господина, который недавно предложил такую же поэму, только еще лучше». Другая газета, упрекая Элен Деллу Дельмар за ее пародию, совершенно серьезно писала: «Несомненно, мисс Дельмар, сочиняя эту вещь, желала пошутить и отнеслась к автору «Эфемериды» далеко не с тем уважением, с каким один великий поэт обязан относиться к другому, может быть, величайшему поэту нашей эпохи. Завидует ли ему мисс Дельмар или нет, этого мы не знаем, но можем с уверенностью сказать, что она, как и тысячи других, очарована «Эфемеридой» и, быть может, наступит день, когда она будет стремиться подражать ей».

Против «Эфемериды» начали говорить проповеди священники, один, слишком явно защищавший ее, был изгнан из лона церкви за ересь. Великая поэма дала обществу повод для развлечений. Поэты-юмористы и карикатуристы с жадностью ухватились за нее; в светской хронике еженедельников появились всевозможные шутки: сообщалось, что Чарли Френшэм по секрету сказал Арчи Дженнигсу, что после пяти строчек «Эфемериды» способен поколотить калеку, а от десяти ее строк можно утопиться.

Мартину не было смешно, но и не скрежетал от злости зубами. Он испытывал глубокую грусть. В сравнении с крушением всего его внутреннего мира и любви, стоявшей для него превыше всего, духовная несостоятельность журналов и милой публики казалась пустяком.

Бриссенден был совершенно прав в своих суждениях о журналах, а он, Мартин, провел много лет в бесплодном труде, чтобы самому прийти к этому же заключению. Журналы были именно такими, как их описывал Бриссенден, и даже хуже. Ну, что ж — он конченый человек, утешал Мартин себя. Он парил в небесах и упал в вонючее болото. Картины Таити — чистого, светлого Таити — стали посещать его все чаще. Тут были и низкие острова Паумоту, и высокий Маркизский архипелаг; часто Мартин видел себя то на торговой шхуне, то на маленькой хрупкой лодочке; он потихоньку уплывал на рассвете, переезжая через риф у Папеэты и пускаясь в длинный путь через жемчужные атоллы Нукухивы и к бухте Тайохаэ. Там встретит его Тамари, который, Мартин это знал, зарежет свинью в честь его приезда, а увешанные цветочными гирляндами дочери Тамари схватят его за руки и со смехом и песнями обвешают гирляндами. Южные моря манили его, и он знал, что рано или поздно откликнется на их зов.

Но пока он продолжал машинально плыть по течению, возвращаясь мысленно к прошлому и отдыхая после долгого своего пребывания в царстве науки. Когда «Парфенон» прислал ему чек на триста пятьдесят долларов, он отдал его местному нотариусу, ведавшему делами Бриссендена, для передачи семейству последнего. Мартин взял с нотариуса соответству-

ющую расписку и одновременно дал тому расписку в получении им когда-то от Бриссендена ста долларов.

Вскоре Мартин перестал посещать японский ресторан. Как раз в тот момент, когда он перестал бороться, благоприятный ветер подул в его сторону. Но он подул слишком поздно. Без малейшего радостного трепета вскрыл Мартин тоненький конверт от «Миллениума», посмотрел на чек в триста долларов и сообразил, что это гонорар за принятый журналом рассказ «Приключение». Все до единого долги Мартина, включая и долг ломбарду с его ростовщическими процентами, не превышали ста долларов. После того как Мартин заплатил все до последнего гроша, даже ту сотню, на которую дал расписку нотариусу Бриссендена, у него в кармане осталось еще более ста долларов. Он заказал портному костюм и стал ходить в лучшие кафе. Он все еще жил в своей маленькой комнате у Марии, но соседские дети, при виде его нового платья, перестали из-за заборов и с крыш дровяных сараев кричать ему вслед «бродяга» и «лентяй».

Журнал «Ежемесячник Уоррена» приобрел за двести пятьдесят долларов его коротенький гавайский рассказ «Вики-Вики». «Северное обозрение» напечатало «Колыбель красоты», а «Журнал Макинтоша» принял «Гадалку» — стихотворение, посвященное Мэриен. Редакторы и критики вернулись после летних отпусков, и рукописи прочитывались быстро. Но Мартин не мог понять, почему им всем пришла странная фантазия принимать те же вещи, которые они отвергали в течение двух лет. Ни одно из его произведений еще не было напечатано. Он нигде не был известен, кроме Окленда, да и здесь те немногие, кто думали, что знают его, считали его ярым социалистом. Ничем нельзя было объяснить этот внезапный интерес к его сочинениям и такую их востребованность. Это был просто какой-то фокус судьбы.

После того как «Позор солнца» был забракован многими журналами, Мартин последовал отвергнутому им сначала совету Бриссендена и решил предложить его книгоиздательству. Сначала последовало несколько отказов, но потом «Синглтри, Дарнлей и К°» приняли эту вещь и обещали напечатать ее пол-

ностью. Когда Мартин попросил аванс в счет авторского гонорара, издательство ответило ему, что обычно этого не делают, так как подобные книги редко окупаются; издатели сомневались в успехе книги и не рассчитывали продать более тысячи экземпляров. Мартин подсчитал, сколько он заработает при таких условиях. При розничной продаже по одному доллару за экземпляр и авторском гонораре в пятнадцать процентов книга принесет ему сто пятьдесят долларов. Он решил, что если бы снова принялся за писание, то ограничился бы теперь беллетристикой. За «Приключение», которое было в четыре раза короче «Позора солнца», «Миллениум» заплатил ему вдвое больше. В общем, заметка, которую он давным-давно прочитал в газете, оказалась в конце концов правдой. Первоклассные журналы действительно платили сразу и платили хорошо. «Миллениум» заплатил ему не по два, а по четыре цента за слово. Кроме того, они брали хорошие вещи — ведь приобрели же они его произведения. При этой мысли Мартин усмехнулся.

Он написал «Синглтри, Дарнлею и К°», предлагая им продать свои авторские права на «Позор солнца» за сто долларов, но издательство не решилось пойти на риск. В этот момент Мартин не нуждался в деньгах: еще некоторые из его позднейших рассказов были приняты и он получил за них гонорар. Он даже открыл текущий счет в банке, и по уплате всех долгов оказался обладателем нескольких сот долларов. Рассказ «Запоздалый», после того как его отвергли в нескольких журналах, наконец был принят издательством «Мередит-Лоуэл и К°». Мартин вспомнил про пять долларов, которые ему дала Гертруда, и про свое обещание вернуть ей эту сумму во сто крат. Он написал в издательство и попросил аванс в пятьсот долларов в счет авторского гонорара. К его удивлению, с обратной почтой пришел на эту сумму чек, сопровождаемый контрактом. Мартин разменял его на золотые монеты, по пять долларов каждая, и позвонил Гертруде, что желает ее видеть.

Она пришла к нему запыхавшись, так она торопилась. Предчувствуя беду, она сунула в свою сумочку те несколько долларов, которые у нее были; она была уверена, что с ее братом случилась

какая-то беда. Рыдая, она бросилась ему на шею, протягивая ему сумочку.

— Я бы и сам к тебе пришел, — сказал Мартин, — но не хотел нарваться на скандал с мистером Хиггинботамом, а без этого дело бы не обошлось.

— Он через некоторое время успокоится, — стала уверять Гертруда, в то же время недоумевая, что такое стряслось с Мартином. — Ты бы лучше сначала поступил на место, устроился. Бернард любит, когда люди живут честным трудом. Эти статьи в газетах вывели его из себя. Я прежде никогда не видела его таким злым.

— Нет, я места искать не собираюсь, — сказал Мартин, улыбаясь. — Можешь ему это сказать от меня. Мне место не нужно, и вот тебе доказательство.

Он высыпал ей на колени все сто блестящих звонких монет.

— Помнишь золотой в пять долларов, который ты дала мне, когда мне нечем было заплатить за трамвай? Так вот он, с девяносто девятью братьями разного возраста, но одинаковой величины.

Гертруда пришла к своему брату, уже испуганная, теперь же она была в ужасе. Опасения ее превратились в уверенность. Она не то что заподозрила неладное, она была убеждена в этом. С ужасом посмотрела она на Мартина, и все ее грузное тело задрожало от прикосновения к золоту, которое, казалось, жгло ее.

— Это все твое, — со смехом сказал Мартин.

Гертруда расплакалась и застонала:

— Мой бедный, бедный мальчик.

Он был в недоумении. Но, догадавшись о причине ее волнения, он вручил ей письмо «Мередит-Лоуэл и К°», которое получил вместе с чеком. Запинаясь и несколько раз останавливаясь, чтобы вытереть слезы, она прочитала его и, закончив, спросила:

— Значит, ты честным путем получил эти деньги?

— Более честным, чем если бы выиграл их в лотерее. Я заработал их.

Она еще раз внимательно прочла письмо. Постепенно она начинала верить Мартину; долго пришлось объяснять ей, какого рода условие он заключил, чтобы сразу получить такую

сумму, но понять, что деньги ее и что они ему вовсе не нужны, этого она еще долго не могла.

— Я положу их в банк на твое имя, — наконец сказала она.

— Ничего подобного ты не сделаешь. Они твои, и ты можешь с ними сделать все, что захочешь; а если ты не возьмешь их, то я отдам их Марии. Она найдет им употребление. Но я посоветовал бы тебе нанять прислугу и хорошенько отдохнуть.

— Я все расскажу Бернарду, — объявила она, уходя.

Мартин поморщился, но потом рассмеялся.

— Да, расскажи, — сказал он. — Может быть, после этого он опять позовет меня обедать!

— Да, конечно... позовет! — уверенно воскликнула она, обнимая и целуя брата.

ГЛАВА XLII

Через некоторое время Мартин остро ощутил одиночество. Он был здоров, полон сил, а заняться ему было нечем. С прекращением работы и занятий наукой после смерти Бриссендена и разрыва с Рут в жизни образовалась пустота. Приятно проводить время в кафе, курить египетские папиросы — этого ему было мало; его это не удовлетворяло. Правда, его манил Тихий океан, но у него было чувство, что он не доделал на родине всего, что следовало. Две его книги ожидали выхода в свет; да и еще у него оставались готовые книги, которые можно было издать. Он мог заработать на них много денег, и лучше было подождать и поехать в Океанию с целым мешком золота. Он знал одну бухточку и долину на Маркизских островах, которые он мог бы купить всего за тысячу чилийских долларов. Долина простиралась от берегов подковообразной, почти замкнутой бухточки до окутанных облаками вершин гор и занимала приблизительно десять тысяч акров земли. Там росли тропические фрукты, водились дикие куры, дикие свиньи и иногда появлялись стада диких коров; в горах водилось множество диких коз, на которых нападали

стаи диких собак. Вся эта местность была дикая. Там не было ни одного человеческого существа, и он мог купить все, вместе с бухточкой, за тысячу чилийских долларов.

Бухта, насколько он ее помнил, была чудесная, она была достаточно глубока, чтобы любое, даже самое большое судно могло войти в нее, и настолько безопасна, что лоция Тихого океана рекомендовала ее как лучшее место для починки кораблей на протяжении нескольких сотен миль. Он купит шхуну — судно с медной обшивкой, похожее на одну из тех яхт, которые мчатся, словно птицы, и станет торговать копрой и жемчугом. Он сделает из долины и бухты свою главную резиденцию. Там он построит патриархальную хижину из соломы, как Тами, и наполнит и дом, и всю долину, и свою шхуну чернокожими слугами. Он будет принимать там губернатора Тайохаэ, капитанов плавающих по Тихому океану торговых судов и весь тамошний сброд. У него будет открытый дом, и он будет принимать гостей, словно какой-нибудь принц. И он забудет все книги, которые прочитал, и весь свет, оказавшийся лишь разрушенной иллюзией.

Но, чтобы все это осуществилось, надо было подождать тут в Калифорнии, пока мешок не наполнится деньгами. Они уже начали плыть ему в руки. Стоит только одной из его книг произвести сенсацию — и откроется возможность продать всю груду рукописей. Он мог бы составить из своих рассказов и поэм несколько сборников и таким образом обеспечить себе долину, бухту и шхуну. Писать он больше не будет — это он решил твердо. Но пока, в ожидании появления в печати книг, нужно что-нибудь делать, чтобы выйти, наконец, из того состояния апатии, в котором он пребывал.

Однажды, в воскресенье утром, он прочел, что в этот день состоится пикник союза каменщиков в парке Шелл-Моунд, и отправился туда. В прежние годы он слишком часто бывал на пикниках рабочих, чтобы не забыть, что они собой представляют. Теперь, войдя в парк, он вновь испытал прежнее ощущение. В сущности, эти рабочие были его собратьями. Он родился среди них, жил среди них и, хотя на время и ушел от них, ему было приятно вернуться к ним.

— Да ведь это Март! — услыхал он чей-то голос и почувствовал чью-то дружескую руку на своем плече. — Где ты пропадал? Плавал, что ли? Пойдем, выпьем вместе.

Мартин очутился среди старых приятелей; кое-где в этой толпе замечались бреши, а кое-где мелькали новые лица. На пикник собрались не одни каменщики. Приятели Мартина, как и в старину, бывали на всех воскресных пикниках, чтобы потанцевать, подраться и повеселиться. Мартин выпил с ними и вновь почувствовал себя человеком. Какой он был дурак, что ушел от них, думал он; он не сомневался, что был бы счастливее, если бы остался с ними и не занялся бы книгами и не сошелся с людьми, считавшими себя выше его. Однако дешевое пиво уже не казалось ему таким вкусным, как раньше. Он решил, что это Бриссенден избаловал его и вместе с тем подумал, не слишком ли он развращен книгами, чтобы не воспринимать друзей своей юности. Он решил, что этого не может быть, и направился к павильону, где танцевала молодежь. Он встретил там водопроводчика Джимми. С Джимми была высокая белокурая девушка, которая сразу переметнулась к Мартину.

— Совсем, как раньше! — воскликнул Джимми, обращаясь к кучке товарищей, которые весело смеялись, глядя на Мартина, кружившегося в вихре вальса с блондинкой. — Э, я не сержусь, я очень рад опять повидать его! Посмотрите, как он танцует! Как здорово! Понятно, что всякой девушке лестно с ним поплясать!

Мартин честно привел блондинку обратно к Джимми, и все трое вместе с полдюжиной других приятелей стали наблюдать за кружившимися парами, смеясь и перебрасываясь шутками. Все были рады вновь видеть Мартина. Ему казалось, что произведения его еще не появлялись в свет! В их глазах он был просто яркой личностью. Они любили его ради него самого. Он чувствовал себя, как принц, возвратившийся из изгнания, и его одинокое сердце расцветало в веселой, жизнерадостной атмосфере, в которую он окунулся. Это был сумасшедший день, и Мартин был в ударе. Кроме того, у него водились деньги, и он сорил ими, как прежде, когда возвращался из плавания.

Среди танцующих он увидел Лиззи Конолли в объятиях молодого рабочего. Позднее, когда, обходя зал, он столкнулся с ней, она сидела за столиком в буфете. После первых возгласов удивления и приветствия он увел ее в парк, где они могли поговорить, не перекрикивая оркестр. С того момента, как он заговорил с ней, она вновь была в его власти. Он знал это. Об этом говорила покорность в ее блестевших глазах, и горделивая осанка в сочетании с мягкими движениями, и жадность, с которой она ловила каждое слово Мартина. Она уже не была той молоденькой девушкой, которую он когда-то знавал. Теперь это была женщина, и Мартин отметил, что она похорошела, ее яркая, задорная красота не потеряла ни капли своей самобытности, не стала менее броской, а пылкость не проявлялась так ясно.

— Красавица, красавица! — с восхищением чуть слышно бормотал Мартин. Он знал, что она принадлежала ему; стоило ему сказать «пойдем», — и она последует за ним на край света.

Не успела у него промелькнуть эта мысль, подобно молнии, как он получил сильный удар по голове, от которого чуть было не свалился. Кто-то хватил его кулаком с такой яростью и стремительностью, что попал не в лицо, как хотел, а в ухо. Мартин, все еще шатаясь, обернулся и увидел высоко поднятый над собой кулак. Он нагнулся, и кулак, не причинив вреда, пролетел мимо, что заставило нападавшего сильно покачнуться вперед. Размахнувшись левой рукой, Мартин нанес удар своему противнику, после чего навалился на него всей тяжестью своего тела. Тот боком упал на землю, но тотчас же вскочил на ноги и с бешенством опять бросился вперед. Мартин увидел его искаженное от злобы лицо и не мог понять, с чего это он так разъярился. Он сразу же нанес ему новый удар прямо в грудь и вновь навалился на него. Напавший зашатался, упал навзничь и остался беспомощно лежать на земле. Тем временем Джимми и другие подбежали к месту драки.

Мартин весь дрожал. Да, это действительно напоминало доброе старое время с их танцами, и драками, и весельем. Зорко следя за своим противником, Мартин быстро взглянул на Лиззи. Обычно девушки сразу же поднимали крик, как

только у их кавалеров дело доходило до кулаков, но она не проронила ни звука. Она следила за борьбой напряженно, затаив дыхание и слегка наклонившись вперед; одна рука ее была прижата к груди, щеки раскраснелись, и взгляд был полон удивления и восхищения.

Упавший поднялся на ноги и пытался ускользнуть от державших его рук.

— Она ждала меня, я должен был сейчас вернуться! — воскликнул он. — Она ждала, чтобы я вернулся, а тут этот новый молодец сунулся. Пустите меня, говорю вам! Я его проучу!

— Чего ты ерепенишься? — спросил Джимми, тоже в числе других удерживавший молодого человека. — Этот парень сам Март Иден. Поверь мне, он здорово дерется и пришибет тебя, если ты будешь к нему приставать.

— А как он смел отбивать ее у меня? — протестовал тот.

— Он вздул Летучего Голландца, а ты Голландца, небось, знаешь? — продолжал Джимми. — Да еще как быстро — на пятом раунде. Ты бы и пяти минут не мог против него устоять!

Эти слова, казалось, возымели успокаивающее действие, и раздраженный молодой человек смерил Мартина взглядом с головы до ног.

— Что-то не похоже, — усмехнулся он, но усмешка была уже не злобная.

— Так думал и Летучий Голландец, — уверил его Джимми. — А теперь пойдем. Здесь целая куча других девушек. Идем!

Молодой человек позволил себя увести в сторону павильона, и все двинулись за ним.

— Кто это такой? — спросил Мартин у Лиззи. — В чем дело?

Возбуждение от борьбы, некогда столь острое и продолжительное, успело уже улечься; он заметил, что склонен к самоанализу, слишком даже склонен, и потому уже не способен жить первобытной жизнью в одиночестве.

Лиззи тряхнула головой.

— Да так себе, один знакомый, — сказала она. — Мы с ним просто вместе проводим время. Я не могла забыть... — воскликнула она и после небольшой паузы продолжала: — Ведь я совсем одна, и мне было так скучно. Но я никогда не забы-

вала вас. — Она понизила голос и посмотрела вдаль. — Я готова была когда угодно бросить его ради вас.

Мартин поглядел на ее смущенное лицо; он знал, что стоит ему только протянуть руку, и она окажется с ним, он даже начал размышлять, так ли уже ценно умение говорить изящно и грамматически правильно, и оттого забыл ответить Лиззи.

— Вы хорошо с ним разделались, — сказала она, вызывая его на ответ.

— А все-таки он молодчина, — великодушно заметил Мартин. — Если бы они его не увели, я, пожалуй, не так-то легко справился бы с ним.

— Кто та дама, с которой я вас встретила тогда вечером? — вдруг спросила Лиззи.

— Ах, это просто знакомая, — последовал ответ.

— Это было очень давно, — задумчиво промолвила она. — Точно прошла целая тысяча лет!

Но Мартин не стал больше говорить на эту тему. Он завел речь о других вещах. Они отправились в ресторан, где он угощал ее вином и всяческими деликатесами, потом танцевал с ней, и только с ней одной, пока она не устала. Танцор он был хороший, и она в упоении кружилась с ним, склонив голову к нему на плечо и мечтая только о том, чтобы так продолжалось вечно.

Потом они пошли пройтись по парку; как и в прежние времена, она села на траву, а он растянулся во всю длину, положив голову к ней на колени. Он лежал и дремал, а она гладила его по волосам, глядя на его закрытые глаза и всецело отдаваясь своей любви к нему. Резко проснувшись, Мартин прочел на ее лице нежное признание. Она опустила глаза, потом подняла их и ласково, но смело посмотрела ему прямо в лицо:

— Я все эти годы ждала только тебя, — сказала она тихо, почти шепотом.

Мартин знал, что это правда, хотя это казалось невероятным. Его охватило великое искушение. В его власти было сделать ее счастливой. Сам лишенный счастья, неужели он не мог дать счастья ей? Он мог жениться на ней и увезти ее на Маркизские острова в свой замок из соломы. Желание сделать это было

очень сильно, но в нем жило более сильное чувство, запрещавшее ему это. Он против воли все еще оставался верен Любви. Былые годы распутства и легкомыслия прошли. Вернуть их он не мог, точно так же, как и сам не мог вернуться к ним. Он изменился — и только теперь понял, до какой степени.

— Я не собираюсь жениться, Лиззи, — с улыбкой заметил он.

Он почувствовал, что рука, гладившая его по волосам, на секунду остановилась, но сейчас же опять возобновила свою ласку. Он увидел, что лицо Лиззи стало суровым, но то была суровость решимости, так как легкий румянец все еще играл на ее щеках и она вся горела и словно таяла.

— Я не то хотела сказать, — начала она и запнулась. — Или, вернее, мне все равно! Мне все равно! — повторила она. — Я горжусь тем, что мы друзья. Я готова для вас на все. Видно, уж так я создана.

Мартин сел. Он взял ее за руку. Сделал он это спокойно, по-дружески, но без пылкости и страстности; от этой чисто дружеской ласки на Лиззи повеяло холодом.

— Не будем больше говорить об этом, — сказала она.

— Вы незаурядная и благородная девушка, — сказал он. — А гордиться нашим знакомством должны не вы, а я. Я и горжусь им, да, я горжусь. Вы для меня луч света в очень темном мире, и я должен быть честным с вами, так же, как и вы со мной.

— Мне все равно, честны вы со мной или нет. Вы можете сделать со мной все, что хотите. Можете втоптать меня в грязь и ходить по мне. Но, кроме вас, я никому бы этого не позволила, — добавила она, вызывающе сверкнув глазами. — Недаром же я берегла себя с детства.

— Именно поэтому-то я и не стану этого делать, — ласково сказал Мартин. — Вы так великодушны, что вызываете меня на такое же великодушие. Жениться я не могу; не могу и... любить, не женившись, хотя и позволял себе это в прошлом. Я жалею, что пришел сюда сегодня и встретился с вами. Но теперь уже ничего не поделаешь, я никогда не ожидал, что так выйдет. Послушайте, Лиззи. Я просто выразить не могу, как я хорошо к вам отношусь. Я больше, чем люблю вас. Я восхи-

щаюсь вами, и я уважаю вас. Вы прекрасны, и вы поразительно добры. Впрочем, к чему слова? Но есть одна вещь, которую я очень хотел бы сделать. Вам тяжело живется — позвольте мне облегчить вашу жизнь. — В глазах у Лиззи появился было радостный блеск, но он тотчас же опять угас. — Я должен скоро получить деньги, целую кучу денег.

В эту минуту он оставил мысль о долине и бухте, о замке с соломенными стенами и о хорошенькой белой шхуне. В конце концов, не все ли равно. Он мог уехать, как часто это делал прежде, простым матросом на любом корабле, отправляющемся в любую страну.

— Я хотел бы отдать эти деньги вам. Наверное, вам чего-нибудь хочется — поступить в школу или в коммерческое училище... Может быть, вам хочется стать стенографисткой? Я мог бы вам это устроить. Или, быть может, ваши родители живы? Я помог бы им открыть какое-нибудь дело, бакалейную торговлю или еще что-нибудь. Что хотите, только скажите, и я все сделаю.

Она молчала и неподвижно сидела, глядя в одну точку; она не плакала, у нее подступил к горлу комок. Мартин так хорошо понял ее состояние, что у него самого болезненно сжалось горло. Он пожалел, что заговорил на эту тему. То, что он предложил ей, казалось таким ничтожным, таким пошлым в сравнении с тем, что она предлагала ему. Он предлагал ей нечто малоценное, с чем он мог расстаться без малейшего сожаления, тогда как она предлагала ему себя всю, согласна была вынести и позор, и стыд, и грех, и пожертвовать надеждой на будущую жизнь.

— Не будем об этом говорить, — сказала она; голос у нее оборвался; чтобы скрыть это, она закашлялась. Она встала. — Пойдемте, пора домой. Я ужасно устала.

Праздник уже кончился, и почти все, пришедшие сюда повеселиться, успели разойтись. Но когда Мартин и Лиззи вышли из-под тени деревьев, они увидели, что вся компания его друзей поджидает его. Мартин сразу понял, в чем дело. Видимо, на него готовилось нападение, и приятели решили стать его телохранителями. Они вышли из ворот парка; за ними следом двигалась вторая компания — друзей противника Мартина,

которых тот собрал, чтобы отомстить за то, что у него отбили Лиззи. Несколько полицейских, предчувствуя драку, отправились за ними, чтобы помешать им; они проводили обе группы до вокзала и посмотрели за тем, чтобы они сели в разные вагоны поезда, шедшего в Сан-Франциско. Мартин сказал Джимми, что сойдет на остановке у Шестнадцатой улицы и там пересядет на оклендский трамвай. Лиззи все время молчала, не проявляя интереса к тому, что происходило.

Поезд подошел к вокзалу на Шестнадцатой улице; уже был виден ожидавший трамвай; кондуктор нетерпеливо дергал звонок.

— Вон трамвай, — посоветовал Джимми. — Садитесь в него, а мы постараемся задержать их. Да бегите же! Живо!

Враждебная группировка временно была сбита с толку этим маневром; поняв, в чем дело, вся компания выскочила из поезда и бросилась вдогонку. Степенные и положительные обитатели Окленда, сидевшие в трамвае, не обратили внимания на бежавших во всю мочь молодого человека и девушку, которые быстро вскочили и заняли места на передней площадке. Они так и не поняли, что общего между этой парой и Джимми, который уже с подножки крикнул вагоновожатому:

— Отчаливай скорее, приятель, и давай ходу!

В то же мгновение Джимми обернулся, и пассажиры увидели, что он хватил кулаком по лицу какого-то подбежавшего к трамваю человека, пытавшегося вскочить на подножку. Тотчас же в воздухе замелькали кулаки и посыпались удары на какую-то ватагу, желавшую влезть в вагон. Джимми и его товарищи, заняв всю длинную подножку открытого трамвая, отражали нападение. Раздался громкий звонок, и трамвай рванул с места как раз тогда, когда друзьям Джимми удалось отогнать наконец последних из нападавших. Трамвай быстро удалялся, оставив далеко позади шум и суматоху драки; испуганные пассажиры были далеки от мысли, что причиной свалки стали тот скромный молодой человек и хорошенькая девушка-работница, которые сидели в уголке вагона.

Мартин наслаждался дракой; пока она продолжалась, он испытывал волнение и трепет заядлого борца. Но эти ощу-

щения скоро исчезли, и его охватила глубокая грусть. Он почувствовал себя очень старым — лет на сто старше этих беспечных, беззаботных людей, товарищей его юности. Он ушел от них так далеко, что не мог уже вернуться обратно. Их образ жизни теперь не нравился ему, а между тем когда-то он сам так жил. Он был разочарован; он стал чужим для них. Как не пришлось ему по вкусу дешевое пиво, так и общество их показалось ему неприятным. Он чувствовал себя слишком далеким от них; слишком много прочитанных книг стояло между ними. Он сам обрек себя на изгнание из родной среды. Путешествуя по обширным просторам знаний он забрел туда, откуда уже не было возврата. Но, с другой стороны, он оставался человеком, и потребность общения с другими людьми не покидала его. Он не нашел себе нового пристанища. Ни товарищи молодости, ни его родная семья, ни новые знакомые из мира буржуазии не могли понять его; не понимала его и эта девушка, сидевшая рядом с ним, которую он глубоко уважал; она даже не сознавала, за что он так ее уважает. От этих мыслей к его грусти примешивался оттенок горечи.

— Помиритесь с ним, — посоветовал он Лиззи, прощаясь; они стояли перед бедной хибаркой, в которой она жила, на углу Шестой улицы и Маркет-стрит.

Он имел в виду молодого человека, место которого он в тот день занял.

— Нет, это невозможно... теперь, — сказала она.

— Ну что вы! — добродушно сказал он. — Стоит вам только свистнуть, и он прибежит.

— Я не об этом, — просто возразила она.

И он понял, что именно она хотела сказать. Когда он, стоя с ней, хотел прощаться, она потянулась к нему, но не вызывающе и не кокетливо, а задумчиво, покорно. Он был тронут до глубины души. Его доброта, понимание человеческой души взяли верх над всеми другими чувствами. Он обнял и поцеловал ее, она ответила ему поцелуем. Более искреннего поцелуя еще не получал ни один мужчина в мире.

— Боже мой! — зарыдала она. — Ведь я согласна была бы умереть за вас! Я могла бы умереть за вас!

Она оторвалась от него и быстро побежала вверх по лестнице. У него на глаза навернулись слезы.

«Мартин Иден, — размышлял он, — ты не скотина и как ницшеанец — ты никуда не годен. Ты должен бы жениться на ней, если бы только мог, и осчастливить ее. Но ты не можешь, не можешь! И это чертовски обидно!»

«Бродяга жалкий у дороги на язвы плачется свои, — пробормотал Мартин, цитируя Хенли. — Вся жизнь — ошибка и позор».

Да. Хенли прав — возмутительная ошибка!

ГЛАВА XLIII

«Позор солнца» вышел в свет в октябре. Издатель прислал Мартину полдюжины авторских экземпляров этой книги; разрезав веревку на посылке и увидав свое произведение, Мартин почувствовал глубокую грусть. Он представил себе неуемную радость, которую испытал бы, случись это всего несколько месяцев тому назад. Он сравнил эту радость с теперешним своим холодным безразличием. Ведь это его произведение, первая его напечатанная книга — а сердце не забилось быстрее, и ему было только грустно. Теперь это для него почти не имело значения — разве только в том смысле, что могло принести ему деньги, но к ним он теперь был равнодушен.

Он взял один экземпляр, вышел на кухню и подарил его Марии.

— Я сочинил это, — объяснил он, чтобы рассеять ее недоумение. — Я написал эту книгу тут, в вашей комнате; и суп из овощей, которым вы меня подкармливали, помог мне создать ее. Она ваша. Возьмите ее на память обо мне.

У него не было желания похвастаться или порисоваться перед ней. Единственным его побуждением было желание обрадовать ее, оправдать ее непоколебимую веру в него, дать ей возможность гордиться им. Она положила книгу в гостиной рядом с семейной библией. Это произведение ее жильца было

для нее чем-то священным, фетишем дружбы. Оно смягчало горестное сознание того, что он когда-то стирал белье в прачечной, и, хотя она не могла понять ни единой строчки, она все-таки была уверена, что каждое слово этой книги было полно красоты и совершенства. Мария была женщиной простой, работящей и практичной; в людей и в жизнь она верила твердо.

С тем же спокойствием, с каким он получил экземпляры «Позора солнца», Мартин читал теперь о нем рецензии, еженедельно присылаемые ему из бюро вырезок... Очевидно было, что книга производит сенсацию. Это значило, что его мешок должен был еще больше наполниться золотом. Он мог устроить Лиззи, выполнить все данные им обещания и на остаток построить себе тростниковый замок.

«Синглтри, Дарнлей и К°», как люди осторожные, выпустили сначала всего полторы тысячи экземпляров, но после первых же рецензий им пришлось приступить к печатанию второго издания в количестве трех тысяч экземпляров; не успело оно выйти в свет, как был получен заказ на третье, уже в пять тысяч. Одно из лондонских издательств по телеграфу заключило договор на новое издание для распространения в Англии, а вскоре поступило сообщение, что во Франции, Германии и Скандинавских странах готовятся переводы этой книги. Момент для нападения на школу Метерлинка был выбран исключительно удачно. Поднялись горячие споры. Салиби и Геккель дружно встали на защиту новой книги; на этот раз они, к удивлению, оказались одного мнения. Крукс и Уоллес выразили противоположную точку зрения, тогда как Оливер Лодж попытался найти компромисс, который согласовался бы с его собственной космической теорией. Последователи Метерлинка сплотились под знаменем мистицизма. Честертон насмешил весь мир целым рядом будто бы беспристрастных статей по этому вопросу; в конце концов все это — полемика и сами полемизирующие были чуть не окончательно стерты в порошок громовой статьей Бернарда Шоу.

Излишне добавлять, что в битве приняли участие и другие, менее известные личности; борьба развернулась необы-

чайно оживленная, и ее отголоски разнеслись по всему читающему миру.

«Нас совершенно поражает тот факт, — писали Мартину «Синглтри, Дарнлей и К°», — что исследование, носящее критический и философский характер, раскупается как роман. Лучшей темы Вы выбрать не могли; к тому же все условия сложились для Вас крайне благоприятно. Вы можете быть уверены, что мы куем железо, пока оно горячо. В Соединенных Штатах и Канаде распродано уже более сорока тысяч экземпляров; новое издание в количестве двадцати тысяч экземпляров отдано в печать. Мы буквально не успеваем выполнять все требования. Тем не менее, мы и сами постарались поднять этот спрос. На рекламу нами уже истрачено пять тысяч долларов. Эта книга должна побить все рекорды.

При сем препровождаем копию договора, который мы желали бы заключить с Вами на будущие Ваши произведения. Просим Вас обратить внимание на то, что мы увеличили Вам авторский гонорар, который таким образом будет равняться двадцати процентам чистого дохода с продажи; дальше этого столь осторожная фирма, как наша, идти не может. Если Вы сочтете наше предложение для себя приемлемым, то не откажите вписать в прилагаемое условие заглавие нового вашего произведения. Мы не ставим никаких условий относительно его содержания. Мы возьмем любую вещь на любую тему. Если у Вас имеется нечто уже написанное, тем лучше. Теперь момент ковать железо — оно раскалено добела.

По получении подписанного Вами договора мы не преминем выслать Вам аванс в пять тысяч долларов в счет авторского гонорара. Как видите, мы вполне доверяем Вам и не боимся риска. Кроме того, мы желали бы обсудить с Вами вопрос о заключении договора на несколько лет, скажем, на десять, в течение которых мы имели бы исключительное право на печатание в виде отдельных книг всех написанных Вами произведений. Но к этому вопросу мы надеемся еще вернуться со временем».

Мартин положил письмо на стол и начал в уме решать арифметическую задачу — высчитывать, сколько получится, если помножить пятнадцать центов на шестьдесят тысяч; вышла

сумма в девять тысяч долларов. Он подписал новый договор, вписав куда следовало заглавие своей повести «Дым радости», и отправил его издательству, приложив, кроме того, двадцать мелких рассказов, написанных им в те дни, когда он еще не нашел стандартного способа для их составления. И тотчас, с обратной же почтой, пришел чек на пять тысяч долларов.

— Я хотел бы пойти с вами в город, Мария, сегодня часа в два, — сказал Мартин своей хозяйке утром в день получения чека. — Или лучше встретимся на углу Четырнадцатой и Бродвея ровно в два. Я буду вас там поджидать.

Мария явилась в назначенное время. «Башмаки!» — таково было единственное объяснение, которое она сумела подыскать для таинственной прогулки. Она даже испытала некоторое разочарование, когда Мартин прошел мимо обувного магазина и провел ее в нотариальную контору, где совершались сделки на покупку и продажу недвижимого имущества.

То, что произошло дальше, она впоследствии вспоминала, словно какой-то сон. Незнакомые господа стали переговариваться о чем-то с Мартином и между собой, благосклонно ей улыбаясь; где-то трещала пишущая машинка; затем стали подписывать какой-то внушительного вида документ; хозяин дома, в котором она жила, тоже был тут и подписал бумагу; а когда все было кончено и она вышла на улицу, он сказал ей:

— Ну, Мария, вам уже не придется платить мне семь долларов за этот месяц.

Мария была так ошеломлена, что не могла проронить ни слова.

— Ни за следующий, ни еще за следующий, — добавил он.

Мария пробормотала что-то бессвязное, благодаря его, словно он делал ей какое-то одолжение. Только вернувшись домой и потолковав со своими соседями и соотечественниками, прежде всего с португальцем-лавочником, которому было поручено навести справки, она поняла, что стала владелицей маленького домика, который она снимала и за который столько лет платила.

— Почему вы у меня ничего не покупаете? — спросил Мартина вечером португалец-бакалейщик. Он вышел на порог

своей лавки как раз в то время, когда Мартин соскакивал с подножки трамвая. Мартин объяснил ему, что больше сам себе не готовит, и зашел к нему выпить стакан вина. Он заметил, что это было самое лучшее вино, имевшееся у торговца.

— Мария, — объявил в этот вечер Мартин своей хозяйке, — я собираюсь съехать от вас. Но и вы тоже скоро отсюда уедете. Тогда вы можете сдавать этот дом и сами быть хозяйкой. У вас, вы говорили, есть брат где-то в Сан-Леандро или в Хэйуордсе, занимающийся молочным хозяйством. Так вот, я хочу, чтобы вы отослали грязным все белье, которое взяли в стирку, — понимаете, — грязным, — и поехали бы завтра в Сан-Леандро или Хэйуордс, или где там ваш брат живет, чтобы повидаться с ним. Скажите ему, чтобы он приехал сюда и зашел ко мне. Я перееду в гостиницу «Метрополь» в Окленде. Он, возможно, найдет вам доходную молочную ферму.

Так случилось, что Мария сделалась владелицей дома и собственницей молочной фермы, а также и обладательницей текущего счета в банке. Счет этот постоянно рос, несмотря на то что все ее дети ходили в школу и носили башмаки. Редко кому из нас удается встретить того сказочного принца, о котором мы мечтаем; а Мария, с ее ограниченным умом, усердно трудившаяся всю жизнь и никогда не мечтавшая о сказочных принцах, нашла себе такого принца в образе бывшего рабочего прачечной.

Тем временем вокруг начали спрашивать — кто такой, этот Мартин Иден?

Мартин отказался дать издательству, напечатавшему его произведения, какие бы то ни было биографические сведения, но от газет не так-то легко было избавиться. Окленд был его родиной, и репортеры выискали в нем множество людей, которые могли кое-что о нем рассказать. Все, кем он был и кем не был, все, что он делал и главным образом чего не делал, распространялось для развлечения публики, сопровождалось моментальными снимками и фотографиями; последние были добыты у местного фотографа, который когда-то снимал Мартина. Он сразу же закрепил за собой исключительное право на них и начал ими торговать.

Отвращение Мартина к журналам и буржуазному обществу было так велико, что он вначале всячески боролся против гласности, но в конце концов покорился судьбе, потому что легче было покориться, чем бороться. Он убедился в том, что нехорошо не принимать людей, приехавших издалека исключительно для того, чтобы с ним повидаться. К тому же день теперь казался ему бесконечно длинным: он больше не был занят ни писанием, ни самообразованием, — надо же было как-то заполнить время. Таким образом, он уступил всеобщему желанию, казавшемуся ему пустым капризом, и начал принимать репортеров: высказывал им свои взгляды на литературу и философию, стал принимать приглашения в буржуазные дома. Душевное состояние его было довольно странное, но в общем приятно-спокойное. Ему все было безразлично. Он всем все простил, даже тому юному репортеру, который некогда так оболгал его; теперь он разрешил ему заполнить разными сведениями о себе целую страницу газеты и даже приложить фотографию, для чего согласился специально позировать.

Изредка он виделся с Лиззи. Было очевидно, что она сожалеет о славе, выпавшей на его долю. Эта слава увеличила пропасть, отделявшую их друг от друга. Может быть, для того, чтобы уменьшить эту пропасть, Лиззи уступила желанию Мартина и начала ходить в вечернюю школу и на коммерческие курсы, а также стала одеваться у отличной портнихи, которая брала за работу огромные деньги. Лиззи день ото дня делала заметные успехи; вскоре Мартин начал даже раздумывать, правильно ли он ведет себя с ней: он отлично знал, что она лишь уступала ему и что так старается только ради него. Она стремилась подняться в его глазах, приобрести те достоинства и качества, которые, ей казалось, он ценил. Однако, несмотря на это, Мартин не давал ей никаких надежд; он обращался с ней чисто по-братски и виделся с ней лишь изредка.

Последнее произведение Мартина «Запоздалый» было выпущено в свет издательством «Мередит-Лоуэл и К°» в самый разгар его популярности; так как это была беллетристика, то повесть имела еще больший успех по спросу и произвела еще большую сенсацию, чем «Позор солнца». В течение многих

недель Мартин находился в непривычном положении: он был автором двух книг, которые вызвали небывалую сенсацию и имели наибольший спрос. Последняя его вещь имела успех не только у публики, читающей романы; более серьезные читатели, с жадностью накинувшиеся на «Позор солнца», заинтересовались и рассказом из морской жизни и мистическими сторонами его сюжета. Ведь Мартин Иден, во-первых, был инициатором нападок на мистическую литературу, причем сумел это сделать в высшей степени удачно; во-вторых, он сам, своими книгами показал, что считал истинно художественным произведением. Таким образом, в нем сочетался гений-критик и гений-творец одновременно.

Деньги так и плыли ему в руки; слава его все росла и росла; подобно комете засиял он на литературном горизонте. Его же самого скорее забавлял, чем интересовал производимый им шум. Приводило его в недоумение лишь одно незначительное явление. Мир с удивлением пожал бы плечами, если бы узнал о нем, но мир больше всего поразился бы именно тому, что Мартин мог прийти в недоумение из-за такого пустяка. Мартину же этот пустяк казался весьма значительным. Как-то раз судья Блоунт пригласил его обедать. Это и был тот самый пустяк или, вернее, тут и возникло то обстоятельство, которому было суждено вырасти вскоре в нечто необъяснимое. Ведь он оскорбил судью Блоунта, обошелся с ним отвратительно, а между тем, тот, встретив его на улице, пригласил его к себе обедать. Мартин вспомнил, как часто он раньше встречался с судьей у Морзов, в те времена судья Блоунт не приглашал его к себе. Почему он не пригласил его обедать тогда, спрашивал себя Мартин. Ведь он с тех пор не переменился. Он был тем же Мартином Иденом. Что же изменилось? Неужели только то, что его произведения теперь появились в витринах книжных магазинов? Но ведь они были написаны уже тогда? С тех пор он ничего нового не создал. Ведь тогда, когда судья Блоунт, подчиняясь общему мнению, насмехался над его любимым Спенсером и над ним самим, весь его труд уже был завершен. Следовательно, теперь судья Блоунт пригласил его обедать не ради него самого и его личных качеств, а ради какой-то мнимой, чисто внешней его ценности.

Мартин усмехнулся и принял приглашение, удивляясь собственному добродушию. Мартин почувствовал себя центром внимания. За обедом, кроме него, тут было еще человек шесть гостей. Все это были люди, занимавшие высокое положение, с ними были и их жены. Судья Блоунт, при горячей поддержке судьи Хэнуелла, начал уговаривать Мартина разрешить им предложить его кандидатом в члены «Стикса» — самого шикарного из местных клубов. Все члены его были люди не только состоятельные, но и чем-нибудь себя проявившие. Мартин отказался от этого предложения и впал в еще большее недоумение. Дел у него в это время было немало: ему надо было отдавать в печать целую кучу рукописей. Издательства заваливали его просьбами и предложениями. Оказалось, что в его произведениях необыкновенный слог, замечательный стиль и глубокое содержание.

«Северное обозрение», напечатав «Колыбель красоты», попросило еще полдюжины подобных статей; эту просьбу Мартин легко мог бы удовлетворить, взяв несколько рукописей из своего запаса; но «Журнал Бэртона» вдруг предложил Мартину по пятьсот долларов за каждую из этих статей. Мартин ответил, что представит желаемые статьи, но с условием, что ему будет уплачено по тысяче долларов за каждую. Он вспомнил, как эти самые рукописи были когда-то отвергнуты теми самыми журналами, которые теперь так настоятельно их требовали. И ведь все эти отказы писались в самом хладнокровном тоне и стереотипной форме, точно их выбрасывал автомат. Да, помучили-таки они его в свое время. Зато теперь настала его очередь. «Журнал Бэртона» заплатил за пять статей цену, назначенную Мартином, а за оставшиеся четыре статьи ухватился «Ежемесячник Макинтоша» на тех же условиях. «Северное обозрение», будучи слишком бедным, чтобы тягаться с этими двумя журналами, ничего не получило. Таким образом, вышли в свет: «Жрецы чудесного», «Мечтатели», «Мерило нашего “я”», «Философия иллюзий», «Бог и зверь», «Искусство и биология», «Критики и пробирки», «Звездная пыль», «Сила ростовщичества».

Появление всех этих произведений в печати вызвало бурю толков и споров, которым нескоро суждено было утихнуть.

Издатели обращались к Мартину, прося его самого ставить условия, что он и делал, но он всегда отдавал им лишь уже написанные вещи. Он решительно отказывался связывать себя какими бы то ни было обещаниями относительно новых произведений. Мысль снова взяться за перо сводила его с ума. Он видел, как толпа раздирала на клочки Бриссендена и не мог ни оправиться от этого удара, ни уважать эту толпу, хотя она и приветствовала восторженно его самого. Его популярность казалась ему чем-то позорным — предательством по отношению к Бриссендену. Он морщился, продолжая выпускать в свет свои произведения, но ему хотелось накопить побольше денег.

Часто ему присылали письма вроде следующего: «Около года тому назад мы имели несчастье отказаться от Вашего собрания лирических стихотворений. Они произвели на нас большое впечатление, однако по не зависящим от нас обстоятельствам мы не могли тогда же их принять. Если эти стихотворения еще имеются у Вас, не откажите прислать их нам, и мы почтем за честь напечатать полностью весь цикл на условиях, которые Вы сами нам назначите. Мы готовы предоставить Вам выгодные условия, если бы Вы разрешили нам издать их в виде отдельной книги».

Мартин вспомнил про свою трагедию, написанную белыми стихами, и взамен стихов послал ее. Перед тем как отправить, он ее перечитал и был поражен ее несовершенством и дилетантизмом, которым от нее веяло. Но он все-таки послал ее, и она была напечатана, хотя издателю не раз пришлось об этом пожалеть.

Публика была возмущена и не поверила, что эта вещь принадлежит перу Мартина Идена. Слишком уж велика была разница между его высокоталантливыми произведениями и этой ерундой в серьезном тоне. Утверждали, что он никогда и не думал писать этой трагедии, что это неумелая подделка редакций, что Мартин в подражание Дюма-отцу, достигнув апогея своего успеха, перестал сам работать и нанимал других писать за себя. Но когда Мартин объяснил, что трагедия была одним из его ранних произведений, что она относится к периоду его литературной незрелости, но что ре-

дакция не хотела успокоиться, пока не получит ее, — тогда публика подняла на смех журнал. После этого сменили редактора. Трагедия так и не вышла отдельной книгой, но Мартин все-таки получил аванс в счет гонорара.

«Еженедельник Колмэна» отправил Мартину длиннейшую телеграмму, стоимостью в триста долларов, в которой предлагал ему написать цикл из двадцати очерков по тысяче долларов за каждый. Ему предлагалось отправиться в турне по Соединенным Штатам, причем журнал брал на себя все расходы, и выбрать любые заинтересовавшие его темы. В телеграмме было указано для примера множество разных тем, чтобы Мартин мог видеть, какое широкое поле творчества представлялось ему. Требовалось только, чтобы поездка ограничилась Соединенными Штатами. Мартин ответил, что, к сожалению, лишен возможности принять это предложение.

Повесть «Вики-Вики», напечатанную в «Ежемесячнике Уоррена», мгновенно раскупили. Впоследствии она вышла отдельной книгой, роскошно изданной и великолепно иллюстрированной. Книга эта имела огромный успех среди любителей роскошных изданий и разошлась с быстротой молнии. Критики единогласно утверждали, что «Вики-Вики» займет место рядом с таким классическим произведением, как «Тысяча и одна ночь».

Сборник «Дым радости» публика, однако, приняла сдержанно и даже холодно. Смелость рассказов и отрицание автором всех условностей шокировали буржуазную мораль и буржуазные предрассудки. Но когда сборник был переведен на французский язык и свел с ума весь Париж, английская и американская читающая публика последовала примеру французов, и Мартин заставил издательство «Синглтри, Дарнлей и К°» заплатить ему за эту третью, отданную им книгу, авторский гонорар в двадцать пять процентов, а за четвертую он получил уже тридцать. Эти два тома включали все короткие рассказы Мартина как уже появившиеся в печати, так и печатавшиеся в периодических изданиях. «Колокольный звон» и прочие «страшные» рассказы образовали один сборник; в другой же вошли: «Приключение», «Котел», «Вино жизни», «Водоворот»,

«Веселая улица» и еще четыре других рассказа. Издательство «Мередит-Лоуэл и К°» приобрело исключительное право на печатание сборника всех статей Мартина.

«Максимилиан» получил «Песни моря» и «Сонеты о любви»; последняя вещь была также напечатана в периодическом издании «Спутник женщин», заплатившем за нее баснословную сумму.

Пристроив последнюю рукопись, Мартин вздохнул с облегчением. Хижина из тростника и белая шхуна стали вполне досягаемы. Как бы то ни было, а ему удалось-таки доказать, что не прав был Бриссенден, когда утверждал, что ни одна действительно хорошая вещь не попадает в печать. Он мог сослаться на собственный успех. Тем не менее, Мартин почему-то в душе чувствовал, что в конце концов Бриссенден был прав. В сущности, не все его произведения, а лишь «Позор солнца» создал ему успех. Все остальное значения не имело. Ведь все журналы отказывались печатать его вещи. «Позор солнца», появившись и вызвав бурю споров, тем самым повернул общественное мнение в его сторону. Не будь «Позора солнца», не было бы и этого поворота, а не получи «Позор солнца» каким-то чудом такое широкое распространение, не произошло бы и поворота в общественном мнении. «Синглтри, Дарнлей и К°» сами утверждали, что на самом деле случилось какое-то чудо. Они напечатали первое издание в количестве всего полутора тысяч экземпляров и сомневались в том, что им удастся распродать его. А они были людьми опытными, и никто не был так поражен, как они сами, успехом книги. Для них успех этот был необъясним. Они так и не могли прийти в себя от изумления, и каждое их письмо к Мартину отражало их почтительное благоговение перед этим таинственным событием. Объяснить его они не пытались. Его нельзя было объяснить. Оно случилось. Вопреки всему — оно случилось.

Рассуждая таким образом, Мартин задавал себе вопрос: какова же цена подобной популярности? Книги его покупала буржуазия; она же за них осыпала его золотом. Мартин был мало знаком с буржуазией, но и короткого знакомства было вполне достаточно, чтобы он успел составить мнение о ней.

Поэтому он никак не мог уяснить себе, каким образом она могла оценить и понять его произведения. Действительная красота и мощь мыслей, высказываемых в них, были недоступны сотням тысяч людей, которые покупали и восхваляли его книги. Он был баловнем толпы, искателем приключений, взявшим штурмом Парнас в счастливую минуту, пока боги дремали. Сотни тысяч его читателей восторгались им с тем же тупым непониманием, благодаря которому они накинулись на «Эфемериду» Бриссендена и разодрали ее в клочки. Это была лишь стая волков, но вместо того, чтобы разодрать его, Мартина Идена, они виляли перед ним хвостом. А начнут ли они вилять хвостом или же раздерут на клочья, это вообще зависело лишь от случайности. В одном Мартин был безусловно уверен: «Эфемерида» была неизмеримо выше всех его собственных произведений. Подобная поэма могла появиться лишь раз в сто лет. Отсюда следовало, что преклонение толпы — пустой, ничего не стоящий звук: ведь эта же самая толпа втоптала «Эфемериду» в грязь. Мартин тяжело вздохнул, испытывая одновременно и чувство удовлетворения. Он был рад, что последняя рукопись продана и что скоро со всем этим будет покончено.

ГЛАВА XLIV

В вестибюле гостиницы Мартин встретился с мистером Морзом. Очутился ли отец Рут тут случайно, придя по какому-нибудь делу, или же нарочно зашел, чтобы пригласить его обедать, Мартин так и не мог решить; впрочем, он скорее склонялся ко второму предположению. Как бы то ни было, но Мартин получил приглашение к обеду от мистера Морза, от человека, который когда-то отказал ему от дома и расстроил его свадьбу.

Мартин не рассердился. Он даже не почувствовал себя оскорбленным. Он снисходительно выслушал мистера Морза, думая о том, каково приходится бедняге глотать такую горькую пилюлю. Приглашения он не отклонил. Он только

обещал зайти как-нибудь, не определяя времени. Затем он спросил, как поживают все и, в частности, как здоровье миссис Морз и Рут. При этом имени у него ничего не дрогнуло в душе. Он выговорил его спокойно и сам удивился, что сердце у него не забилось быстрее и кровь не прилила к лицу.

Он получал множество разных приглашений к обеду; некоторые из них он принимал. Люди знакомились с ним специально для того, чтобы иметь возможность пригласить его к обеду. Он продолжал недоумевать над тем пустяком, который вырастал в нечто огромное. Его позвал к обеду Бернард Хиггинботам. Мартин еще больше зашел в тупик. Он вспоминал время, когда так отчаянно голодал и никто не звал его обедать. А тогда-то он и нуждался в обедах: бледный, слабый, он терял в весе от голода. В этом-то и заключалась вся странность. Когда он нуждался в обедах, никто их ему не давал, а теперь, когда он мог купить себе сотни тысяч обедов и даже начал терять аппетит, его со всех сторон завалили приглашениями к обеду. Но почему же? Это было несправедливо и не вызывалось его заслугами. Ведь он не стал другим. Все его произведения тогда уже были написаны. Мистер и миссис Морз обвиняли его в лени и в нежелании работать и через Рут настаивали на том, чтобы он поступил куда-нибудь хоть конторщиком. А они-то знали о его работе, Рут показывала им все его рукописи, и они читали их. Благодаря этим самым вещам его имя попало во все газеты, и вот этот-то факт появления его имени во всех газетах и побудил их пригласить его.

Одно было достоверно: Морзы приглашали его не ради него самого и не из-за его таланта. Следовательно, и теперь он был им нужен не благодаря своим личным качествам и не благодаря своему таланту, а ради известности, из-за положения, которое он теперь занял в обществе, и — отчего не сказать прямо? — ради его сотен тысяч долларов. Вот за что буржуазия ценит людей! Какие же у него были основания ожидать другого к себе отношения? Но Мартин был горд. Подобное отношение внушало ему презрение. Он желал, чтобы его ценили или как человека, или за его творчество, которое, в конце концов, было выражением его души. Лиззи именно так и относилась к нему, как и водопроводчик Джимми и все его старые приятели. Они

много раз на деле доказали это, когда он жил среди них, да и теперь, в то воскресенье в парке, им до его произведений не было дела. Они любили только Мартина Идена, своего товарища, доброго малого, за которого всегда готовы были постоять.

А Рут? Ведь она любила его ради него самого, это бесспорно; но все же, несмотря на свою любовь к нему, она предпочла остаться верной буржуазной идеологии. Мартину казалось, что и она была против его творческой деятельности главным образом потому, что карьера писателя не приносила много денег. С этой точки зрения Рут и раскритиковала его «Сонеты о любви». Она тоже настаивала на том, чтобы Мартин поступил на службу. Правда, вместо слов «поступить на службу» она выражалась более изящно и говорила: «занять положение в обществе». Но смысл оставался тот же, и слова эти застряли у него в мозгу. Он читал ей все, что писал, — поэмы, рассказы, статьи, «Вики-Вики», «Позор солнца», — все. А она постоянно и упорно уговаривала его поступить на службу и начать работать. Боже милосердый! Это он-то не работал! Ведь он проводил бессонные ночи, изнурял себя — и все для того, чтобы стать достойным ее!

Таким образом, упомянутое выше незначительное обстоятельство вырастало в нечто крупное. Мартин оставался с виду здоровым и нормальным человеком, он хорошо питался, много спал. И все же он не мог отделаться от навязчивой мысли, которая постоянно преследовала его: «Ведь работа-то была уже сделана!» Эта фраза не выходила у него из головы. Он сидел против Бернарда Хиггинботама в его столовой в верхнем этаже дома, над лавкой и поглощал тяжелые блюда воскресного обеда, а сам с трудом сдерживался, чтобы не крикнуть: «Да ведь работа-то была уже сделана! Теперь вы меня кормите, тогда как прежде вы оставляли меня голодать, не принимали меня и проклинали, потому что я не хотел служить. А ведь работа-то была уже выполнена — закончена целиком. Теперь, когда я говорю, вы умолкаете, вы ловите каждое мое слово и с почтительным вниманием прислушиваетесь ко всему, что бы я ни сказал. Я могу сказать вам, что партия, к которой вы принадлежите, развращена окончательно и состоит из одних взяточников да жуликов, и вы, вместо того чтобы прийти

в ярость, произносите «Гм! гм!» и соглашаетесь, что в моих словах есть доля правды. А почему? Да потому, что я пользуюсь известностью; потому, что у меня много денег. Вовсе не потому, что я Мартин Иден, добрый малый и не дурак! Я мог бы сказать вам, что луна сделана из зеленого сыра, и вы расписались бы под этим — по крайней мере вы не стали бы отрицать этого открыто — потому, что я обладаю долларами, целыми горами долларов! А все уже было давно сделано; я повторяю, работа была уже закончена в те времена, когда вы плевали на меня и относились ко мне с презрением».

Но Мартин ничего не произнес вслух. Эта мысль грызла ему мозг и непрестанно мучила его, но он улыбался, и ему удавалось терпимо относиться к этим людям. По мере того как он становился молчаливее, Бернард Хиггинботам начал сам говорить. Он объяснил, что преуспевает в жизни и гордится этим. Он добился всего сам, и никто не помог ему. Он никому и ничем не был обязан. Он исполнял свой долг гражданина и содержал большую семью. Налицо была «Колониальная торговля Хиггинботама» — этот памятник, свидетельствовавший о его трудолюбии и ловкости. Он любил свою лавку, как муж — жену. Он раскрыл перед Мартином свою душу, рассказал ему, сколько ему пришлось придумывать всяких комбинаций, чтобы создать свое дело. У него и теперь еще были широкие планы. Город быстро разрастался. Помещение магазина становилось слишком тесным. Если бы у него было больше места, он завел бы разные улучшения, которые сократили бы расходы и сберегли бы много труда. Но он когда-нибудь добьется этого! Он прилагал все усилия, чтобы со временем купить соседний участок земли и построить на нем двухэтажный дом; верх он мог бы сдавать, а в нижнем этаже обоих домов поместилась бы «Колониальная торговля Хиггинботама». У него заблестели глаза, когда он заговорил о новой вывеске, которая протянется через оба фасада зданий.

Мартин забылся и не слушал собеседника. Припев «Да ведь работа-то была уже сделана!» вертелся у него в голове, заглушал все остальные звуки. Припев этот сводил его с ума, и он старался от него избавиться.

— Сколько, вы говорили, это будет стоить? — вдруг спросил он.

Его зять так и умолк, остановившись на полуслове в описании своих планов на развитие предприятия. Он ни слова не сказал относительно стоимости новой постройки. Но он знал ее: уже много раз он высчитывал, сколько на это понадобится.

— Мне хватило бы четырех тысяч долларов, — сказал он, — если цены на лес не повысятся.

— Включая сюда и вывеску?

— Я вывески в расчет не принимал. Без нее уж не обойдешься, раз дом будет построен.

— А земля?

— На землю надо прибавить еще три тысячи.

Он наклонился вперед, облизывая губы, нервно сжимая и разжимая руку и наблюдая за Мартином, в то время как тот стал писать чек. Когда чек был передан ему, он взглянул на сумму — семь тысяч долларов.

— Я... я не могу платить больше шести процентов, — хриплым голосом проговорил он.

Мартину хотелось рассмеяться, но вместо этого он спросил:

— А сколько это выйдет?

— Постойте-ка! Шесть процентов... шестью семь... четыреста двадцать.

— Это выйдет тридцать пять долларов в месяц, не правда ли?

Хиггинботам кивнул головой.

— Тогда, если вы ничего не имеете против, мы сговоримся таким обозом. — Мартин взглянул на Гертруду. — Вы можете оставить себе весь капитал, если только согласитесь тратить ежемесячно тридцать пять долларов на прислугу, которая будет стряпать, стирать, мыть посуду и полы, и так далее. Семь тысяч долларов будут ваши, если вы мне поручитесь, что Гертруда больше не будет делать черной работы. Согласны?

У мистера Хиггинботама захватило дух. Он был оскорблен до глубины своей стремившейся к наживе бережливой души тем, что жене его не придется больше работать по хозяйству. Щедрый подарок должен был позолотить пилюлю, и какую

горькую! Жена его не будет работать! Он не мог говорить, до того он был возмущен.

— Хорошо, — сказал Мартин. — Значит, я сам буду платить тридцать пять долларов и...

Он протянул руку через стол, чтобы взять обратно чек. Но Бернард Хиггинботам раньше его схватил чек, воскликнув:

— Я согласен! Согласен!

Когда Мартин сел в трамвай, он чувствовал себя очень усталым, его мутило. Он взглянул на бросавшуюся в глаза вывеску.

— Свинья! — простонал он. — Свинья! Свинья!

Когда «Журнал Макинтоша» напечатал стихотворение «Гадалка» с виньетками Бердсли и двумя иллюстрациями Уэнна, Герман Шмидт тотчас же забыл, что когда-то называл эти стихи непристойными. Он объявил всем, что стихотворение свое автор посвятил его жене, и постарался довести это до сведения какого-то репортера, после чего у него взял интервью сотрудник одной из газет, явившийся в сопровождении фотографа и художника. В результате в воскресном приложении появилась целая страница, посвященная Мартину: тут были фотографии Мэриен, а также рисунки с натуры, в которых она была очень приукрашена; тут же рассказывались подробности из интимной жизни Мартина и его семьи и был помещен крупным шрифтом полный текст «Гадалки», перепечатанный с особого разрешения «Журнала Макинтоша». Все это произвело сенсацию в округе; добрые кумушки гордились знакомством с сестрой великого писателя; те же, кто еще не был с ней знаком, спешили познакомиться. Герман Шмидт самодовольно усмехался в своей маленькой мастерской и решил заказать новый станок.

— Это лучше всякой рекламы, — говорил он Мэриен, — да притом еще даром.

— А не позвать ли его обедать? — предложила она.

Мартин пришел к обеду и был очень любезен с остальными гостями: жирным мясником и его еще более жирной женой — людьми с весом, которые могли оказаться полезными начинающему молодому человеку, каким был Герман Шмидт. Их не так-то легко было заполучить обедать — для этого понадо-

билась такая приманка, как зять-знаменитость. Другой гость, попавшийся на ту же приманку, был управляющим агентством «Тихоокеанской велосипедной Компании Аза». Герман Шмидт хотел ему понравиться и снискать его расположение: через него он мог получить должность агента по распространению велосипедов в Окленде. Таким образом, Герман Шмидт нашел, что иметь Мартина зятем не так уж плохо, но в глубине души все-таки не мог понять, в чем же тут дело. По ночам, когда жена его спала, он погружался в чтение книг и стихов Мартина и пришел к заключению, что дураки те, кто их покупает.

Откинувшись на спинку стула и внимательно глядя на Германа Шмидта, Мартин отлично понимал положение вещей, и ему хотелось поколотить тупоголового немца, хорошенько хватить его кулаком по голове. Одно, впрочем, ему нравилось в Германе: несмотря на свою бедность и жажду выбиться в люди, он все-таки нанимал прислугу, чтобы избавить Мэриен от черной работы. После обеда Мартин, переговорив с управляющим агентством Аза, отвел зятя в сторону и дал ему денег на приобретение лучшего в Окленде, прекрасно оборудованного велосипедного магазина. Он даже пошел дальше и в частной беседе с Германом посоветовал ему подыскивать агентуру по продаже автомобилей и подходящий гараж; не было причины, почему бы ему с успехом не вести два дела: велосипедное и автомобильное.

Прощаясь с Мартином, Мэриен со слезами на глазах обняла его и стала уверять его в своей любви; она сказала, что всегда любила его. Правда, тут она как-то запнулась и слезами, бессвязным лепетом и поцелуями старалась замять паузу. Мартин понял, что этим она просит прощения за то, что когда-то перестала верить в него и настойчиво просила его поступить на службу.

— Ну, он не сумеет сберечь свои деньги — в этом я уверен, — сказал позднее Герман своей жене. — Он возмутился, когда я заговорил о процентах. Он добавил даже: «К черту и капитал» и грозил, что треснет меня по моей дурацкой немецкой башке. Так и сказал — по дурацкой немецкой башке, — если только я еще раз об этом упомяну. Но он малый хороший, хотя и не делец. Он дал мне возможность стать на ноги — он добрый малый.

Приглашения к обеду продолжали сыпаться на Мартина, и чем больше их сыпалось, тем больше он недоумевал. Он восседал как самый почетный гость на банкете в клубе артистов; вокруг него были люди, пользовавшиеся известностью, о которых он много раз слышал или читал; они говорили ему, что, прочитав «Колокольный звон» в «Трансконтинентальном журнале», а затем «Пери и жемчуг» в «Шмеле», они сразу угадали в нем будущую знаменитость.

«Боже мой! А ведь я тогда был голоден и в лохмотьях! — думал он. — Почему же меня тогда не кормили? Тогда-то и нужно было это сделать. Ведь моя работа в то время уже была вся закончена. Если вы кормите меня теперь за то, что я написал, почему же вы не кормили меня тогда, когда я нуждался в этом? Я с тех пор не изменил ни одного слова ни в «Колокольном звоне», ни в «Пери и жемчуге». Нет, вы кормите меня не за мой талант, вы кормите меня, потому что все это делают и все почитают за честь кормить меня. Вы кормите меня, потому что вы жестокосердые скоты, потому что вы составляете часть толпы, а у толпы сейчас одно слепое, глупейшее желание: угощать меня. Но какую же играет во всем этом роль Мартин Иден и его произведения?» — жалобно спрашивал он себя. Затем он встал и дал умный и остроумный ответ на умный и остроумный тост в его честь.

Так продолжалось все время. Где бы он ни бывал: в клубе ли репортеров, или в другом известном клубе, или в гостиной за чаем, или на собраниях литераторов — всегда и везде вспоминали про «Колокольный звон» и про «Пери и жемчуг». И каждый раз Мартин мысленно задавал себе сводивший его с ума вопрос: «Почему вы меня не кормили тогда? Ведь работа была уже сделана, и я с тех пор не изменил ни на йоту ни «Колокольный звон», ни «Пери и жемчуг». Эти мои вещи были и тогда так же высокохудожественны и имели такую же ценность, как и теперь. Но вы ведь кормите меня только ради моды, а не из-за моих произведений? Вы угощаете меня, потому что вся толпа помешалась на том, чтобы угощать Мартина Идена».

Часто в такие минуты ему вдруг казалось, что в зал входит молодой забулдыга в плохо сшитом пальто и шляпе странного

фасона. Однажды эта галлюцинация явилась к нему на заседании одного общества в Окленде, средь бела дня. Когда он встал со своего места и направился к эстраде, он увидел, как в противоположном конце длинного зала открылись двери и в зал ввалился молодой забулдыга в плохо сшитом пальто и странной шляпе. Пятьсот одетых по последней моде женщин повернули головы в ту сторону, куда был направлен внимательный взгляд Мартина, чтобы увидеть, что привлекло его внимание, но перед ними был лишь пустой средний проход зала. Мартин же видел там грубоватого парня, шедшего враскачку по залу и направлявшегося прямо к эстраде. При мысли о том, что его ожидает в будущем, Мартину захотелось плакать над этой тенью своей молодости. Забулдыга, пошатываясь, подошел прямо к Мартину и, встав как живой в его воображении, исчез.

Пятьсот женщин начали мягко хлопать своими ручками в перчатках, стараясь придать храбрости застенчивой знаменитости, бывшей у них в гостях. Мартин сделал над собой усилие, и видение исчезло; он улыбнулся и начал говорить.

Директор школы, добрый старик, встретив Мартина на улице, узнал его, остановил и напомнил ему о некоторых сценках нерадивого ученика и его поведении, когда Мартина исключили из школы за вечные драки.

— Я прочел ваш «Колокольный звон» уже давно в одном журнале, — сказал он. — Эта вещь не хуже Эдгара По. Прекрасно! Я и тогда это сказал — прекрасно!

«Да, и после этого вы два раза встретили меня на улице и не узнали меня, — подумал Мартин и чуть было не сказал этого вслух. — Оба раза я был голоден и шел в ломбард. А работа-то уж была сделана! Тогда вы меня не узнавали. Почему же вы узнаете меня теперь?»

— Я на днях говорил моей жене, — продолжал заведующий, — недурно было бы, если бы вы как-нибудь пришли к нам обедать. И она поддержала мою мысль — очень просила.

— Обедать? — сказал Мартин необычайно резко, точно огрызнувшись.

— Ну да, обедать... совсем запросто, только с нами, с вашим старым наставником, шалун вы этакий! — нервно промолвил

старик и игриво, но не без некоторого страха ткнул Мартина пальцем в бок. Этим он хотел придать их разговору дружеский веселый оттенок.

Мартин, точно в тумане, пошел дальше. Он остановился на углу и бессмысленно посмотрел кругом.

— Черт возьми! — промолвил он наконец. — Да ведь старик, кажется, испугался меня!

ГЛАВА XLV

Однажды утром к Мартину пришел Крейз, Крейз из «настоящей грязи». Мартин с чувством облегчения встретил его и выслушал полные живого интереса подробности одного его плана — плана настолько дикого, что он заинтересовал Мартина скорее как писателя, чем как финансиста. Посереди своей речи Крейз вдруг сказал ему, что в «Позоре солнца» много ерунды.

— Но я пришел сюда не для того, чтобы болтать о философии, — продолжал Крейз. — Я пришел узнать, не хотите ли вы поместить тысячу долларов в это дело?

— Нет, во всяком случае, я не так уж глуп, хотя и пишу ерунду, — ответил Мартин. — Но вот что я сделаю. Благодаря вам я когда-то провел лучший вечер в моей жизни. Вы дали мне то, что на деньги купить нельзя. Мне хочется дать вам тысячу долларов — то, чем я совсем не дорожу, — за то, что вы мне дали в этот вечер и что является для меня неоценимым. Вам нужны деньги? У меня их больше, чем мне нужно. Вы пришли за ними. Нечего хитрить. Берите!

Крейз не удивился. Он положил чек в карман.

— С удовольствием взял бы подряд на то, чтобы почаще угощать вас такими вечерами, — сказал он.

— Слишком поздно. — Мартин покачал головой. — Этот вечер был единственным для меня. Я был в раю. Для вас это обыкновенное явление, я знаю, для меня же это было не так. Мне никогда больше не удастся воспарить так высоко. С философией я покончил — даже слышать о ней не хочу.

— Это первые деньги, которые мне когда-либо давала философия! — заметил Крейз, остановившись в дверях. — И подумать только — на этом и кончился спрос!

Как-то раз на улице миссис Морз, проезжая мимо в коляске, улыбнулась ему и кивнула головой. Мартин ответил ей улыбкой и приподнял шляпу. Этот эпизод не произвел на него никакого впечатления. Случись он месяцем раньше, он вызвал бы в Мартине отвращение или любопытство и навел бы его на размышления о том, что в эту минуту должна была испытывать миссис Морз. Но теперь он даже не задумался. Он сразу забыл об этой встрече, как забывал про какой-нибудь Центральный Банк или ратушу, миновав их. Однако мозг его неустанно работал. Его мысли все время вертелись вокруг одной точки, и этой точкой было: «А работа-то ведь была сделана!» Эта мысль, словно какой-то не умирающий червь, точила ему мозг. По утрам он просыпался с нею, она преследовала его ночью в сновидениях; во всякой мелочи окружающей его жизни, воспринимаемой им посредством пяти чувств, он находил какую-нибудь связь со своей мыслью. Беспощадная логика приводила его к заключению, что он — полное ничтожество. Март Иден — забулдыга, Мартин Иден — матрос — те действительно существовали, они были реальными личностями; это был он сам; но Мартина Идена, знаменитого писателя, не было вовсе. Мартин Иден, знаменитый писатель, был лишь туманной мечтой, созданной воображением толпы и воплощенной ею в образе Марта Идена — бродяги и матроса. Но он-то не даст себя одурачить. Ведь он вовсе не был тем мифическим существом, которому поклонялась толпа, принося в жертву обеды. Он-то это хорошо знал.

Он читал отзывы журналов о себе, рассматривал собственные фотографии, помещенные в них, и доходил до того, что переставал узнавать самого себя в этих изображениях. Он — это тот юноша, который когда-то жил, любил и с трепетом воспринимал все прекрасное, который легко и снисходительно относился ко всему житейскому, служил на корабле, странствовал по белому свету и во всех драках и состязаниях всегда оказывался победителем. Он — это тот молодой парень, который, придя

некогда в библиотеку, сначала был поражен тысячами книг, которые там увидел, но вскоре научился разбираться в них и, в конце концов, одолел их; который по ночам работал при свете лампы и сам писал книги. Но он абсолютно не был тем обжорой с колоссальным аппетитом, которого все так стремились накормить.

Иногда, впрочем, в журналах попадалось нечто, что его забавляло. Каждый из журналов заявлял на него свое право. «Ежемесячник Уоррена» сообщал своим подписчикам, что всегда занимался поисками новых талантов и что он, между прочим, и познакомил читающую публику с Мартином Иденом. То же самое утверждала «Белая мышь», «Северное обозрение» и «Журнал Макинтоша». Наконец «Глобус» торжественно показал публике свои давнишние номера, где лежали погребенные «Песни моря» в искаженном виде. Журнал «Юность и зрелость», вновь оживший после того как уклонился от уплаты своих долгов, заявлял, что он еще раньше начал печатать произведения Мартина Идена, но его никто не читал, кроме деревенских детей.

«Трансконтинентальный Ежемесячник» с чувством собственного достоинства весьма убедительно заявил, что он первый открыл Мартина Идена, а «Шмель» стал горячо это оспаривать, называя «Пери и жемчуг». Скромные права издательства «Синглтри, Дарнлей и К°» совсем затерялись в общем шуме и гаме. Кроме того, это книгоиздательство не обладало собственным журналом и потому поневоле соблюдало скромность.

Газеты высчитали, сколько в общей сложности Мартин получает за свои книги. Каким-то образом стало известно, насколько выгодные предложения ему делают журналы. После этого к нему зачастили местные пасторы якобы по-приятельски побеседовать, а разные профессиональные попрошайки буквально завалили его письмами. Но хуже всего дело обстояло с женщинами. Его фотографии появлялись в журналах в бесчисленном количестве; кто-то специально занялся описанием его характерного смуглого лица, шрамов, широких плеч, светлых, спокойных глаз и немного впалых, как у аскета, щек. При этом последнем сравнении Мартину вспомнилась его бурная молодость, и он улыбнулся. Многие из женщин,

с которыми он встречался, с восхищением смотрели на него, и Мартин во взглядах их ясно читал, что они выделяют его среди прочих мужчин. Это его только смешило. Он вспоминал предостережение Бриссендена и снова смеялся. Нет, не женщина его погубит — в этом он был уверен. Этот искус он уже прошел.

Как-то раз он провожал Лиззи на ее вечерние курсы. Случайно она перехватила взгляд хорошо одетой, красивой женщины, по-видимому, из буржуазии, устремленный на Мартина. Взгляд этот был хотя и чуть-чуть, но все же упорный и слишком пристальный. Лиззи поняла, что он означает. Она не могла скрыть своего раздражения. Мартин, заметив это раздражение и поняв его причину, поспешил объяснить ей, что он уже начинает привыкать к подобным взглядам и относится к ним совершенно равнодушно.

— Может быть, тут что-нибудь не так, — возразила Лиззи, сверкнув глазами. — Вы больны, вот в чем дело.

— Я никогда еще не был так здоров. Я даже прибавил пять фунтов в весе.

— Дело не в теле, а в голове. У вас с башкой неладно. Даже я это вижу, значит, это бросается в глаза.

Мартин продолжал задумчиво идти рядом с ней.

— Я не знаю, что бы я дала, лишь бы это у вас прошло, — горячо заговорила она. — Такой мужчина, как вы, не должен оставаться спокойным, когда женщина так смотрит на него. Это неестественно. Это было бы понятно, будь вы какой-нибудь пай-мальчик — рыба холодная, но ведь этого про вас не скажешь. Я хотела бы — я даже была бы этому рада, чтобы вы встретили, наконец, женщину, которая вывела бы вас из этого безразличия.

Проводив Лиззи на курсы, Мартин вернулся к себе в «Метрополь». Войдя в номер, он опустился в кресло. Сидя с широко открытыми глазами, устремленными в одну точку, он не дремал, но и ни о чем не думал. Мыслей не было, и сознание его точно замерло; только изредка перед его глазами стали появляться неизвестно откуда какие-то картины, полные ярких красок. Мартин видел эти картины, сам едва это сознавая,

словно это были какие-то сновидения. Но он не спал. Он даже стряхнул с себя это оцепенение и посмотрел на часы. Было ровно восемь. Делать ему было нечего, а ложиться спать еще рано. Затем сознание его снова как бы опустело, мысли прервались, и картины опять начали появляться и исчезать перед его глазами; в картинах этих не было ничего ясного и определенного — какая-то сплошная масса листьев и веток, и все залито яркими, горячими лучами солнца.

Стук в дверь пробудил его. Он не спал и сразу же подумал, что это, вероятно, либо телеграмма или письмо, либо прислуга принесла чистое белье из прачечной. Он вдруг вспомнил про Джо и начал раздумывать, где бы он мог теперь быть, и машинально проговорил:

— Войдите!

Поглощенный мыслью о Джо, Мартин так и не повернул головы.

Он не обернулся. Он услыхал, что дверь тихо закрылась. Затем последовало долгое молчание. Он забыл, что кто-то стучал, и все еще сидел, бессмысленно глядя в одну точку. Вдруг послышалось какое-то всхлипывание: рыдала женщина. Мартин заметил, что рыдание это вырвалось у нее как-то внезапно и судорожно, словно она старалась подавить его. Он быстро обернулся и тотчас же вскочил на ноги.

— Рут! — ошеломленный, воскликнул он.

Ее лицо было бледно, она выглядела напряженной и измученной. Она стояла у самой двери, одной рукой держась за нее и прижимая другую к сердцу. Услышав его голос, она жалобно протянула ему обе руки и двинулась ему навстречу. Он схватил ее за руки и усадил в кресло, потом придвинул к нему второе и уселся на его широкую ручку. Он был слишком смущен, чтобы говорить. Для него роман с Рут был делом конченным и погребенным навек. Если бы прачечная отеля «Горячие Ключи» вдруг неожиданно очутилась в гостинице «Метрополь» и перед ним оказался бы целый ворох грязного белья, который требовалось бы немедленно выстирать, то Мартин не так удивился бы и почувствовал бы себя не хуже, чем сейчас. Несколько раз он пробовал заговорить, но никак не мог решиться.

— Никто не знает, что я пришла, — с умоляющей улыбкой слабым голосом промолвила Рут.

— Что вы сказали? — переспросил он.

Он удивился звуку собственного голоса.

Она повторила свои слова.

— Вот как! — отозвался он и начал подыскивать, что бы еще сказать.

— Я видела, когда вы вернулись, и подождала несколько минут.

— Вот как! — повторил он.

Язык его будто прилип к гортани; ему не могло ничего прийти в голову. Он чувствовал, что выглядит глупо и неловко, но при всем желании не мог придумать, что бы ему сказать. Да, безусловно, было бы легче, если бы сюда внезапно перенеслась прачечная отеля «Горячих Ключей». Он засучил бы рукава да и принялся бы за стирку.

— И затем вошли, — сказал он наконец.

Рут кивнула головой с немного лукавым выражением лица, затем развязала шарф и продолжала:

— Я увидела вас на улице, когда вы шли с этой девушкой.

— Ах да, — совсем просто ответил он. — Я провожал ее на курсы.

Опять наступило молчание.

— А вы разве не рады меня видеть? — спросила она.

— Да! да! — он говорил торопливо. — А не слишком ли неосторожно с вашей стороны, что вы пришли сюда?

— Я проскользнула незаметно. Никто не знает, что я здесь. Мне хотелось вас видеть. Я пришла вам сказать, что поступила тогда очень глупо. Я пришла, потому что больше не могу без вас, потому что сердце мое принуждало меня, потому что... да потому что я хотела прийти.

Поднявшись, она подошла к нему и положила ему руку на плечо. Грудь ее быстро поднималась и опускалась. Вдруг она бросилась ему в объятия. Спокойно и снисходительно, не желая обидеть ее и зная, что оттолкнуть женщину в такую минуту значит нанести ей самое жестокое из всех оскорблений, он обнял ее и прижал к себе. Но в этом движении не чувствовалось

ласки, и от его объятия веяло холодом. Она кинулась к нему, а он обнял ее — вот и все. Она прижалась к нему и обвила руками его шею, но страсть не вспыхнула в нем от ее близости; ее ласки не трогали его; он даже испытывал некоторую неловкость.

— Отчего вы так дрожите? — спросил он. — Вам холодно? Хотите, я затоплю камин?

Он сделал движение, чтобы высвободиться, но она, задрожав всем телом, еще крепче прижалась к нему.

— Это чисто нервная дрожь, — сказала она. Зубы у нее стучали. — Я возьму себя в руки... сейчас. Вот видите, мне уже лучше.

Понемногу она успокоилась и перестала дрожать. Он продолжал держать ее в объятиях. Недоумение его, вызванное ее приходом, исчезло. Теперь он понял, зачем она пришла.

— Моя мать хотела, чтобы я вышла замуж за Чарли Хэпгуда, — объявила она.

— За Чарли Хэпгуда — этого типа, который вечно изрекает банальности? — У Мартина вырвался тяжелый вздох, и он продолжал: — А теперь ваша мать, видно, желает, чтобы вы вышли замуж за меня.

Это было сказано не в форме вопроса; он говорил вполне уверенно. Мгновенно у него перед глазами запрыгали цифры — те суммы, которые он получал за свои произведения.

— Во всяком случае, она ничего не имела бы против, это я знаю, — сказала Рут.

— Она находит меня вполне подходящей партией?

Рут кивнула головой.

— А между тем, я сейчас не больше гожусь ей в зятья, чем тогда, когда она расстроила нашу свадьбу, — задумчиво проговорил он. — Я нисколько не изменился. Я все тот же Мартин Иден, — пожалуй, я стал даже немного хуже: я курю. Разве вы не чувствуете, что от меня пахнет табаком?

Вместо ответа она игривым и грациозным движением зажала ему рот рукой; она ждала в ответ на это поцелуя, который прежде, бывало, неизменно и следовал. Но Мартин, подождав, пока она не отняла руки, продолжал:

— Я ничуть не изменился. На службу я так и не поступил. Я ее не ищу; больше того, — я и не собираюсь этого делать. Я по-прежнему верю в то, что Герберт Спенсер был великим и благородным человеком, а судья Блоунт — форменный осел. Я на днях у него обедал, так что могу об этом судить.

— А приглашения отца вы не приняли, — с упреком заметила она.

— Так вы об этом знали! Кто посылал его? Ваша мать?

Рут промолчала.

— Значит, она действительно посылала его. Я так и думал. А теперь, вероятно, она прислала вас?

— Никто не знает, что я здесь, — запротестовала Рут. — Неужели вы думаете, что моя мать позволила бы мне это сделать?

— Она позволила бы вам выйти за меня замуж — это уже не подлежит сомнению.

— О Мартин, не будьте жестоки! — резко крикнула Рут. — Ведь вы даже ни разу не поцеловали меня, вы бесчувственны, как камень! А подумайте только, на что я решилась! — Она с содроганием посмотрела вокруг себя, но во взгляде ее был известный оттенок любопытства. — Подумайте, где я очутилась!

«Я готова умереть за вас! Я готова умереть за вас!» — прозвучали у него в ушах слова Лиззи.

— Почему же вы прежде не решались на это? — резко спросил Мартин. — Когда я был без службы? Когда я голодал? Когда я был тем же самым человеком, тем же Мартином Иденом, тем же писателем, что и теперь? Вот вопрос, который я задавал себе в течение многих дней, и не только относительно вас, но относительно всех вообще. Вы видите, я не изменился, хотя после внезапной, видимой перемены всеобщего отношения ко мне мне приходится постоянно убеждать себя в этом. У меня та же плоть и кровь, те же кости, те же десять пальцев на руках и на ногах. Я тот же. У меня не появилось ни новых сил, ни новых достоинств. Мой мозг остался прежним. Я ничего нового не написал, у меня даже не мелькнуло ни одной оригинальной мысли ни из области литературы, ни из области философии. При мне остались те же достоинства, что и раньше, когда я никому не был нужен. Меня приводит в недоуме-

ние, почему я теперь понадобился всем? Конечно, не я стал нужен им, потому что мое «я» осталось тем же самым «я», которым они нисколько не интересовались. Значит, я стал нужен благодаря чему-то другому, высшему, благодаря чему-то, что является вовсе не мной. Хотите, я скажу вам, что это такое? Это «что-то» — признание толпы, которое выпало мне на долю. Но это признание вовсе не я сам. Оно существует лишь в сознании других людей. А кроме того, я стал интересен из-за денег, которые заработал. Но и деньги — тоже не я. Деньги находятся в банках или в карманах у разных Томов, Диков, Гарри и других. И вам я теперь стал нужен благодаря всеобщему признанию моего таланта и благодаря моему богатству.

— Вы убиваете меня, — рыдала Рут. — Ведь вы знаете, что я люблю вас, что я пришла сюда потому, что люблю.

— Мне кажется, вы не вполне уловили мою мысль, — ласково сказал он. — Я вот что хотел сказать: если вы любите меня, то почему вы любите меня сейчас гораздо сильнее, чем тогда? Тогда ваша любовь была так слаба, что вы решились оттолкнуть меня.

— Забудьте и простите! — вырвалось у нее страстное восклицание. — Я не переставала любить вас, помните это. И теперь я здесь у вас в объятиях.

— Я боюсь, что уподобился расчетливому торговцу, который внимательно смотрит на весы. Мне хочется точно взвесить вашу любовь, чтобы узнать, что это за чувство.

Она отодвинулась от него, выпрямилась и посмотрела ему в глаза долгим, испытующим взглядом. Она хотела заговорить, но запнулась и, видимо, передумала.

— Видите ли, вот в каком виде все это представляется мне, — продолжал Мартин. — Когда я был уже всем тем, чем я и сейчас остался, я никому не был нужен, кроме людей из моей же среды. Когда все мои произведения были уже написаны и многие прочли их в рукописи, на эти произведения тоже никто не обращал внимания. В сущности, тот факт, что я их написал, даже вредил мне в глазах людей, словно я совершил нечто по меньшей мере предосудительное. «Поступайте на службу, работайте!» — твердили все.

Рут сделала движение, словно отрицала это.

— Да, да, — сказал он, — все, за исключением вас; вы говорили, что мне необходимо добиться положения в обществе! Откровенное выражение «работа», как и многое другое в моих произведениях, оскорбляло ваш слух. Оно звучало грубо. Но, уверяю вас, и меня оскорбляла грубость, с которой мне советовали «приняться за работу», словно какому-то ни на что не годному лентяю. Но вернемся к предмету нашего разговора. Появление в печати моих произведений и отношение публики к ним в корне изменили вашу любовь. Вы не хотели выйти замуж за какого-то Мартина Идена, несмотря на то что вся работа его была уже выполнена. Для этого ваша любовь была недостаточно сильна. Теперь же она оказалась более сильной, и вы согласны стать моей женой; понятно, я не могу не сделать вывод, что сила вашей любви зависит от моей славы и отношения ко мне публики. В данном случае я не упоминаю о деньгах, хотя уверен, что это обстоятельство повлияло на ваших родителей и заставило их переменить свое отношение ко мне. Конечно, все это не особенно лестно для меня. Но хуже всего то, что я усомнился в любви, в священном чувстве любви. Неужели любовь — такое грубое чувство, что нуждается в известности и восторге публики? По-видимому, да. Я столько сидел и думал над этим, что у меня голова пошла кругом.

— Бедная, милая голова! — Рут ласково провела рукой по его волосам. — Пусть она больше не идет кругом. Давайте начнем сначала. Я не переставала любить вас. Я знаю, я проявила слабость, послушав мать; я не должна была так поступать. Но вы всегда умели прощать человеческую слабость и ошибки! Сумейте же простить и меня. Это была моя ошибка. Простите меня!

— О, я прощаю вас, — нетерпеливо сказал он. — Легко прощать, когда в сущности-то и прощать нечего. Каждый поступает по своему разумению, большего ни от кого требовать нельзя, и я мог бы с таким же успехом просить у вас прощения за то, что не поступил на службу.

— Я вам добра желала, — убеждала она. — Вы знаете это. Я не могла любить вас и в то же время не желать вам добра.

— Это правда, но вы чуть не погубили меня этим вашим желанием мне добра. Да, да! — Она хотела возразить ему, но он перебил ее: — Вы готовы были погубить и мое творчество и мою карьеру. Меня всегда тянуло к реализму, а буржуазия по духу противница реализма. Буржуазия труслива, она боится жизни. Все ваши усилия были направлены на то, чтобы и меня заставить бояться жизни. Вы хотели втиснуть меня в определенные рамки — в крохотную клетку, где все, что ценно в жизни, заменено чем-то призрачным, поддельным, вульгарным. — Мартин заметил, что Рут сделала движение протеста. — Да, вульгарность — здоровая, согласен, но все же вульгарность, — вот на чем основана вечная буржуазная культура. Как я сказал, вы хотели втиснуть меня в определенные рамки, превратить меня в одного из представителей вашего класса, привить мне идеалы вашего класса, его взгляды и предрассудки. — Мартин с грустью покачал головой. — Даже теперь вы не понимаете того, что я говорю. Вы не улавливаете в моих словах того смысла, который я стараюсь в них вложить. Вы считаете их какой-то фантазией. А для меня они являются жизненной правдой. В лучшем случае вас слегка удивляет и забавляет, что грубый парень, выползший со дна, осмеливается судить о вашем классе и обвинять его в вульгарности.

Рут склонила свою усталую голову к Мартину. По ее телу снова пробежала нервная дрожь. Он с минуту подождал, ожидая, что она заговорит, но она молчала, и он продолжал:

— Теперь вы хотите восстановить наши отношения. Вы хотите, чтобы мы поженились. Я вам нужен. А все-таки — слушайте: если бы мои книги не стали известны, но я был бы точь-в-точь таким же, как сейчас, вы не пришли бы ко мне. Все дело в этих распроклятых книгах, черт бы их побрал...

— Не ругайтесь, — перебила она его.

Ее замечание поразило его. Он рассмеялся, но смех его звучал неприятно и резко.

— Так оно и есть, — сказал он, — в решительную минуту, когда, как вам кажется, поставлено на карту счастье вашей жизни, вы по-старому боитесь жизни — боитесь жизни и здорового ругательства.

Его колкие слова доказали ей все ребячество ее поступка, но она чувствовала, что он чрезмерно его преувеличивает, и это ее обидело. Они долго сидели молча; она в отчаянии старалась что-нибудь придумать; он же размышлял о своей исчезнувшей любви. Теперь он знал, что на самом деле никогда не любил ее. Он любил другую, идеализированную им Рут, эфирное существо, созданное его воображением, яркую, светлую мечту, вдохновившую его на песни о любви. Настоящую же Рут, дитя своего класса, с умом, ограниченным рамками буржуазной психологии, — эту Рут он никогда не любил.

Она вдруг заговорила.

— Я знаю, что многое из того, что вы сказали, правда. Я боялась жизни. Я недостаточно любила вас. Теперь я научилась любить сильнее. Я люблю вас за то, что вы есть, за то, чем вы были, и даже за те способы, которыми вы всего добились. Я люблю вас за все то, чем вы отличаетесь от людей моего класса, как вы сами выражаетесь; я люблю вас за ваши убеждения, которых не понимаю, но которые, уверена, я сумею со временем понять. Я посвящу всю свою жизнь тому, чтобы понять их. Даже то, что вы курите, что вы ругаетесь, — ведь это нечто неотъемлемое от вас, даже за эти недостатки я буду любить вас. Я еще могу научиться. За последние десять минут я уже многому научилась. Уже то, что я пришла, служит доказательством, что я многому научилась. О Мартин!

Она рыдала и ласкалась к нему, прижимаясь все крепче и крепче.

Сначала он обнял ее ласково, с сочувствием, и лицо ее просияло от счастья.

— Поздно! — сказал он. Он вспомнил слова Лиззи. — Я болен, но не телом, о, нет! Больна моя душа, мой мозг. Мне кажется, я потерял способность ценить что бы то ни было. Мне все стало безразлично. Если бы вы сказали мне все это несколько месяцев тому назад, было бы иначе. А теперь уже поздно.

— Нет, еще не поздно! — воскликнула она. — Я докажу вам это. Я докажу вам, что любовь моя выросла, что она сильнее всех других привязанностей и для меня значит больше, чем люди моего класса, чем общество. Все, что буржуазии дорого, я буду

презирать. Я больше не боюсь жизни. Я брошу отца и мать; пускай мое имя станет синонимом позора для всех моих друзей. Я останусь с вами теперь же, в свободном союзе, если хотите, я буду горда и счастлива тем, что я с вами. Если я раньше и изменила любви, то теперь во имя этой любви я изменю всему тому, что было причиной этой первой моей измены.

Она стояла перед ним, глаза ее сверкали.

— Я жду, Мартин, — прошептала она, — я жду решения моей участи.

Как хорошо это у нее вышло, подумал Мартин, глядя на Рут. Этим она искупила все свои прегрешения; наконец-то в ней заговорила душа истинной женщины, и она сумела подняться выше железных условностей буржуазного круга. Да, это было хорошо, великолепно, прекрасно с ее стороны; она воистину готова на все. Но что же происходит с ним? Поведение Рут не вызвало у него трепета восхищения. Восторг его был каким-то отвлеченным. В такую минуту, когда ему следовало бы вспыхнуть от страсти, он хладнокровно анализировал поступки Рут. Сердце его молчало. Он не желал ее. Снова ему вспоминались слова Лиззи.

— Я болен, я очень болен! — с жестом отчаяния сказал он. — Насколько серьезно — этого я сам до сих пор не знал. Что-то исчезло из моей души. Жизни я никогда не боялся; но зато не ожидал, что пресыщусь ею. Я эти годы жил так интенсивно, что теперь у меня иссякли всякие желания. Если бы я мог хотеть, то хотел бы вас. Видите сами, как безнадежно я болен.

Он откинул назад голову и закрыл глаза. Как плачущий ребенок забывает свое горе, наблюдая за лучами солнца сквозь мокрые от слез ресницы, так и Мартин забыл все: и свою болезнь, и присутствие Рут — одним словом, все, погрузившись в созерцание пронзенной солнечными лучами зелени, мгновенно вырисовавшейся перед ним, как только он сомкнул веки. Но эта зеленая листва не действовала на него успокоительно. Солнечный свет был слишком резок, слишком ярок. Ему больно было смотреть, но он все-таки смотрел, сам не зная, зачем и почему.

Он пришел в себя, услыхав, что кто-то дергает за ручку двери. Рут собиралась уходить.

— Как же мне выйти? — со слезами на глазах спросила она. — Я боюсь!

— Ах, простите! — воскликнул Мартин, вскочив на ноги. — Я сам не свой, вы знаете. Ведь я забыл, что вы здесь. — Он прижал ладонь ко лбу. — Видите ли, у меня голова не в порядке. Я сейчас провожу вас домой. Мы можем выйти черным ходом. Никто нас не увидит. Спустите вашу вуаль, и все сойдет отлично.

Пока они шли по тускло освещенным коридорам и спускались по узкой лестнице, Рут крепко прижималась к руке Мартина.

— Теперь я в безопасности, — сказала она, когда они вышли на улицу, и тотчас же попробовала высвободить свою руку.

— Нет-нет, я провожу вас до дому, — ответил он.

— Да нет, право, не надо! — возразила она. — Это совсем лишнее.

Она снова хотела освободить руку. Мартина вдруг охватило любопытство. Теперь, очутившись вне опасности, Рут все еще чего-то боялась. Она хотела отделаться от него во что бы то ни стало. Мартин не мог понять, в чем дело, и приписал ее страх нервному состоянию. Шагая рядом с ней, он крепче прижал локтем руку, которую она хотела у него вырвать. И тут через несколько домов он увидел человека в длинном пальто, который при виде их шмыгнул куда-то в подъезд. Дойдя до этого места, Мартин заглянул в подъезд; несмотря на высоко поднятый воротник, «незнакомца» легко можно было узнать: это был не кто иной, как Норман, брат Рут.

По дороге Рут и Мартин мало разговаривали между собой. Она была угнетена. Он же был в состоянии полной апатии: он лишь произнес одну фразу: объявил, что собирается снова уехать в Океанию, в другой раз она попросила у него прощения за то, что приходила к нему. И это было все. Простились они у подъезда Морзов совершенно официально: пожали друг другу руки, пожелали спокойной ночи, а Мартин приподнял шляпу. Двери захлопнулись. Он закурил и направился к себе в гостиницу. Дойдя до подъезда, в который шмыгнул Норман, он остановился и в раздумье заглянул в него.

— А ведь она лгала, — произнес он вслух... — Она хотела убедить меня, что решилась на безумный шаг, а сама отлично знала, что брат, который привел ее, ждет тут же и проводит ее обратно домой. — Он расхохотался. — Ох, эта буржуазия! Когда я был нищим, я не смел никуда показаться с его сестрой, а когда у меня имеется счет в банке, так он сам приводит ее ко мне.

И Мартин повернулся, намереваясь продолжать свой путь. Вдруг сзади к нему подошел бродяга, шедший в одном с ним направлении, и попросил у него милостыни.

— Послушайте, господин добрый, дайте мне на ночлег, — обратился он к Мартину.

Звук его голоса заставил Мартина обернуться. Не прошло и мгновения, как он уже тряс за руку Джо.

— Помнишь, как мы с тобой расстались в «Горячих Ключах»? — спросил Джо. — Ведь я говорил, что мы опять встретимся. Я чувствовал это. И вот мы опять вместе.

— Вид у тебя отличный, — сказал Мартин, любуясь им, — ты здорово растолстел.

— Еще бы не растолстеть! — Джо весь сиял. — Я не знал, что значит жить, пока не начал бродяжничать. Я прибавил тридцать фунтов и чувствую себя так, что лучше нельзя. А ведь когда-то я доработался до того, что от меня остались кожа да кости. Бродяжничество — отличная штука для здоровья!

— Но зато тебе негде переночевать, — с упреком сказал Мартин, — а ночь-то ведь холодная.

— Эх ты! Это мне-то негде переночевать? — Джо сунул руку в карман и вынул оттуда целую горсть мелочи. — Попрошайничать выгоднее, чем слямзить что-нибудь. Ты просто показался мне добрым, вот я и решил поклянчить у тебя.

Мартин рассмеялся. Он сдался.

— У тебя есть на что хорошенько напиться, — заметил он.

Джо положил деньги обратно в карман.

— Нет! Это не для меня, — гордо заявил он, — я этим не занимаюсь, хотя меня ничто и не удерживает. Да я и сам не хочу. За все это время я напился всего раз, да и то случайно, на голодный желудок. Когда я работаю, как скотина, я и напи-

ваюсь, как скотина. А когда я живу по-человечески, то и пью по-человечески — пропущу изредка рюмочку, когда захочется, а больше ни-ни!

Они уговорились, что увидятся на следующий день; после этого Мартин продолжал свой путь. Вернувшись в гостиницу, он зашел в контору справиться, когда отходят пароходы на Таити. Оказалось, что через пять дней туда должен был отплыть пароход «Марипоза».

— Позвоните завтра по телефону и закажите для меня каюту, — сказал он портье. — Только не палубную, а внизу у левого борта, с наветренной стороны. Пожалуйста, не забудьте: с наветренной стороны. Вы лучше запишите.

Добравшись до своего номера, он лег в постель и уснул тихо, словно дитя. Происшествия минувшего вечера не произвели на него особого впечатления. Он потерял способность реагировать на всякие впечатления. То теплое чувство, которое охватило его при встрече с Джо, оказалось чем-то мимолетным. Через несколько минут ему уже стало скучно в обществе бывшего товарища, его тяготила необходимость поддерживать с ним разговор. Ему было безразлично и то, что через пять дней он уедет на свои любимые острова. Он закрыл глаза. Вскоре он уснул и проспал крепким, нормальным сном восемь часов подряд. Он вовсе не метался на кровати, он даже ни разу не повернулся с боку на бок и не видел никаких снов. Сон давал ему забвение, и он каждый раз с сожалением пробуждался от него. Жизнь томила и раздражала его. А время тянулось нудно.

ГЛАВА XLVI

— Послушай-ка, Джо, — приветствовал Мартин утром своего старого товарища. — На Двадцать Восьмой улице живет один француз. Он заработал кучу денег и теперь уезжает обратно во Францию. У него имеется маленькая, отлично оборудованная паровая прачечная. Если бы ты захотел приобрести ее, это было бы недурно для начала.

Вот, на тебе. На это изволь приодеться, а затем явись вот в это агентство к десяти часам. Через него я и подыскал эту прачечную; агент сведет тебя туда и все покажет. Если тебе понравится заведение и если оно, по твоему мнению, стоит этой цены — двенадцать тысяч, дай мне знать, и она — твоя. А теперь иди, мне некогда. Мы с тобой повидаемся позднее.

— Вот что, Март, — медленно проговорил Джо; видно было, что он начинает сердиться. — Я пришел сюда сегодня, чтобы повидаться с тобой. Я пришел вовсе не за тем, чтобы получить от тебя прачечное заведение. Я пришел по старой дружбе поболтать с тобой, а ты мне какую-то прачечную навязываешь. И я тебе вот что скажу: бери ты эту свою прачечную и убирайся к черту вместе с ней!

Он уже собирался было выскочить за дверь, но Мартин схватил его за плечо и заставил описать полуоборот.

— Послушай, Джо, — сказал он, — если ты будешь проделывать такие штучки, я вздую тебя, да еще по старой дружбе рук не пожалею. Ну что, перестанешь дурить?

Джо уже успел обхватить его руками и пытался повалить на пол, но Мартин ловко извивался и всячески ускользал из его объятий. Они кружились по комнате, крепко вцепившись друг в друга, и, наконец, с грохотом повалились на пол, задев при этом за плетеный стул, который так и рассыпался под тяжестью их тел. Джо оказался внизу; он лежал с распростертыми руками, а Мартин придерживал его, упершись ему в грудь коленом. Бедняга совсем запыхался и едва мог перевести дух, когда Мартин выпустил его.

— Ну, а теперь поговорим, — предложил Мартин. — Ты мне фокусов не выкидывай. Я хочу первым делом покончить с прачечной. А потом ты можешь вернуться сюда, и мы побеседуем, как добрые старые друзья. Я сказал тебе, что занят. Вот, полюбуйся-ка!

Лакей только что принес утреннюю почту — огромную кипу писем и журналов.

— Ну, скажи, могу ли я просматривать все это и одновременно разговаривать с тобой? Поди и уладь дело с прачечной, а потом потолкуем.

— Ну, ладно, — нехотя согласился Джо. — Я сначала думал, что ты хочешь отделаться от меня, но я, кажись, ошибся. А все-таки тебе не победить меня, Мартин, если мы начнем драться как следует.

— Мы как-нибудь наденем перчатки и попробуем, — сказал с улыбкой Мартин, — посмотрим, кто кого.

— Непременно, как только я налажу свою прачечную. — Джо вытянул вперед руку. — Посмотри, какая силища! Где тебе со мной тягаться!

Мартин с облегчением вздохнул, когда дверь за Джо захлопнулась. Общение с людьми тяготило его. С каждым днем ему приходилось напрягаться все больше и больше, чтобы относиться к ним прилично. Присутствие их мешало ему, а усилие, которое ему приходилось прилагать, чтобы поддержать разговор, вызывало в нем раздражение. Он начинал волноваться и, не успев поздороваться, уже искал предлога, как отделаться от них.

За письма он принялся не сразу. Около получаса он просидел, развалясь в кресле, абсолютно ничего не делая. В голове у него изредка мелькали какие-то смутные обрывки мыслей, или, вернее, сознание его пробуждалось временами лишь на короткий миг под влиянием этих туманных мыслей. Однако он все же взял себя в руки и начал просматривать письма. Тут было штук двенадцать просьб о присылке автографа — он уже угадывал их с первого взгляда; были письма от разных профессиональных попрошаек, письма от всяких шарлатанов, начиная с изобретателей perpetuum-mobile, от какого-то оригинала, доказывавшего, что поверхность Земли является внутренностью полого шара, и кончая кем-то, просившим денег на приобретение Нижней Калифорнии с целью устроить там коммуну. Были тут и письма от разных женщин, искавших знакомства с модным писателем; одно из них даже насмешило его: из него вывалилась квитанция об уплате за место в церкви, она была приложена в виде доказательства искренности и респектабельности писавшей.

Среди прочих было несколько писем от редакторов журналов и книгоиздателей: одни чуть ли не на коленях умоляли Мартина прислать им какую-нибудь свою рукопись, другие

тоже униженно просили его произведений — злосчастных, некогда всеми отвергаемых произведений. Подумать только, что когда-то он по целым месяцам не вынимал из ломбарда своих вещей, и все для того, чтобы иметь возможность оплатить почтовые расходы по рассылке этих самых рукописей. Попалось ему несколько нежданных чеков из Англии от разных периодических изданий, печатавших его произведения, а также авансы за перевод их на иностранные языки. Агентство из Англии объявляло о продаже им права на немецкий перевод трех его книг и уведомляло, что шведский перевод уже поступил в продажу. Впрочем, это не сулило материальных выгод, так как Швеция не участвовала в Бернской конвенции. Тут же была и просьба о разрешении перевода его книг на русский язык, но это был лишь акт любезности, так как Россия тоже не являлась участницей Бернской конвенции.

Покончив с письмами, Мартин принялся за огромный пакет вырезок, которые ему доставлялись из Бюро печати. Он читал отзывы о себе, читал о своей славе, о том, что он производит фурор. Возможно, это объяснялось тем, что все его сочинения были брошены на суд публики сразу, словно они посыпались из рога изобилия. Он взял приступом симпатии публики, увлек ее, как Киплинг в тот момент, когда уже лежал на смертном одре, а вся толпа, движимая стадным чувством подражания, вдруг принялась читать его произведения. Мартину вспомнилось, как эта самая толпа — читающая публика всего мира, — познакомившись с сочинениями Киплинга и придя от них в восторг, вдруг несколько месяцев спустя накинулась на него и стала раздирать его на клочки. А кто был он сам, чтобы надеяться избежать подобной же участи через несколько месяцев? Ну, что же, пусть: он еще одурачит толпу. Он будет тогда далеко, в Океании, занятый постройкой своей тростниковой хижины и торговлей жемчугом и копрой. Он будет перескакивать на хрупкой лодочке через коралловые рифы, охотиться на акул и на бонит и стрелять диких коз в долине, соседней с долиной Тайохаэ.

При мысли о Таити Мартину представилась вся безнадежность его состояния. Он ясно увидел, что вступил в Долину

Теней. Жизнь, когда-то бившая в нем ключом, словно замерла и увядала. Он вспомнил, как много времени у него теперь уходило на сон, вспомнил, как его одолевало желание поспать. Прежде он ненавидел сон. Сон отнимал у него драгоценные минуты жизни. Те четыре часа сна из двадцати четырех, которые он некогда посвящал отдыху, казались ему украденными из жизни. Как он тогда жалел о времени, уходившем на сон! Теперь же он жалел о времени, уходившем на жизнь. Жизнь — скверная штука, после нее остается плохой вкус во рту, горький такой. Жизнь, переставшая стремиться к жизни, была на пути к прекращению: вот в чем заключалась опасность для Мартина. Какой-то первобытный инстинкт самосохранения зашевелился у него в душе; он понял, что ему следует скорее уехать. Он окинул взором комнату, но мысль об укладке вещей показалась ему тягостной. Может, лучше оставить это напоследок, а тем временем пойти и купить все необходимые для путешествия принадлежности. Мартин надел шляпу и отправился в магазин оружия. Там он провел все утро, покупая разные автоматические ружья, амуницию и удочки. Моды на товары часто менялись; Мартин знал, что ему придется на месте разузнать, что именно теперь охотно приобретают туземцы и уже оттуда послать заказ на товар. Впрочем, можно было также выписать все из Австралии. Мысль об этом обрадовала его. Он все время избегал какого бы то ни было дела, и ему в данное время было неприятно что-нибудь делать. Он с облегчением пошел обратно в гостиницу, с удовольствием думая о том, что его ждет большое удобное кресло; поэтому он испытал разочарование, когда, войдя к себе, увидел сидящего в кресле Джо.

Джо был в восторге от своей новой прачечной. Дело было улажено, и он собирался уже на другой день вступить во владение ею. Пока Джо болтал, Мартин лежал на кровати, закрыв глаза. Мысли его были далеко — так далеко, что он едва улавливал их. Лишь делая над собой усилие, он изредка что-то отвечал Джо. А ведь это был Джо, Джо, которого он всегда любил. Но Джо был слишком живой, слишком захвачен бурной жизнью, от соприкосновения с которой страдал измученный, переутомленный мозг Мартина. При его болезненной

впечатлительности это было для него тяжкой пыткой. Он чуть было не закричал, когда Джо напомнил про обещание как-нибудь устроить борьбу.

— Не забудь, Джо, ты должен вести дело в прачечной по всем тем правилам, которые ты выработал в «Горячих Ключах», — сказал он. — Никакой сверхурочной работы. По ночам также не работать. К катку не ставить детей и вообще не пользоваться детским трудом. Жалованье чтобы было приличное.

Джо кивнул головой и вынул записную книжку.

— Вот посмотри. Я записал себе эти правила сегодня утром. Что ты на это скажешь?

Джо прочел свои правила вслух, и Мартин одобрил их; однако он все время думал о том, когда же, наконец, Джо уберется.

Было уже далеко за полдень, когда он проснулся. Сознание окружающего стало постепенно возвращаться к нему. Он огляделся. По-видимому, Джо потихоньку вышел, когда он задремал. Это было очень тактично с его стороны, подумал Мартин, после чего он вновь закрыл глаза и опять уснул.

В последовавшие за этим дни Джо был слишком занят устройством своей прачечной и потому не мог часто беспокоить Мартина; о его отъезде мало кто знал; только накануне отбытия парохода газеты объявили, что он, Мартин Иден, заказал каюту на «Марипозе».

Однажды, когда инстинкт самосохранения заговорил в нем, он пошел к доктору. Тот внимательно его осмотрел. Никакой болезни у него не оказалось. Сердце и легкие были в отличном состоянии. Все его органы работали вполне нормально и исправно.

— У вас ничего нет, мистер Иден, — сказал врач, — положительно ничего. Состояние вашего здоровья не оставляет желать ничего лучшего. Откровенно говоря, я завидую вашему здоровью. Великолепный у вас организм. Посмотрите, какая грудь. Эта грудная клетка и этот желудок — вот чем объясняется отличное состояние вашего организма. В смысле физического здоровья такие люди, как вы, встречаются редко — один на тысячу, даже на десять тысяч. Вы проживете

до ста лет, если только не погибнете от какой-нибудь случайности.

Но Мартин знал, что диагноз, поставленный Лиззи, был правилен. Именно «башка» у него разладилась; единственное лекарство от этого — поскорее уехать в Океанию. Беда заключалась в том, что теперь, почти накануне отъезда, у него пропало всякое желание ехать. Южные острова привлекали его теперь не более чем вся буржуазная цивилизация. Мысль об отъезде больше не радовала его, а сама процедура отъезда пугала, как все, грозившее физическим утомлением. Он чувствовал бы себя лучше, если бы уже очутился на пароходе, в пути.

Последний день стал для него тяжелой пыткой. Прочитав в утренних газетах о его предполагаемом отъезде, Бернард Хиггинботам и Гертруда со всей своей семьей пришли проститься с ним, так же как и Герман Шмидт и Мэриен. Кроме того, оставались еще кое-какие дела: надо было заплатить по счетам и принимать неизменных репортеров.

С Лиззи он наскоро простился у подъезда ее вечерних курсов; простившись, он тотчас же быстро удалился. У дверей гостиницы он столкнулся с Джо, который никак не мог прийти раньше — он был слишком занят делами в прачечной. Это была уже последняя капля, но Мартин, крепко впившись в ручки кресла, просидел так с полчаса, беседуя с прежним товарищем.

— Помни, Джо, ты ведь не привязан к этой прачечной, — сказал он. — Веревок никаких тут нет. Ты можешь в любое время продать ее и растранжирить деньги. Когда она надоест тебе и тебя снова потянет бродяжничать, ты не стесняйся. Делай так, как тебе будет лучше.

Джо отрицательно покачал головой.

— Нет, хватит с меня по дорогам таскаться, спасибо. Бродяжничать было бы недурно, если бы не одна вещь — женщины. Я женщин люблю. Ничего с этим не поделаешь. Не могу жить без них, а приходится, когда бродяжничаешь. Сколько раз я, бывало, проходил мимо домов, где шли танцы или собирались гости; слышу женский смех и разглядываю в окна белые платья и улыбающиеся лица. Эх! В эти минуты я испытывал адские муки! Я слишком люблю танцы, и пикники,

и прогулки при лунном свете, и все такое. Нет, дайте мне хорошую прачечную с вывеской, да чтоб у меня доллары в кармане звенели. Не далее как вчера я познакомился с одной девушкой и, знаешь ли, уже чувствую, что готов жениться на ней. От этой одной мысли я вчера целый день насвистывал разные арии. Какая она красавица! Глаза у нее чудесные, а голос — нет нежнее в мире. Подайте мне эту девушку — вот, что мне нужно. Скажи-ка, а почему бы и тебе не жениться? Ведь тебе денег некуда девать! Ты мог бы подцепить самую красивую и лучшую девушку во всей Америке!

Мартин с улыбкой покачал головой, удивляясь в душе, почему людям хочется жениться. Ему казалось это странным и непонятным.

Стоя на палубе «Марипозы», перед отплытием, он увидел Лиззи Конолли, которая пряталась в толпе на пристани. «Возьми ее с собой, — блеснуло у него в уме. — Так легко совершить доброе дело. Ведь она будет так бесконечно счастлива». На одно мгновение его охватило искушение, но оно тотчас же сменилось ужасом. Он испугался одной мысли об этом, и усталая душа его громко запротестовала. Он с тяжелым вздохом отошел от поручней и пробормотал: «Ты слишком болен, ты слишком болен».

Он спрятался у себя в каюте и оставался там, пока пароход не вышел из гавани. За завтраком в кают-компании он очутился на почетном месте, по правую руку от капитана. Вскоре он заметил, что все на пароходе носятся с ним как со знаменитостью. Но он не оправдал возлагаемых на него надежд. Целый день он проводил на палубе, лежа на шезлонге с закрытыми глазами, и почти все время дремал, а вечером рано ложился спать.

На третий день все пассажиры успели оправиться от морской болезни и собрались на палубе. Но чем ближе знакомился с ними Мартин, тем меньше они ему нравились. Он понимал, что несправедлив по отношению к ним. Он заставил себя признать, что они — очень милые и хорошие люди, но тотчас же невольно добавил: «Как и все представители буржуазии с их ограниченным кругозором и духовным убожеством». Ему ста-

новилось скучно, когда они разговаривали с ним; их поверхностные мелкие умишки были полны пустяками; шумное же веселье и бьющая через край энергия молодежи шокировали его. Они не могли сидеть спокойно, беспрестанно играли в разные игры, гуляли по палубе или же с громкими возгласами кидались к поручням, чтобы посмотреть на прыжки какого-нибудь дельфина или на стаи летучих рыб.

Мартин много спал. После первого завтрака он отправлялся на палубу, на свой шезлонг и усаживался там с журналом в руках; впрочем, он так никогда и не дочитал его. Печатные строчки утомляли его. Он удивлялся тому, что люди находили, о чем писать, и понемногу погружался в дремоту. Когда гонг будил его ко второму завтраку, он сердился, что приходится просыпаться. Часы бодрствования были самыми неприятными.

Однажды он попытался выйти из этого состояния и отправился в кубрик поболтать с матросами. Но, видимо, и матросы как-то изменились с тех пор, как он сам жил в кубрике. Ничего общего не было между ним и этими отупевшими людьми. Он был в отчаянии. Там, на верхах, Мартин Иден никому не был интересен как человек, вернуться же к людям из своей среды, к тем людям, которые когда-то любили в нем просто человека, — этого он сам не мог. Они не были ему нужны. Он не переносил их точно так же, как не переносил тупых пассажиров первого класса и шумную молодежь.

Жизнь была для него то же, что яркий белый свет для утомленных глаз больного. Всегда, каждую минуту, когда он бывал в полном сознании, жизнь словно сияла вокруг него резким, ярким блеском, задевала его и жгла. Было больно, невыносимо больно. Впервые в жизни Мартин путешествовал в первом классе. До сих пор он всегда жил или в кубрике, или ютился с кочегарами в черных глубинах угольного трюма. В те времена он, бывало, выбравшись по железному трапу из нижних отделений, где можно было задохнуться от жары, часто мельком видел пассажиров, одетых в прохладное белое платье; они ничего не делали, только праздно проводили время; над их головами был натянут тент, защищавший их от солнца и вет-

ра; услужливые и внимательные стюарды исполняли малейшие их желания и капризы. Тогда Мартину казалось, что эти люди живут в каком-то раю. А теперь он сам очутился в этом раю; как знаменитость, он сидит по правую руку капитана, находится в самом центре этого великолепия, и что же? Его потянуло обратно в кубрик или в помещение для кочегара в надежде найти там потерянный рай. Нового рая он так и не нашел, а теперь не мог отыскать и прежнего.

Он пытался стряхнуть с себя апатию и чем-нибудь заинтересоваться. Он попробовал было зайти в кают-компанию унтер-офицеров, но быстро ушел и оттуда. Он заговорил с освободившимся от дежурства квартирмейстером, человеком неглупым, который тотчас же занялся пропагандой социализма и всучил ему целую пачку прокламаций и памфлетов. Мартин слушал, как его собеседник проповедовал чуждую ему, Мартину, мораль, а сам в это время лениво размышлял о собственных ницшеанских взглядах. Какую они имели, в конце концов, ценность? Он вспомнил одно странное изречение Ницше, в котором этот безумец высказал сомнение в существовании истины. Кто знает? Быть может, Ницше и был прав. Быть может, ни в чем не было истины, даже в самой истине, — быть может, истины не существовало вовсе. Но от этих мыслей мозг его вскоре устал. Он с удовольствием вернулся на свой шезлонг и задремал.

Здесь, на пароходе, ему было очень плохо, но он начал бояться, что потом станет еще хуже. Что будет, когда пароход придет на Таити? Ему придется сойти на берег. Придется заказывать товар или отправляться на какой-нибудь шхуне на Маркизские острова и делать еще тысячу всяких дел, при одной мысли о которых ему становилось страшно. Когда он делал над собой усилие и заставлял себя думать, он начинал сознавать, какая страшная опасность ему грозит. Да, он уже вступил в Долину Смерти, и весь ужас был в том, что он не испытывал ни малейшего страха. Если бы он только мог почувствовать страх, это вернуло бы его к жизни. Но он не боялся, и течение уносило его все дальше и глубже в тень, в самую тень смерти. Он не находил больше радости в прежних знакомых вещах.

«Марипоза» очутилась теперь в зоне северо-восточных пассатов, и когда-то опьянявший ветер теперь раздражал его, когда дул на него. Он велел переставить свое кресло, чтобы избегнуть ласки этого веселого спутника его юношеских лет.

В тот день, когда «Марипоза» вошла в полосу штиля и экватора, Мартин почувствовал себя несчастным. Он не мог больше спать. Он был пресыщен сном и волей-неволей вынужден был бодрствовать и выносить белый яркий блеск жизни. Он метался по пароходу, нигде не находя покоя. Воздух был какой-то липкий, сырой, и перепадавшие порой ливни не освежали его. Мартин страдал, страдал от жизни. Он расхаживал взад и вперед по палубе, но вскоре ему и от этого становилось невыносимо больно. Тогда он усаживался в шезлонг и сидел так до тех пор, пока вновь не вскакивал, словно подталкиваемый кем-то. Он заставил себя, наконец, прочитать до конца журнал и взял из пароходной библиотеки несколько томиков стихов. Но чтение не занимало его, и он снова принимался ходить.

После обеда он долго оставался на палубе, но и это ему не помогло; спустившись к себе в каюту, он все равно не мог заснуть. Теперь он лишился и этой передышки. Это было уже слишком. Он зажег электричество и попробовал читать. Одна из книг, взятых им из библиотеки, оказалась сборником стихов Суинберна. Лежа в кровати и переворачивая страницы, Мартин вдруг поймал себя на том, что читает с интересом. Он дочитал строфу до конца, попробовал читать дальше, но снова вернулся к ней. Он положил открытую книгу лицом вниз к себе на грудь и задумался. Вот оно — именно то, что всем нужно. Странно, что ему это ни разу не приходило в голову. Вот разгадка всего его нравственного состояния за последнее время; течение все время несло его в этом направлении, а теперь Суинберн указывал ему на это, как на самый счастливый выход.

Он взглянул на открытый иллюминатор; да, он был достаточно широк. В первый раз за долгое время Мартин почувствовал себя счастливым. Наконец-то он нашел средство избавиться от своих мук. Он взял книгу и громко прочитал строфу:

В освобожденье от желаний,
От ужаса, надежд и горя,
Богов, среди благоуханий,
Благодарим мы в дружном хоре —
За то, что жизнь предел узнала,
Что мертвецу не жить сначала,
Что речка, как бы ни устала,
Когда-нибудь дойдет до моря.

Закончив, он снова взглянул на иллюминатор. Суинберн дал ему тот ключ, который он искал. Жизнь была злом или, вернее, стала злом — чем-то невыносимым! «...мертвецу не жить сначала!» Эта строчка вызывала у Мартина в душе чувство глубокой благодарности. Это было единственное ценное в мире. Когда жизнь становилась до боли скучной и утомительной, смерть готова была убаюкать человека и успокоить его вечным сном. Но чего же ради он медлит? Пора отправляться в путь.

Он встал, высунул голову из иллюминатора и посмотрел на молочную пену волн. «Марипоза» глубоко сидела в воде. Если повиснуть на руках, ухватившись за край иллюминатора, то ногами достанешь до воды. Он мог соскользнуть в море без всякого шума. Никто не услышит. Брызги налетевшей волны попали ему в лицо и в рот; вода была соленая, и вкус показался ему приятным. Он подумал, не написать ли ему лебединую песнь, но со смехом отбросил эту мысль. Было некогда. Он слишком торопился уйти.

Он погасил свет в своей каюте, боясь, как бы свет его не выдал, и стал вылезать в иллюминатор ногами вперед. Но плечи застряли, и он протиснулся обратно. После этого он сделал вторичную попытку, на этот раз прижав одну руку к телу. В эту минуту пароход накренился и произошел толчок, который помог ему пролезть, и он, наконец, повис, как хотел, на руках. Когда его ноги коснулись воды, он разжал пальцы и очутился в белой, молочного цвета пене, клубившейся около парохода. Мимо него пронеслась «Марипоза», словно черная стена, в которой то тут, то там мелькали светлые точки иллюминаторов. Пароход шел быстро. Не успел Мартин опомниться,

как очутился далеко позади него, медленно плывущим по вспененной поверхности моря.

Вдруг на него налетела бонита, привлеченная его белым телом, но Мартин только громко рассмеялся. Она вырвала у Мартина кусок мяса, и вызванная этим боль напомнила Мартину о его намерении. Пока он действовал, он успел забыть про свою цель. Огни «Марипозы», удаляясь, становились уже тусклыми, а между тем он спокойно и уверенно плыл, словно намереваясь доплыть до земли. Впрочем, ближайший остров находился на расстоянии приблизительно тысячи миль.

В нем чисто машинально проснулся инстинкт самосохранения. Он перестал плыть, но как только вода залила ему рот, быстро заработал руками, чтобы выплыть на поверхность. Воля к жизни, подумал он и зло усмехнулся. Хорошо же, пусть он обладает волей. Эта воля окажется достаточно могучей, чтобы одним последним усилием уничтожить себя самое и таким образом перестать существовать.

Тогда он принял вертикальное положение в воде. Взглянув вверх, на спокойные звезды, он выпустил из легких весь воздух. Быстрым и мощным взмахом он приподнялся так, что и плечи, и грудь его высунулись из воды. Он это сделал для того, чтобы потом быстрее погрузиться. И вдруг он расслабил все мускулы и без единого движения, словно белая статуя пошел ко дну. Очутившись под водой, он сделал глубокий вздох — сознательно, намеренно, точно вдыхал наркоз. Но как только он начал задыхаться, он тотчас же совершенно непроизвольно заработал и руками и ногами и вновь выплыл на поверхность; и снова он увидел над головой небо и тихое мерцание звезд.

Воля к жизни, опять с презрением подумал он, тщетно стараясь не вбирать воздуха в свои напряженные до боли легкие. Хорошо! Видно, придется попробовать другой способ. Он глубоко вздохнул, и его легкие наполнились воздухом. Этот запас даст ему возможность опуститься очень глубоко. Он перевернулся в воде и стал погружаться головой вперед; он плыл вниз, напрягая всю свою силу, всю волю свою. Он опускался все глубже и глубже. Глаза у него были открыты, и он наблюдал за мелькавшей в воде бонитой, оставлявшей за собой длинный,

сверкающий бледным фосфорическим блеском след. Он очень надеялся, что бониты не нападут на него; это могло бы ослабить его волю. Но они не напали на него, и он нашел время послать благодарность судьбе за это последнее внимание к нему.

Все дальше и дальше плыл он в глубь океана, пока, наконец, руки и ноги у него не устали. Он уже еле двигался от утомления. Он знал, что достиг очень большой глубины. Давление на его барабанные перепонки было настолько велико, что становилось мучительным, и в голове у него шумело. Силы начали покидать его, но он все же заставлял свои руки и ноги двигаться и опускался все глубже и глубже. Но вдруг воля его ослабела, и воздух вырвался с шумом из его легких. Пузырьки, словно маленькие воздушные шары, стремительно понеслись вверх, скользя по его щекам и векам. Сразу же он почувствовал мучительную боль и удушье. Но эти страдания еще не смерть, промелькнуло в его затуманившемся сознании. Смерть не болезненна. Нет, это была еще жизнь, борьба жизни и смерти — это ужасное чувство удушья. Это был последний удар, наносимый ему жизнью. Руки и ноги перестали ему подчиняться. Они забились судорожно, слабо вспенивая воду. Но он перехитрил их и их «волю к жизни», которая заставляла их двигаться. Слишком уж глубоко он погрузился. Им уж не удастся вынести его на поверхность. Ему вдруг показалось, что он медленно плывет по какому-то морю туманных видений. Его охватило и окружило какое-то сияние, и он словно купался в атмосфере небывалой яркости и красочности. Но что это? Как будто маяк. Нет, это в мозгу у него сверкнуло что-то белое, блестящее. Сверкнуло раз, два, потом все чаще и чаще, все быстрее и быстрее. Послышались какие-то раскаты, словно грома, и Мартину показалось, что он летит вниз по широкой и бесконечной лестнице. И где-то в конце ее, далеко внизу, он погрузился во мрак. Вот все, что он понял. Он погрузился во мрак. Но в тот самый миг, когда его охватило это сознание, он уже перестал что бы то ни было осознавать.

КОММЕНТАРИИ

«Мартин Иден» (1907—1909) — наиболее значительное и, пожалуй, самое неожиданное произведение Джека Лондона.

Этот роман отличается высокой степенью откровенности, что связано с некоторым послаблением журнальной цензуры с ее пуританским благонравием. Практически отсутствует романтический ореол, окрашивающий и буквально заставляющий светиться неким полярным сиянием не лишенную романтических начал прозу писателя.

В такой предприимчивой стране, как Америка, писателями-самоучками становились люди разных общественных слоев и разных профессий. Многие из уважаемых впоследствии авторов овладевали писательским мастерством не по университетским программам, а так вот непосредственно через «жизнь как она есть». Читателю, которому известна биография самого Джека Лондона, нетрудно проследить многочисленные параллели в судьбе автора и его героя. Джек Лондон не только обнажал свои собственные мысли и недостатки характера, но и порой горько иронизировал по этому поводу. Своему будущему биографу, социалисту Фредерику Бэмфорду Лондон писал: «...И ни один достопочтенный обозреватель не обнаружил, что эта книга является нападением на индивидуализм, что Мартин Иден погиб из-за того, что был таким отъявленным индивидуалистом, что и не подозревал о потребностях других и что поэтому, когда развеялись его иллюзии, ему не оставалось ничего, ради чего ему стоило бы жить».

Мартин Иден — человек с «повышенным чувством справедливости». Самому Джеку Лондону было нелегко идти на компромиссы с совестью, но потом он начал, по его собственным словам, приспосабливаться, что дается людям этого типа нелегко.

Удивителен тот факт, что самый сокровенный его автобиографический роман «Мартин Иден» не вызвал особого восторга. Он скорее даже не понравился американской публике, и издатели очень опасались «прогореть» при подготовке отдельного издания романа! Многих отпугнула откровенная пропаганда социализма и осуждение всякой буржуазности, всесилия денег, обязательности очевидной трудовой деятельности.

Почти все считали роман чересчур пессимистическим, не соответствующим стереотипу сложившегося американского характера, который должен быть бравым и бодрым, независимо от обстоятельств и передряг. Драматизм — да, но пессимизм — нет.

Парадокс произведения также и в том, что в нем объективно показано (на примерах Мартина Идена и Рэсса Бриссендена) принципиальную враждебность общественной среды всякому свежему, а часто и талантливому взгляду на мир. Более того, Мартин Иден пришел к выводу, что среда затормозила духовное становление даже Рут, выросшей в благоприятных для развития интеллекта условиях — среди книг и картин, как в свое время тормозила и его — Мартина Идена.

Мартин Иден с его трагической судьбой — это в какой-то мере и сам писатель, а крайним воплощением этого типа личности может служить образ поэта Рэсса Бриссендена, заболевшего от презрения к пошлому «буржуазному» миру чахоткой и написавшего единственную поэму «Эфемериада». Прототипом покончившего с собой Бриссендена был известный поэт — друг Джека Лондона Джордж Стерллинг.

Биографическая канва жизни самого реального автора может послужить нам некоей путеводной нитью, позволяющей представить трансформацию и художественную интерпретацию в литературном творчестве, процесс переплавки подлинного материала в романный шедевр.

Главная сюжетная линия романа — путь становления большого писателя, выходца из народных низов.

Если говорить о характерах, то Мартин Иден встречается с людьми различного социального положения и материального состояния, рода занятий и культурного уровня. Он

болезненно чувствует характер и сопротивляемость этой среды — как в личном плане, так и в издательском. Но подобно беспокойной комете он прошел все мыслимые и немыслимые рубежи и пространства. Для чего? Чтобы впасть в глубочайшую депрессию. И свести счеты с жизнью.

Характер письма нередко определяют размышления героя наедине с самим собой — внутренний монолог, похожий на исповедь, прерываемый собственно действием, диалогами, оценками, лаконичными авторскими характеристиками. Но это лишь одна из составляющих. Другая — объективное повествование от лица автора, болеющего за своего героя и всячески сочувствующего ему. Такая структура нова для самого писателя, известного прежде всего своими внешними и порой очень живописными и впечатляющими картинами жизни, тяготеющими к миру экзотики.

Однако предметное мышление, стремление к четким пластическим формам вещей и явлений — одна из характерных черт мировосприятия и творчества Мартина Идена.

Известно, что в судьбе Лондона не последнюю роль сыграло знакомство с семьей Эпплгартов. Писатель и Эдвард Эпплгарт познакомились всего-навсего в оклендской библиотеке, где у них оказался и общий друг. Это событие находит отражение в романе: Мартин Иден знакомится с Артуром Морзом на пароме, выручая интеллигентного буржуазного юношу из стычки с хулиганами.

А как же было на самом деле в жизни Джека Лондона? К моменту знакомства с прототипами Морзов — Эпплгартами старший матрос Джек уже был автором печатного рассказа и победителем литературного конкурса в местной газете.

Обратим внимание на два плана — два мира — с одной стороны матросского, рабочего, в котором живут простолюдины, и «буржуазно-изысканного», а попросту интеллигентно-духовного, — с другой. Два мира представлены здесь нарочито заостренно — убедительно, выпукло и ярко. Главный герой выступает связующим их элементом, его восприятие происходящего ничем не отличается от авторского.

Роман «Мартин Иден» — произведение прежде всего о судьбе писателя в обществе той поры, как видим, достаточно дифференцированного. Здесь немало глубоких замечаний о психологии литературного творчества, о технических приемах последнего. Но главная идея все же в ином: речь идет о пути становления писателя из народа, об упорстве талантливого самоучки, работающего по семнадцать часов в день, подымающего одновременно свой образовательный уровень, изучая иностранные и просто непонятные слова, такие как «психология», за бритьем, развешивая их на веревках для белья у прачки, у которой он снимал конуру, жадно перечитывающего классиков во время еды, создающего ежедневно текст в 1500—3000 слов, а затем снижающего норму до 1000, чтобы лучше и тщательнее его обдумывать и править. Такому упорству может позавидовать каждый.

Главная цель — пробиться к печатному станку, а потом и ощутить себя гражданином страны, интеллектуалом, которого беспокоит настоящее и будущее людей Америки, как и всего мира.

Каковы причины трагедии героя?

Мартина Идена долго не печатают, поскольку за ним никто не стоит, никто не рекомендует его из солидных людей, у него нет в литературе имени, а издателям нужно одно — надежно и постоянно зарабатывать деньги. Автор произведения должен быть уже известен и чем-то в свое время увлекший читающую публику. Отсутствие рекламы — одна из причин его неудач на первых порах. Но он-то об этом не знает и не подозревает!

Вторая причина в том, что литература не Броуновское движение, это некая слаженная художественно-издательская система, подверженная воздействию моды не меньше, чем деятельность какого-нибудь кутюрье. Серьезную литературу американцы долго не воспринимали.

Это повлияло и на то, что сам роман «Мартин Иден» не был оценен должным образом современной ему критикой и читающей публикой. От Джека Лондона ждали некоего развле-

чения и приключения в пределах удачно преодолеваемых героем трудностей.

Чопорная буржуазная читательская публика была в Америке той поры достаточно религиозной и старомодно-консервативной. Вывезенное еще из Англии пуританство как система нравственных запретов было здесь чрезвычайно распространено, как, впрочем, и религиозность разных толков, совмещенная с бизнесом.

Роман «Мартин Иден» — произведение иного, чрезвычайно серьезного аналитического плана, которое когда-либо создавал Джек Лондон. Тут идет речь о специфических тонкостях писательского мастерства, которые далеко не всегда понятны с первого взгляда. Хотелось бы подчеркнуть, что речь идет скорее о конфликте подлинного таланта и упорного болезненного графоманства, характеризующего массовую культуру. Герой прекрасно знает, что в прессе появляются произведения намного хуже его собственных, но он же и хорошо осведомлен, что читающая публика как раз вольно или невольно выступает их заказчиком. Поэтому ремесленничеством писатель готов заняться только в безысходном для него положении, когда на серьезный труд не хватает времени и сил, а желудок требует очередной порции пищи.

...Не будем полностью отождествлять Джека Лондона с его героем, хотя близости между ними немало. Типизация Мартина начинается с моряка, у которого позаимствованы имя и фамилия, и кончается едва ли не Джорджем Стерлингом и Редьярдом Киплингом.

И Мартин и Джек — оба еще и социалисты. И поэтому нападки на буржуазные нравы, культуру, психологию тут связаны с характеристикой бесчеловечных обстоятельств общественной жизни. В ту пору это было модно и актуально. Но оба действующие лица — герой и автор — в какой-то мере продукты этой же культуры. Мартин Иден в силу особенностей своей философии совершенно разочаровался в жизни, в том числе и в социализме, просто несколько раньше, чем сам Джек Лондон. Оба они носители идей суперменства, социального дарвинизма, прагматизма, но в разных пропор-

циях. Мартин Иден скорее супермен, более продвинутый, чем автор, а его приятель Бриссенден — отъявленный ницшеанец. Это та духовная, идеологическая среда, которая при всем своем прагматизме предельно рационалистична и лишена нравственно-духовного начала. Тут как будто никаких табу, никаких моральных запретов.

...К концу романа Мартин Иден уже творчески выдохся. Впал с депрессию, замкнулся в себе и достаточно дистанцировался от всех бытовых и матримониальных проблем. У Мартина уже обнаружились признаки психического расстройства, что великолепно реабилитирует этот образ в глазах читателей, успевших его полюбить. А в полубредовом состоянии перед ним как бы протекает вся его жизнь, полная унижений, оскорблений. И к этой ее негативной стороне он особенно сейчас чувствителен. Он как бы лелеет теперь свои обиды. Они невольно всплывают из глубин сознания перед его глазами и проходят некоей болезненной панорамой.

Было бы наивно предполагать, что герой романа не выдержал испытание деньгами и славой. Слава и деньги для него второстепенны — они лишь внешние атрибуты самореализации. Характер этой духовной победы не устроил его самого. Вот одна из главных причин трагической развязки произведения.

Каждый писатель как общественный деятель пытается улучшить земной мир, предложив ему свои высокие духовные ценности. Но никто к его социально значимым идеям не хотел прислушиваться. Сам преуспевший Мартин невольно стал своеобразным фасадом этого погрязшего в меркантильности, пошлости и практицизме общественного устройства. Его могли использовать только как бренд, как вывеску благополучно развивающегося общества.

Начало XX века — время социальных потрясений и мировых войн — внесло серьезные коррективы в отношения читателей и литературы. На каком историко-литературном фоне появился роман «Мартин Иден»? Присутствие в американской прозе той поры серьезных социальных авторов — Брета Гарта, Марка Твена, Фрэнка Норриса, Эптона Синклера,

Теодора Драйзера (его роман «Сестра Керри» уже был напечатан к моменту выхода «Мартина Идена») — никак еще не прививало устойчивый вкус американского массового читателя на «диком Западе» к серьезной литературе. Да и издатели были тут виновны. Марк Твен, проживший до 1910 года, был известен скорее своим убийственным юмором и живыми приключенческими повестями для детей, в которых Америка испытывала ощутимую потребность. Роман Джека Лондона «Мартин Иден» уже вносил серьезную лепту в перестройку читательского сознания. Однако лишь в 1920—30-е годы, когда появились «Американская трагедия» (1925) и «Гроздья гнева» (1939), когда лучшие представители «потерянного поколения» уже пошли вслед за Джеком Лондоном и его «Мартином Иденом», а накануне новой мировой войны в этом возникла и общественная потребность, этот роман и был признан лучшим образцом американской прозы XX века.

СОДЕРЖАНИЕ

Мартин Иден (*роман*) 5

Комментарии 406

Літературно-художнє видання

ЛОНДОН Джек
Мартін Іден

(російською мовою)

Головний редактор *С. С. Скляр*
Відповідальний за випуск *К. В. Шаповалова*
Редактор *Р. Є. Хворостяна*
Художній редактор *Т. М. Коровіна*
Технічний редактор *А. Г. Верьовкін*
Коректор *І. А. Калачова*

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»
Св. № ДК65 від 26.05.2000
61140, Харків-140, просп. Гагаріна, 20а
E-mail: cop@bookclub.ua

Литературно-художественное издание

ЛОНДОН Джек
Мартин Иден

Главный редактор *С. С. Скляр*
Ответственный за выпуск *Е. В. Шаповалова*
Редактор *Р. Е. Хворостяная*
Художественный редактор *Т. Н. Коровина*
Технический редактор *А. Г. Веревкин*
Корректор *И. А. Калачева*

Издательство Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
www.trade.bookclub.ua

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ КНИГАМИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

МОСКВА

Бертельсманн Медиа Москау АО
129110, г. Москва, пр. Мира, 68, стр. 1А
тел. +7 (495) 688-52-29, 974-21-59,
974-21-57
e-mail: *kniga@bmm.ru*
www.bmm.ru

ХАРЬКОВ

ДП с иностранными инвестициями «Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга"»
61140, г. Харьков-140, пр. Гагарина, 20-А
тел/факс +38 (057) 703-44-57
e-mail: *trade@bookclub.ua*
www. trade.bookclub.ua, www.euro-best.info

КИЕВ

ЧП «Букс Медиа Тойс»
04073, г. Киев, пр. Московский, 10Б, оф. 33
тел. +38 (044) 351-14-39,
+38 (067) 572-63-34,
+38 (067) 572-63-35
e-mail: *booksmt@rambler.ru*

ЛЬВОВ

ООО «Книжкові джерела»
79035, г. Львов, ул. Бузковая, 2
тел. +38 (032) 245-00-25
e-mail: *Knigi@lviv.farlep.net*

ДОНЕЦК

ООО «ИКЦ "Кредо"»
83096, г. Донецк, ул. Куйбышева, 131
тел. +38 (062) 345-63-08, +38 (062) 348-37-92,
+38 (062) 348-37-86
e-mail: *fenix@kredo.net.ua*
www. kredo. net. ua

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

УКРАИНА

служба работы с клиентами:
тел. +38 (057) 783-88-88
e-mail: *support@bookclub.ua*
Интернет-магазин: *www.bookclub.ua*
«Книжный клуб», а/я 84, Харьков, 61001

РОССИЯ

служба работы с клиентами:
тел. +7 (4722) 78-25-25
e-mail: *order@flc-bookclub.ru*
Интернет-магазин: *www.ksdbook.ru*
«Книжный клуб», а/я 4, Белгород, 308037

У романі показано складний шлях до письменницької слави хлопця з робочої родини. Долю Мартіна визначила зустріч з Рут — дівчиною із заможної родини, неземним створінням, яка палко покохала непересічного юнака. Під впливом кохання, близького до поклоніння, Мартін змінюється зовні і внутрішньо, відходить від людей свого кола і... поступово розуміє нікчемність та мерзенність світу своєї коханої.

Лондон Дж. Собр. соч. / научн. ред. и коммент. канд. филол.
Л76 наук доцента А. М. Гуторова ; худож. А. Печенежский. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2008.
Т. 7 : Мартин Иден : роман. — 416 с. : ил.
ISBN 978-966-14-2540-7 (PDF)

В романе показан сложный путь к писательской славе парня из рабочей семьи. Судьбу Мартина определила встреча с Рут — девушкой из богатой семьи, неземным существом, которая горячо полюбила неординарного юношу. Под влиянием любви, близкой к поклонению, Мартин изменяется внешне и внутренне, отходит от людей своего круга и... постепенно понимает ничтожность и мерзость мира своей любимой.

ББК 84.7США